

Евгения Гинзбург

КРУТОЙ

МАРШРУТ



1

9

3

7

Евгения Гинзбург

КРУТОЙ МАРШРУТ

ХРОНИКА
ВРЕМЕН
КУЛЬТА
ЛИЧНОСТИ



РИГА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ
«КУРСИВ» — ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЛССР

1989

63.3 (2) 72
Г 492

Оформитель обложки С. Тяжелов
В оформлении использован плакат Ю. Димитерса «1937 год»

Г $\frac{0503020000-972}{М 801 (02) -89}$ 89

© «Даугава», 1988—1989
© Издательство ЦК КП Латвии, 1989
© «Курсив» — Творческая фотостудия
Союза журналистов ЛССР, 1989

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ И СВЕТ ВО ТЬМЕ

На лесных командировках кроме повара, завхоза, дневальной и лекпома было еще одно влиятельное лицо. Очень привилегированное. Инструментальщик!

Обычно он жил в отдельной хавирке, где всегда гудела раскаленная докрасна печурка. Работал инструментальщик без нормы, по мере надобности, а в основном по своему усмотрению. Получал добавки на кухне.

Как правило, инструментальщики вербовались из инвалидов, из людей, уже отработанных и выплюнутых прииском. Все они бывали радехоньки теплomu местечку. Иные отъедались около поварих настолько, что начинали даже брать взятки у работяг. Ведь от остроты пилы, от правильности ее «развода» в значительной мере зависело выполнение лесоповальной нормы.

Наш сударский инструментальщик Егор или, как сам он прозносил, Ёгор, был исключением и вел себя нетипично. Место свое он ненавидел, поскольку попал сюда как штрафник. Его засекли на вахте центральной эльгенской зоны с ведерком кислой капусты, украденной кем-то из заключенных на совхозном квашпункте. Ёгор, как лицо бесконвойное, имевшее «свободное хождение через вахту», взялся пронести ценный груз.

Как на грех, дежурил в тот день красавчик Демьяненко, рослый румяный хохотун, самый ушлый из всей эльгенской вохры.

— А шо это у тебя пузо дуже справное при такой тощей личности? — заинтересовался он, высовываясь из своего окошечка в проходной. — А ну, распахни бушлат! Швыдко!

В тот же вечер на поверке был зачитан приказ о водворении Егора на пять суток в карцер без вывода на работу и с последующей отправкой его на Сударь.

На общих работах Ёгор выдюжить не мог, так как от правой ступни у него осталась только небольшая культяпка, а пальцы левой — гнили, разлагались и издавали трупный запах, всегда сопровождавший появление Ёгора. Так он стал инструментальщиком режимной тюрзаковской голодной командировки на Сударе.

Все это происшествие повергло Ёгора прямо-таки в безысходное отчаяние. Уж больно с большой высоты он упал! Ведь в центральной эльгенской зоне он был не кем-нибудь, а могильщиком.

Каждый вечер, приходя ко мне в амбулаторию на перевязку ноги, он живописал сказочные картины своей привольной жизни в этой бесконвойной должности! Шутка ли! Свободный выход через вахту в любое время! Пойдешь в поселок, дровишек хозяйкам напилишь, расколешь — хлебца вынесут. Которые бабенки так даже в избу запушали, шей миску ставили. Да и в зоне . . . Придешь, бывало, к Поле-поварихе — нальет полнехоньку кружку дрожжей. Да и каши всегда от пуза. В бараке обслуги жил. А работенка, что ж . . . Непыльная . . . Сильно-то не надрывались.

Чтобы утешить его, начинаю возражать: дескать, покойников у нас много, а могильщиков всего трое, да и земля-то ведь — вечная мерзлота, покопай-ка такую . . .

Ёгор хитро ухмыляется и подмигивает. В каждом деле ведь сноровка нужна. Оказывается, туфта царит даже в таком деликатном вопросе, как погребение усопших ээков. Зима-то ведь чуть не круглый год, снегу хватает. Зароют в снежок поглубже, не докапываясь до окаменелой землицы, а весной, как растает, тут и всплывут с полыми водами покойнички, царство им небесное. Заразы от них никакой, потому почитай одни косточки, просто сказать — чистые мощи.

— И не стыдно тебе, Ёгор? — огорченно говорю я, снимая пинцетом зловонную марлевую салфетку с его отморозенных гангренозных пальцев, — вот так стареешься, лечишь тебя, а умри — так в снег зароешь. И поплыву весной мертвая . . . «И мертвец вниз поплыл снова за могилой и крестом» . . .

— Что ты, Евгенья Семеновна! — дрогнувшим голосом восклицает разжалованный могильщик. — Да неужто уж мы вовсе без совести, чтобы лекпома своего не закопать . . . Уж кого-кого, а лекпома . . . Зароем за милую душу, прямо в землю, будь в полной надежде . . .

Он доверчиво и бесхитростно смотрит на меня своими очень светлыми северными глазами без ресниц. Хмурит белесые брови. Вспомнил, что ведь он уже в отставке, что лишен своих высоких похоронных полномочий. Тяжко вздыхает.

— Не тужи, земляк! Понадобится им опытный могильщик — возьмут обратно . . .

А он и впрямь почти земляк мой.

— Татарской мы республики. Но сами-то православные. По-старому писали — Казанской губернии, Елабужского уезда.

Статья у Ёгора — пятьдесят восемь-два, вооруженное восстание. Специально колхозная. О своем аресте Ёгор говорит спокой-

но, эпически, как о пожаре или эпидемии. Обижается только на неправильную разверстку арестов по селам.

— Сколько (ударяет на последнее «о») у нас дворов-от, а сколько в Козловке! Почти втрое у их супротив нашего, а народу забрали, вишь ты, поровну. Это рази дело?

Похоже, что снятие с поста лагерного могильщика он переносит тяжелей, чем самый арест и приговор. Я узнаю все новые и новые подробности о его райской жизни в центральной зоне.

— Бывало-ча идешь с работы, так сам нарядчик с тобой здоровствуется, не то что... Я ему: здоровствуйте, мол, Сергей Ваньч! А он мне обратно: здорово, Ёгор! Ну как она, жисть? Норму-то на покойников выполняешь ли?.. Смеется... И надо же мне было с той капустой связаться! Этакая через нее беда в дому...

Чтобы отвлечь Ёгора, задаю ему разные вопросы.

— Где это ты, Ёгор Петрович, ноги-то отморозил? В этапе, что ли?

— Не, не в этапе, — спокойно отвечает Ёгор. — А это когда я в первый раз помер...

Дело было на приiske Золотистый. Лежал Ёгор в лагерной больнице. Вот как-то утром пошел фершал с обходом и видит — кончился Ёгор, дуба, стало быть, врезал. Ну и велел санитарам в морг снести. Это, конечно, сам-то Ёгор ничего не помнит, а уж опосля ребята сказывали. А сам-то он очухался вот от этой самой ноги, что сейчас оттяпана. Закряхтел от боли. Как огнем жгло. Ну и оклемался, стало быть, опомнился. Выходит, живой еще?

Сторож в морге услышал — как заверещит по-дурному. Из турков был сторож Чулюмбей какой-то, не то Кулюмбей... С ума с тех пор стронулся. Страшно, конечно. Знает человек, что сам штабелем сложил с вечера мертвяков-то, а тут вдруг покойник с самого споднизу и голос подает. И заорал тут Чулюмбей этот, турок, стало быть, и до того доорался, что вохра услышала, набежала.

Поскидали с Ёгора мертвяков-то. Телогрейку ему кинули. И давай на него ругаться. Чего, дескать, в морг забрался, коли живой? А он что? Он ведь не придурился. При чем тут Ёгор, ежели фершал обмишулился? Обошлось, однако. Ругать ругали, а бить не стали и в кандей не посадили, нет. В барак отправили.

Ёгор очень тяжело переносил голод. Истощен был до крайности. Даже на благословенной должности могильщика он не смог добиться того, чтобы угловатые тяжелые кости его крупного тела хоть немного обросли мяском. Разрушения, произведенные тремя годами прииска Золотистый, были необратимы.

Психологический голод мучил его еще сильнее, чем физический. Он постоянно думал и почти всегда говорил о еде. Только страдания, причиняемые ему гангреной, заставляли его временами отвлекаться от этих мыслей.

Ежедневные встречи, связанные с перевязками, сблизили нас. Ложка рыбьего жира, которую я каждый вечер вливала ему в рот (он сам боялся взять ложку в руки. Расплещешь еще, оборони бог, трястись чего-то стали руки-то . . .), вносила оттенок материнства в мое отношение к нему, хоть и был он лет на десять старше.

. . . Декабрь катился к середине. Близился конец девятьсот проклятого — сорок первого. Как-то мимоходом сказала я Ёгору, что вот, мол, двадцатого декабря — день моего рождения. Вспомнит ли кто меня в этот день? Есть ли еще на свете кому вспомнить? По лицу Ёгора пробежала тень внезапной мысли. В ближайшие дни с ним что-то стряслось, что-то вывело его из круга обычных идей. Теперь он не засиживался в амбулатории после перевязки, был чем-то озабочен, а раза два произнес даже слово «некогда», немислимое в его устах.

Двадцатого декабря он долго не являлся на перевязку. Я уже составила на полочку все свое оборудование и собиралась идти в барак, как вдруг привычный запах распада сигнализировал появление Ёгора. В руках он держал большой закоптелый котелок, из которого легкой струйкой поднимался теплый пар. Лицо Ёгора было блаженным, просветленным.

— Вот, Евгенья Семеновна, — сказал он торжественно, ставя котелок прямо на амбулаторный топчан, — стало быть, я тебя поздравляю с ангелом, желаю доброго здоровья, а в делах рук ваших скорого и счастливого успеха . . . А еще сынов твоих повидать тебе . . . А вот, стало быть, и подарок от нас.

В котелке был овсяный кисель. Это кулинарное изделие сопутствовало нам в совхозе Эльген в наиболее счастливые минуты бытия. Рецепт его изготовления был известен здесь еще задолго до нашего приезда. Он был очень сложен. Овес, которым кормят лошадей, должен был пройти ряд замысловатых химических превращений, прежде чем стать киселем. Овес замачивали, отжимали, растирали, ждали, пока начнется брожение, заквашивали, варили . . . Наградой всех этих трудов был густой, сытный, красивого светло-кофейного цвета студень. Все мы единогласно утверждали, что вкус его напоминает миндальное печенье. Но откуда здесь, на Сударе, эта немислимая роскошь?

Оказывается, маленький мешочек с овсом, украденным на эльгенской конбазе еще в славную эпоху погребальных трудов, Ёгор сумел-таки спроворить при сборах в этап. Ладно, что не Демьяненко на вахте был. Тот бы непременно надыбал. Ну,

а Луговской, тот, известно, скушно работает, без старанья, ему лишь бы день прошел. А вот овес как раз, гляди, и сгодился на именины лекпому. Вместо пирога, стало быть.

Глаза Ёгора блестели. От них шло светло-голубое сияние. Руки тряслись от волнения сильнее обычного. Он желал, чтобы я съела кисель тут же, при нем. А он посидит, порадуетя . . .

— Вот спасибо-то, Ёгор Петрович! Давай вместе, держи ложку!

Но он с негодованием отверг предложение. Сказал только «нет», но было ясно, что за этим скрывается. Я поняла. Он израсходовал свой последний продовольственный запас, три дня трудился над сложной технологией превращения овса в это бархатистое, дышащее теплом варево — и все разве для того, чтобы съесть самому? Нет. Этот елабужский мужик, о приближении которого узнавали по запаху тления, идущему от его «здоровой», еще не ампутированной ноги, — он хотел дать радость другому обездоленному человеку.

Я больше не возражала. Я глотала овсяный кисель, зачерпывая его кривой оловянной ложкой, пропахшей рыбьим жиром, а он смотрел на меня глазами, в которых светились доброта и счастье. Да, он счастлив был в эти минуты, лагерный могильщик Ёгор, у которого впереди были четыре последовательные ампутации (по кусочкам) обеих ног и смерть в том участке преисподней, который именуется «инвалидная командировка».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА

Ранней весной, когда по плану совхоза заканчивались лесоповальные работы, мы получили приказ этапироваться снова в центральную зону Эльгена. Там должна была произойти новая сортировка (термин «селекция», применяемый к людям, до нас тогда еще не дошел) рабочей силы, с учетом умерших и искалеченных. Потом предполагалась отправка на летний сезон в полевые бригады.

И тут неожиданно выяснилось, что сударцы — самые передовые из всех лесных работяг. Самые что ни на есть прогрессивные.

Эту нечаянную славу доставил нам тот факт, что мы осилили обратный пеший этап. Вернулись в зону на своих ногах, пройдя по тайге тридцать два километра. При этом без падежа, то есть

без смертных случаев в пути. И это в то время, когда лесорубы Теплой долины, Змейки, Двенадцатого километра и многих других лесных точек так подвели начальство, проявили такую черную неблагодарность! Ведь их пришлось выволакивать из лесов волоком, да еще и закапывать дорогой тех, кого уже и волоком было не дотянуть. А ведь каждого закопанного надо еще и актом оформить. Так не бросишь! Государственное имущество, за него отвечать надо.

Год усиленного военного режима давал свои плоды. Резкая вспышка болезней, смертей и, как неизбежное следствие, провалы хозяйственных планов совхоза Эльген.

И тут маятник снова качнулся в другую сторону. Раздался зычный окрик сверху: «А план кто будет выполнять?» А после окрика — акции официального гуманизма, отмененные было в связи с войной. Снова открылся барак ОПЗ (оздоровительный пункт). Доходяги помоложе, которых еще рассчитывали восстановить как рабочую силу, получали путевки в этот лагерный дом отдыха. Там царила блаженная нирвана. И день и ночь все лежали на нарах, переваривая полуторную пайку хлеба.

Но и тем дистрофикам, которые не попали в ОПЗ, стали щедрее давать дни передышки. В обеденный перерыв снова стали выстраиваться перед амбулаторией очереди доходяг с протянутыми оловянными ложками в руках. В ложки капали эликсир жизни — вонючий неочищенный жир морзверья, эрзац аптечного рыбьего жира.

Теперь наш начальник санчасти Кучеренко начисто забыл свои недавние угрозы («Который лекпом зря бюллетени дает, тот сам загремит на общие»). Наоборот, сейчас он шумно умилялся бодрым видом моих сударских пациентов и одобрял меня за «сохранность рабсилы».

Тут-то и произошло нечто фантастическое: меня послали на месяц заменять заболевшую лекпомшу молфермы.

— Не соглашалась сначала начальница Циммерман, — доверительно сказал мне Кучеренко, — нельзя тюрзаков на бесконвойную командировку. Ну да я упросил на месячишко. Это тебе получше ОПЗ будет, а то вид-то у тебя тоже цинготный... Так что валяй, лови момент, хватай калории! А там опять в лес пойдешь, на Теплую долину.

(Про Кучеренко говорили, что он такой же самодеятельный медик, как и мы грешные. Кажется, он прибыл на Колыму в качестве пожарника, но потом почему-то стал начальником санчасти в Эльгене. Он был предельно неотесан и по наружности, и по поведению. Но за ним довольно твердо установилась репутация «невредного». Наоборот, при случае охотно делал добро.)

Молферма . . . Самое слово звучало для эльгенских узников как обозначение волшебной страны. Молочные реки, кисельные берега . . . Ферма стоит на отшибе, в получасе ходьбы от центральной зоны. И бараки там не огорожены, и вахты нет, а вохра там только для вида. Там передвигаются без конвоя из барак в коровники, телятники, птичники, в инкубаторий. Там кормят телят и кур роскошными концентратами, шротом, рыбьим жиром и обратом. А телята и куры великодушно делятся этими деликатесами со своими заключенными воспитательницами.

Фермой руководят вольные зоотехники Рубцов и Орлов, которые никогда не называют людей террористами, шпионами, диверсантами. Они говорят — «наши доярки, наши скотницы, наши птичницы» . . . Они первыми здороваются с заключенными женщинами.

Молферма — после лесоповального Сударя! Это все равно, как, скажем, Лазурный берег после Камчатки или сливочный торт после нашей баланды. И я буду там целый месяц? Я — существо из неприкасаемой касты тюрзаков? Жить в отдельной комнатке и спать на стоящей в углу железной койке?

Мысль о том, что я буду спать не на нарах, а на совершенно отдельном ложе, как-то возвращает человеческое достоинство. И оттого, что счастье было послано судьбой ненадолго, оно воспринималось еще острее.

Помню первую ночь на молферме. Впервые за последние несколько лет я осталась в комнате одна. Смолкли отдаленные голоса и шаги за маленьким сизым окошком. Тишина. Как давно я ее не слышала! Как запустела моя душа в мучительном чередовании автоматизма общих работ с пытками лагерного лексикона! Кажется, я уже не читаю про себя стихов. Но здесь я отойду. Стану снова собой. И стихи вернутся в тишине . . . Благословенное уединение, особенно неоценимое после ужасного одиночества насильственной непрерывной совместимости . . .

*Тишина, ты лучшее
Из всего, что слышал . . .*

На молферме работали главным образом украинки и латышки, которым посчастливилось иметь не только навыки крестьянского труда, но и «сходные» для бесконвойности статьи. Или легкие политические, такие, как КАЭРДЭ, ПЭША, пятьдесят восемьдесят. Или легкие бытовые, граничащие с политическими, вроде СОЭ или СВЭ (социально опасный элемент, социально вредный элемент). Уголовных туда не брали, знали, что их к скоту подпускать нельзя. Зато все «элементы» работали почти неправдоподобно по напряженности и самозабвенности труда. Многие спали не больше четырех часов в сутки. И не только потому, что

обетованная земля молфермы спасала от жизнеопасных, голодных наружных работ, но и потому, что молфермовский труд — разумный, связанный с уходом за живыми тварями — давал иллюзию человеческой жизни, заставлял переключаться с лагерных комплексов на заботы, достойные разумного существа.

Лектому здесь было особенно хорошо. Ему не надо было каждый день выбирать, кому из двух умирающих с голода отдать последнюю ложку рыбьего жира и как распределить кучеренковские «бюллетни», чтобы никто не умер на работе. Наоборот, здесь все боялись забюллетенить, все норовили перенести легкое нездоровье на ногах, чтобы ни на час не расставаться со своими телатами и цыплятами, чтобы не прослыть нерадивой работницей.

По вечерам моя главная работа — это массажи рук доярок, накладывание повязок на их отекавшие, растрескавшиеся до крови пальцы. С доярками в комнатешку входили теплые запахи коровника, тихие сетования на перебои с кормами, смешные имена новорожденных телок и бычков. (Их надо было весь год называть на одну букву. Вот и изощрались. Помню, например, бычка Вельзевула и прелестную телочку Вакханку.)

Тикают ходики на стене. Доярка Августина Петерсон распаривает в жестяной ванночке свои онемевшие пальцы и степенным латышско-фермерским голосом повествует о своей любимой корове, что осталась где-то около Елгавы. Точно и не идет второй год неслыханной войны, точно не пылают печи Освенцима, точно в получасе ходьбы от нас не находится центральная зона Эльгена, а в ней Циммерманша, УРЧ, режимная часть, карцеры всех сортов.

Счастливые молфермовские дни озарились для меня еще одной нечаянной радостью — страстной дружбой, вспыхнувшей почти мгновенно при первой же встрече, напомнившей о чем-то юном и почти забытом, давшей возможность пустить на полный ход уже основательно заржавевшую душевную машину.

Вилли Руберт. Вильгельмина Ивановна, как ее звали все на молферме, где она занимала почти немислимое для заключенного место учетчика, а по сути — экономиста.

Вилли здорово посчастливилось во время следствия. Почему-то ее, работника «теоретического фронта», коммуниста с подпольным латышским стажем, жену секретаря Сталинградского обкома партии, решили «пустить» не по предназначенным для людей этого круга тяжелым тюрзаковским пунктам, а просто «по национальной линии», как любую из латышских молфермовских доярок. Всего-то ей и отвалили пять лет по сиротской статье ПЭША (подозрение в шпионаже!). Это и дало ей возможность осесть на благословенной ферме, тем более, что старший зоотех-

ник Рубцов, зорко приглядывавшийся к окружающему, различил в ней светлую голову.

В год нашей встречи ей было под сорок, и лицо ее еще дышало не только умом и добротой, но и женской прелестью. Особенно примечательны были глаза, очень точно отражавшие душу. «Круглые да карие, горячие до гари».

Объединила нас не только общая страсть к книгам. Мы сразу почувствовали друг в друге тревожное мучительное стремление размышлять над жизнью, несмотря на ее явное безумие. Приглядываться, сопоставлять, обобщать . . .

— И о чем это вы до самой полуночи? — дивилась Августина Петерсон, до которой через стенку доносились нескончаемые наши разговоры.

И в самом деле — о чем? Да обо всем сразу. О войне, о фашизме. О Бухенвальде и об Эльгене. О судьбе трех поколений: наших родителей, нас самих и наших детей. О великих загадках Вселенной и неисчерпаемости человеческого гения. А в промежутках о том, как весело, бывало, хрустит снег под ногами, когда бежишь по вечерней Москве. Или даже по Казани и Сталинграду. Или о том, как нравилось в юности шагать рядами на демонстрациях. И не знали, как это страшно, когда надо идти обязательно по пяти в ряд.

Мы очень торопились высказать друг другу все. Понимали: скоро расставаться. Протоестественное пребывание тюрзачки на блатной бесконвойной работе не могло длиться долго.

И вот уже на пороге милой комнатешки с отдельной железной койкой стоит конвоир. И ружье у него за плечами. Он пришел за мной, чтобы этапировать меня на Теплую Долину. Этим идиллическим именем обозначен глухой болотистый уголок тайги, километров за двадцать пять от центральной зоны, где зимой — лесоповал, а летом — сенокос, где нет даже барачков, а живут в самодельных шалашах и кривых продувных хавирках, где, главное, не будет ни минуты покоя, потому что там содержатся одни блатные, масса блатных.

Идем, пробираемся по весенним таежным тропкам. Опять узел за плечами. Опять тяжело хлябают по топи неотступно следующие за мной сапоги вертухая. Я остро завидую этим сапогам: ведь они не промокают. Мои-то чоботы с первых шагов — насквозь, и суставы снова, как в Ярославке, стреляют невыносимой острой болью. Впрочем, что значит невыносимой? Выношу ведь . . .

Этап, этап . . . На этот раз одиночный, так что даже словом перебраться не с кем. Вертухай какой-то попался — вроде глухонемой. Даже «давай, давай!» не говорит. Только хлябает

и хлябает ножищами да сверлит спину своим автоматическим истуканским взглядом.

Да полно, был ли мальчик-то? Может, приснились мне эти тихие молфермовские вечера, отдельная койка, книги, откуда-то раздобываемые Вильгельминой, ее горячий доверительный шепот?

Перед самой Теплой Долиной конвоир вдруг произносит первую за всю дорогу фразу. Первую, но зато какую точную!

— Пришли, — говорит он, — влево давай! Туда, слышь, где звери режут . . .

Они и вправду ревели. Дикая вой и мат столбом поднимались над долиной, куда была согнана толпа уголовных девок. Всплески этого мата, взрывы истерических воплей, обезьяньи взвизги разносились далеко по тайге, служа ориентиром путникам.

Здесь по воле УРЧ и начальницы ОЛП Циммерман мне предстояло обширное поле деятельности в том же остроумном варианте: половина рабочего дня медицинское обслуживание этого «производственного коллектива», другая половина — на общие работы.

Трудно себе представить что-нибудь более мучительное, чем подобное сочетание. Положение лекаря среди уголовников и так ужасно. А тут их расправа со мной облегчается еще тем, что я должна косить в их компании сено.

Утро начиналось с того, что добрая половина девок сбегалась к тому закутку, где на пеньке были расставлены мои пузырьки. Все они требовали одного — «бюллетней». За отказ давать здоровым освобождение от работы они, изрыгая фантастические ругательства, угрожали всеми казнями, какие только могли избрести их патологическое воображение. Больше всего отпечаталось у меня в памяти обещание «полоснуть бритвой по гляделкам». Мне очень ярко представилось, как я стою слепая, окровавленная, с протянутыми вперед руками, окруженная гочущим зверьем.

Но проявить свою устрашенность — смерти подобно. Обмирая от ужаса и отвращения, надо было спокойно, даже с улыбкой, говорить:

— Ну что вы, девчата! Разве вы не знаете норму на бюллетени? На нашу командировку не больше двух-трех в день, а вас вон сколько! Давайте по очереди. Сегодня вы, Лида, у вас температура повышенная, и вы, Нина, из-за фурункула под мышкой.

(Говорить с ними вежливо и обращаться на «вы», невзирая на все, что они изрыгают, было моим правилом. Необычность такого обращения иногда в какой-то степени охлаждала их.)

Новый взрыв проклятий, угроз, сквернословия. Появление вохры, водворение «отказчиц» в карцер. А после амбулаторного

приема — на работу, на общие сенокосные работы, рука об руку с теми же милыми пациентками.

Но теперь мне легче было переносить все это. Я знала, что где-то, не так уж далеко от Теплой Долины, есть земля обетованная — молферма. И время от времени мне приходили оттуда ободряющие сигналы: записки от Вилли, передачи с хлебом и сахаром. Сигналы эти прибывали с оказией: то с завхозом командировки, то с новыми маленькими этапами. В записках Вилли обнадеживала: зоотехники хлопчут за меня перед УРЧем, перед Циммерманшей. Просят направить меня на ферму. Не लेकर, а птичницей. Не знаю уж, какая у них для этого аргументация, но надежда есть. Надо только запастись терпением.

Терпения у меня было немало. Его хватало на непосильный труд, на голод, на жизнь в рабстве. Но вот к существованию среди уголовных я никак не могла притерпеться.

Это были существа, чуждые и непонятные мне в такой, скажем, степени, как нильские крокодилы. Никакой «обратной связи» у меня с ними не получалось. Иногда я даже начинала упрекать себя. Надо почаще вспоминать о том, что привело их к такому падению. Думала о Достоевском. Старалась внушить себе, что через оболочку этих порочных людей должны же сквозить черты «несчастливого брата». Но мне так и не удалось вызвать в себе не только просветленного сочувствия к ним, но даже простейшего понимания их душевных переживаний. Преобладала боль не за них, а за себя, за то, что чьей-то дьявольской волей я обречена на пытку более страшную, чем голод и боль, — на пытку жить среди нелюдей.

Особенно потрясали меня их так называемые «замостырки», то есть членовредительство, связанное порой с ужасными мучениями. И все ради того, чтобы не работать, «припухать» на нарах. Помню девку Зойку, по прозвищу «психованная». Уродлива, вся в черных рябинах, она вызывала острое физическое отвращение даже у своих соседок по нарам. И вот однажды она вдруг сваливается с температурой сорок. Мечется в жару, впадает в беспамятство, а я извожусь, не зная, как отправить ее из таежной глубины в больницу, опасаясь, не тиф ли у нее, который пойдет косить в этой тесноте и грязи.

Только на третий день я обратила внимание на ее ступню, обмотанную тряпками. Она оказала бешеное сопротивление моим попыткам размотать тряпки и взглянуть на ногу.

— Точно тебе говорю, лекпом: замостырка! — воскликнул командир вохры, наблюдавший эту сцену.

Он неожиданно резко рванул тряпку и обнажил Зойкину ступню. То, что мы увидели, заставило побледнеть даже вохровца. Большой палец ноги был пробит насквозь ржавым толстым

гвоздем, торчавшим по обе стороны черно-синего распухшего пальца. Вокруг гвоздя — зловонное нагноение.

Этот случай был, конечно, из ряда вон. Но искусственные нарывы, сделанные впрыскиванием керосина под кожу, гнойные конъюнктивиты от порошка (соскобленного с химического карандаша), засыпанного в глаза, — все это были повседневные явления моей медицинской практики на Теплой Долине.

Минутами я опасалась за свой рассудок. К счастью, в это время в эльгенской зоне объявилась еще одна медсестра с более легкой, чем моя, статьей. И ее прислали на Теплую Долину вместо меня, а меня перебросили на общие работы, на другую точку таежного сенокоса.

Сенокосная точка, названная Новая Теплая Долина, располагалась еще дальше в глубине тайги. Собственно, и точкой-то ее пока нельзя было назвать. Нам предлагалось самим построить себе шалаши. В помощь нам были выделены две кривоногие белые лошаденки-якутки. И эти лошаденки, и характер окружающего пейзажа — все напоминало нашу планету во времена, непосредственно следовавшие за всемирным потопом. И все-таки я была рада. Здесь не было блатных. Были только нормальные хорошие люди: шпионы, диверсанты, террористы.

Косу я взяла в руки впервые в жизни. А косьба по кочкам — дело сложное даже для опытного косаря-мужчины. Косили мы босиком. Двигались рядами, размахивая косами, пыхтя и задыхаясь, брели по болотам, хромя на кочках. К ночи возвращались в самодельные шалаши. Все мы были мокрые и вымазанные тиной до пояса. Плотно намокшие юбки били по ногам. Те, у кого были «справные» чоботы, пытались сначала уберечь ноги от ледяной воды. Но обутые ноги еще хуже увязали в студеной трясине.

Через полмесяца такой работы я снова ощутила ту странную легкость в теле и постоянную пелену перед глазами, которые я знала уже и раньше как признаки приближения смерти. Норму выработать нам было не по силам. Пайка уменьшалась. Правда, мы топтали ногами несметное богатство — лиловеющие нежным бархатом заросли таежной ягоды — жимолости. Но мы так ослабевали к концу рабочего дня, что не в силах были наклоняться для сбора ягод. К тому же ударили ранние морозы, и мы пропадали теперь от холода в наших самодельных шалашах.

Однажды утром я очень испугалась, когда почувствовала, что почему-то не могу поднять голову. Потом разобралась — ничего страшного, просто моя коса накрепко примерзла к соломенному изголовью, потому что в щели шалашной самодельной двери намело за ночь много снега и мокрой изморози. В ужасе, что опаздываю на развод, я стала отрывать волосы по прядкам.

И в этот самый момент в шалаш вошел веселый женолюбивый вохровец Колька, по прозвищу Вологодский, засланный в глубину тайги за провинность — сожительство с заключенными женщинами.

— С вещой, — весело сказал он, явно радуясь за меня. — Спецнаряд на тебя пришел. На молферму пойдешь! Птичницей . . .

И с уважением добавил:

— Ты что, на воле-то по этому делу, видно, была? Лично тебя требуют. А то, вишь ты, поголовье кур у них уменьшилось . . . Только, слышь ты, транспорта нет. Пешком топать! Дойдешь? Сам тебя поведу. Мне тоже в поселок позарез надо. Так как, дойдешь? Километров тридцать с гаком . . .

Дойду ли? О Господи! Ползком доползу . . . Так, говорите, уменьшилось там куриное поголовье? Ну конечно, кто же, кроме меня, в силах остановить такое бедствие! Дорогая моя Виллечка! Золотые вольные зоотехники Рубцов и Орлов . . . Чем вы взяли неподкупную Циммерманшу?

Увязываю в узел мое окончательно обтрепанное барахлишко. Тороплю Кольку Вологодского. Вологодский конвой вообще самый лучший, это общеизвестно. Не сравнить же его с украинским или ташкентским. Так что если начну совсем падать с ног, то Коля и отдохнуть разрешит, парень славный . . .

А впереди — молферма. Земля обетованная. Молочные реки, кисельные берега . . .

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

БЛЕДНЫЕ ГРЕБЕШКИ

Я стою в центре огромного сарая-птичника с полным ведром в руках и в отчаянии поднимаю его над головой. Ведро тяжеленное, в нем комбикорм, так называемая «мешанка». Ее надо равномерно рассыпать по кормушкам.

Но птицы совершенно как люди — не отличают друзей от врагов и так же готовы убить друг друга за то, чтобы лишний разок клюнуть. Я еле открыла дверь в курятник, потому что в ожидании кормежки все поголовье сгрудилось у дверей. Потребовалось все напряжение сил, чтобы протиснуться. И тут . . . Тут они все бешеной сворой в несколько сот голов кинулись с кудахтаньем на меня, на ведро, на мешанку.

В один миг рушились все мои хрестоматийные представления о курах как о самых безобидных существах на свете. Дескать,

«оробей, загорюй — курица обидит». А что вы думаете? Еще как обидит! Про петухов уж и говорить нечего. Они с диким гоготом и кукареканьем клюют мои голые, без чулок, икры, с лету вспархивают на ведро, грозя перевернуть и опрокинуть его. Один огромнейший петушина, похожий на царского генерала, взлетел ко мне на плечо и осыпает меня оттуда нестерпимыми оскорблениями. А другой, попроще, вроде пьяного разухабистого мужичка, взобрался мне на голову и тоже сыпет отборной бранью. Ох, идиоты! Ведь я иду кормить вас . . . Что же вы делаете?

Не знаю, как бы я совладала с этой стихией, но подоспевает спасение в лице старшей птичницы Марии Григорьевны Андроновой. Она спокойно берет у меня ведро и за две минуты распределяет его содержимое по кормушкам, предварительно ответив на петушинные выпады не менее колоритными образчиками русского фольклора. Меня она посылает на кормокухню принести еще пару ведер.

В мрачнейшем настроении возвращаюсь я, неся еще два тяжелых ведра. Все пропало. Вилли предупреждала меня, что самое важное — ужиться с Андронихой. А это будет не так-то просто, поскольку она пуще всего не терпит этих интеллигенточек, которые омлеты жрать умеют, а ручки боятся пометом выпачкать. Она, колхозный агроном, еще на воле этих барыnek не переваривала. Потому что, хоть она и отсидела пять лет, да и сейчас на материк не выпускают, но все равно за бездельников она заступаться не станет. Может, кто думает, она задается, что по вольному найму сейчас работает уже полгода? А вовсе и не потому. А просто ведь это — живые твари и с ними надо по-настоящему обращаться, хоть они и порядочные гады, эти итальянские лекгорны. Не сравнить их с нашей русской курицей, у наших совесть есть. Но все равно! Это тебе не лесоповал и не мелиорация. Там знай себе, тюкай помаленьку, не надрывайся, лишь бы день прошел. А здесь работать надо, как на материке. Какая ни на есть, а живая тварь . . .

Все это я уже слышала в передаче Вилли. Знала, что кого-то уже сняли отсюда за неважное отношение к курам, а главное — за неумение ужиться с Андронихой.

И вот стою как убитая и сквозь слезы смотрю на угомонившееся поголовье, азартно клюющее теперь, как положено, из кормушек, выстроившись в стройные ряды. Не сладила я с ними . . . Неужели опять лесоповал? Или сенокос?

— Ну чего расстраиваться-то? — вдруг отрывисто бросает Андрониха, грозная Андрониха. — С этими сволочами и каждый не сразу сладит. Ведь это не простая птица, а колымская. К ней подход надо особый. И хоть природа у них благородная, итальянская, но только осатанели они тут на Колыме. Известно, загра-

ничники условий наших не выдерживают. Да и вправду несладко им тут. Обратите внимание на гребешки. Замечаете?

Только тут я и заметила. Так вот почему все куриное стадо выглядит каким-то блеклым, лишенным своей обычной веселой расцветки. Раньше я подумала: это оттого, что они все белые, нет среди них ни курочки-рябы, ни петушка-пеструна! А оказалось, главным образом оттого, что гребешки у всех — и у кур, и у петухов — не красные, как им положено, а еле розовые, с бледно-желтым мертвенным оттенком.

— Авитаминоз! — хмуро бросает Андрониха. — Такие и яйца от них: желток от белка не отличишь. Тут если кое-как работать, так они за неделю все очоурятся.

Того же опасается и ветврач Колотов, тоже бывший зэка, но уже давненько освободившийся и живущий тут же, при ветпункте молфермы. Почти ежедневно он заходит к нам на птичник, и вместе с Андроновой они чего-то колдуют над птицами и вместе убиваются.

— А ну-ка, покажь того, что с глазом, — говорит ветеринар.

Дальше происходит нечто, явно относящееся к черной магии. Андропова с минуту смотрит на толпу птиц своими цепкими, круглыми, тоже немного птичьими глазами и потом ловким безошибочным движением хватает за хвост и подает Колотову именно того единственного петуха, у которого болит глаз. Того самого! Одного из нескольких сот, белого, как и все, с таким же бледным гребешком, как у всех.

Оказывается, у петуха на глазу образовалось нечто вроде бельма, и это тоже авитаминозное явление. И птичница и ветврач страшно беспокоятся: не пошло бы такое поветрие по всему птичнику. Врач назначает больному мазь. Потом они с Марией Григорьевной долго толкуют о том, как еще можно изменить к лучшему рацион, режим дня птиц, освещение птичника.

— Э-эх, на травку бы их... Да под солнышко!

Чтобы приучить меня к делу исподволь, Андропова предлагает мне работать первую неделю в ночной смене, когда куры спят. Ночью всего две заботы: температуру держать, то есть таскать дрова и топить печи, а второе — следить, чтобы не было отхода. Как же за этим следят? А заходить почаще с кухни, где ты печи топишь, в корпус, где куры маются. Как заметишь, что которая-нибудь задумалась, загибаться начинает, сразу — топор в руки и голову ей долой!

Я еще никогда в жизни никому, в том числе и курам, не сносила голов, и слова моей «старшей» приводят меня в ужас. Но тут же возникает яркое воспоминание о лесоповале, о сенокосе, о блатнячках с «замостырьками» — я начинаю подобострастно

улыбаться, понимая кивать головой. Вроде бы для меня нет ничего более простого и естественного, чем рубить головы тем, кто «начинает загибаться».

В первую же ночь произошла катастрофа. Хотя я и не присела ни на минуту, все время обходя свое воинство, мирно дремлющее на длинных насестах, но уловить то роковое мгновение, когда кто-то из них «задумывается», мне не удалось. Я услышала только короткий стук падающего тела. И еще . . . И еще . . . Они валялись теперь на засыпанном опилками полу, неподвижные, холодеющие.

Отход. Страшное слово. Андропова славилась именно тем, что в ее владениях не было отхода. И вот за мою первую ночь — три головы. Я опозорила Марью Григорьевну, опозорила Вилли, которая ручалась за меня, добиваясь с таким трудом моего назначения на эту спасительную для жизни работу. И себя я погубила. Не вылезти мне теперь с общих работ.

Я сидела на корточках, застыв в скорбной позе над мертвыми курицами. Отчаяние мое было такой примерно степени, как если бы покойницы приходились мне тремя родными сестрами.

И вдруг . . . Вдруг скрипнула дверь, и крупными, быстрыми, почти мужскими шагами вошла Андропова.

— Так и знала! Вот не могу заснуть — и все! Хотя и устала как собака. Дай, думаю, схожу посмотрю . . . Скорее! Кипяток есть?

Да, он был. Я вскипятила большой бачок, собираясь мыть пол на кухне.

— Снимайте бачок с печки! На пол его! — командовала Андропова, подбирая мертвых кур.

Через секунду в ее руках был топор, а еще через несколько мгновений все три покойницы были обезглавлены. Теперь Андропова держала в каждой руке по курице, вцепившись в хвосты, и изо всех сил трясла их. Я схватила третью и начала копировать движения моей начальницы. Мы выбились из сил, но наконец достигли цели: с тушек медленными струйками начала стекать кровь.

— Еще! Еще! Чем больше стечет, тем лучше. Счастье, что трупное околение еще не успело наступить. Точно чуяла я . . . А теперь — в кипяток!

Через полчаса тушки были очищены от перьев и лежали на табуретке, имея самый пристойный съедобный вид и напоминая давно забытый прилавок мясной лавки.

Андропова вытерла рукавом лоб и присела на скамейку.

— Ну, что молчите? Думаете небось своими интеллигентными мозгами, что, мол, Андрониха — чудище? Дохлятину сдает за первосортное мясо. А вы-то подумайте, что ведь они не от бо-

лезней падают, а от авитаминоза. Чистенькие, здоровехонькие, только жить у них больше сил нет. Сами начальству в суп просятся. И ничего нашим начальничкам с них не сделается, сожрут за милую душу и косточки обглодают. Проверено. А теперь, если с другого боку подойти: ведь наша дирекция совхоза только цифру понимает. Им само главное — чтобы в графе «отход» прочерк стоял. Нету, мол, у нас его, отхода, потому как мы самые передовые и преобразуем колымскую природу. И не поставь мы этого прочерка, а поставь правдивую чистую цифру, так тут погром пойдет, люди пропадут. Всех заключенных птичников на общие работы погонят, а нас, бывших ээка, вроде меня грешной, во вредительстве обвинят и опять в кутузку. Да и курам тоже беда. Потому что, если выгонят нас, кто по совести работает, а поставят каких-нибудь бессовестных вольняшек, так у них не по три в ночь, а все подряд передохнут. Вот так-то . . . Ну, теперь вы знаете, как в случае чего. Сама я виновата, намеком только вам объяснила, а вы не поняли . . . Ну, я пошла. Устала как собака. Да и голодна как шакал.

Это была ее излюбленная триединая формула: набатрачилась как вол, устала как собака, голодна как шакал . . . Она любила «резать правду-матку», не признавала «никаких экивоков» и «сантиментов с сахаром». Все свое горькое сердце вымещала она на курах и петухах, ради которых, впрочем, готова была работать круглые сутки.

— Хотите научиться, так присматривайтесь, — сказала она наутро после первой моей трагедийной куриной ночи.

И я не пошла спать после ночной смены, а весь день ходила за ней по пятам, изучая каждое ее движение. От того, научусь ли я управляться на птичнике, зависела сейчас моя жизнь. И я научилась.

Я поняла, каким приемом надо взваливать на плечи пятипудовый мешок с зерном, чтобы он не свалился. И как передвигать огромные ящики с яйцами, чтобы не перебить их. И как рациональнее выскабливать полы птичника, очищая их от помета, а потом выносить мешки с пометом во двор и сваливать в кучу на удобрение. И как быстрее таскать ведра с водой, чтобы не матерился водовоз Филька. И многое, многое другое.

Рабочий день начинался и кончался в темноте, длился с пяти утра до десяти вечера. Спала я теперь только на спине, с руками, закинутыми за голову. Руки обязательно должны были лежать свободно, чтобы хоть немного отойти за короткую ночь. Вот когда я впервые по-настоящему поняла, что означают слова народной песни: «Болят белы рученьки со работушки!»

К птицам я тоже пригляделась. Научилась отбивать их атаки на ведра с мешанкой, равномерно распределять корм по кор-

мушкам, собирать яйца из гнезд (руки мои были вечно ислекваны в кровь), научилась даже отыскивать в птичьей толпе пациентов ветеринарного врача Колотова.

Все я делала добросовестно, даже сверхдобросовестно, хотя никакой симпатии к своим подопечным не испытывала. Куры без конца склочничали как с птичницами, так и между собой. Они занимались именно мелкой домашней перебранкой, высовывая головы из своих гнезд, как бранчливые соседки из окон коммунальной квартиры. А петухи — те устраивали разухабистые пьяные драки, разбивая друг другу головы в кровь. И еще долго после драки они воинственно махали крыльями и выкрикивали из разных углов гнусные ругательства. Так что любить их было абсолютно не за что.

Только когда выпадало работать в ночной смене, когда я видела их спящими, иногда возникало к ним чувство жалости. Я обходила корпус, разглядывая их жалкие нахохлившись на длинных насестах фигурки и свесившиеся набок бледные гребешки, и вспоминала о том, что они лишены солнца и зеленой лужайки, что нет у них ни масляной головушки, ни шелковой бородушки, как у их материковских собратьев. Что-то в этих насестах напоминало наш барак ночью, наши сплошные нары. В этих живых существах, спящих тревожным сном, определенно улавливалось нечто общее с нами. Тоже невольники. Тоже авитаминозники. Тоже — всегда топор над головой.

Однажды я так углубилась в это странное чувство, что не заметила, как открылась дверь и вошла Андропова. Она частенько прибегала среди ночи, видно не очень-то надеясь на мою понятливость. Обычно она сразу засыпала меня вопросами. Все живы? А рыбьего жира добавляла в мешанку? А Колотов больше не приходил? Кормушки-то с содой мыла или так?

Но на этот раз она как-то внимательно посмотрела на меня и вдруг спросила:

— Жалеете их, сволочей, да? Стоят они того, подлюки! Все руки ислеквали . . .

И вдруг ни с того ни с сего начала рассказывать про Клаву, которая тут до меня работала. Наверно, мол, я слышала, что Клаву эту отсюда из-за нее, из-за Андроновой, сняли? Ну да уж чего там! Знает она отлично, что интеллигенточки из тюрзака ее за это и фурией, и еще по-всякому честят . . . А того они не знают, как эта Клава над птицами издевалась. В немытые кормушки мешанку сыпала, поилки отродясь не мыла, а в ночь, бывало, только кухню топил, чтобы самой-то тепло. А эти пусть там в корпусе на насестах мерзнут. Ей лишь бы дрова не носить! Сама, понимаете, спасается, а живая тварь пусть себе погибается, благо сказать ничего не может . . . И пусть эти интеллигенточки

как хотят ее, Андронику, обзывают. Фурия так фурия! Она, конечно, человек простой, агроном колхозный, в университетах лекций не читывала. А над скотиной или там над птицей она издеваться не позволит.

А еще через несколько дней, когда я попросилась сбегать в лагерную столовку пообедать, Андропова заворчала:

— Чего там пустую баланду хлебать! Возьмите вон горшочек да принесите свою порцию сюда. Мы ее тут простоквашкой куриной забелим, да яичко битое туда толкнем. Вот и будет у нас суп-ротатуй первый сорт. И мне в столовку не бежать. В вольной-то столовке для бывших зэка та же баланда, только еще деньги за нее плати!

С того дня мы начали обедать вместе, хлебая, как это принято в лагере, из одной миски. Мы поливали лагерную кашу рыбьим жиром, позаимствованным у кур. Варили овсяный кисель из птичьего овса. Наконец ежедневно съедали три яйца на двоих — одно в суп и по одному в виде натурального деликатеса. (Больше брать мы не хотели, чтобы не снижать показателей яйценоскости. По ним судили о нашей работе.)

К лету я настолько физически окрепла на этом питании, что могла уже снова, отвлекаясь от собственной участи, задумываться над общими вопросами. Что будет со страной? Ведь в это лето сорок второго года германские фашисты стоят на Волге. На Волге! Но все эти общие тревоги ложились на глубинную, самую страшную: уже год, как я ничего не знала о моем старшем сыне.

Грозная Андрониха, привязавшаяся ко мне вопреки моей принадлежности к ненавистному ей племени «интеллигенточек», утешала меня в своей обычной манере. «Как пришли, так и уйдут!» — это о фашистах. «Никуда не денется, письма не доходят . . .» — это о моем сыне. Но в душе она тоже беспокоилась и, чтобы утешить меня, даже доставала мне из вольной библиотеки книги и не возражала, если я на ночных дежурствах выбирала иной раз часок, чтобы почитать.

— Смотрите только, не засните над книгой! — предупреждала она. — А то сейчас наш старший зоотехник, говорят, бродит по ночам, ловит, не спят ли люди на дежурстве.

И действительно, в одну из ночей зоотехник Рубцов как Гарун аль Рашид неожиданно предстал передо мной на пороге.

Уже больше шести лет мне не приходилось общаться с обыкновенными свободными людьми, не тюремщиками. Поэтому я разволновалась, когда этот вольный человек, специалист, член партии, приехавший на Колыму по договору, уселся на табуретку с явным намерением побеседовать со мной.

— Что читаете?

Я читала мемуары мадам де Севинье, рваную пожелтевшую книжонку из приложений к «Ниве» за какой-то допотопный год. Рубцов скользнул по ней глазами. Нет, ему хотелось поговорить о другом.

— Ну как, скажите, довольны вы сейчас жизнью, работой? По-моему, здесь вам неплохо. И тепло, и сытно, и вот даже на чтение можно выкроить часок.

Интонация у него была тревожная, как бы требующая ответа на какие-то другие, невысказанные, но куда более важные вопросы. Было ясно, что человек отнюдь не бахвалится своим либеральным отношением к рабам, а наоборот, опасается, не похож ли он сам на рабовладельца.

(Я употребляю эти термины без всяких претензий на определение общественно-экономической формации. Просто к тому времени слово это уже вошло в колымский быт. Я сама как-то слышала, как вольный бригадир кричал в телефонную трубку: «Пришлешь там рабов человек семь-восемь». Правда, потом он засмеялся и сказал, что «раб» — это сокращенное от «работяга».)

Зоотехник Рубцов был, как говорили, не из тех людей, что на все закрывают глаза. Вилли рассказывала мне о его частых столкновениях с директором совхоза Калдымовым (о котором речь будет впереди). А человечность Рубцова по отношению к заключенным мы ощущали ежедневно на себе. Поэтому я с искренним уважением ответила ему:

— Спасибо вам! Здесь, на молферме, точно на другой планете. Я рада, что вы член той партии, в которой и я состояла раньше, до того, как стала тем, чем вы меня сейчас видите. Я просто очень рада, что там еще остались такие люди, как вы.

— А кем я вас вижу? Птичницей! Почетная работа!

Тут я не выдержала.

— Конечно! Если бы это было моей настоящей профессией. А так — нерационально вроде. Сначала учить, давать ученые звания... Потом отправлять на лесоповал или в виде величайшей милости — на птичник. Кстати, если помните, крепостник прошлого века Фамусов, прогневавшись на свою крепостную девушку, грозил ей птичником как репрессией. «Изволь-ка в избу, марш, за птицею ходить!» Прошло больше ста лет. И сейчас я, научный работник, таскаю мешки куриного помета с чувством, что мне оказано большое доверие, и со страхом — не выгнали бы опять на лесоповал. Но это, так сказать, в широком плане. А в частности-то, я бесконечно благодарна вам. Давно бы уж дошла в тайге, на сенокосе.

Рубцов смотрел на меня все внимательней. На его суховатом

умном лице отражалось и напряженное внимание, и одновременно какое-то смущение.

— Да, нелепостей много. И непонятностей тоже. — Он помолчал. — Но по сравнению с общими работами ведь здесь и вправду лучше вам?

— Еще бы! — Я засмеялась и быстро зашелестела страницами мемуаров мадам де Севинье. — А-а-а . . . Вот это местечко! О судьбе инсургентов. Вот она пишет: «Несчастные так устали от колесования, что поведение казалось им чистейшим отдохновением . . .» Недурно?

Старший зоотехник коротко хохотнул. Потом протянул мне руку.

— До свиданья. Извините, я нарушаю приличие. Дама должна протягивать руку первая.

— Это в данных обстоятельствах несущественно. Важнее, что вы нарушаете режим. Вольные не должны протягивать руку заключенным.

Он крепко сжал мою ладонь и, быстро повернувшись, вышел.

Иногда на ночное дежурство заглядывал и второй зоотехник — Орлов. Этот был беспартийный, много повидавший в жизни и, как говорили, поторопившийся приехать на Колыму в качестве вольного, чтобы не пришлось поехать иначе. Был он костромской, страшно жал на букву «о», цитировал наизусть Пришвина и весь загорался, когда речь заходила о деревне. Похоже, что колхозные боли волновали его даже сильнее, чем все то, что он видел здесь, в совхозе Эльген.

— А ведь это неплохо, что вы поработаете у нас на птичнике, — сказал он мне как-то, — вот освободитесь скоро (он вечно твердил, что скоро всех выпустят), так по крайней мере будете знать, что такое колхозный труд.

Он был прав. Я сама нередко думала об этом, сгибаясь под тяжестью очередной многопудовой ноши. Было у меня, в моей прошлой жизни, одно постыдное воспоминание. Как-то, году в тридцать четвертом, я была в газетной командировке в одном татарском селе. Однажды мне пришлось что-то брать из рук в руки у моей ровесницы, молодой колхозницы по имени Мансура. Кажется, яйца она мне продавала и вот отсчитывала их. Только вдруг на какой-то момент наши руки оказались вплотную одна к другой. И Мансура сказала: «Э-эх, ручки! Красота!»

Сказала она это без всякой задней мысли. Просто ей действительно понравились мои тоненькие, беленькие, маникюренные пальцы. Они так рельефно вырисовывались на фоне ее большой разработанной красно-коричневой руки, с набрякшими венами, с потрескавшимися пальцами и обломанными ногтями. Она-то не хотела меня обидеть, но я сама вдруг увидела эти две руки —

мою и ее — крупным планом, как в кино. И испытала жгучий стыд. С этими ручками я приехала поучать ее, как коммунизм строить. Много раз потом, в одиночке, когда мысленно тысячекратно составляла свой некролог, это воспоминание возникало и мучило.

А сейчас . . . Прав зоотехник Орлов. Сейчас у меня руки точно такие, как были у той Мансуры. За год работы на эльгенском птичнике я впервые по-настоящему поняла, что такое крестьянский труд. Именно крестьянский, а не просто каторжный, как на лесоповале или сенокосе.

Как осмысленно и человечно могли бы мы жить теперь, если бы можно было выйти отсюда! Отказавшись от всех незаслуженных привилегий . . . Согласуя дела с мыслями . . .

Да нет, это тоже иллюзия. Мы вообще, наверно, уже не смогли бы жить. От усталости. Перетянул бы «бледный гребешок» — та обесцвеченная авитаминозом и страданиями часть души, которая так и тянет свалиться с насеста, коротко стукнуться об пол и застыть в блаженстве небытия.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ В ЧЬИХ РУКАХ ТОПОР

Иногда приходится слышать от людей, переживших сталинскую эпоху на воле, что им было хуже, чем нам. В какой-то мере это верно. Во-первых, — и это главное, — мы были избавлены судьбой от страшного греха: прямого или косвенного участия в убийствах и надругательствах над людьми. Во-вторых, ожидание беды бывает порой мучительней, чем сама беда. Но в том-то и дело, что стрясяшая с нами страшная беда не освободила нас от постоянного изматывающего ожидания новых ударов.

Особенность нашего эльгенского ада заключалась в том, что на его двери не было надписи «Оставь надежду навсегда». Наоборот, надежда была. Нас не отправляли в газовые камеры или на виселицы. Наряду с работами, обрекавшими на гибель, у нас существовали и работы, на которых можно было уцелеть. Правда, шансов на жизнь было много меньше, чем на смерть, но они все-таки были. Призрачная, трепещущая, как огонек на ветру, а все-таки брезжила надежда. А раз есть надежда, то есть и страх.

Так что не было у нас преимущества бесстрашия, не могли мы сказать, что уже не прислушиваемся к шагам, не приглядываемся к теням, не могли чувствовать себя как люди, которым окончательно нечего терять . . . Ого, еще как я боялась потерять своих кур с бледными гребешками, и свою Марию Андронову,

и свою Вилли, и возможность батрачить от зари до зари, но не на открытом воздухе, а в помещении.

И не я одна. Все, особенно те, кому удавалось вырваться хоть ненадолго с общих работ, жили в вечном страхе. Этапы. Карцеры. Доносы «оперу». Заведение новых дел с возможными смертными приговорами. Было, было чего ждать и чего бояться.

Больше года длился мой птичник, и каждый день сжималось сердце при виде появлявшихся на ферме официальных лиц: рядчика из центральной зоны, режимника, работников УРЧа. Ох, что-то, кажется, посмотрел на меня очень пристально! Вот сейчас скажет: «С вещами!»! О Господи, пронеси! Идет мимо... Значит, не в этот раз. И пятипудовый мешок за плечами кажется легкой и радостной ношей. Пронесло. А назавтра — опять...

Андрониха дает мне отличные производственные характеристики. Благородные зоотехники уже дважды премировали меня «за показатели яйценоскости» телогрейкой первого срока и крепкими чоботами. Но все равно... Ведь не в их руках наша судьба, не они вольны в наших «животе и смерти». Не в их руках занесенный над нашими головами топор. А в чьих же?

В течение почти всего многолетнего эльгенского периода фактическими хозяевами наших жизней были двое: начальница эльгенского лагеря Циммерман и директор совхоза Эльген Калдымов.

Калдымов, как это ни странно, был философом. Философом по профессии. Он окончил философский факультет и преподавал где-то диамат. На Колыму он приехал добровольно и, как говорили, в связи с деликатными семейными обстоятельствами. Его дочь, четырнадцатилетняя школьница, неожиданно родила ребенка. Захватив юную мамашу с младенцем, Калдымов якобы решил уехать подальше, спасаясь от злых языков.

Был он высок, плечист, с густым малиновым румянцем, с некрошущимися белыми зубами. Во всем его облике, в движениях, в походке, в том, как он скакал по совхозным полям на коне (обязательно — на белом), чувствовалась закваска крестьянской мордовской семьи, в которой он принадлежал к первому поколению, получившему образование. В работу он, что называется, вникал лично, и если судить по выполнению планов, то вроде и неплохо руководил этим таежным колымским совхозом с его заключенной «рабсилой», которую правильнее было бы назвать «рабслабостью», поскольку все едва волочили ноги.

Он отдавал себе в этом отчет и вел свое хозяйство именно как экстенсивное, основанное на рабском ручном труде, на частой смене «отработанных контингентов». Когда ему докладывали об очередных вспышках «падежа» заключенных, он отвечал: «Новых получим. Поеду в Магадан. Добьемся». Он считал, что

куда эффективнее поехать в Магадан и добиться там свежих этапов, чем возиться с полумертвецами из политических эшелонов тридцать седьмого года, укладывая их в ОПЗ и выдавая бездельникам повышенные пайки хлеба. Особенно выгодны были «свежие контингенты» в эти военные годы, когда вместо подыхающих московских и ленинградских интеллигентов можно было за просто «добиться» западных украинцев, молодых, здоровых, знающих сельскую работу, или, на крайний конец, девок-«указниц», арестованных за самовольный уход с производства.

Он не был садистом. Никакого удовольствия от наших мучений не получал. Он просто НЕ ЗАМЕЧАЛ нас, потому что самым искренним образом НЕ СЧИТАЛ НАС ЛЮДЬМИ. «Падеж» заключенной рабсилы он воспринимал как самую обыденную производственную неполадку, вроде, скажем, износа силорезки. И вывод в обоих случаях был один: добиваться новых!

Жестокости своей он не осознавал, она просто была для него обиходным делом. Вот, например, диалог между ним и зоотехником Орловым, случайно подслушанный нашей тюрзачкой, которая кайлила навоз в районе молфермы.

— А это помещение почему у вас пустует? — спрашивает Калдымов.

— Здесь стояли быки, — отвечает Орлов, — но мы их вывели сейчас отсюда. Крыша течет, углы промерзли, да и балки прогнили, небезопасно оставлять скот. Будем капитально ремонтировать.

— Не стоит на такую рухлядь гробить средства. Лучше пустите под барак для женщин...

— Что вы, товарищ директор! Ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали.

— Так то — быки! Быками, конечно, рисковать не будем.

Это не было ни шуткой, ни острословием, ни даже садистским измышательством. Это была просто глубокая убежденность рачительного хозяина в том, что быки — это основа совхозной жизни и что только крайнее недомыслие зоотехника Орлова позволяет ставить их на одну доску с заключенными женщинами.

В своем «сангвиническом свинстве», в постоянном ощущении твердости и незыблемости заученных тезисов и цитат он был бы, я думаю, страшно удивлен, если бы его в глаза назвали работодателем или надсмотрщиком над рабами. Та «лестница Иакова», в основании которой стояли заключенные и которая увенчивалась Великим и Мудрым, а где-то посередине, ближе все-таки к вершине, находился и номенклатурный директор совхоза, казалась ему абсолютно незыблемой и существующей от века. Твердое убеждение в неизменяемости этого мира, с его иерархией, с его вошедшими в быт формами, чувствовалось в каждом слове,

в каждом поступке директора. Все, что не входило, не вмещалось в этот мир, в котором он вырос, выучился и по ступеням дошел до нынешнего положения, было от лукавого. Хозяином ходил он не только по вверенному ему совхозу, но и по всей земле.

Иногда он, видимо, начинал скучать по оставленным на материке абстракциям. Они органически входили в его мироощущение. Поэтому он охотно читал время от времени вольняшкам совхоза лекции на теоретические темы. Когда Вилли Руберт освободилась и стала работать уже в качестве вольнонаемной экономистом совхоза, ей довелось слушать эти лекции.

Они были ничем не хуже других. У директора была хорошо натренированная память, и временами он даже отрывал свой веселый голубой взор от бумажки. С терминологией тоже все было в порядке. «Гордость» всегда шла с эпитетом «законная». «Слава» была, конечно, «неувядаемая», «патриотизм» — «животворный». Управлялся он и с философскими понятиями. «Теоретизированье» всегда шло с разоблачительным эпитетом «голое». «Риторизм» был «трескучий», а «эмпиризм», естественно, «ползучий».

Разным уклонистам, вроде вульгарных механистов, меньшевистствующих идеалистов и прочих деборинцев, пощады на этих лекциях, конечно, тоже не было. Но когда кто-то из лагерной администрации подал реплику в том смысле, что и у нас на Эльгене есть кое-кто из этих философских злоумышленников, Калдымов посмотрел пустыми глазами и оставил реплику без внимания. Ровно ничего не отразилось на его высоком челе. Никак не связывались в его сознании серые фигуры работяг, бредущих с разводом, и те «разработки», на основании которых ему предлагалось «бороться» с невидимыми идейными противниками, разоблачение которых было четко пронумеровано по пунктам и подпунктам и входило в состав экзаменационных билетов, по которым он проводил, бывало, вузовские экзамены.

Топор, который был в руках Калдымова и который всегда был занесен над нашими головами, разил не личности, не индивидуумы, а группы заключенных, целые отряды. Никогда он не давал команду: «Иванову — на лесоповал!» или «Петрову — на сенокос». Топор опускался сразу на большую группу. Распоряжения звучали так: «Снять пятьдесят человек с агробазы и послать на Теплую Долину!» или: «Семьдесят душ с закрытых работ — на кайловку!»

Его не интересовало, есть ли в том углу тайги хоть подобие жилья, хоть самое примитивное укрытие от колымских стихий. Все с тем же малиновым румянцем на щеках, все с той же улыбкой, обнажавшей несокрушимые зубы, он «списывал» тех, на чьи

головы опускался его топор, и ехал в Магадан «добиваться» новых этапов.

Любопытно, что блатные, награждавшие всех начальников цензурными прозвищами, очень долго называли Калдымова его настоящей фамилией. Только однажды Ленка Рябая, иногда читавшая книжки и любившая в бараке «тискать романы», заявила во всеуслышание:

— Его настоящая фамилия не Калдымов, а просто Дымов. А КАЛ — это его имя . . .

С тех пор так и пошло.

Что касается начальницы лагеря Циммерман, то блатные иногда звали ее Шукой (из-за вылезавших вперед и лежащих на нижней губе верхних зубов), а иногда просто Циммерманшей. По крайней мере, абсолютно непотребная частушка, сочиненная той же Ленкой Рябой и распевавшаяся блатным миром, начиналась со строк:

*Сел Кал Дымов на машину,
Циммерманша у руля . . .*

Валентина Михайловна Циммерман была старым членом партии не то с восемнадцатого, не то с девятнадцатого года. Некоторые наши, из тех, кто постарше, даже узнавали в ней своего бывшего товарища, вспоминали ее на партсобраниях начала двадцатых годов. Узнавание, правда, было односторонним. Сама Циммерманша абсолютно никого не помнила. Она, например, ни разу не остановилась при своих обходах барачков около задыхающейся в страшных сердечных приступах Хавы Маляр, с которой на воле была близко знакома и состояла в одной парторганизации.

Было эльгенской начальнице тогда лет за сорок, и она сохраняла стройную подтянутую фигуру. Так что когда она в военной форме, окруженная вохровцами и режимниками, шла по барачкам, то в ней проглядывалось некоторое сходство с красавицей Эльзой Кох.

До сих пор, до самых семидесятых годов, дожила в нашей среде дискуссия о Циммерманше. Среди эльгенских последних могикан, еще доживающих свой век, находятся люди, питающие к Циммерман некоторое уважение за то, что она была ЧЕСТНАЯ. Да, просто честная в самом буквальном смысле этого слова. Она не воровала продуктов из столовой ээка, не брала взятки за освобождение от смертельно опасных работ, не делала никаких комбинаций с лагерной казной, чем и выделялась как некое инородное тело из среды своих коллег, очень ее недолголюбивавших.

Кроме честности ей был свойствен даже некоторый аскетизм. Было известно, что безмужняя Циммерманша живет с дву-

мя сыновьями, не участвует ни в каких попойках и колымских начальнических увеселениях. Были даже слухи, что и самые высокие севлаговские чины ее терпеть не могут. Забуддыги, взяточники и развратники нюхом чуяли в ней что-то чужое и отскакивали от нее, как, говорят, отскакивает волк от хищников другой породы.

А я (хоть знаю, что многие сочтут это ересью) задумывалась тогда, а тем более теперь, над этой проблемой. Какую ценность имеют такие добродетели, как честность, умеренность личных потребностей и даже неподкупность, когда всеми этими качествами одарена личность, выполняющая по отношению к другим людям палаческие функции? И кто более человечен: сменивший впоследствии Циммерман начальник Пузанчиков, отнюдь не страдавший аскетизмом, но умевший иногда смотреть сквозь пальцы, если заключенный утащит с агробазы спасительный капустный лист, или Циммерманша, убивавшая и убившая многих совершенно бескорыстно, исходя из самых, с ее точки зрения, идеальных побуждений?

Она разговаривала со всеми отрывисто и беспощадно, но называла всех на «вы». Она выбрасывала в парашу обнаруженные при обыске в бараке «левые» котелки с кашей, но следила, чтобы все жиры, положенные на эковскую норму (из расчета ноль целых и еще сколько-то сотых на душу) попадали в котел, минуя хищные лапы придурков.

В противоположность Калдымову, она различала в толпе заключенных отдельные фигуры, и ее топор часто опускался не только на группы людей, но и на отдельные индивидуальные шеи. В частности, на мою. При этом она исходила, очевидно, опять же из самых, по ее мнению, благороднейших принципов — из борьбы за честность, целомудрие и соблюдение режима.

Надо сказать, что по вопросу о воровстве в нашей среде сложилось довольно единодушное мнение. Кражей считалось и соответственно осуждалось общественным мнением только присвоение чьей-то ЛИЧНОЙ собственности. Что же касается пользования продуктами, к которым мы получали доступ по роду работы, то мы были убеждены в своем полном праве пользоваться ими, беря потихоньку, поскольку открыто не разрешалось.

— У меня больше украли, — говаривала моя Андрониха, разбивая яичко, чтобы забелить нашу лагерную баланду. — Уж не считая того, что трудилась бесплатно пять лет, так еще и имущество конфисковали, а ведь ни за что ни про что. Девчонка бы могла хоть продавать да жить, пока родители в тюрьме. Так нет, всю мебель повывезли. Еще как назло, только что шифоньер купили . . . Полированный!

— Знаешь, — мечтательно говорила Вилли Руберт, — мы

с тобой могли бы хоть по десятку яиц в день воровать. На нас никто не подумает. Такие интеллигентные . . .

И если мы этого не делали, ограничиваясь только «забеливанием», для которого выбирали разбитенькое, то исключительно боясь не за свою совесть, а за «процент яйценоскости». Ведь им определялась наша работа.

Циммерман не пропускала ни одного случая, ставшего ей известным. Возмущаясь «попустительством» производственного начальства, она подписывала несчетное количество приказов о водворении в карцер за «хищения» на производстве. И рука у нее не дрожала. И не приходили ей в голову беспринципные соображения о том, что люди, посягнувшие на священную социалистическую собственность, были голодающими. Ведь она сама была ЧЕСТНАЯ. Не воровала, не брала взятку. И ей ли, с высоты этих добродетелей, не покарать дерзкую, осмелившуюся во время работы на овощехранилище сжевать своими выпадающими цинготными зубами казенную сырую картофелину?

В царствование Циммерман Еве Кричевой оформили новый срок за «кражу помидоров с агробазы». Когда заключенный врач Марков подавал начальнице рапорты с ходатайствами о применении сульфидина для зэка, больных тяжелой формой крупозной пневмонии, она почти всегда накладывала своим четким почерком резолюцию «Отказать». После такой резолюции умерла Ася Гудзь, талантливый литератор, обаятельная женщина. Так погибла совсем еще молодая — двадцатипятилетняя — Ляля Кларк, арестованная студенткой. В последнем случае Циммерман написала свое «отказать» еще решительней, устно разъяснив Маркову, что Кларк не только враг народа, но вдобавок еще полунемка-полуангличанка. А сульфидин, как известно, на Колыме дефицитен и надо хранить запас на случай болезни ценных для фронта и тыла людей.

Начальница изо всех сил охраняла принцип честности и сохранности народного добра.

Еще суровее боролась Циммерман за целомудрие. Когда она отправляла в этапы, сажала в карцеры за «связь зэка с зэкою» или, что еще хуже, «за связь зэка с вольнонаемным», на ее лице можно было прочесть не только начальственный гнев, но и откровенное презрение к развратникам. Они оскорбляли белизну ее вдовьих одежд. А в том, что в основе всех связей лежит только разврат, она никогда ни на минуту не усомнилась.

Может быть, именно в этой прямолинейности суждений и было заложено то зернышко, которое, разросшись, показало нам фанатичную большевичку первых революционных лет, «кожаную куртку», в образе начальницы лагеря, одетой в военный мундир, скроенный по модели, созданной Эльзой Кох.

Эволюция Циммерман должна бы стать темой особого исследования историка, социолога, большого писателя. Мне не под силу.

Тогда мне порой казалось, что она не может не осознавать трагичности своего положения, что для нее наша эльгенская зона — тоже зона. Иногда мне казалось, что в один прекрасный день она вдруг может увидеть себя со стороны и полезть в петлю.

Но это были, наверно, только интеллигентские домыслы, потому что конец ее жизни вполне благополучен. Говорят, что даже сейчас наша Циммерманша, награжденная медалью «За победу над Германией» (без выезда из Эльгена!), доживает, так сказать, «на заслуженном отдыхе», получает персональную пенсию и пользуется столовой старых большевиков в Риге, где она нередко встречается с теми, над чьими бесправными, истерзанными головами она годами держала топор. И не только держала, но и опускала его.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ДОБРОДЕТЕЛЬ ТОРЖЕСТВУЕТ

Живя годами в трагедийном мире, как-то смиряешься с постоянной болью, научаешься даже иногда отвлекаться от нее. Утешаешь себя тем, что страдание обнажает суть вещей, что оно — плата за более глубокий, более близкий к истине взгляд на жизнь.

В этом смысле моя судьба в лагере была завидной. Точно некий Редактор обдуманно направлял меня для сбора материала на самые различные круги преисподней, где я могла видеть столкновения характеров, поступков, мыслей в наиболее резком свете.

Невыносимо становилось только тогда, когда страдания делались скучными, когда снова повторялись уже осмысленные ситуации, когда оставалась мука как таковая, без отвлекающей и облагораживающей возможности размышлять. А случалось это всякий раз, когда меня снова и снова заталкивали на уголовную командировку в качестве медсестры.

Так было и на этот раз. Новая командировка называлась игриво — Змейка. Снова голод, от которого уже отвыкла за год, братски деля с курами их роскошный рацион. Снова таежное комарье, кривые бараки со сплошными нарами и, главное, снова плотное кольцо одиночества. Не с кем слова молвить. Девки-уголовницы, все точно снятые с одной колодки, да вохровцы, обходящиеся тремя десятками клишированных фраз.

Теперь я стала похожа на сударского инструментальщика Ёгора. Тот тосковал по центральной эльгенской зоне больше,

чем по родной деревне. Вот и я сейчас ловила себя на том, что тоскую по молфермовскому птичнику больше, чем по Казанскому университету. Это пугало как признак запустения души, и я судорожно искала ей пищу. Может, в природе?

Укрытая от ветра Змейка заросла высокими развесистыми лиственными деревьями. Прелесть здешнего пейзажа отличалась от сударской. Там красота была сумрачная, типично колымская, а на Змейке был оазис. Такие места встречаются изредка на Колыме, в стороне от зловещих скал и болот, окаймляющих центральную трассу. Пользуясь относительной свободой передвижения вокруг «командировки», я облазила окрестности Змейки и обнаружила удивительные, просто сказочные уголки. Помню островок, поросший серовато-розовой замшевой вербой. Кажется, что где-то в этих зарослях прячется пряничный домик.

Домика не оказалось. Зато Баба-яга прочно обосновалась на Змейке в должности завхоза. Гаврилиха была кривобока. При разговоре она брызгала слюной. Вылезшие вперед длинные верхние зубы лежали на нижней губе. Этот штрих делал ее, безобразную, чем-то похожей на красивую Циммерман. Гаврилиха была как бы карикатурой на нашу стройную начальницу.

Всего какой-нибудь год назад Гаврилиха еще стояла по ту сторону черты: она была сотрудницей УРЧа магаданского женского лагеря, а муж ее был начальником того же УРЧа. Потом эту даму, как говорится, бес попутал: не то она потеряла какую-то секретную бумагу, не то разболтала ее содержание. Только дали ей три года срока за легкомысленное отношение к служебным тайнам.

Попав в качестве заключенной под руководством Циммерман, она сумела понять характер начальницы, угодить ей, получить ответственный пост в лагослуге. Увы, Баба-яга, сумевшая притвориться, не сумела все-таки преодолеть основных свойств своей природы и быстро попалась на каком-то жульничестве. Лагерная ее карьера стремительно покатила вниз и довела ее до Змейки. Правда, пока еще не работягой, а завхозом, но уже вдалеке от центральной зоны, на гнусной, голодной, уголовной точке.

Ненависть девок к Гаврилихе была до того остра, что я все время опасалась: не привели бы они в исполнение свои ежедневные угрозы, не зарезали бы Бабу-ягу. Я даже пробовала было осторожно намекнуть ей, что в этой обстановке надо бы умерить хищность повадок. Напрасно. К недоеданию недавняя сотрудница УРЧа была непривычна, и с каждым днем обменные операции с казенными продуктами становились все смелее и неосмотрительней. Иногда глухой ночью я просыпалась от сладострастного чавканья, несущегося с Гаврилихиных нар. Только под покровом ночной тьмы она рисковала проглотить свой нечестивый кусок.

Ведь шел сорок четвертый. Лагерный паек и без того скудел с каждым днем, с каждой неделей. И те десять граммов, которые при развеске хлеба зажуливались с каждой пайки, вырастали в грозную причину бунта. Народом в данном случае были блатные «оторвы» и «шалашовки», и бунт грозил стать кровавым. Уже шатались вокруг Змейки блатари-мужчины, которым девки дали знать о своем бедственном положении.

Мы с бригадиром Клавой Батуриной пытались говорить об этом с охраной. Но вохровцы, сытые, обленившиеся, жили по принципу «день да ночь — сутки прочь», отсиживались тут от войны и не хотели конфликтов.

И кончилось бы все это очень плохо, если бы не скрутила Бабу-ягу лихая желудочная хворь. Я сказала командиру, что надо, мол, ее в больницу, а то, кто знает, не брюшник ли. И командир сам отвез ее на попутном тракторе в центральную зону, а вернувшись, распорядился, чтобы хлеб до ее возвращения развешивала я.

Мы с бригадиршей Клавой принесли Гаврилихины весы, которые она держала в темном закутке, так называемой «кладовой», и водрузили их на стол в середине барака. Я резала хлеб и развешивала его на глазах у девок. Первая же, честно взвешенная пайка была явно больше обычной, Гаврилихинской.

Эта неслыханная демократизация снабжения вызвала восторженное умиление девок. Профессиональные воровки были до слез тронуты самой возможностью увидеть честного завхоза.

— Дешевка буду, коли до Циммерманши не дойду! — иступленно кричала Ленка Рябая и тут же «забожилась по-ростовски», что Баба-яга вернется на свой пост только через ее, Ленкин, труп.

Они давно собирались идти к начальнице. У них даже лежала припрятанная Гаврилихина пайка. Пусть перевесят, ну там усушку учтут, конечно, но пусть Циммерманша сама посмотрит, сколько с каждой пайки воруют. А теперь вот для сравнения еще захватят с собой ту безобманную пайку, что Женька-лекпомша дает.

Не знаю, как все это осуществилось, но через несколько дней меня вызвали к Циммерман. Впервые грозная начальница посмотрела мне в лицо спокойными и, пожалуй, даже доброжелательными глазами. Ведь я проявила как раз то качество, которое она ценила выше всего, — честность. Честность в прямом и узком смысле слова. Не воровать!

— Я назначаю вас завхозом Змейки.

Я похолодела. Материальная ответственность в этой обстановке! Да еще в сочетании с моим арифметическим кретинизмом! Сознаться в этом вслух я не смела, но ведь про себя-то я знала: для того, чтобы, скажем, вычсть из семидесяти шести

двадцать пять, я шептала про себя: «если отнять десять, будет шестьдесят шесть, потом еще десять — пятьдесят шесть, а если еще пять отнять, то будет . . .» В общем, недаром я получила среднее образование в тот период, когда молодая советская школа экспериментировала в направлении ранней дифференциации обучения, и мне, тринадцатилетней, было разрешено полностью посвятить себя гуманитарным наукам.

— На любые общие работы! — молила я Циммерманшу. — На самые тяжелые! Только не это . . . Я просчитаюсь, провешусь, меня будут нещадно надувать кладовщики . . .

И вдруг, в ответ на этот вопль отчаяния, случилось почти невозможное. Начальница как-то странно взглянула на меня и произнесла немислимые слова:

— А что если я назначу вас медсестрой к врачу Герцберг, в амбулаторию центральной зоны?

Не может быть. Ведь это один из наивысших придурочьих постов. Неужели это возможно для меня? Ходить в чистом белом халате? Жить в бараке обслуги, где стоят отдельные топчаны, а по вечерам лампочка горит так ярко, что можно читать, сидя за столом в середине барака? Работать в тепле, под начальством доброй, мягкой Полины Львовны, памятной мне еще по деткомбинату?

. . . Все эти дерзновенные мечты осуществились. По вечерам в амбулатории центральной эльгенской зоны мирно потрескивает глиняный подтопок. И халат у меня чистый. И топчан с двумя бязевыми простынями в бараке обслуги.

. . . Но все это ничуть не касается того манекена с механическими движениями и застывшими глазами, который теперь существует под моим именем. Разве это еще я? Разве я могу еще быть живой после того, как свершилась надо мной самая страшная моя кара? После того, как погиб мой сын, мой первенец, мое второе «я»?

Это сорок четвертый. Предчувствовала . . . Заклинала . . . «Господи, да минует . . . Пусть любая другая чаша, только не эта, не эта . . .» Не миновала.

Я ожесточилась. В тысячный раз смотрю на строчки маминого письма и не замечаю, что буквы скрючились от непереносимой боли. Только спустя шесть лет, когда пришла следующая похоронная — на маму, — я снова вытащила это письмо и, сопрягая две непереносимые боли, впервые поняла, каково ей было выводить неповинующей рукой буквы, втыкать дочери нож в сердце. Но это только через шесть лет. А тогда — никакой жалости к матери, овдовевшей, потерявшей меня, а теперь еще и старшего внука. С таким же оцепенением вчитываюсь в ее телеграмму: «Переживи. Сохрани себя ради Васи, ведь отца у него

тоже нет». Почти равнодушно прохожу мимо содержащегося здесь косвенного известия о гибели мужа. Никого, никого мне в это время не жалко. Эгоизм страдания, наверно, еще более всеобъемлющ, чем себялюбие счастливых.

Не будь я в те недели под конвоем . . . Сколько их было кругом — бурных, ледяных, громкоголосых таежных рек и речушек. Любая могла погасить бедную израненную память . . .

Но меня не оставляют ни на минуту наедине с собой. Меня конвоируют, заставляют работать. Вокруг меня десятки, сотни людей. Я ставлю им банки, вскрываю фурункулы, капаю капли в глаза и нос, бинтую обмороженные пальцы рук и ног. На Сударе я делала все это любовно, с глубоким состраданием к людям. Сейчас все мои движения автоматичны. Я часто забываю, что банки пора уже снимать, и Полина Львовна укоризненно качает головой. Спыхватываюсь. Вспоминаю. Ведь на вид я все еще живая.

По утрам, открывая глаза, я осознаю себя в живых по чувству острого страдания, щупальцами впившегося в грудную клетку. В юности мне нравилось повторять: «Мысль — значит, существовать». Теперь я могла бы сказать: «Страдаю — значит, жива».

.

От барака к бараку движется процессия. Впереди начальница лагеря, за ней начальник режима, командир взвода вохры, начальник КАВЕЧЕ, нарядчик, староста. Шествие замыкает медсестра. Иногда Полина Львовна посылает меня вместо себя. Это ежедневный обход. В каждом бараке дневальная рапортует. На работе — столько-то, выходных — столько-то, больших — столько. Иногда, куда реже, чем на отдаленных таежных точках, попадают «отказчики». Скажем, тетя Катя из немецкого барака. Ей семьдесят, и у нее ревматизм. Вообще-то она крепкая жилистая старуха, и ее заставляют хоть на два-три часа выйти на работу. На снег! Расчищать снег, хотя бы только в зоне. А тетя Катя не хочет. Она сидит целыми днями в бараке и вяжет носки из ниток, которые с великой тщательностью надергивает из американских мешков из-под муки. Мы едим теперь белый, как вата, маисовый американский хлеб, а мешки по благу добывают в каптерке, с них счищают остатки муки, их стирают, кипятят, а потом вышивают, мережат или вяжут из них любые предметы туалета: носки, рукавички, разные воротнички и косынки. Тетя Катя — первый специалист.

— Работать надо! — объясняют ей начальники.

— Драусен? — возмущенно восклицает тетя Катя, делая вид, что не умеет говорить по-русски. Потом она быстро и сердито говорит на немецко-колониистском диалекте, что сначала надо

кормить, а потом уж гнать на работу. Что за паек ей дают! Воровью не хватит! Она уже ходила жаловаться в сельсовет и еще пойдет. Тетя Катя упорно именует наш УРЧ сельсоветом, и объяснить ей разницу невозможно.

От нее отступаются. Все-таки семьдесят. К тому же сейчас не до нее и вообще не до старых этапов. Идет бурный и нелегкий процесс освоения новой рабсилы. В сорок третьем—сорок четвертом эльгенскую зону пучит и распирает от новых этапов.

С этими этапами впервые дошли до нас отголоски войны. Западные украинки. Вчерашние «заграничницы». Молодые, кровь с молоком. Просто чудо, во что превратился под их трудолюбивыми руками отведенный им второй барак! Дощатый пол засветился, как яичный желток. Засверкали хрустальным блеском зачуханные, склеенные из обломков стекла окон. На столбах вагонок появились зеленые веточки стланика. С соломенных подушек свисают трогательные вышитые рушнички. А производственные планы! Что сотворили эти кудесницы с нашим совхозным планом! Они его просто выполнили! Всерьез, без туфты.

Единственное, с чем приходится начальству трудно, — это с верностью «западнячек» церковному календарю. Вроде бы самый обычный вторник, а второй барак целиком не вышел на работу. Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Процессию обхода встречают слаженным пением молитв.

— Что же вы не на работе? Больны? — вежливо интересуется начальник режима.

— Ни, громодянин начальнику. Хворых не мае. Але сьгодня свято . . .

Начальству не хочется прибегать к репрессиям. Целый барак не потащишь в карцер. К тому же эти дивчины — ударницы производства. На передний план выдвигается начальник КАВЕЧЕ.

— Вот ведь до чего вы народ несознательный, — огорченно произносит он, подергивая плечом. — Девушки вы все работающие, честные, а в такую ерунду верите.

— От зато ж мы и честны, що в Бога веруемо.

. . . Почему-то эти крепкотелые поворотливые дивчины с южным колером лиц до смерти любят лечиться. На вечерний прием они битком набиваются в нашу амбулаторию.

— По пид грудями дуже пече, — напевно повествует двадцатилетняя Марийка, поводя своими иконописными очами. — А писля у кишки як вступе, як вступе . . . Ажно у роти солодко робиться . . .

Пытаюсь перевести разговор в конкретную плоскость.

— Присишь освобождение от работы?

— Та ни . . . Робити могу . . . Але прошу дать якись капли . . .

Неслыханное в лагерном быту явление — не нуждается в

освобождении от работы. Тогда, наверно, красочное описание болей «по пид грудьями» — это форма проявления тоски по личному, по участливому вниманию к себе.

— Тебя за что взяли, Марийка? — с опаской спрашиваю я, накапывая в мензурку ландышевые капли.

Ведь уже семь лет прошло с тридцать седьмого. Как же это выглядит теперь, на фоне войны, гитлеризма, безмерного всеобщего страдания? Неужели все так же? По плану? По разверстке? Так за что же, Марийка?

— Дуже дякую за капли.

— Не хочешь говорить? Ни за что, наверно?

Марийкины очи темнеют, щурятся, теряют иконную невозмутимость.

— Як це — ни за що! Коли мене на горячем дили заарештували! Листивки по заборах клеила!

Я вроде даже рада этому. Пусть за листовку, пусть за какое-то неосторожное слово. Пусть сурово, непропорционально деянию. Лишь бы не просто так! Не чохом! По профессии, по национальности, по родству... И кто знает при этом, какую категорию начнут выбраковывать завтра! Может, по цвету волос? Разве не подозрительны, скажем, рыжие уже одной пламенностью расцветки!

Увы! Скоро я узнаю, что вокруг одной Марийки с ее листовками арестовано человек тридцать за то, что жили с Марийкой в одной местности. И еще сотня за то, что были знакомы с этими тридцатью. Нет, принцип оставался все тот же, незыблемый.

Кроме западных украинцев на Колыму прибывают сейчас большие этапы так называемых «указников». Тоже продукт военного времени. Главным образом молодежь, осужденная по указу за самовольный уход с предприятий. В нашей центральной зоне эти девчушки, почти школьницы, ходят табунками. Охотно рассказывают, как это все стряслось с ними. История у всех одна и та же, с небольшими вариациями. Очень было трудно, холодно, голодно, ну не вытерпела да к маме и уехала.

— А очень было голодно? Как в лагере, да?

— Что вы! Если бы как в лагере, я бы не сбежала. Здесь вон хлеб-то какой белый!

Нам, старым опытным ээка, совсем не нравится этот заморский маисовый хлеб. Никакой в нем серьезности. Наша отечественная черная горбушка куда основательней была. Но указниц чарует именно белизна этого хлеба. Они любят им как полузабытым видением нормальной жизни. И вообще, оглядевшись, указницы приходят к выводу, что в лагере не так уж плохо.

— Здесь хоть женщиной себя чувствуешь, — милым, чуть охрипшим голосом говорит девятнадцатилетняя Зина Пчелкина.

Она лечится от простуды. Я поставила ей банки. Она лежит на амбулаторном топчане, прикрытая какой-то хламидкой, и объясняет, чем ей нравится Эльген. Ну хоть сравнительно с Ульяновском, где она жила с мамой и сестрами. Ведь там, в Ульяновске, теперь одни бабы. Другой раз кажется, что весь мир из одного бабья состоит. Приехал вон Мишка Воробьев с фронта, ногу ему там оттяпали, по чистой вернулсЯ. Так вокруг него все ульяновские красотки так и выются. А он, этот Мишка, и с двумя-то ногами чучелом был. Кто на него смотрел в школе! В Эльгене — другое дело. Зона-то женская, но ведь только шагни за вахту — куча мужчин! Колыма, наверно, последнее место на земле, где мужиков вдвое больше, чем нас, где еще ценят нашу красоту.

Зиночка заговорщически улыбается и предлагает мне сунуть руку в карман ее бушлата. Какие у нее там записки от парней! Она гордо хихикает, и банки на ее спине мелодично позвякивают, цепляясь одна за другую. Подрагивают от смеха беленькие перевязанные лямками косички. Точно такие же были у нашей Майки, моей падчерицы.

— Не торопись, девчонка! Слыхала, здесь есть словцо «шакалы»? Так вот проверь, не шакалы ли писали. А записки сожги. А то попадешься с ними на обыске — в карцер запрут.

Пустые, конечно, речи. Уже через несколько месяцев чуть ли не все указницы, мамыны дочки, беременны. Ведь статья их считается легкой, допускает бесконвойную работу среди вольных.

Но беременность — еще полбеды. Уже совсем поздно вечером, после отбоя, я делаю секретные уколы. У Клавдюшки М. еще цело ее школьное форменное платьишко. Ее в нем арестовали. Она поднимает коричневую юбочку в бантовую складочку, обнажает розовую детскую ягодицу, и я вкалываю ей большой шприц с жидкостью, напоминающей густой помидорный сок. От люэса.

... Бегут месяцы. Все больше отстаивается мой быт. Вроде так и положено от сотворения мира. Подъемы. Разводы. Обходы. Проверки. Отбои. Должность зонной медсестры приближает меня к администрации. Когда наступает тихое время — между утренним обходом и обеденным перерывом — в амбулаторию заходят надзиратели, а иногда и их жены. У надзирателя-татарина четверо малышей. Они болеют. Его жена зачатила ко мне. Она выводит меня за вахту, ведет в свою комнатешку, где пахнет лапшой и теплым бараньим салом. Мы лечим ее смуглых малышей по забытым патриархальным рецептам моего детства: растираем грудку скипидаром, ставим на животик согревающий компресс. Я слепляю сносные татарские фразы, и мы беседуем про Казань.

Про Сенной базар и магазин ТУМ. Про Арское поле и новые маршруты троллейбусов.

Помаленьку все вахтеры привыкают ко мне, и теперь мне достаточно заглянуть в окошечко и сказать: «Разрешите?», как длинный железный болт скользит влево и дверь вахты раскрывается передо мной. Только красавчик Демьяненко спрашивает: «Далеко собралась»? Но и он удовлетворяется стандартным ответом, что, мол, в больницу, за медикаментами.

Я иду улицей нашего совхоза, привычно маневрируя между окаменелыми грядами черной грязи, навоза, мусора. Мимо конбазы и управления, мимо бани и больницы. Торопливо иду, чтобы успеть вернуться в зону к дневному приему больных в обеденный перерыв. С оглядкой иду, чтобы не нарваться на какого-нибудь начальника, на окрик: «Куда? Без конвоя?»

И все-таки эта прогулка — какая-то отдушина. Как-никак, и я иду одна. Иду туда, куда мне хочется: на молферму, к друзьям в гости. Всех повидаю, душу отведу. Ну и молочка выпью, съем краденое яичко, снесенное моими дорогими бледными гребешками.

Я привыкла к Эльгену, и он уже не кажется мне мертвым. Вот на речке, у бани, стоя на мостках, какие-то бабенки-вольняшки полощут белье. Останавливаюсь на минуту, со жгучей завистью наблюдая их движения. Вон та, коротышка с толстыми икрами, отжимает тяжеленные мужские порты из чертовой кожи. Она умаялась, побагровела. Выпятив нижнюю губу, сдувает вверх упавшую на глаза прядь. Вот отстирается, сложит белье в таз и пойдет домой, в собственную свою хавиру, где у нее свой собственный борщ томится в глиняном подтопке. А муж придет на перерыв, и они будут из одной миски хлебать этот борщ. И он будет ей рассказывать, как бригадир — собака — плохо закрыл ему наряд. Надо, мол, ему, собаке, опять в лапу дать . . .

Вспоминаю нашу Надю Ильину — бывшую специалистку по скандинавским языкам, которая освободилась из лагеря без права выезда на материк и вышла замуж за грузчика из раскулаченных. Счастливица! Правда, он разбавляет спиртягу растопленным снегом и хлещет его прямо из консервных банок. Другой раз, говорят, спяну вспомнит свою пропавшую молодость и двинет Надюху кулачищем. Но ведь другой раз и пожалеет же . . .

Ну вот, слава Богу! Успела вовремя добежать обратно. Опять заглядываю в окошечко вахты: «Разрешите?» . . . И стараюсь так держать большую бутыл с марганцовкой, чтобы Демьяненко не сомневался: ходила за медикаментами.

— Давай заходи! — Железный болт легко скользит в стору.

. . . Сейчас, на третьем году войны, режим в лагере несколько

ослаб, особенно здесь, в центральной зоне. Ведь самые опасные элементы — на точках, на пунктах и командировках. А здесь опять КАВЕЧЕ вошла в силу, перевоспитывает, читает вслух газеты. Даже добилась показа кинофильмов лучшим производственникам. Поощрение за хорошую работу.

Мы сидим в огромном студеном бараке, именуемом «клуб». Кутаемся плотнее в бушлаты, шевелим ледяными пальцами ног во влажных чунях и жадно следим своими отрешенными глазами, как Любовь Орлова, играющая знатную текстильщицу, вся в крепдешинах и локонах, очень натурально «переживает». Сейчас ей на грудь прикрепят орден. Это сделает Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. (Его жена тоже где-то в лагерьях, и доходили до нас слухи, что ее там прозвали «старостихой».)

Фильм называется «Светлый путь». Я не отрываю глаз от экрана. Вот сейчас героиня выйдет на улицу, и мы увидим Москву. Меня знобит при мысли, что вот сейчас, сию минуту, передо мной встанет Охотный или площадь Революции. Но действие все время развивается или в цехах, похожих на дворцы, или во дворцах, похожих на фаланстеры из снов Шарля Фурье.

И все-таки лестно. После семилетнего перерыва я снова вижу фильм. Нам, детям тьмы, показывают картину о чем-то светлом пути.

Вот так восторжествовала добродетель. Вот каким отменным житьем в центральной зоне наградила меня наша строгая, но справедливая начальница. За то, что я оказалась честной. Не воровала хлеб у голодных.

Целый год длилась моя работа в амбулатории центральной зоны, до тех пор пока . . .

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ПОРОК НАКАЗАН

Преступление, которое я совершила, было беспрецедентным в истории лагеря. Я залезла в карман к начальнице. Я взяла из этого кармана бумагу и сожгла ее в печке. Спрошенная в упор, я созналась в этом неслыханном деянии. Впрочем, все было не так просто.

Уже за неделю до этого происшествия я места себе не находила с тоски. Не могла забыть один ночной вызов.

— Швидко давай! Одягайся! На агробазу! Там страпилось . . . — свистящим шепотом приказывал мне вахтер, появившийся глухой ночью в нашем бараке.

Что могло стрястись на агробазе в ночной смене? Никаких машин или механизмов, которые могли бы повредить человеку, там нет. Ночные работницы только топили огромные печи в теплицах или мастерили торфоперегнойные горшочки, уже вошедшие тогда в моду на Колыме.

А случилось, видно, что-то важное, потому что со мной вместе на агробазу быстрыми шагами шел, освещая наш путь электрическим фонариком, сам начальник режима, а с ним еще двое незнакомых мужчин в штатском.

— Врача бы надо, а не сестру, — сказал один из них. Но режимник возразил, что, мол, врачу там все равно уже делать нечего, а для составления акта эта сестра еще лучше пригодится, поскольку она помоложе и поразбитнее зонной врачихи.

У входа в теплицу толпились женщины из ночной смены. Дежурный по агробазе вохровец не пропускал их в дверь. Но как-то неуверенно, не очень категорично не пропускал. Я успела уловить всхлипывания и имя Полина, летавшее над этим скопищем серых теней с неразличимыми лицами.

— Давай вперед, лекпом! — скомандовал режимник.

Меня протолкнули в низкую дверь. Большая печка потрескивала, плевалась и шипела сырыми плохо разгоравшимися дровами. Тени от этого неверного огня бежали по темным стенам, как бегут на исходе ночи очертания предметов в окне движущегося вагона. Теплица и впрямь точно ехала, вся шатаясь и раскачиваясь.

Я схватилась за косяк, чтобы не грохнуться. Прямо над высоким стеллажом с капустной рассадой тихонько свисало с потолка что-то длинное и тонкое. Это что-то заканчивалось лагерными бутсами. Они намертво промерзли и сейчас оттаивали. С них сочилась на стеллаж грязная сукровица. Голова, страшная, черная, с вывалившимся языком, была похожа на старый памятник Гоголю. Тонкий нос, спускающаяся на лоб прядь волос, расчесанных на прямой пробор. Полина Мельникова!

— Давненько, видать, висит. Захолодала совсем, — объяснил дежурный по агробазе вохровец.

— А не сняли чего же?

— Да мы когда заметили, уж поздно было. Все равно уж кончилась. Раз так, думаю, пушай висит уж по инструкции... До начальства...

На стеллаже, под самыми Полининими ногами, лежал обрывок бумаги, закрепленный на месте двумя торфяными горшочками. Тут же валялся синий обгрызенный карандаш... Если закрыть глаза, я и сейчас вижу — эти два синих разъезжающихся слова. «Хватит... надоело...»

Ровно ничего не случилось, что могло бы ускорить решение.

Была ночь как ночь. Обычная лагерная ночная смена на эльгенской агробазе. Вот только, может, тени от печки, перемещаясь по стенам, сложились в какие-нибудь особенно зловещие химеры? Кто знает, почему человеку вдруг становится ясно, что хватит . . .

Вот уже обрезана веревка, и Полина лежит на стеллаже среди этих полубогорелых горшочков, точно слепленных кретинами из специального детдома. Полина Мельникова. Пассажирка седьмого вагона. Бывшая переводчица-китаистка. Бывшая женщина. Бывший человек.

Нет, уж если кто тут бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком, распорядившаяся собой по-хозяйски. Это я, я бывший человек. Я, которая, вместо того чтобы рыдать над ее трупом, выкрикивая проклятия палачам, пишу на краешке стеллажа «Акт о смерти». Живу. Живу даже после Алеши, хотя уже ясно, что ничего и никогда не будет больше для меня. Держусь за это унижительное существование, за эти дни, каждый из которых — плевков в лицо.

А ведь она приходила в амбулаторию незадолго до той ночи. И я перевязывала ей палец на руке. Здесь так часты панариции. Еще спросила ее, как, мол, живешь, Полинка, и тюкает ли еще в палец. А ведь не спросила, почему у нее не только нос и волосы, но и глаза стали похожи на гоголевские, на старый памятник Гоголю. А может, если бы спросила ласково, не как лагерная медсестра, а как настоящая сестра, как сестра милосердия, так она бы еще и подожала братья в руки этот синий карандаш.

Через несколько дней после Полины умерла Аня Гудзь. От крупозной пневмонии. Врачиха хотела отправить ее в больницу на лошади или хоть на бычке. Но добиться этого не удалось, и я повела ее пешком. Я вела ее под руку, и нам обоим казалось, что врачиха ошиблась. Не может быть, чтобы это была пневмония. Правда, щеки у Аси пылали, но она улыбалась и, немного задыхаясь, шутила. Ася была из тех, кто сохраняет женственность в любом возрасте и положении. Сколько раз видела: на поверке или разводе вдруг вытаскивает Ася огрызок зеркала из кармана, взглянет, спрячет зеркальце и оглядится кругом веселыми глазами. Дескать, есть еще порох в пороховницах! А пока женщина привлекательна, еще ничего не потеряно.

И в море она лежала красивая, моложавая . . .

— Двое друг за дружкой. Третьей не миновать, — суеверно шептала дневальная тетя Настя.

И не миновало. Третьей оказалась Ляля Кларк. Полине и Асе было лет по сорок. А Лялечке — двадцать пять. И такая крепышка. Циммерман не хотела оставлять ее на сносных работах: Ляля полунемка, полуангличанка. Как только начальница

дозналась, что Ляля на молферме (была она там скотницей и вочрчала за троих мужиков), сейчас же уснула ее завхозом на очень отдаленную лесную точку. Ехала Ляля одна, глухой тайгой, заблудилась, еле выбралась живьем. Пришлось вытаскивать сани с продуктами, свалившиеся в сугроб. Возмокла, простыла. Крупозная пневмония.

Заклученный врач Марков дважды просил у начальницы разрешения на сульфидин. Отказала. Еще утром Ляля говорила: «Выдержу. Я молодая». А к обеду уже лежала в морге.

На другой день после ее смерти я побежала на молферму. Все здесь говорили о Ляле. Не было человека — вольного или заключенного — кто бы не жалел ее. По дороге обратно мне встретился зоотехник Орлов. Он сунул мне в руку письмо. Оно было о Ляле. В самых горьких, искренних, человеческих словах он говорил о покойнице. Без всяких обиняков называл Циммерман убийцей.

Я прочла письмо на ходу, восхитилась смелостью зоотехника, а письмо сунула в карман бушлата, чтобы прочесть его друзьям в зоне.

За последний год меня ни разу не обыскивали на вахте, и я, как говорится, потеряла бдительность. Поистине, если Бог захочет наказать, то отнимет разум. Какой легкомысленной надо было быть, чтобы так обращаться с таким документом!

— Разрешите? — сказала я, как обычно, заглядывая в окошко вахты.

Болт отодвинули. Но не успела я пройти через проходную, как раздался голос Демьяненко:

— А ну, зайди на вахту!

Нет, конечно, не политической крамолы решил искать в карманах моего бушлата румяный красавчик, самый «ушлый» из вахтеров. Просто до него дошел слух, что лекпомша бегаёт на молферму, и он полез с обыском в надежде найти контрабанду в виде бутылки молока или пары яиц. Обшарив меня, он был глубоко разочарован, не обнаружив ничего похожего. Письмо Орлова, написанное не очень разборчиво, он покрутил без особого интереса и, кажется, уже готов был вернуть его мне, приняв, может быть, за выписку лекарств для амбулатории. Но в этот момент дверь проходной скрипнула и на вахту вошла начальник ОЛП Циммерман.

— Что тут такое? — спросила она. Потом взяла из рук Демьяненко отнятое у меня письмо Орлова, небрежно сунула его в карман своей меховой куртки, а мне сказала: «Идите в амбулаторию, я скоро приду на перевязку».

Дело в том, что организм начальницы тоже реагировал на колымский климат. Она болела фурункулезом, хоть, конечно,

и не в такой степени, как все мы. В данный момент у нее был порядочный фурункул на животе, и она предпочитала лечить его не в вольной больнице, а в нашей зонной амбулатории. В часы, когда не было приема заключенных, она заходила, и мы делали ей перевязки с ихтиолом или риванолом. Поначалу это доверялось только Полине Львовне. Но у той от страха так тряслись руки, что вскоре процедура была передоверена мне.

Как только — минут через десять после обыска на вахте — Циммерман зашла в наш темный коридорчик, я поняла, что она еще не читала письма. Лицо ее было спокойно, почти приветливо. Все-таки привыкаешь к людям, которые ежедневно бинтуют тебе живот. Она сняла меховую куртку, повесила ее на гвоздь в коридорчике и прошла в ту часть барака, что гордо именовалась у нас «кабинет врача». Полина Львовна куда-то ушла. Мы были наедине.

— Сделаем перевязку, — сказала начальница, садясь на топчан.

Я видела, что она благоволит ко мне, как мы всегда благоволим к тем, кому мы когда-нибудь сделали добро. А ведь она перевела меня со Змейки, где я обязательно «дошла бы» от голода и тоски, на такую первоклассную работу. Я прочла на ее лице: если в письме окажется что-нибудь незначительное, она не будет поднимать историю. Она опять облагодетельствует меня. Если это даже и окажется какое-нибудь любовное приключение, она, возможно, даже не даст мне пять суток карцера с выводом на работу.

Но ведь я знала, что в кармане меховой куртки лежит бомба. Там гневное письмо вольного человека против тех, кто убил Лялю и еще многих. Мне ясно виделась вся картина последующих событий. Нашего доброго молфермовского зоотехника выгонят с работы. Потом его начнут терзать на собраниях, а может, и не только на собраниях. Затем будут исследовать связи политических зэка с вольными специалистами. Пострадают многие. Закрутят снова режим. И все из-за меня.

Отчаяние толкнуло меня на нелепость. Я стала страстно умолять начальницу вернуть мне письмо не читая. В это время мне было уже лет тридцать семь. Но я, как шестнадцатилетняя дурочка, исходила в этом разговоре из того, что если постараться и хорошо разъяснить преимущество доброго поступка, то можно уговорить, унять злого человека в его стремлении делать злое.

Чего я только не говорила! Сейчас и то стыдно вспомнить! Каким-то книжным языком прошлого века я объясняла ей, что тут интересы третьего лица. Дескать, я убеждена, что она не захочет врываться в чужие тайны. Пусть я одна несу всю тяжесть последствий.

— Разрешите порвать в вашем присутствии.

Наверно, Циммерман подумала, что я рехнулась. Кроме того, весь мой страстный монолог необычайно повысил ее интерес к письму. Ничего не отвечая на мои словоизвержения, она легла на топчан, открыла место, где у нее был фурункул, и бесстрастно сказала:

— Так сделаем перевязку.

Инструменты и лекарства стояли в так называемой процедурной. Пройти в нее надо было через темный коридорчик, где висела сейчас меховая куртка начальницы. Проходя, я сунула руку в карман куртки. Письмо Орлова спокойно лежало там. Я смяла его и бросила в топящуюся печурку. Оно обуглилось вмиг. Потом я вернулась в кабинет врача и молча сделала эту перевязку.

— Что-то сегодня больнее, чем обычно, — морщась, сказала начальница.

Она спокойно ушла, не проверив карманов. Но через несколько минут в амбулаторию ворвалась Нинка, курьер УРЧа, «перекованная» блатнячка. Она посмотрела на меня так, как смотрят на увозимых в Серпантинку, и, задыхаясь от волнения, крикнула:

— К Циммерманше! На цирлах!

Потом она с сокрушением добавила, что мне, видать, не сидится на теплом месте и что начальницу всю бьет от злости.

Циммерман действительно даже побледнела от гнева, от неслыханного оскорбления. Папироса тряслась в ее пальцах не хуже, чем в моих — только что дрожал пинцет.

— Отдайте письмо! — выбросила она мне в лицо сквозь свои длинные зубы.

Конечно, можно бы сказать: не знаю, может выронили? Но я почему-то делаю ставку на пристрастие начальницы к честности.

— Я сожгла его.

— Как низко вы пали! В чужой карман . . . Как блатнячка . . . Ступайте!

Полина Львовна выслушивает мой рассказ чуть не в обморочном состоянии. На глазах ее слезы от страха, от жалости ко мне. Но упрекает она меня почти теми же словами, что Циммерман.

— Это ужасно! В чужой карман . . . Как уголовная . . .

Я просто сатанею от злости.

— Да ведь письмо-то мое! И не я первая в чужой карман полезла!

— Мы заключенные. Вас просто обыскали.

Самое страшное! Не только начальники убеждены в своем праве топтать в нас все человеческое, но и мы помаленьку свываемся с растоптанностью. Вроде так и надо. Вроде для этого нас и Бог создал.

Только на короткую минуту и моя вспышка. А вот уже охватил, охватил липкий ужас. Обливает тело унижительным рабским потом. Что она со мной сделает, эта женщина, которой дано право выворачивать мои карманы, распоряжаться моей душой и телом? Хорошо если только карцер. Не хочу, не хочу, не хочу! Не могу больше . . . А оказывается, могла. Еще много-много . . .

Расправа начинается этой же ночью.

— С вещами!

Нарядчица, которая спит со мной в одном бараке (прощай, барак обслуги, квартира лагерных царедворцев!), тихонько объясняет, куда меня поволокнут.

— На Известковую! Ничего нельзя было поделать. Уж больно ты ее разъярила.

Вспоминаю школу штрафников, известную еще с Магадана. Эльген — штрафная для всей Колымы, Мылга — штрафная для Эльгена, Известковая — штрафная для Мылги. Судорожно сую в мешок вещи — задрипанные мои, замызганные по этапам тряпки. С ужасом осознаю, что у меня нет ничего подходящего для такого пути: ни ватных брюк, ни крепких чуней. Бегала здесь по зоне в старых ботинках из маминой вдовьей посылочки сорокового года. А на дворе конец ноября. Больше сорока бывает.

— На чем ехать-то? — шепчет испуганная тетя Настя, дневальная. — Туда, говорят, на тракторе только.

Нет. Наша справедливая, но строгая начальница определила за мои преступления более строгую кару. Меня повели пешком. Семьдесят пять километров. Тридцать — до Мылги и сорок пять — от Мылги до Известковой. Девственной, мало хоженной тайгой. Конвоиры менялись на стоянках, а я все шла и шла. Может, и не дошла бы, если бы вахтер-татарин, у которого я детей лечила, не сунул мне при выходе из вахты узелок с едой, которую, видно, принес с собой на суточное дежурство. Хотел еще денег дать, даже повторял по-татарски: «Тукта, тукта, акча бар» . . . Но в это время на вахту зашел красавчик Демьяненко, который только что сдал смену. Он весело закричал мне вслед:

— Отгулялась, стало быть, в лекпомшах, а? Ну, другой раз будешь знать, как по карманам лазить!

Великолепные у него были зубы! И хохот звонкий. Вроде футбольный болельщик ликует при удачном ударе.

В узелке оказался хлеб, сахар и большой кусок холодной оленины.

ИЗВЕСТКОВАЯ

Конвоир, который вел меня до Двенадцатого километра, был, наверно, из блатных. Об этом свидетельствовала и его особая, с подшаркиванием, походка и те ругательства, которыми он меня осыпал. Они были на уровне последних достижений уголовного диалекта.

Я молчала-молчала, потом огрызнулась. Неужто он думает, что я нарочно иду медленно! Не видит, что ли, — на каблуках по обледелым кочкам шагаю. Да еще мешок за спиной!

Он посмотрел на мои ноги и, без всякой паузы, посыпал ругательствами в Циммерман. В таком виде, Щука чертова, шлет на пеший этап! Какого ни на есть, а все же человека! Потом задумался и деловито спросил, цела ли у ботишков подметка.

На Двенадцатом, где у нас был первый привал, выяснилось, что тамошняя бригадирша, бытовичка со статьей «притон», давно хотела «заиметь» что-нибудь на каблукке, и конвоир мой, которого она звала Колей, знал про это. Совершилась выгодная для меня мена. За поношенные материковские ботики, только потому, что они на каблуках, мне дали бурки, хоть и подшитые, но вполне еще крепкие. Ступни ног, познобленные еще в ярославском carcere, доведенные до пузырей, до отморожения второй степени на лесоповале, были теперь защищены.

Я куда бодрее шагала теперь дальше, размышляя по дороге о том, какое счастье для всех нас русский национальный характер. К этому времени мы уже знали о зверствах гитлеровцев. Я содрогалась при мысли о том, как страшно сочетание жестокости приказов с тупой стопроцентной исполнительностью. То ли дело у нас! У нас почти всегда остается лазейка для простого человеческого чувства. Почти всегда приказ — пусть самый дьявольский! — ослабляется природным добродушием исполнителей, их расхлябанностью, надеждой на пресловутый русский «авось».

Еще раз убедилась в этом, добравшись до Мылги. Там царствовал некто Козичев. О нем ходили разноречивые слухи. Говорили, что мог растерзать, но мог иногда, без видимых причин, и помиловать. Лицо у него было насмешливое, с набрякшими веками и заметным нервным тиком. Он пожелал увидеть штрафницу, следующую на Известковую пешим этапом.

— Так что случилось-то у вас? — с любопытством глядя на меня, спросил он, а выслушав краткий ответ, аппетитно расхохотался. Не любил он свою непосредственную начальницу Циммерман. Настолько не любил, что позволил себе фамильярно хохотать в моем присутствии над ее неприятностями.

Старая истина: противоречия между угнетателями всегда на руку угнетенным. Так и тут. Отхохотавшись, Козичев вдруг сказал:

— В сопроводилровке сказано, чтобы отправить дальше без ночевой. Ну да ладно, ночуйте! Кстати, и конвоя свободного сейчас нет. Идите в барак, отдохайте. Обед и хлеб получите в столовой.

Нечаянная радость. Тем более, что в столовой выясняется: здесь поварихой Зоя Мазнина, наша, спутница моя по седьмому вагону. Двойную порцию овсяной каши она щедро поливает мне постным маслом. Оно пахнет подсолнухами, оставляет во рту воспоминание о когдатошнем жарком дне, о чьем-то палисаднике, поросшем травкой.

Зоя отдает мне свои, совсем еще незаплатанные ватные брюки. Потому она плачет над моей горькой участью. Говорят, что Известковую обычный человек выдержать никак не может, тем более если сидит уже восьмой год и силенки на исходе.

На рассвете мы выходим из Мылги — я и конвоир. На этот раз попался хмурик, служака. Никаких разговоров с этапированной штрафницей. Он поведет меня четырнадцать километров, потом сменится.

Скрип-скрип... Дзинь-бом... Слышен звон кандалный... Как хорошо, что еще до кандалов не додумались! Интересно, заковывали ли женщин при царе? Оказывается, я не знаю этого...

Что бы еще придумать оптимистическое, ободряющее? Ну вот, хорошо, например, что родители наделили меня таким выносливым организмом! Другая бы уж давно рассыпалась вдребезги...

— Левее давай, — командует конвоир, и мы сворачиваем на какую-то обочину, где идти гораздо труднее. Приходится на каждом шагу лавировать между кочками, скользить по непробиваемой коре льда над застывшими осенними водами. К тому же начинает мести поземка, будет метель. Успеем ли пройти до нее четырнадцать километров до ближайшей точки, где будет смена конвоя?

Вдруг обжигает острая мысль. Ведь вот сейчас, вот сию минуту, можно все это очень легко закончить. Резко повернуть с этой обочины — и вправо... Да бегом! Выпукло, как на экране, вижу все, что произойдет вслед за этим. Только вот не уверена, предупредит ли этот служака, прежде чем выстрелить. Или сразу пухнет по инструкции — «Шаг вправо, шаг влево — применяется оружие».

Как ни странно, эта мысль несет мне какое-то утешение.

Захочу — и распоряжусь своей жизнью сама. А захочу — подожду еще немного, посмотрю, что дальше будет.

За поворотом дорога становится ровнее, шаги ритмичнее. Под такой шаг можно и стихи себе читать. И я читаю . . .

(Однажды, уже в Москве шестидесятых годов, один писатель высказал мне сомнение: неужели в подобных условиях заключенные могли читать про себя стихи и находить в поэзии душевную разрядку? Да да, он знает, что об этом свидетельствую не я одна, но ему все кажется, что эта мысль возникла у нас задним числом. Этот писатель прожил в общем-то благополучную жизнь, безотказно издавая книги и посиживая в президиумах. К тому же, хоть он и был всего на четыре года моложе меня, но все-таки плохо представлял себе наше поколение.

Мы были порождением своего времени, эпохи величайших иллюзий. Мы приходили к коммунизму не «низом шахт, серпов и вил». Нет, мы «с небес поэзии бросались в коммунизм». По сути, мы были идеалистами чистой воды при всей нашей юношеской приверженности к холодным конструкциям диамата. Под ударами обрушившегося на нас бесчеловечия поблекли многие затверженные смолоду «истины». Но никакие вьюги не могли потушить ту самую свечу, которую мое поколение приняло как тайный дар от нами же раскритикованных мудрецов и поэтов начала века.

Нам казалось, что мы свергли их с пьедесталов ради некой вновь обретенной правды. Но в годы испытаний выяснилось, что мы — плоть от плоти их. Потому что даже та самозабвенность, с какой мы утверждали свой новый путь, шла от них, от их презрения к сытости тела, от их вечно алчущего духа.

«А мы, мудрецы и поэты, хранители тайны и веры, унесем зажженные светлы в катакомбы, в пустыни, в пещеры . . .»

Нет, мы далеко не были мудрецами. Наоборот, с великим трудом пробивалась наша отягощенная формулами мысль к подлинному живому свету. Но тем не менее наши «зажженные светлы» мы все-таки сумели унести в свои одиночки, в бараки и карцеры, в метельные колымские этапы. И только они, только эти светильники, и помогли выбраться из крошечной тьмы.)

. . . Еще три конвоира сменилось. А я все иду и иду. И не помню уж на который день, только поздно вечером, уже при звездах, я увидела окруженную сопками котловину, различила очертания кривых чернушек-барачков, услышала знакомый вой, клубившийся над этим жильем. Даже мелодию блатной песни узнала.

Прибыли. Известковая. Штрафная из штрафных. Остров прокаженных.

А вот и сами они, чьи имена даже среди уголовных произносятся с суеверным трепетом. Вот Симка-Кряж, ожившая

иллюстрация из учебника психиатрии. С отвисшей нижней губы тянется слюдяная нитка. Надбровья резко выступили над маленькими мутными глазками. Длинные тяжелые руки болтаются вдоль неуклюжего коротконового тела. Все знают: Симка — убийца. Бескорыстная убийца, убивающая просто так, потому что ей «не слабо». Сроку у нее уже лет сорок, но ей все добавляют. Потому что для «вышки» всегда не хватает улики. Сообщники боятся ее как огня и выгораживают, беря вину на себя. Лишь бы не навлечь на себя гнев Симки-Кряжа. Все знают, что именно она убила недавно в карцере зоны молоденькую указницу — мамину дочку, посаженную в карцер на пять суток за опоздание на развод. Просто так убила. Потому что ей было «не слабо». Удушила своими бармалеевскими ручищами . . .

А вот отвратительная пучеглазая маленькая жабка — лесбиянка Зойка. Вокруг нее трое так называемых «коблов». Гермафродитского вида коротко остриженные существа с хриплыми головами и мужскими именами — Эдик, Сашок и еще как-то . . .

Некоторых девок я узнаю. Их привозили на короткое время в зону для противосифилитического лечения, и я вкалывала им биохиноль.

Эти человекообразные живут фантастической жизнью, в которой стерты грани дня и ночи. Большинство совсем не выходят на работу, валяясь целый день на нарах. А те, кто выходит, так только для того, чтобы развести костер и, сгрудившись вокруг него, орать свои охальные песни. Почти никто из них не спит по ночам. Они пьют какие-то эрзацы алкоголя (до сих пор не знаю, что представлял из себя «сухой спирт», которым травилась многие из них. Наверно, нечто вроде денатурата), курят что-то дурманящее. Откуда берут это зелье — непонятно. Огромная железная «бочка» раскалена докрасна. На ней эти исчадия все время что-то варят, прыгая вокруг печки почти нагишом.

Под стать девкам и здешняя вохра. Далеко они тут от начальства! И не только от материка, но и от Магадана. И кормят их отменно, довольствие повышенное, так как «контингент», с которым им тут надо управляться, считается трудным. А ежедневное общение с этим «контингентом» пробуждает в темных тупых солдатах самые звериные инстинкты.

И девки и вохровцы единодушны в органическом отталкивании от меня — существа другой планеты. Отдохнуть после пешего этапа мне не дают. Сразу кайло в руки (еле удерживаю его!) — и — давай, давай! — в известковый забой. В первый день я выполнила норму на четырнадцать процентов, и хлеба мне не дали. На второй — каким-то чудом начислили этих процентов двадцать один. Но и за них хлеба не полагалось.

— Не положено, — буркнул конвоир. — Командировка у нас штрафная. Пайка идет только со ста процентов.

Первые несколько ночей я просиживала на узле в углу барака. На нарах мест не было, и девки вовсе не собирались тесниться из-за фрайерши, из-за контрика, из-за какой-то задрипанной Марьиванны... Только спустя какое-то время Райка-башкирка вспомнила, что я ее лечила в зонной амбулатории и, подвинувшись маленько, позволила мне положить рядом с ней мой узел.

... Я лежу всю ночь с открытыми глазами, и меня до спазм тошнит от отвращения к моей благодетельнице. Нос у Райки-башкирки совсем провалился. И хотя я твердо знаю, что люэс в этой стадии не заразен, но все равно — идущий от Райки густой запах гноя душит меня.

На Известковой, как в самом настоящем аду, не было не только дня и ночи, но и средней, пригодной для существования температуры. Или ледяная стынь известкового забоя или inferнальная жарница барака.

Я первая политическая, попавшая в этот лепрозорий. И в этом есть скрытый смысл. Недаром Циммерманша воскликнула: «В чужой карман! Как блатнячка!» Вероятно, по ее замыслу, я должна была осознать, что своим неслыханным поступком я поставила себя на один уровень с уголовниками. Лишь через год я узнала, что она сослала меня сюда ТОЛЬКО на один месяц. Так сказать, в чисто воспитательных целях.

На третий день моего пребывания на Известковой, когда мне все на свете уже было почти безразлично и перед глазами плыли золотые и лиловые круги, мне вдруг выдали кусок хлеба. Невзирая на то, что с выполнением плана кайловки дела у меня шли все хуже.

— На пробу даю. Може за ум возьмешься, — буркнул командир вохры, искоса глядя на меня с какой-то непонятной тревогой.

Потом выяснилось, что в эти дни где-то, сравнительно недалеко от Известковой, рыскало начальство из Севлага. Не исключалось, что заглянет и сюда. Наше воинство, очумевшее от глухомани, от жратвы и спирта, от постоянной перепалки с девками, совсем потеряло ориентацию и не очень соображало, за что именно ему может влететь. Во всяком случае, акт о смерти им был к приезду начальства ни к чему. Так мне перепало хлеба и еще немного отодвинулась развязка, казавшаяся неизбежной.

Но начальство, к счастью, проехало, не заглянув в эту котловину, не затруднив себя встречей с беспокойным «контингентом». Теперь можно было снова зажить так, как они тут привыкли.

В субботний вечер, уже после отбоя, дверь барака вдруг распахнулась настежь, чуть не сорвавшись с петель, и появилась

вся известковая вохра в полном составе, а была она усиленная, человек десять. Ватага пьяных солдат ввалилась в барак так неожиданно, что я подумала: обыск. Но нет. В данном случае они явились по личным делам. Для смрадного, страшного, свального греха. Такого я еще не видела за свои восемь тюремно-лагерных лет.

Густой, пахнувший раскаленным железом жар валил от печки и смешивался с вонью от спиртного перегара. Визг голых девок вливался в непотребщину и гоготанье пьяных озверелых мужиков. В них сейчас нельзя было узнать ни солдат, ни вчерашних крестьян. Какие-то сатиры, какие-то маски из театра ужасов.

Я натянула на голову ватный бушлат, съезжилась, пытаюсь растрепаться, стать невидимой. Но вот — рывок . . . Чья-то звериная лапа срывает с меня бушлат, и я лежу, как овца на плахе, а над моим лицом нависла широченная багровая лоснящаяся морда. В углу переносицы, у глаза, — темная родинка и из нее — два волоска.

Человек плохо знает себя. Рассказали бы мне про меня такое — не поверила бы. Но факт: порой случалось. В ярославском карцере я полезла драться с Сатрапюком, хватая его за чугунные кисти рук. Так же случилось и здесь. Я с диким криком, теряя контроль над собой, бросилась на зверюгу. Как в бреду. Кусалась, царапалась, толкала его ногами. Как получилось, что я смогла выскользнуть от него, — не знаю, не помню. Наверно, случайно ударила его в чувствительное место и он от боли отпустил на минуту руки.

Дальше начинается чудо. Это событие моей жизни я и до сих пор не могу объяснить при помощи обычной житейской логики. Я выскочила в полуоткрытую дверь барака и завернула за угол строения. Там стоял большой обледенелый пень. Я села на него как была, в одной рубашке. Бушлат упал на пол, когда я соскочила с нар, и поднять его я не успела.

Надо мной стояло огромное черное небо с яркими крупными звездами. Я не плакала. Я молилась. Страстно, отчаянно и все об одном. Пневмонию! Господи, пошли пневмонию! Крупозную . . . Чтобы жар, чтобы беспамятство, чтобы забвение и смерть . . .

За моей спиной содрогались стены барака. Оттуда все доносились бесноватые вопли и звон стекла от разбиваемых бутылок. Меня не разыскивали, никто не вышел вслед за мной из барака. Как мне потом поведали девочки, мой зверюга долго изрыгал ругательства, выл, даже плакал, а потом свалился на пол и заснул. Остальным не было до меня никакого дела.

Сколько секунд или минут провела я сидя на пне — не имею ни малейшего представления. Помню только, как вдруг возник

тонкий ритмичный звук, доносившийся со стороны дорожки, ведущей в тайгу. Кто-то идет . . . Кто-то приближается . . . Спокойно и ровно шагает. А вот и силуэт его стал проясняться на фоне сугробов. Теперь уже ясно видно: мужская фигура в лагерном бушлате, с мешком за плечами. В руке — узел. Подошел ко мне.

— Кто это тут? Батюшки, да это никак ты, Евгенья?

Это был голос человека одного со мной измерения. Этот человеческий голос так потряс меня, что, еще не осознав, кто передо мной, я бросилась к неожиданному спасителю.

— Да неужто ж тут так штрафуют? — взволнованно расспрашивал он. — На мороз? Голую?

Все было повседневно. Просто самое обыкновенное чудо. У ангела-избавителя все было нормально: и статья, и срок, и «установочные данные». И я теперь узнала его. Дядя Сеня из мужской эльгенской зоны, которую я тоже одно время обслуживала как медсестра. У дяди Сени статья легкая, СОЭ — социально опасный элемент. Он из раскулаченных. Большой мастер всякий инструмент ладить. Его начальство держит в зоне, чтобы был под рукой, но иногда посылает по точкам кой-чего подточить, подправить. А поскольку статья легкая, то и ходит дядя Сеня без конвоя. До Мылги вот сейчас на тракторе добирался, потом на попутных, а последний-то перегон — просто пёхом . . .

Он взял меня на руки и закутал своим бушлатом. Понес меня вверх, на горку, где стояла хавирка для инструментальщика. Знал он ее, бывал уже тут в прошлом-то годе . . .

Дядя Сеня растопил крохотную железную печурку, вскипятил в своем чайничке растаянного чистого снега. Дал мне большой кусок хлеба и кусочек сахара. Он погладил меня по голове, назвал местных вохровцев сукиными котами, а Циммерманшу — проклятой щукой. Под эти нежные слова я сладко заснула на двух досках, оставшихся от сломанного топчана. Не только пневмонией, а даже насморком я после этой ночи не заболела.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ВЕСЕЛЫЙ СВЯТОЙ

Когда известковая вохра отоспалась после оргии, дядя Сеня передал командиру свой наряд на ремонт инструментов, а попутно, не теряя почтительности, растолковал ему: дескать, вот будет неприятность, ежели эта штрафная политическая при объезде какого-нибудь начальства возьмет да и брякнет про то, что тут, мол, вохра . . . ну, сами знаете что . . . Оно, конечно, контрикам веры нет, а все же зачем тень на плетень наводить?

Чумовой, распухший с похмелья командир сперва матюкнулся и велел дяде Сене налаживать кайла, а в чужие дела не соваться. Но к вечеру вдруг вызвал меня и дядю Сеню к себе и, глядя в сторону, объявил, что с завтрашнего дня я больше не буду работать в известковом забое, а буду на подсобной работе — лес валить. При этом он назвал меня на «вы», а когда говорил обо мне в третьем лице, то даже на «они».

— Дашь ИМ пилу получше и пушай пилят... Поскольку ОНИ сильно отошавшие и в забое не выдюжат...

Лесоповал считался здесь легкой работой. И действительно, все познается в сравнении. После известкового забоя я почувствовала себя в тайге как в отпуске, тем более, что дядя Сеня снабдил меня замечательно наточенной пилой-одноручкой.

Через две недели дяди Сенин наряд кончился. Наточив кайла и пилы, он потопал себе потихонечку, на попутных, обратно в эльгенскую зону, унося в мешке мои записки к друзьям с отчаянными призывами на помощь. Позднее выяснилось, что друзья действовали уже и до моих SOSов. Можно сказать, был организован комитет по спасению. В него входили и заключенные и вольные. Случай был трудный. Отменить решение Циммерман мог только Севлаг. Кроме того, существовать дальше, после всего случившегося, и в пределах Циммерманшиного королевства было уже невозможно. И мои друзья добивались не только отмены штрафного пункта, но и перевода в другой лагерь.

Пошла в ход сложная цепочка связей. Искали знакомых с такой высокопоставленной особой, как домработница начальника Севлага. Посылали подарки каким-то третьим и даже четвертым лицам, ища подхода к влиятельным.

На двадцать пятый день, уже еле держась на ногах, я прочла записочку, которую умудрился передать мне проезжий тракторист из бытовиков. Записка была обнадеживающая. Друзья просили меня продержаться еще немного: уже выписан на меня спецнаряд — медсестрой в Тасканский лагерь, в больницу заключенных. Это всего двадцать два километра от Эльгена, но другой ОЛП, вне власти Циммерман. Да, наряд есть, но Циммерман не выполняет приказа Севлага. Она опротестовала его в Магадан, в Главное управление колымских лагерей. Разъяренная вмешательство в ее священное право на мою жизнь, она пустилась в конфликт со своим начальством из Севлага.

«Коса на камень нашла, — разбирала я мелкие буковки записки, — надеемся, все будет хорошо. Вряд ли Селезнев допустит, чтобы Циммерманша над ним верх взяла. Так что держись...»

Я старалась изо всех сил. Тем более, что продержаться на лесоповале было возможней, чем в известковом забое. Правда,

шел уже декабрь, но, к счастью, здесь почти не было ветров. Мороз стелился тихим, густым молочно-кисельным туманом. В двух шагах ничего не разглядишь. Тем острее я вслушивалась в окружающее, и слух все утончался, почти как в одиночке.

Что же я хотела услышать? Да прежде всего вполне реальное: скрип снега под ногами благого вестника — гонца Севлага, вдруг превратившегося в моего благодетеля. Но кроме этого, вполне разумного, прислушивания, было и другое. Вот заухала какая-то таежная птица. Раз, два, три... Если еще три раза ухнет — значит, спасусь отсюда. Чуть потрескивает полешко в догорающем костре. Если погаснет до того, как успею спилить это дерево, — значит, не спастись мне...

Вот так, наверно, и рождались приметы — в оочеченелом одиночестве, среди загадочных лесов...

Это случилось двадцать девятого декабря, почти под Новый год. В конверте, прибывшем из Севлага, лежало три ослепительных счастья. Первое — я ухажу с Известковой. Второе — я больше не раба Циммерманши. Меня отдают другому, по слухам доброму, барину — Тасканскому пищекомбинату. Третье — меня направляют напрямиком в рай — в больницу заключенных при этом самом комбинате!

Вот я и в раю. И ничего удивительного в том, что рядом со мной, в роли непосредственного начальника — святой. Удивительно только, что это очень веселый святой. Так и сыплет анекдотами, острыми словечками, поговорками.

Можно подумать, что доктор Вальтер — благополучнейший частнопрактикующий доктор, похожий на того балагура, что некогда приходил ко мне, семилетней, и, нажимая чайной ложечкой на язык, говорил: «А-а-а... Что же это вы, барышня, вздумали хворать перед самой-то елкой?»

А между тем Антон Яковлевич Вальтер сидит уже десять лет, с тридцать пятого. И срок у него — третий. Второй он получил в тридцать восьмом, в ссылке. Третий, свеженький, уже в лагере, в сорок третьем. Дело в том, что у доктора серьезное отягчающее обстоятельство: он немец. Крымский фольксдойч из Симферополя. В начале тридцатых годов в этот город приезжала за фольклором немцев-колонистов некая лингвистка из Берлина. Ей посоветовали обратиться к доктору Вальтеру. Действительно, он знал кучу шуточных и сентиментальных местных песенок и поговорок. С его чувством острого слова, с его умением слышать оттенки речи он был просто кладом для приезжей ученой дамы. Лукаво улыбаясь, сверкая своими неправдоподобно белыми зубами, он исполнил главные шлягеры своего репертуара, а лингвистка записала их.

Последствия этого интересного вечера сказались года через три, когда доктор Вальтер был арестован и обвинен в том, что он является членом некоей контрреволюционной группы, возглавляемой ленинградским филологом-германистом, которого симферопольский врач отродясь не видывал и с которым его роднило только знакомство с той самой берлинкой, собиравшей фольклор.

Приговор был мягок. Всего три года ссылки в Восточную Сибирь. Но тут подоспел тридцать седьмой. Все ссыльные были повторно арестованы, и к тридцать восьмому году Антон Яковлевич получил второй срок, теперь уже на десять лет, по статье КАЭРДЭ, то есть контрреволюционная деятельность. Эта деятельность, по мнению следствия, заключалась в том, что врач настраивал больных против советского строя. Так, например, такого-то числа, проводя прием в районной больнице, сказал туберкулезному больному: «Вам не так нужны лекарства, как усиленное питание».

На Колыме, куда по второму приговору был отправлен Вальтер, сначала все было относительно терпимо. Врачи были нужны, и он работал по специальности. Но пришла война. Она зачеркнула для Вальтера и профессию, и стаж, и все личные его качества. Теперь важно было одно: он немец. Три года, проведенные на золотых приисках, на общих работах в забое сломили этот крепкий организм. После ожога роговицы доктор потерял зрение на один глаз. Приисковые надсмотрщики переломали ему несколько ребер. Голод привел к острой дистрофии.

И все это еще было счастьем, личной его фортуной. Потому что остальные немецкие врачи, отбывавшие заключение на Колыме, были в это время уничтожены. Кто по суду, кто просто так, «при попытке к бегству». В том числе погиб известный одесский хирург профессор Кох, которого благословляли тысячи спасенных им людей.

А Антон Яковлевич легко отделался: всего только новым десятилетним сроком. Против него свидетельствовали лагерные сексоты. Конечно же, ему приписывались разговоры о нашем возможном поражении в войне. В дальнейшем выяснилось, что одним из «свидетелей» на этом третьем «процессе» был тот самый Кривицкий, что работал врачом на пароходе «Джурма» и спас меня от смерти во время морского этапа. Но об этом ниже.

За год до моего появления на Тасканском пищекомбинате полуживого Вальтера извлекли со страшного прииска Джелгала и поставили снова врачом. Я увидела его уже не доходягой. За год он отъелся, отлежался и, главное, быстро, с готовностью повеселел. Только мешки под глазами да вечно отекающие ноги говорили о необратимых сдвигах в организме. Во время нашей встречи ему было сорок шесть лет.

Мы идем с обходом. Честь-честью. Как в настоящих больницах. Доктор Вальтер, фельдшер Григорий Петрович по прозвищу Конфуций, и я — новая медсестра. Из палаты в палату. От больного к больному. И с каждым доктор шутит. Сначала я недоумеваю и даже немного злюсь. Что это он делает вид, будто тут все нормально, будто эти еле закрытые от колымских стихий мрачные норы — действительно больничные палаты? Будто эти человеческие обломки и впрямь имеют какие-то шансы на излечение?

Вот мы у постели Бриткина. После второго инсульта он потерял речь. Вальтер улыбается ему с таким видом, точно тут дело пустяковое. Пей таблетки, слушайся медиков — и все пройдет.

— Здорово, друг! Ну, что нам сегодня скажешь?

— Бу-бу... ндра... л-ы-ы...

— Ну что ж! Хоть еще не Цицерон, но уже лучше вчерашнего. Он, видите ли, на воле был председателем колхоза. Так что к речам ему не привыкать... Не горюй, Бриткин! Скоро заговоришь! Только тренируйся больше. Ну-ка, поздоровайся вот с новой сестрицей. При-вет... Попробуй, скажи так!

Бриткин рычит и стонет. Просто корчится в усилиях. А доктор улыбается и говорит нам с Конфуцием:

— Когда-то я своим дочкам Маршака читал... Про то, как девочка учила котенка разговаривать. «Котик, скажи «э-лек-три-че-ство...» А он говорит: «мяу!...»

Я не выдерживаю и тихонько дергаю Вальтера за халат. Нельзя так... Вдруг обидится больной...

Но, видно, доктор лучше знает своих пациентов. Бриткин преданно смотрит на врача и старается еще больше. Его рот и щеки в мучительных судорогах пытаются преодолеть непреодолимое. Он багровеет и наконец выкашливает какие-то слоги, вроде «ы-йет...»

— Ну вот видишь! — радуется Вальтер. — Вот ты и поздоровался с новой сестрой. «При-вет» — это у тебя уже выходит. А «э-лек-три-че-ство» — это в следующий раз...

У Кузовлева, бывшего матроса, пергаментная кожа так обтянула кости, что хоть костный скелет по нему изучай. Живот точно прирос к позвоночнику. Но матрос не потерял живости нрава, природной общительности. Подолгу рассказывает соседям разные истории, начинающиеся стереотипно: «Шли это мы тогда Татарским проливом»... И абсолютно не догадывается, что ему в самые ближайшие дни предстоит отплытие в неведомый мировой океан. Наоборот, он весь в земных делах и заботах, а свою затянувшуюся агонию именует недомоганием.

— Как самочувствие, Кузовлев?

— Да так-то ничего, доктор... Хотя еще есть, конечно,

недомогание . . . Вот ноги чего-то ноют . . . Да и понос . . . Сегодня уж разов шесть в галюн бегал. И с чего бы?

— Это у тебя все от жира, — пресерьезно объясняет Вальтер, щупая пергаментную, присохшую к костям кожу.

Кузовлев щерится. Понимает шутки. Радуетя им.

У койки Березова врач становится серьезным и очень ученым. Он долго толкует с больным о новейших методах лечения туберкулеза, о спасительном действии пневмоторакса, который мы и здесь сможем применить, как только спадет температура.

Березов — бывший дипломат, один из близких сотрудников Литвинова, много лет прожил в Англии. Он слушает Вальтера, боясь пропустить словечко. Как мы доверчивы! Господи, как мы доверчивы, когда нам подают надежды! Хорошо, что Березов годами не видел зеркала. Иначе никакие докторские сказки о чудесах пневмоторакса не обнадежили бы его. Если бы он видел свое лицо, — щека щеку съела, — свою ввалившуюся грудь и эти глаза, горящие не только от высокой температуры, но и от маниакального желания выжить.

Идем дальше. Обход полон для меня жгучего интереса. Эти люди — отходы золотой Колымы. Они выжаты, пережеваны и выплюнуты приисками. Большинство из них — политические мужчины с теми же «первосортными» трудными статьями, что и мы, эльгенские женщины. Я не видела этих НАШИХ мужчин, интеллигентов, вчерашний актив страны, с самой транзитки. Ведь те, что были на Эльгене, — другой сорт, то есть другой социальной слой и, соответственно, более легкие статьи. А эти — наши. Вот Натан Штейнбергер, немецкий коммунист, берлинец. Рядом профессор-филолог Трушнов, откуда-то с Поволжья, у окна — Арутюнян, бывший инженер-строитель из Ленинграда. Господи, во что они превратились!

Каким-то особым чутьем они сразу определяют, что я своя, и дарят меня теплыми заинтересованными взглядами. Они тоже жгуче интересны мне. Таких людей я знала там, в обычной жизни. Теперь, после всех пройденных кругов, каждый из них стал точно непрочитанная книга, и я жадно рвусь прочитать ее. Плохо только, что все эти книги будут с трагическим эпилогом.

А может быть . . . Может, и спасем кого-нибудь? Может, та активная деятельная доброта, которая движет каждым словом, каждым поступком этого удивительного доктора, окажется сильнее хозяйничающей в этих стенах смерти? Пересилит и голод, и истощение, и недостаток лекарств?

Кстати, о лекарствах. Я растерянно осознаю, что впервые слышу многие названия, которые доктор диктует Конфуцию, а тот записывает в книжечку, кивая своей круглой азиатской головой. Что же это такое? Мне казалось, что я здорово поднато-

рела в лагерной медицине, а тут что ни слово — то загадка... Справлюсь ли? Конфуций замечает мое смущение.

— Не пугайтесь, что не все назначения вам понятны, — шепчет он, — потом разберетесь. Он ведь, доктор-то наш... — Конфуций оглядывается и, точно доверяя мне страшную тайну, объявляет: — гомеопат он!

Гомеопатических лекарств на Таскане, конечно, не было, но Вальтер сам изготовлял разные микстуры из таежных трав, применял в малых дозах кое-что из обычных средств, по-своему сочетая их. Всю эту аптекарскую кухню они с Конфуцием держали в строгом секрете. Санчасть Севлага пришла бы в священный трепет, узнав о подобном неглижировании всеми медицинскими догмами. О некоторых чудесах доктора Вальтера слухи до сануправления доходили, но никто не вдумывался в причины. Например, все слышали, что эпидемия дизентерии, недавно прогулявшаяся по лагерям и унесшая сотни жертв, почему-то миновала Тасканский пищекомбинат. Один только Конфуций знал, что врач подливает в официальный противодинготный напиток из стланика раствор сулемы в каком-то тысячном, а может, миллионном разведении.

— Охота головой рисковать! — ворчал добряк Конфуций. — Не дай Бог, пронюхают — расстрел вам! Тем более, она сулема! Втолкуй им, что яд в микродозах может лечить! А вы нец! Убеди их, что вы не фашист, не убийца...

В конце больничного барака — две крошечные комнатешки. В задней спят они оба — Вальтер и Конфуций. В передней — процедурная.

— И лаборатория! — гордо объявляет доктор, показывая мне помещение.

Действительно, я замечаю на углу столике какое-то странное, почти сказочное сооружение из металла и стекла, увенчанное длинной трубкой, похожей на подзорную трубу Паганеля.

— Микроскоп! — с гордостью объясняет Вальтер. — Да-да, не удивляйтесь. Вы знаете, конечно, что имя изобретателя микроскопа — Антон? Антон Лёвенгук! Ну а данный микроскоп изобрел и самолично смастерил тоже Антон. Антон Вальтер!

Из каких-то отходов, подобранных на соседнем крохотном ремонтном заводике, он соорудил это трогательное неуклюжее чудо.

— Смейтесь, смейтесь! А кто, кроме нас, может в лагерной больнице сделать анализ мочи? Или определить РОЭ?

В этом я убедилась в ближайшее время и прониклась преданным уважением к нашему микроскопу, напоминающему своих фабричных собратьев примерно в такой степени, как тряский автомобиль Макса Линдера — современную машину. Но вслух я

подтруниваю над этим инструментом и его автором. Автор отбивается и в свою очередь поддразнивает меня.

— Вот, скажем, после третьей мировой войны уцелеем мы с вами и еще несколько человекообразных обезьян. Я сразу примусь за просветительную работу. Объясню обезьянам двигательную силу пара, принцип электричества, радио . . . А вы, интересно, что передадите им из своего довоенного опыта? Стихи Блока?

Ослепительные зубы доктора, чудом сохранившиеся от всех авитаминозов, задорно поблескивают. Они — в смешном контрасте с его абсолютно лысой, как бильярдный шар, головой. Он сам говорит об этом так: «Когда Бог раздавал зубы, я стоял первым в очереди, а когда перешли к волосам, меня отпустили . . .»

На вечерний амбулаторный прием я попадаю впервые в качестве наблюдателя. Мне велят присматриваться к работе Конфуция, которого я должна буду потом дублировать.

Присматриваюсь . . . Перед доктором стоит большой жестяной бачок, над которым он производит свои манипуляции. Он, точно мясник, вооружен каким-то примитивным орудием, которое, оказывается, называется у врачей «кусачки Люэра». Этими «кусачками» он быстро «откусывает» отмороженные пальцы рук и ног, а Конфуций на ходу обрабатывает операционное поле и перевязывает культяпки. Это считается здесь легкой амбулаторной процедурой. К концу приема бачок, наполненный гнилой вонючей человечиной, выносят два санитары.

Поздно вечером усталый доктор моет руки и куда-то собирается. Его свободно пропускают через вахту в любое время.

— Тут один вольняшка обещал бутылку портвейна дать. Детей я у него лечу. Для Березова очень важно. Кроме того, Кальченко . . . Помните его? Нет? Как же, тот процелыга, что в самом углу лежит. Умрет завтра еще до обеда. Сегодня вздыхал: хоть бы хлебнуть еще разок перед смертью! Последнюю волю надо уважить . . .

Уже перед самым сном забегает из барака дружок доктора — берлинский коммунист Натан Штейнбергер. Он так красиво говорит по-немецки, что Вальтер готов часами слушать его.

Сегодня у Натана беда. Снова отморозил два пальца на ноге, уже было залеченные, зажившие.

— Так дело не пойдет, — ворчит доктор, развертывая на ноге Натана протертые лагерные портянки. Затем с полной необходимостью доктор стаскивает со своих собственных ног шерстяные носки — дар благодарной вольной пациентки — и сует их отбивающемуся Натану. Совершив этот классический евангельский акт, доктор еще рассказывает парочку анекдотов, подтрунивает над Натаном по поводу того, что на воле тот очень боялся своей грозной жены. И Натан почти всерьез упрекает док-

тора: нельзя так спекулятивно использовать признания, сделанные в задушевных беседах. Потом, натянув на свои многострадальные ноги докторовы носки, Натан уходит, а доктор перед сном еще несколько минут потешает нас с Конфуцием веселыми происшествиями из дотюремной жизни «этого марксиста-теоретика и отъявленного подкаблучника». Кстати, жена Натана тоже, конечно, сейчас в лагере, только не на Колыме.

Кроме лечения доходяг на обязанности врача еще и вскрытие многочисленных трупов, патологоанатомическая документация.

Вальтер стоит над секционным столом, режет (анатомию он знает артистически!) и диктует нам с Конфуцием. Мы пишем протоколы вскрытий.

— А где же бессмертная душа? — задумчиво спрашиваю я однажды, после того как обработка трупа закончена.

Доктор внимательно вскидывает на меня глаза, становится непривычно серьезным.

— Хорошо, что вы задаетесь этим вопросом. Плохо, если вы думаете, что бессмертная душа должна обязательно локализоваться в одном из несовершенных органов нашего тела.

Конфуций тихонько подталкивает меня под локоть, кивает на доктора и таинственно шепчет:

— Католик . . . Ортодоксальный католик . . .

Веселый святой стал потом моим вторым мужем. Среди зловещих смертей, среди смрада разлагающейся плоти, среди мрака полярной ночи развивалась эта любовь. Пятнадцать лет шли мы рядом через все пропасти, сквозь все вьюги.

Сейчас весь его необычный и яркий мир, все богатства, вместившиеся в этой душе, прикрыты бедным холмиком на Кузьминском кладбище в Москве. Или, может быть, я снова делаю ошибку, против которой он меня предостерегал? Опять ищу бессмертную душу там, где лежит только несовершенное, рассыпавшееся в прах тело?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

РАЙ ПОД МИКРОСКОПОМ

Насчет того, что Тасканский пищекомбинат — это рай для заключенных, — не было двух мнений. Особенно для женщин. Их здесь мало, в пять раз меньше, чем мужчин, и все они на хороших работах. В больнице, в яслях, в теплицах, свинарнике. Одним словом — в помещении! Не на свежем сорокаградусном воздухе!

Женский барак стоит вне зоны, охраняется только одним дежурным вохровцем, который смотрит сквозь пальцы, если бабенки пойдут в вольный поселок постирать, полы вымыть, одним словом — подработать.

А для мужчин уже тем хорошо, что Таскан не прииск, не забой. Таскан считается полуинвалидным ОЛПом. Все на легких работах!

Я еще остро помню Известковую. Поэтому я шумно восхищаюсь Тасканом, и это смешит доктора, даже немного злит его.

— Вижу, что вам надо взглянуть на наш рай попристальней. Под микроскопом. Хотя бы под таким самодельным, как наш . . .

Захватив Конфуция, мы все втроем отправляемся «на производство». Это отнюдь не значит, что мы идем в цеха пищекомбината. Нет, в цехах работают вольняшки или бывшие зэка, освободившиеся из лагеря и осевшие на Колыме. А мы идем на большую сопку, которая и есть производственный объект наших доходаг. Вооруженные небольшими топориками, перекинув за плечи мешки, они ходят попарно по склонам сопки, рубят ветки низкорослого кедра-стланика. Потом сваливают ветки в мешки и тащат их на приемный пункт пищекомбината. Там эти ветки — сырье. Из них варят противощинготные напитки и пасты.

Работают доходаги без конвоя. Куда им бежать-то? Да и само понятие о побеге не вяжется с этими странными, почти потусторонними фигурами, ползающими по сопке, точно какие-то неведомые насекомые, перемещающиеся движениями членистоногих.

— Итак, вот перед вами основное население рая. Берем один экземпляр, наводим на него микроскоп . . . Как дела, Балашов?

Оказывается, обход работяг «на производстве» входит в наши обязанности. Он именуется «профилактическим» и рассматривается как проявление гуманизма. Фактически он направлен на предотвращение смертей во время работы. Почему-то в этом вопросе начальство проявляет крайнюю щепетильность. Умирать положено на больничной койке, в крайнем случае в бараке, на нарах, но отнюдь не на сопке. А то свалится где-нибудь в сугроб, ищи его потом, объявляй в побеге, отчитывайся . . .

Вальтер очень умело использует эти опасения начальства, чтобы ежедневно превышать установленную норму на «бюллетни».

— Не тошнит тебя, Балашов? — спрашивает доктор.

— Вроде есть маленько, — почти беззвучно бормочет Балашов, приближаясь к нам этой удивительной, почти без центра тяжести, походкой.

Вальтер берет его за руку, отыскивая пульс. Я вдруг вижу

всю фигуру Балашова крупно, точно действительно навела на него микроскоп. Он похож на марсианина, со своей огромной, обмотанной кучей тряпья головой, с выпуклыми глазами и лиловыми кругами подглазниц.

— Иди в барак! Не слышишь? В барак, говорю, иди, ударник производства! Скажи на вахте, что я освободил. Полежи до вечера, а вечером придешь в амбулаторию . . .

Покрытые болячками губы раздвигаются, обнажая черные обломки зубов. Он рад! Он улыбается!

— Как думаете, сколько ему лет? — спрашивает меня доктор, глядя вслед ударнику производства.

— Не знаю. Сто? Пятьсот? Разве у него еще есть возраст?

— А как же! По крайней мере по у с т а н о в о ч н ы м д а н н ы м ему тридцать четыре года. Восемь лет назад, когда его арестовали, он был студентом Киевского университета. Спортсмен. Боксом увлекался. На прииске пробыл почти пять лет. Рекордный срок!

— А какой диагноз вы бы ему поставили? — спрашивает Конфуций, ударяя на последний слог ученого слова. Он любил подчеркнуть, что он-то настоящий фельдшер, не то что я, медсестра лагерной выучки. Впрочем, быстро убедившись, что я знаю свое место и не конкурирую с ним, он добродушно учит меня всем премудростям.

— Диагноз? Алиментарная дистрофия, наверно? Уж этого-то ли главного нашего диагноза мне не знать?

— Голод! — подытоживает доктор. — Трофический голод. Распад белка.

Если посмотреть не на отдельного ударника, а на весь производственный процесс в целом, то кажется, будто это какой-то мультипликационный фильм. Так по-кукольному сгибают додыги свои локти и колени, точно они вырезаны из фанеры.

Психика у доходяг тоже нарушена. Все слезливы и обидчивы, как дети. Многие совсем потеряли память.

Изо дня в день разыгрывается на поверке потеха с Байгильдеевым. Никак он не может запомнить свою статью, по которой сидит уже девять лет. Не может — и все тут! Срок помнит, пожалуйста, — десять лет и пять поражения, а вот статью — хоть убей! И то сказать — статья у него трудная . . . АСЭВЭЗЭ (антисоветский военный заговор).

— Байгильдеев! — кричит вохровец по прозвищу Зверь, поднося к близоруким глазам учетную карточку военного заговорщика.

— Абдурахман Юакирзянович! — бойко рапортует бывший казахский колхозник. — Год рождения одна тысяча девятьсот десятый! Статья . . . Статья . . .

Он трет лоб. От напряжения жилы на его висках вздуваются желваками. Несколько секунд внутренней борьбы — наконец отчаянное признание:

— Забыл статью . . . Опять забыл . . .

Зверь ругается по матушке. Надоела ему эта петрушка! Каждый день мерзни тут из-за такого ишака, что собственных своих установочных данных запомнить не может. Ну вот, слушай, черт нерусский! Остатний раз тебе говорю, запоминай: Асезезе! Понял? Русского языка не понимает!

Услышав сигнальные звуки, такие знакомые, но никак не лжающиеся на память, Абдурахман радуется как малое дитя. Он точно обрел потерянную игрушку.

— Асезезе! Асезезе! Ай, спасибо! Ай, спасибо!

Зверь грозит, что если завтра опять забудет Байгильдеев свою статью, то ночевать ему в карцере . . . Никто не верит этим угрозам, потому что Зверь, несмотря на свое прозвище, особо доходяг не обижает, матюкается только . . . Все смеются. Только Вальтер велит Байгильдееву зайти в амбулаторию.

— У него сердце на ниточке висит. А после этих ежевечерних потех у него приступы пароксизмальной тахикардии. Вчера до ста пятидесяти пульс доходил. Гипнозом, что ли, ему эту проклятую статью внушить!

. . . В отличие от настоящего рая, небесного, на Таскане ни на минуту не отвлекаются от мысли о хлебе насущном. О царице Пайке. Ее нежат, холят, о ней тоскуют и спорят. Ее завещают перед смертью друзьям . . . Я много раз присутствовала при этих завещаниях и даже являлась вроде нотариуса при выражении последней воли умирающего.

— Смотри, сестрица! Ежели до обеда кончусь, пайку мою — Сереге! А то шакаля-то в палате много. Неровен час — цапнут . . .

Завещания соблюдались строго. Шакалов, норотивших цапнуть пайку умершего, подвергали общему презрению, а иногда и кулачной расправе. Если, конечно, в палате находились такие, кто еще владел кулаками. Когда кто-нибудь умирал не в больнице, а в бараке, то смерть эту старались возможно дольше скрывать от начальства. Чтобы паечка шла и шла покойничку. Иногда даже поднимали мертвеца на поверку, ставили его в задний ряд, подпирая с двух сторон плечами и отвечая за него «установочные данные».

И все-таки все, даже самые доплывающие доходяги, так называемые ф и т и л и, считали Тасканский пищекомбинат раем. Искренне считали. Потому что это был не прииск, не забой. Потому что здесь лечили и часто давали «бюллетни». Потому что здесь почти не сажали в карцер. Одним словом, потому, что

это была полуинвалидная командировка, на которой можно было использовать все преимущества, предоставленные умирающим нашей гуманной санчастью.

Я полной грудью вдыхаю райские вольности. Меня поселили прямо в больнице. Сплю на топчане в процедурной. За вахту выпускают свободно. Едим по-семейному, все вместе: доктор, Конфуций, санитар Сахно и я. Повар подбрасывает медикам лишнюю ложку каши. Доктор по-братски отдает в общий котел перепадающие ему от вольняшек кусочки сала или кулечки с крупой.

Пищу духовную мы получаем тем же путем и по такому же скромному рациону. Доктор приносит немудрящие книжонки, плящися на этажерках вольных граждан поселка Таскан. После обеда, когда у больных мертвый час, мы читаем вслух, и Конфуций оправдывает свое прозвище, поигрывая разными аргументами для доказательства недоказуемого. Например, что, мол, горе и радость это, в сущности, одно и то же, так как и то и другое проходит. Хлебом его не корми, дай только пофилософствовать. Ужасно бедняга огорчается, обнаружив у нас с доктором тенденцию уединяться. Санитар Сахно не спорит с его философскими построениями. Он просто мирно дремлет под них.

Настало лето. Мы часто отправляемся с Вальтером в тайгу, собирать лечебные травы. Краткое цветение тайги великолепно. Оно пробуждает потерянную было нежность к миру, к оттаявшему тальнику, к стройным цветам иван-чая, похожим на лиловые бокалы с высокими ножками. Доктор то и дело наклонится, срывает растение и называет его на трех языках: по-русски, по-немецки, по-латыни. Вечером мы будем колдовать над кирпичной печкой, варить лекарства, а потом раздавать: столовую ложку отвара и пуд несбыточных надежд.

С каждой прогулкой крепнет наша дружба, сокровенней становятся разговоры. Он единственный, с кем я могу говорить об Алеше, и уже этим одним он для меня не такой, как все. Он как-то так повертывает руль разговора, точно нет разницы между ушедшими и нами, еще оставшимися пока на земле. Точно все мы — живые и мертвые — капли единого потока. И у меня возникает тревожное, но целительное ощущение, будто я еще могу сделать что-то для Алеши, даже обязана сделать что-то для него. Странно, но это смягчает неотступность боли. Иногда доктор вдруг неожиданно связывает с этой моей болью самые повседневные наши дела.

— Вы должны иногда и ночью подходить к Сереже Кондратьеву. Во второй палате... Совсем мальчик. Очень боится смерти. Я и сам к нему подхожу по ночам, но важно, чтобы это была женщина. Просто подойти потихоньку. Ну, руку на лоб, одеяло поправьте. Ради Алеши...

Доктор идет на сближение обстоятельно и нежно, как в доброе старое время. Рассказывает о детстве. Излагает свои научные гипотезы. Терпеливо переносит поток стихов, который я на него обрушиваю. И в любви признается, когда больше уже нельзя молчать, не устно, а в письме.

Для этого пригодилась поездка на недалекую командировку, куда доктор был направлен, чтобы «комиссовать» тамошних дохляг.

Шла уже вторая зима моей работы на Таскане. Теперь я была не амбулаторной, а настоящей больничной сестрой. Научилась всем премудростям: и скальпелем орудовала, и внутривенные вливания делала. И в это утро я вливала хлористый кальций Сереже Кондратьеву (просто чудо — пошел он у нас на поправку!), когда в больницу вошел зэка Заводник, бывший заместитель Микояна по Министерству пищевой промышленности. Он работал в лагере завхозом и постоянно разъезжал по точкам.

— Я привез вам письмо от доктора Вальтера, — сказал он с оттенком таинственности.

— Положите на полку. У меня руки заняты.

— Гм... По-моему, оно важное и личное. Доктор просил отдать непосредственно вам. Лучше я подожду, пока вы освободитесь.

В письме было признание. Удивительное. Можно сказать, уникальное. Потому что оно было написано по-латыни. Позднее Антон, смеясь, объяснял мне, почему он прибег в таком случае к языку Древнего Рима. Настоящего конверта не было, пришлось заделать лист бумаги в виде порошка, край в край. Не было и уверенности в рыцарской скромности гонца. Очень расторопный был товарищ. По-немецки он, скорее всего, понимал. Тогда-то Антон и надумал обратиться к латыни.

Я никогда не учила латыни, но по аналогии с французским кое-что понимала. (Антон потом шутил по этому поводу: «Добываешь творог из ватрушек».) И теперь, отвернувшись от Конфуция и от санитары Сахно к окошку, где сверкал синеватый колымский снег, я вглядывалась, волнуясь, в острый готический почерк доктора, разбирая приподнятые, почти патетические слова: *Амор меа... Меа вита... Меа спес...*

Судя по тому, с каким живейшим интересом Заводник наблюдал за мной, не торопясь уходить, можно было предположить, что этот ученый еврей кумекал кое-что и по-латыни.

— Доложите герцогу: ответа не будет. Точнее, ответ будет вручен ему лично по возвращении. Доброй ночи, виконт!

(Я долго сомневалась, уместно ли писать о таком личном в книге мемуаров, посвященных нашей общей боли, нашему об-

щему стыду. Но Антон Вальтер так плотно вошел в мое дальнейшее колымское существование, что было бы просто невозможно продолжать рассказ, не объяснив, откуда и как Вальтер появился в моей жизни. А главное, мне хотелось на его образе показать, как жертва бесчеловечности может оставаться носителем самого высокого добра, терпимости, братского отношения к людям.)

... Но, конечно, высокий стиль Антонова письма мне не под силу. И я прибегаю к спасительной шутке, маскируя свое отношение к нему самодельными стишками. В них я изображаю нашу с ним прогулку по Риму. «... Как прекрасен Капитолий, сколько в небе глубины! День прекрасный, день веселый, мы свободны, мы — одни. Все тяжелое забыто в свете голубых небес, вы шепнули: меа вита, амор меа, меа спес ... Я в восторге. И отныне я прошу вас вновь и вновь только, только по-латыни говорить мне про любовь ...»

... Громкий стук в дверь. Санитар Сахно, дрожа спросонья, судорожно зевая, тревожно шепчет:

— Вставай-ка, сестричка! Фершалу одному не управиться ... Происшествие! Начальства в коридоре — навалом ...

Господи, да они уморят всех наших больных! Наружная дверь распахнута настежь, и молочный кисель декабрьского морозного тумана вползает прямо в наши палаты. У больничного барака стоит грузовик. Наверху различаю фигуру заключенного. Вохровцы стаскивают его с машины. А в коридоре действительно полно начальства: и режимник, и командир вохры, и еще двое расторопных молодых парней, видно оперативники.

— Шприцы! — командует мне Конфуций. — Это термошок! Будем вливать глюкозу и физиологический ...

Мы хлопчем вокруг замерзшего, приводя его в чувство, а начальство почему-то не уходит. Наоборот, пристально следит за нашими манипуляциями, и режимник время от времени повторяет:

— Чтобы жив был! Чтобы не подох раньше времени!

Вот наконец больной открыл глаза. Они очень светлые и совсем пустые, стеклянные.

— Как фамилия? — допытывается у него Конфуций.

Но больной молчит. Только длинный тонкий рот корчится в беззвучных конвульсиях.

— Кулеш — его фамилия, — говорит начальник режима. — Он Кулеш. А вот его ужин.

Режимник протягивает мне черный закоптелый котелок, до краев наполненный какой-то пищей.

— Дайте медицинское заключение, какое это мясо.

Я заглядываю в котелок и еле сдерживаю рвотное движение. Волоконца этого мяса очень мелки, ни на что знакомое не

похожи. Кожа, которой покрыты некоторые кусочки, топорщится черными волосками.

Кулеш — бывший кузнец из Полтавской области — работал на пару с тем самым Центурашвили, что лежал целых полгода в нашей больнице. Сейчас Центурашвили — бывшему секретарю райкома партии одного из сельских районов Грузии — оставался всего один месяц до освобождения из лагеря. Уже в УРЧ лежали на него бумаги, а из дома шли полные нетерпения письма семьи. Антон, что называется, глаз не сводил с этого человека, которого удалось спасти от, казалось бы, неотвратимого конца, вечно вызывал его в амбулаторию, давал освобождения от работы, вместе с ним считал оставшиеся до отъезда дни.

И вдруг, на удивление всем, Центурашвили исчез. Вохровцы побродили по сопкам, записали показания напарника — Кулеша, что, мол, в последний раз он видел Центурашвили у костра. Кулеш пошел работать, а Центурашвили остался еще маленько погреться. А когда Кулеш вернулся к костру, Центурашвили, дескать, там уже не было. Да кто ж его знает, куда задевался. Может, свалился где в сугроб да и дал дубаря. Слабак был . . .

Вохровцы поискали еще денька два, а потом объявили Центурашвили в побеге, хотя между собой диву давались: чего это бежать, когда сроку-то оставалось всего ничего . . .

В присутствии всего начальства я ввожу Кулешу в вену глюкозу. Он не морщится от укола. Прямо на меня в упор таращатся его пустые белесые глаза.

— Что на лекпомшу-то уставился, выродок? — брезгливо говорит начальник режима. — Из нее, браток, котлетки-то поди вкуснее были бы, чем из Центурашвили . . .

Людоед! Я ввожу глюкозу в вену людоеда. По приказу начальства мы с Конфуцием должны спасти ему жизнь, чтобы он мог предстать перед судом. Начальники жалеют, что врач в отъезде. Обязательно надо гада до суда дотянуть . . . Чтобы другим неповадно . . .

Я еле удерживаюсь на ногах от физической и душевной тошноты. Спасать, чтобы потом расстреляли? Спасать по-человечески этого нелюдя? Да пусть бы он умер вот сейчас же, исчез, испарился, как болотное чудище, как нетопырь какой-то. Ловлю себя на том, что впервые за все эти годы я в эти минуты вроде бы внутренне ближе к начальству, чем к этому заключенному. Меня сейчас что-то связывает с этим начальником режима. Наверно, общее отвращение к двуногому волку, переступившему грань людского.

— А кто довел-то? Кто голодом заморил? — чуть слышно бормочет Конфуций.

Да, конечно, но все же . . . каков тот, кого можно довести до ЭТОГО!

. . . С недавнего времени в бараке, где жил Кулеш, стали замечать: что-то колдует он по ночам у железной печки. И вроде вареным мясом тянет от печки-то. Подтвердилось: глухой ночью, когда все спали, он варил свой бульон. Прижали: откуда мясо? Да раздобыл, мол, у корешей с соседнего прииска кусок оленины. Возненавидели: хоть бы раз хлебнуть дал, собака! Стукнул кто-то режимнику. И дознались . . .

Картина преступления была такая. Подойдя к гревшемуся у костра Центурашвили, Кулеш убил его ударом топора по шее. Потом снял с мертвого одежду, сжег ее на костре. Затем методично разрубил труп на куски и зарыл в разных местах в снег, пометив каждую свою кладовку каким-нибудь знаком. Только вчера бедро убитого нашли в сугробе под двумя перекрещенными короткими бревнышками.

. . . Наутро вернулся из командировки наш доктор. Он уже знал о случившемся. Бегло поздоровался и сразу пошел в палату, где лежал Кулеш. Весь этот день Антон промолчал. Даже обход провел почти молча.

Поздно вечером, когда мы остались одни в процедурной, он внимательно посмотрел на меня и положил руку на мою.

— Это был страшный день, дорогая. Но не отчаивайтесь. Да, зверь живет в человеке. Но окончательно победить человека он не может.

Впервые он назвал меня на «ты».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РАЗЛУКА

Фантастичнее всего, что на фоне этого безумного мира складывался все-таки какой-то быт. Утро начиналось с домашнего шарканья тряпичных тапочек санитары Сахно.

— Завтрак! — возвещал он торжественно. — Вставайте, доктора! Кушать подано!

— А что там на завтрак? — сонным утренним голосом спрашивал Григорий Петрович (Конфуций) с такой искренней любознательностью, точно меню нашего завтрака могло и впрямь измениться.

— Суп и чай! — с готовностью докладывал Сахно. И было очень приятно, что баланду он называет супом, а кипяток — чаем.

На все уже было свое определившееся время: и на работу,

и на чтение, и на писание писем материковским адресатам. Читали всегда вслух, так как книг нам перепадало не много. Письма писали тоже сообща, потому что формулировки надо было придумывать изощренные. Чтобы было понятно родным и приемлемо для цензора. Особенно много обсуждений требовали письма Сахно, поскольку его жена, доярка воронежского колхоза, была хоть и первейшей работягой, но зато «насчет умственности до ужаста тупая». Сахно всегда просил «намекать ей попонятнее». Он настойчиво объяснял это, и губы его подрагивали от нежности и боли, на что никак нельзя было намекнуть. Впрочем на свою инвалидность, на то, что в свои сорок он выглядит шестидесятилетним, он никогда ей не намекал.

По вечерам мы с Антоном даже ходили иногда в гости. Да, в гости! К тому единственному человеку, который имел право если не пригласить, то во всяком случае вызвать нас к себе на квартиру, — к начальнику нашего лагеря Тимошкину.

Оригинальный это был начальник! В блюстители закона он перековался из бывших беспризорников. В голове его царил самый немислимый ералаш, но сердце было добрейшее. Всю систему наказаний он полностью передоверил режиссеру, так как не мог перенести, если кто-нибудь из доходяг заплачет. Сам же он с увлечением занимался хозяйством лагеря, старался подбросить лишний кусок в лагерный котел, пускал ради этого в ход всю свою изворотливость, используя опыт молодых лет, когда он состоял в других отношениях с Уголовным кодексом, чем на теперешней должности.

Антон лечил и самого Тимошкина, и его бело-розовую вальжную жену Валу от подлинных и воображаемых болезней, и оба они души не чаяли в обходительном докторе. Вечерком Тимошкин то и дело звонил на вахту и строго приказывал немедленно прислать врача для оказания семье начальника медицинской помощи. Через час после ухода врача на вахте снова трещал телефон. На этот раз к начальнику требовали медсестру. Да чтобы шприцы не забыла с собой взять для уколов. Я оставляла в тимошкинской прихожей никому не нужные шприцы, а сама усаживалась за чайный стол, где меня уже ждали.

От Тимошкина и Валентины мы не скрывали наших отношений, и эти люди, сохранившие вопреки всему простые человеческие чувства, старались делать все, чтобы облегчить наше положение.

В долгих застольных беседах Антон удовлетворял детскую любознательность начальника, прошедшего свои школьные годы у асфальтовых котлов Москвы. Разнообразные сведения, получаемые в этих беседах, вызывали у нашего хозяина то радостное изумление: «Ишь ты!», то скептические возгласы — «Скажешь

тоже!» Услышав однажды от доктора, что земля — шар, вращающийся вокруг своей оси, наш начальник именно так и отреагировал: «Скажешь тоже!»

Меня он тоже уважал за ученость. По должности ему приходилось немало возиться с бумагами, и он решил подучиться грамматике, поступив на какие-то заочные курсы. Выполняя письменные работы для этих курсов, он вечно мучил меня вопросами о правописании разных слов. При этом он хитро шурился, прикрывал ладонью страничку учебника грамматики для пятых классов и откровенно сверял мои ответы с учебником. Не обнаружив расхождений, он победно взглядывал на Валю. Дескать, видала, какова лекпомша-то!

В медицине, кстати, я основательно продвинулась вперед. Теперь я смело вскрывала фурункулы и абсцессы, вливала физиологический раствор, а по части внутривенных — перегнала и врача и фельдшера, поскольку оба они уже нуждались в очках, а я еще была тогда довольно зоркая и в вену попадала почти безотказно. Приспособил меня Антон и к ведению историй болезни.

Его ужасно угнетала эта часть его обязанностей. По приемам работы и по своему душевному складу он был типичным домашним или земским врачом. Готов был тратить долгие часы на уход за больным, на уговоры и утешения. Но всякая канцелярщина казалась ему непереносимой. К тому же, хоть он и говорил по-русски почти без акцента, но в письменной речи явно обнаруживал свое немецкое происхождение: громоздил тяжелые фразы с вспомогательными глаголами на конце, тратил массу лишнего времени, методично вырисовывая островежие, похожие на готические, буквы. А пренебрегать документацией было никак нельзя, потому что многочисленные начальники и ревизоры только по ней и судили о работе больницы. Зарывать наших пациентов под сопку мы были обязаны не как-нибудь, а «в строгих правилах искусства».

Обнаружив мои первые опыты в заполнении историй, Антон обрадовался.

— Здорово получается, Женюша! Давай так и сговоримся: я буду лечить, не отвлекаясь на эту канитель, а ты уж . . . Ладно? Чего вам, гуманитариям, стоит лишнюю страничку общими словами исписать! Тебе это легко дается . . .

Действительно, я в пять раз быстрее Антона вписывала листки с т о р и й различные комбинации принятых железных формулировок. Но нельзя сказать, чтобы это давалось мне легко. Особенно эпикризы и протоколы вскрытий. Рука автоматически строчила — «И в 12 часов 17 минут скончался при явлениях нарастающей сердечной слабости», а перед глазами стояла реальная

картина этого мгновения, так академически описанного. Застывшие в последней судороге черные провалы ртов. Каменеющий в глазах смертный ужас. В ушах звучали последние слова умирающих.

Я всегда старалась запомнить эти последние произнесенные человеком слова. Ведь может статься, когда-нибудь о них будут, содрогаясь от любви и боли, расспрашивать те, для кого это лагерное койко-место было дорогим Ванечкой.

Правда, что-нибудь значительное — о жизни, о несправедливости, свершенной над ним, о своих близких — человек говорил обычно раньше, когда смерть еще не вплотную подошла к изголовью. А при последнем грозном ее появлении люди, заторопившись в дальний путь, почти всегда вспоминали что-нибудь мелкое. Один спрашивал, скоро ли обед, в безумной надежде успеть перехватить еще несколько ложек густой больничной баланды. Другой вдруг судорожно принимался искать мешочек с запасными портянками.

Так что совсем это было не так просто — документировать лагерные болезни. Иногда мелькали безумные мысли: а что, если зачеркнуть сейчас слова «История болезни» и написать сверху «История убийства»? Но духу на это, конечно, не хватало. Да и кому это помогло бы?

Больница наша вечно была переполнена. Люди лежали не только в так называемых палатах, но и в кривом коридоре, где свистели все колымские ветры. Ежедневно приходилось решать мучительный вопрос: кого из прибывших больных принять, кого отправить в барак, снабдив вожделенным освобождением от работы. Тем, кто болел в бараке, повышенный паек не выдавался. Поэтому все жаждали лечь в больницу.

Именно с этого трудного вопроса о приеме больных «на койку» и начался роковой для меня день. Антон и Конфуций с утра выехали на т о ч к и. Я осталась в качестве единственной медицинской власти.

— Нету местов! — отбивался за меня санитар Сахно, не пропуская в дежурку напирających больных. — Нету — и все тут. Куды вас девать-то! Есть, правда, местечко в женской палате . . . Дак ведь не в женскую же вас ложить!

Тут меня и осенило. А почему бы, собственно, и не в женскую? Женщин в нашем лагере было мало, болели они реже, и одно-два места в женской палате часто пустовали. А что если положить туда ну хоть вот этого Мизинцева? . . . Почему бы нет? Разве у этой загробной тени есть еще пол?

Наметанным глазом сразу вижу: умрет к вечеру. Так пусть хоть на койке, а не на нарах, в грязи и холоде. И морфий ему введу . . . Меньше мучиться будет.

— Положи его в женскую, Сахно. У двери . . .

— А не нагорит нам? — усомнился наш опытный санитар. — Ну, да и то сказать — шкилет . . . Поди разберись, какая в ём стать . . .

Но начальство разобрало. И надо же было именно в этот день нагрнуть комиссии из Ягодного! Да чтобы сразу им в глаза метнулась облысая синюшная голова этого Мизинцева!

— Мужчина в женской палате?

Священное негодование вспыхнуло на упитанном лице начальника. Он, оказывается, уже давно слышал, что здесь, на Таскане, притон разврата. Да и чего ждать, когда заключенные женщины живут за зоной и разгуливают по поселку без конвоя!

Не слушая моих объяснений, он прошел в дежурку, где выявился еще один потрясающий факт: медсестра, несмотря на свой явно женский пол, живет рядом с врачом и фельдшером, отделенная только фанерной перегородкой . . . И после этого еще удивляются, что деткомбинат ломится от незаконнорожденных . . .

Начальник был оперативен. Уже на другой день пришел приказ, положивший конец всем традиционным тасканским вольностям. В неустанной заботе об укреплении нравственности жителей вольного поселка Севлаг предлагал немедленно водворить заключенных женщин в зону, ликвидировать зазонный женский барак, строго конвоировать женщин при выводе на работу. Преступную же медсестру предлагалось немедленно этапировать в Эльген. Само преступление было сформулировано с предельной четкостью: «Пыталась создать условия для разврата путем госпитализации зэка мужского пола в палату для зэка обратного пола».

— Дай мне яду, Антоша! Пожалуйста, дай . . . На всякий случай . . . Я зря не приму . . . Только в том случае, если Циммерманша придумает что-нибудь уж совсем невыносимое . . .

Антон с негодованием отвергает просьбу. Не я дала себе жизнь, и не мне ее гасить. И каждый обязан пройти через то, что ему назначено. Но об этом говорить еще рано. Сначала он пойдет хлопотать.

Некоторые возможности для хлопот у доктора были. Кроме начальника лагеря Тимошкина он лечил и директора Тасканского пищекомбината — Нину Дмитриевну Каменнову. Поддержка со стороны Тимошкина была обеспечена. Конечно, совсем не выполнение приказа Севлага он не может, но затянуть мою отправку на несколько дней — это в его силах. Антон пошел к Каменновой. Это была женщина лет сорока пяти, типичная женотделка, самоучка, возмещавшая отрывочность образования здравым смыслом и деловитостью. Она умело вела свое предприятие, минувя рифы и утесы «колымской специфики». Тот же здравый

смысл подсказывал ей, что лишняя жестокость не помогает выполнять производственные планы. Именно так она и мотивировала свои добрые поступки. «С покойниками плана не выполнишь». Не чуждо ей было и чувство благодарности. К Антону, лечившему всю ее семью, она относилась как к другу. В одной из откровенных бесед она заявила ему «раз и навсегда», что немцем его не считает, поскольку «такой хороший человек не может быть немцем».

Ее-то и умолял сейчас Антон поехать в Ягодное и использовать там для моего спасения свои многочисленные связи. Если уж никак нельзя оставить здесь, то пусть хоть пошлют в любой другой лагерный пункт, только не в Эльген . . . Ведь это равносильно смерти — попасть снова в руки Циммерман!

Связи у Нины Дмитриевны действительно были большие. Время было военное, с продуктами, даже для вольных, туговато, а пищекомбинат выпускал не только витаминные настойки, но и такие соблазнительные вещи, как стуженное молоко, яичный порошок . . .

Она сделала это для своего доктора. Поехала. Добилась отмены приказа об отправке меня на Эльген. Правда, оставить меня на Таскане начальники не согласились: уж очень на шумели они насчет «мужчины в женской палате», очень гордились сделанным разоблачением и принятыми мерами. Но по просьбе Каменной, с которой ссориться им не было никакого смысла, дали с п е ц и а р я д. Я направлялась медсестрой в центральную больницу Севлага, в поселок Беличье.

Вопреки логике, это назначение было вроде бы даже повышением по лестнице лагерной «карьеры»: из таежной «глубинки» я попадала теперь в районный центр. Беличье — всего в четырех километрах от Ягодного. Спасало меня это назначение и от угрозы Эльгена и Циммерманшиной мести. Но разлука с Антоном стала непреложным фактом.

Глядя на нас, утирают слезы не только наши больные, не только Конфуций и Сахно. Сам начальник ОЛП Тимошкин проникновенно, хоть и шепотком, матерится по адресу ягоднинских начальников и клянется при первой же возможности непременно выменять меня на кого-нибудь. Пусть на печника или даже на электрика. Он не пожалеет . . . Лишь бы время прошло и забылась маленько вся эта история.

. . . Всю ночь мы сидим на топчане в дежурке и вспоминаем. Подробно рассказываем друг другу, как мы впервые встретились и что тогда каждый подумал о другом. И как Заводник привез мне латинское письмо. А как мы искали в тайге лечебные травы. Мы даже смеемся, вспомнив, как я растопила шприцы — все шприцы до одного! — не заметив в пылу увлекательной беседы, что вода

в стерилизаторе давно выкипела. И как мы были сначала в полном отчаянье — где взять здесь, в тайге, новые шприцы? А потом Погребной с ветпункта выручил. У него, оказывается, большой запас был, не в пример нам. И как доктор потом долго острил на тему о причинах моей рассеянности.

В этих воспоминаниях прожитый год кажется нам волшебным счастливым. Мы были удивительно сильными. Ведь все переживалось вместе . . .

— С вещами!

Уже прибыл за мной конвоир. Специально из Ягодного. Эта формула («С вещами!») — нечто вроде голоса Рока. Чья-то немолчаливая равнодушная рука снова переставляет пешку на шахматной доске.

Санитар Сахно плачет совершенно открыто, всхлипывая по бабьи. В коридоре сгрудились все больные, держащиеся на ногах. Сквозь глубокое отчаяние у меня пробивается мысль: выходит, они привязаны ко мне, выходит, не зря прошел этот лагерный год — была нужна людям.

Последний момент. Сейчас я перешагну порог моего горького, голодного, страшного и восхитительного рая. Прощайте, дорогие! Прощай, Антон!

— Нет, не прощай! До свидания! И помни: мы всегда с тобой . . .

Мы обнимаемся прямо на глазах больных и ягоднинского конвоира. Становится очень тихо. Даже пришлый конвоир, конечно не раз таскавший в карцер «за связь ээка с ээкою», поддается этой тишине. Он терпеливо стоит, прислонившись к притолоке. Ни разу не сказал: «Давай, давай!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ЗЭКА, ЭСКА И БЭКА

На первый взгляд усадьба центральной больницы Севлага — Беличье — воспринималась как дом отдыха или санаторий. Дорожки между строениями были расчищены и посыпаны гравием. Даже клумбы здесь были. Клумбы, обложенные дерном. Правда, в августе, когда я впервые появилась здесь, цветы были уже прибиты первыми заморозками, их белесые, иссушенные стебли уже распластались по земле, готовые смешаться с ней. Но сама мысль, что здесь сажают цветы, вселяла какие-то странные надежды.

Два двухэтажных корпуса ослепили меня своим материковским видом. Остальные строения — хоть они и были бараками

привычного типа — все-таки резко отличались чистотой и ухоженностью от того, к чему я привыкла на Эльгене или на Таскане.

— Ну что, осмотрели нашу жемчужину Колымы? Рады небось что из таежной глухомани вырвались? — приветливо осведомился местный нарядчик.

— А здесь разве не тайга?

— Тайга-то тайга... Только Федот, да не тот... Наше Беличье — оазис в пустыне. Особенно для женщин. Заключенных женщин здесь всего двое. Вы третья будете. Сами понимаете, каким вниманием вас окружают. Пойдемте, провожу вас к главному врачу, а заодно покажу всю территорию: дом дирекции, лабораторию, аптеку, морг...

Он подхватил меня под руку жестом радушного помещика. Этот длинноносый сухопарый человек с лицом фавна и ёрнической манерой говорить носил фамилию — Пушкин и имя — Александр. На воле он был каким-то периферийным хозяйственником, крупно проворовался и прочно сел на десять лет еще в тридцать шестом. Он тут же начал рассказывать мне об этом, шумно восторгаясь собственной сообразительностью и дальновидностью. Получалось так, что он вроде обдуманно сел «вовремя и по отличной бытовой статье». Промешкай он со своей хозяйственной махинацией до тридцать седьмого, подсунули бы ему как пить дать террор или вредительство. А разве тогда мог бы он мечтать о портфеле нарядчика на Беличьем? Должность большая, но он не заносчив и всегда рад по мере сил помочь политическим. Чем возможно, понятно. Особенно дамам, в которых он понимает толк, и врачам, в которых нуждается: язва желудка.

— А почему в глазах мировая скорбь? — обратил он наконец внимание на мой подавленный вид. — А, позвольте, что-то слышал... Любовная разлука? Немецкий доктор с Таскана? Гм... Сразу видать непрактичную даму: война с Германией, а вы себе немца нашли... Разве не благоразумнее взять русского человека? Ну, пусть хоть и зэка, но такого, чтобы мог питание обеспечить... Что же вы морщитесь? Питание в наших условиях — кардинальная проблема. Но между прочим, если ваш новый избранник будет из заключенных, то он сможет обеспечить и единомыслие и, так сказать, совместную скорбь...

Это был изощренный пакостник, вроде капитана Лебядкина. Он вел меня окружным путем, чтобы длить эту светскую беседу. Впрочем, он не догадывался взять у меня мой тяжелый деревянный чемодан — изделие эльгенского могильщика Ёгора. Пушкин так и сыпал сальными остротами, именуя их фольклором, который, дескать, так ценил его великий тезка.

Но вот, наконец, и дом дирекции. Пушкин самолично доставил

меня к начальнице, пред ее испытующие и грозные очи. В официальных бумагах местная властительница именовалась очень прозаично — главврач центральной больницы Севлага. Но она являлась одновременно и начальником лагпункта. Власть ее над телами и душами вверенных ей заключенных была абсолютна еще и потому, что самый главный хозяин провинции — начальник северного горного управления Гагкаев был земляком и другом нашей главврачихи. Оба они были из Осетии.

(Ее звали Нина Владимировна Савоева. Забегая вперед, надо сказать, что судьба оказалась милостивой к этой женщине: ее жизнь сложилась так, что выявились лучшие стороны ее натуры и, наоборот, оказались подавленными те первичные инстинкты властолюбия и самоуправства, которые были ей свойственны. Полюбив заключенного лаборанта, она стала позднее его женой и после смерти Сталина работала уже рядовым врачом в Магаданской больнице. Встречаясь на магаданских улицах со мной и Антоном, она приветливо здоровалась и говорила что-нибудь обыденное. Дескать, сегодня в кино «Горняк» идет хорошая картина . . . Трудно было поверить, что всего за несколько лет до этого она казнила и миловала, выходила из внутренних апартаментов походкой царицы Тамары, говорила отрывистым гневливым голосом, приказывала приближенным рабыням мыть себя в ванне и умащивать свое довольно грузное и бесформенное тело разными ароматическими веществами.)

Снова возвращаюсь к банальной мысли: абсолютная власть разлагает абсолютно. Незлая по натуре, Нина Савоева совершала немало постыдного под крылом Гагкаева, этого районного Сталина, о жестокости которого ходили постоянные слухи. Как хорошо, что благодаря любви к мужчине судьба Савоевой переломилась! Еще несколько лет беличьинского владычества — и она окончательно погибла бы, превратившись в палача.)

В тот момент, когда я предстала перед ее грозным ликом, она была еще в полном блеске величия. Ее черные кавказские глаза метали молнии. Широкая короткопалая рука, вся в кольцах, то и дело поднималась в повелительном жесте.

— Отведете ее в туберкулезный, — сказала она Пушкину так, точно меня тут не было. — Там и жить будет, в кабинете. Посуду отдельную. Предупредите: больные остро заразные. Пусть будет осторожна . . .

Эти гуманные слова главврач произносила так оскорбительно, что мне вдруг захотелось заплакать. Очевидно, таков был местный ритуал: к мелкой рабыне вроде меня не могли быть обращены непосредственные слова владычицы. Я с тоской вспомнила наши вечерние чаепития у тасканского начальника Тимошкина, идиллические просветительные беседы с ним насчет вращения

земного шара. (Нелегко было дяде Тому привыкать к плантациям мистера Легри после доброго Сент-Клера и его дочери . . .)

Туберкулезный корпус стоял на пригорке, в отдалении от остальных строений. Это был барак, разделенный на две палаты. В одной лежали носители бацилл Коха — «палата бэка». В другой — те, у кого «бэка в поле зрения не обнаружены» — «чистая». Деление это было довольно условным, состав больных подвижным, потому что лабораторные анализы были, мягко выражаясь, несовершенны и жители «чистой» палаты порой перегоняли «бэков» по проценту смертности. Женской палаты здесь не было.

Каморка, предназначенная мне, тесно примыкала к палате «бэков», отгороженная от нее фанеркой, не доходящей до потолка. Я с трудом отделалась от Пушкина, многословно и узористо разъяснявшего мне, что этот опасный корпус имеет свои преимущества: охрана, боясь заразы, сюда заглядывает редко, начальство — тем более.

На довольно устойчивых топчанах, покрытых не очень тощими матрацами, лежали мужчины. Не доходяги, не фитили, не «шкилеты», а нормальные с виду, преимущественно молодые мужчины. Они резко отличались от наших тасканских пациентов, обессиленно и обреченно доплывавших к неизбежному берегу. Здесь лежали люди, еще вчера здоровые, привыкшие к активному сопротивлению силам смерти. Они были сломлены сейчас не многолетним голодом и непосильным трудом, а острым, быстро текущим заболеванием. Заключенные в прежнем значении этого слова составляли здесь меньшинство. А большинством были люди нового послевоенного колымского сословия, так называемые «эска» — спецконтингент.

Это была моя первая встреча с людьми, вынесенными сюда из другого ада — из ада войны и гитлеризма. Среди них были самые различные категории. Некоторые на вопрос «за что?» отвечали: «За то, что не покончил самоубийством». Другие — латыши, эстонцы, литовцы — были мобилизованы в германскую армию при оккупации Гитлером Прибалтики. Третьи бежали из плена или были вывезены из освобожденных нами районов.

Эска делились на срочников, имевших шесть лет, и бессрочников — «до особого распоряжения». Считалось, что режим эска мягче нашего, эковского. Однако те, кто лежал сейчас в туберкулезном корпусе, прошли через знаменитый прииск Бурхала, где молодые заболевали сначала воспалением легких, потом скоротечным туберкулезом. Особенно быстро протекал этот процесс у рослых прибалтов, которым требовалось много калорий.

Первые дни здешней жизни были для меня острой пыткой. Ночью я не могла уснуть, ворочаясь до одури на коротком топчане. (Тот, что подлиннее, не влезал в кабинку.) Непрерывные

кашли — сухие и влажные, осторожно сдерживаемые и отчаянно пароксизмальные — сотрясали воздух. Разноязычные стоны, хриплые проклятия, а иногда и просто плач самых молоденьких — ко всему этому предстояло привыкнуть.

С утра я начинала вливания хлористого кальция всем больным подряд. Я садилась на край койки, ища вену. Я входила в близкое, почти родственное соприкосновение с этими латышскими мальчиками, в каждом из которых я видела своего Алешу. Они были почти его ровесниками, года на два-три постарше. Такие же высокие, как он, с такими же пушистыми ресницами и доверчивыми, еще пухлыми мальчишескими губами. Они должны были жить. А они умирали. Ежедневно, еженощно умирали, отчаянно отбиваясь от смерти, но терпя поражение. И на смену им привозили все новые транспорты мальчишек, и они снова умирали. Погибали, то отчаянно отбиваясь от гибели, то уже сдавшись и зовя перед концом маму. Потом я пыталась подсчитать, сколько человек умерло на моих руках, сколько последних вдохов я приняла. Получалось что-то близкое к тысяче . . .

Туберкулезное отделение вел заключенный врач Баркан. Похожий на обедневшего остзейского барона, весь какой-то обесцвеченный, с симметричными мешочками под глазами, он был погружен в себя и не очень реагировал на внешние раздражители. Ему оставалось досидеть всего несколько месяцев, и он умел говорить и думать только об этом.

Я долго не могла привыкнуть к его стилю работы. Не то чтобы он был недобросовестен. Нет. Он аккуратно совершал дневные и вечерние обходы, выслушивал, выстукивал, делал назначения, исходя из скудных возможностей нашей аптеки. Но никто из больных не догадывался, что он тоже заключенный, и все называли его «гражданин доктор». Когда я однажды в первые недели моей работы здесь прибежала за ним ночью с возгласом: «Андрис умирает! Андрис! Тот мальчик, что у самой двери . . .», он спокойно ответил: «Да, я так и полагал, что сегодня . . .» И даже не подумал встать. Я вспомнила, как Антон бегал по всему поселку, разыскивая глоток вина для бродяги, которому перед смертью уж очень хотелось выпить, или как врач сидел по ночам у койки молодого парня только потому, что тот боялся темноты . . . Вспомнила, сказала: «Извините, гражданин доктор». И ушла. Больше я его никогда не будила.

Санитаров в нашем туберкулезном отделении было двое. Старший — Николай Александрович — на воле был бухгалтером и умудрялся даже здесь сохранять какой-то счетно-финансовый вид. Он носил очки, был крайне деловит и организован в работе. На его обязанности были все внешние сношения. Он приносил из кухни еду на всех, из аптеки — лекарства, от начальства,

избегавшего нашего корпуса, — приказы и распоряжения. Работой своей он очень дорожил, считал себя умным и хитрым за то, что так ловко сумел устроиться: паек идет как за вредную работу с заразными, а фактически он с больными почти не соприкасается.

Настоящую санитарскую работу — грязную, тягостную, бессонную — нес младший санитар Грицько. Ему было тогда всего восемнадцать, но жизненного опыта хватило бы на троих. В срок втором, когда гитлеровцы стояли в их городке, Грицько был еще подростком, правда таким высоченным, что ему «со спины» давали на пять лет больше.

— Хиба ж я знав, що таке страпится, — огорченно говорил он всякий раз, начиная рассказ о своей одиссее.

Та ж мамо ему говорили, щоб не выходив с хаты. Так не послухав же! Змия як раз хлопцы пускали, ну и вышел побачити . . . А тут нимцы . . . Пидйихали на таким великим крытом грузовике и легонько так пидманили: «Ком, юнг, ком хер!» И затолкали Грицька в машину, така гарна крыта машина, та и повезли. Мамо и доси не знають, де сынок подивався . . . А уж вин пойдиздив . . .

Малолетнего Грицька таскали для прифронтовых работ по всей Европе. Свои путевые впечатления он излагал всегда в строгой последовательности, руководясь при этом как главным критерием в оценке любой страны качеством тамошней баланды.

— У Польши, сестрица, баланда дуже погана . . . Зовсим пуста . . . У Чехословакии — трохи гарнийша . . . Але у Итали! О це краина! Такий баланды, як у Итали, мы з вами, сестрица, в життя не побачимо . . .

В наш туберкулезный корпус Грицько попал прямым маршрутом Рим — Колыма. По правде говоря, в Итали, невзирая на такую удивительную баланду, Грицько все же тосковал по дому. И как только в районе их работ появились советские офицеры и стали звать домой, Грицько не раздумывал.

Вони, ти офицеры, плакат до нас принесли. Така гарна жинка намалевана. Рука протягае: иди, сынку, до дому, бо витчизна-мать тебе кличе . . . Правда, балакали там ризно, что, мол, посадят до лагеря за то, що у нимцев служив. Та Грицько не поверив. Сам он, что ли, к нимцам подался? Силком ведь сцапали . . .

— Эх, сестрица, кабы вы побачили, як нас з Итали провожали! Духовой оркестр грал! Наши радяньски офицеры промовы говорили . . . Ну, а як дойихали до нашего кордону, так — пересадка. Усих перегрузили в товарны вагоны, та двери зачинили замками . . . Музыка? Ни, музыка бильш не грала!

В туберкулезное отделение Грицько попал по той же схеме, что и прибалтийские мальчишки: прииск Бурхала, воспаление

легких, туберкулез . . . Но тут Грицько наглядно проиллюстрировал правильность поговорки «Что русскому здорово, то немцу — смерть». В тех же условиях он умудрился выздороветь. Каверна у него зарубцевалась, бэка «в поле зрения» не обнаружилась. Он уже был почти готов для новой отправки на Бурхалу, но тут судьба его неожиданно-негаданно повернулась к счастью.

Дело в том, что, став ходячим больным, Грицько начал добровольно помогать санитарам. Никакие турне по Европе не могли зачеркнуть навыков, привитых с детства. Заметив непролазную грязь в туберкулезном корпусе, Грицько проявил инициативу. Каким-то таинственным образом ему удалось выменять пайку на ведерко сухого мела. Он смастерил из мочалы кисть и пустил ее наводить чистоту на стены барака. Как раз в это время главврачу сигнализировали, что уже выехала авторитетная комиссия, которая будет обходить все корпуса больницы, не исключая и заразного. Вспомнив мерзость запустения, царившую в туберкулезном, Савоева бросилась сюда, взволнованная, гневная, готовая покарать первого попавшегося под руку «виновника» грязи. И вдруг . . .

— Что ты делаешь? — воскликнула она, застав Грицька уже домазывающим стены палаты «бэка».

— Та вот . . . Трохи хату пидбеливаю . . . Бо дуже замурзана була, — эпически объяснил Грицько.

Савоева помолчала и отрывисто приказала Баркану:

— Не выпишывайте его! Останется тут санитаром . . .

Так привычка, рожденная когда-то «в садке вишневом коло хаты», спасла парубка от Бурхалы, от новой пневмонии, от верной гибели.

Больные — и эзка, и эска, и бэка, и не бэка — дружно обожали молоденького санитаря. Он был нужен всем. Тому ночью подаст водички, другому поможет встать и проводит «до ветру», с третьим просто посидит и потолкует «за жизнь» в минуту острого отчаяния. Свести бы его с доктором Антошей! Идеальное получилось бы лечение . . .

Единственная лагерная черта в характере Грицька была жадность на хлеб. Хлеба у нас, в туберкулезном, было много: умирающие ели плохо, а пайки выдавались усиленные. Но все равно Грицько сушил, копил, прятал хлеб, комбинировал какие-то обмены и вечно подбивал меня подавать сведения о новых покойниках не сразу, а только после получения на них дневного довольствия.

— Та шо вы, сестрица! Та придурки сожруть . . . И им и так хватае . . . Хай у нас трохи в запасе буде . . .

Даже когда умер Андрис, с которым Грицько обменялся клятвой вечной дружбы, он все равно, обливаясь слезами, попросил:

— Та не спешить до конторы, сестрица! Вот получимо хлеб та баланду на Андриса, тоди и пойдете . . .

К Грицьку не приставала лагерная грязь. Он был приветлив, никогда не произносил гнусной ругани, вошедшей в обиход даже у многих бывших интеллигентов. Только однажды я видела его в приступе неукротимой ярости. Это тоже было связано с Андрисом, с его смертью.

У того на указательном пальце левой руки было массивное кольцо с камеей. Он пронес его через все обыски и не расставался с ним, считая талисманом. Перед смертью он снял кольцо и отдал Грицьку, попросил переслать матери в Даугавпилс, в Латвию.

Мы с Грицьком долго шептались, как быть. Сами мы, конечно, никакого доступа к почтовой связи не имели. Хранить кольцо долго у себя было опасно: могли отнять. И мы решились обратиться к нарядчику Пушкину. У него вольное хождение и тысяча связей. Ему ничего не стоит отправить кольцо Андрисовой маме.

— Хучь он и дуже охальный, цей Пушкин, але мабуць на таку мельку речь не позарится, — задумчиво соображал Грицько.

Пушкин охотно взял красивую вещицу, небрежно сунул в карман, но сказал, что сделает обязательно, что мать — это дело святое. Прошло недели две, и вдруг Грицько обнаружил Андрисов перстень на грязном заскорузлом пальце заключенного-бытовика, торговавшего в нашем продуктовом ларьке.

— За полкила масла та дви банки бычквив в томати, — прошипел Грицько, и я не узнала его голоса.

Когда через несколько дней нарядчик Пушкин зашел в наш корпус, чтобы переписать прибывших-убывших, я не удержалась и с притворным спокойствием спросила, отослал ли он уже кольцо в Латвию.

— Как же! Давно уже! — с готовностью ответил Пушкин.

— Брешешь, гадюка! — воскликнул вдруг Грицько и, бросившись на худого, тщедушного нарядчика, начал всерьез душить его. Еле отняли ходячие больные.

Целую неделю после этого я вздрагивала от всякого звука открываемой двери. Не за Грицьком ли? Но Пушкин не стал жаловаться. Может быть, с учетом собственной омерзительной роли в этом деле, а может быть потому, что за последнее время его язва сильно обострилась. Она терзала его и отвлекала от дел внешнего мира, заставляя все время прислушиваться к тому, что происходило у него внутри.

С наступлением зимы мы начали сильно страдать от холода. Туберкулезный корпус еще больше, чем Тасканская больница, продувался всеми ветрами, а дров нам давали совсем мало. Почему-то дрова в тайге были остро дефицитны. Их давали в глав-

ные корпуса — хирургию и терапию. Нас же разумно считали сегодняшними или завтрашними покойниками, которым холод повредить никак не может.

Но мы организовались на защиту своих больных и самих себя. Под руководством старшего санитаря — бывшего бухгалтера — действовало левое обменное бюро. Какие-то бродяги и прохвосты по ночам осторожно сгружали у задней стены нашего барака явно ворованные баланы и баклашки, унося взамен мешки с сухим хлебом и ведра с остатками баланды. Ранними утрами, до обхода, в полной темноте, мы с Грицьком распиливали дровишки и складывали их в секретное место.

О голоде при здешней усиленной пайке не могло быть и речи. К тому же время от времени я получала с оказией передачи от Антона. Так что, казалось бы, все шло терпимо, тем более, что до конца моего десятилетнего срока оставался (если верить приговору!) уже вполне обозримый отрезок — полтора года. Но несмотря на все это, именно здесь, на Беличьем, на меня часто находили приступы необоримой тоски.

Я не могла выдерживать этих ежедневных агоний, этих схваток со смертью, в которых она всегда побеждала. И еще меня мучил цинизм, с каким внешняя респектабельность и благопристойность нашего учреждения маскировали скрытый в нем ужас. Аллейки, клумбочки... Новая рентгеноустановка... Чистая кухня и повара в белых колпаках... Даже научные конференции заключенных врачей! А наряду с этим ежедневно выписывали полуживых людей и отправляли их на ту же смертоносную Бурхалу. И ежедневно, еженощно работал беличийнский морт, все повышавший свою пропускную способность.

В морге хозяйничали блатары. Отъявленные урки. Им лень было зашивать трупы после вскрытий, лень копать длинные, по росту трупов могилы. И они свеживали, рубили трупы на куски, чтобы свалить их потом в поверхностную круглую яму за бугром, поросшим лиственницами.

Однажды я встретила этот похоронный кортеж на рассвете, когда побежала в неурочное время в аптеку. На длинных якутских санях трое блатарей тащили рубленую человечину. Бесстыдно торчали синие замерзшие окорока. Волочились по снегу отрубленные руки. Иногда на землю выпадали куски внутренностей. Мешки, в которых было положено зарывать трупы заключенных, благоразумно использовались блатными анатомами для разных коммерческих меновых операций. Так что весь ритуал беличийнских похорон предстал предо мной в обнаженном виде.

В первый и единственный раз в моей жизни приключился тут со мной приступ, похожий на истерический. Мне вспомнилось выражение м я с о р у б к а, которым часто определяли наши

исправительно-трудовые лагеря. При виде этих груженных якутских саней иносказательный смысл слова вдруг заменился объемной вещественной буквальностью. Вот они — приготовленные для гигантской мясорубки нарезанные куски человеческого мяса! С ужасом и удивлением я услышала свой собственный удушливый смех, свои собственные громкие рыдания. Потом меня стало отчаянно рвать. Не помню уж, как доплелась до своего корпуса.

И как раз в тот же день к нам нагрянула комиссия очень высокого ранга. Не только чины из Сануправления, но и сам начальник Севлага полковник Селезнев. Окруженный большой свитой, он прошел прямо в заразную палату, где в этот момент Грицько мыл пол, старательно залезая тряпкой под топчаны.

— А здесь у вас палата зэка или эска? — спросил Селезнев.

Я не успела рта открыть для ответа. Меня перегнал Грицько. Выжимая половую тряпку спорыми, почти женскими движениями, он громко вздохнул и непринужденно заявил:

— Ох, хйба ж тут до того, щоб разбиратися: чи зэка, чи эска! Якщо туточки навалом одни чисты бэка!

— Что? Что? — Брови начальника высоко поднялись от изумления.

— Бэка — бациллы Коха, — торопливо разъяснила я, боясь как бы он не прогневался на Грицька и не отправил его на Бурхалу. — Санитар имеет в виду, что палата укомплектована не по установочным данным, а по медицинским показателям. Здесь остро заразные, выделяющие палочки Коха . . .

Начальник резко оттолкнулся от дверной ручки, за которую только что держался, суеверно посмотрел на свои ладони, точно боялся увидеть на них прыгающих бэка, и сердито сказал, обращаясь к нашей главврачихе:

— Зачем же было беспокоить таких тяжелых больных? Покажите лучше вашу новую рентгеноустановку . . .

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

MEA CULPA

Является ли потребность в раскаянии и исповеди подлинной особенностью человеческой души? Об этом мы много шептались с Антоном в нескончаемых тасканских ночных беседах. Вокруг нас был мир, опровергавший, казалось бы, самое воспоминание о том, что не хлебом единым . . . Хлебом, хлебом единым, единой царицей Пайкой дышали здесь все живые, полуживые и даже совсем умирающие. Да и мы сами, наверно, еще ведем эти разго-

воры по старой интеллигентской инерции, а по сути и мы уже морально мертвы. И я разворачивала перед Антоном цепь аргументов в доказательство того, что мы вернулись к обществу варваров. Правда, новые варвары делятся на активных и пассивных, то есть на палачей и жертв, но это деление не дает жертвам моральных преимуществ, рабство разложило и их души.

Антон ужасался таким моим мыслям, страстно опровергал их. И я была счастлива, когда ему удавалось разбить мои доводы. Ведь я и швыряла в него такими жестокими словами, часто отвратительными мне самой, с единственной целью — чтобы он разуверил меня еще и еще, чтобы и на мою душу упал ответ той удивительной гармонии, которой он был пронизан насквозь.

Здесь, на Беличьем, мне довелось столкнуться с фактами, подтверждавшими мысли Антона. Тяжкие, но в то же время утешительные это были встречи. Я сама видела, как из глубины нравственного одичания вдруг раздавался вопль «Меа максима купа!» и как с этим возгласом к людям возвращалось право на звание человека.

Первой такой встречей был доктор Лик. Ледяными январскими сумерками у дверей туберкулезного корпуса постучались двое здоровых. Одного из них я узнала, Антон знакомил меня с ним на Таскане. Это был тоже врач, но уже вольный, освободившийся по окончании срока. Сейчас он работал по вольному найму на каком-то прииске, выглядел полным благополучником. В своем «материковском» зимнем пальто с мерлушковым воротником и с черной кудрявой бородой, тоже похожей на мерлушку, он всем своим видом как бы подчеркивал жалкое положение своего спутника. Тот напоминал страуса из-за высокого роста, маленькой головы и махристых лагерных чуней на длинных ногах. Исхудание его было уже в той степени, когда даже самые старательные начальники санчасти все же пишут «легкий труд».

Это и был доктор Лик, при содействии которого Антон пять лет назад, в первый год войны, потерял зрение на правый глаз. Тогда все немцы, в том числе и врачи, были только на тяжелых общих работах. Защитных очков не хватало, и неистовый дальневосточный ультрафиолет, отраженный белизной первозданных снегов, опалил Антону глаз. Освобождения от работы не давали. Началась язва роговицы. Зрение в пораженном глазу все меркло. Антон пошел еще раз в амбулаторию приискового лагеря. Врачевал там заключенный доктор Лик. Трудно сказать, почему его оставили на медицинской работе, хоть он и был чистокровным немцем. Был ли это недогляд или имел Лик особые заслуги, но только факт: в то время как шло массовое гонение на врачей-немцев, он продолжал ведать больницей заключенных на этом прииске.

Да, сказал он Антону, — да, это язва роговицы. Но положить его в больницу Лик не может. Потому что Антон Вальтер тоже немец и тоже врач. И Лика могут обвинить, наверняка обвинят, в желании спасти своих.

Антон помолчал, потом сдержанно спросил, понимает ли коллега Лик, что возможно парасимпатическое заболевание второго глаза и в результате — полная слепота. Да, Лик понимал это. Бешеным шепотом он ответил по-немецки, что при альтернативе — жизнь Лика или зрение Вальтера — он выбирает жизнь Лика.

Я давно знала все это от Антона. И все это повторил мне сейчас с абсолютной точностью и почти в тех же выражениях мой неожиданный гость. Он говорил почти спокойно, с той медлительностью, какая вообще характерна для дистрофиков. Иногда он повторял одну и ту же фразу, как бы боясь, не упустил ли он что-нибудь важное. Его давно небритое, покрытое рыжеватыми колючками лицо сохраняло искусственную неподвижность.

— Почему вы решили рассказать все это мне?

— Потому что я не могу спать. Мне еще нет сорока, а у меня неизлечимая бессонница. Конечно, надо пойти к самому Вальтеру. Но я подконвойный, мне туда не добраться. Сюда меня под конвоем привели на конференцию врачей. Встретил вот здесь освободившегося коллегу, и он сказал мне про вас. Я хочу, чтобы вы передали Вальтеру . . .

— Нас ведь разлучили. Я тоже подконвойная. Не знаю, увижу ли его еще в жизни.

— Вам осталось сроку год с небольшим. Вы его увидите. А у меня сроку — двадцать пять. Впереди еще шестнадцать с половиной. Так что я прошу вас сказать ему . . .

Тут обманчиво спокойное лицо Лика отчаянно задергалось в нервном тике. Но я вспомнила плотное бельмо на правом зрачке Антона и неумолимо переспросила:

— Что именно сказать ему?

И тут он закричал.

— Скажите ему, что я дерьмо! Что большего дерьма нет даже среди палачей. Те хоть прямо убивают . . . Что меня надо было лишить врачебного диплома . . . Еще скажите ему, что я не сплю. И что наяву тоже вижу кошмары . . .

У него оказался очень неприятный петушиный фальцет. И гримаса, искажавшая его лицо, была просто отталкивающей. Но такая сила страдания и самоосуждения была в его вопле, что я вдруг дотронулась до его рукава и сказала:

— За последний год бельмо уменьшилось в диаметре. Он лечится гомеопатическими средствами. Теперь уже немного видит этим глазом.

... Другая беличьи́нская встреча, похожая на эту, была для меня еще тяжелее. На этот раз дело шло о человеке, который помог мне в тридцать девятом, а два года спустя стал «свидетелем» по новому «делу» Вальтера.

Я уже писала о нем. Это Кривицкий, работавший врачом на этапном пароходе «Джурма». Тот, который положил меня в тюремный изолятор, сдал в Магадане в больницу и этим спас от смерти. А в сорок первом, на прииске Джелгала, он стал сексотом и под диктовку оперуполномоченного Федорова подписал протоколы, в которых излагались «факты антисоветской агитации Вальтера в бараке». Это послужило основанием для нового суда и нового — третьего! — срока. На суде Кривицкий бесстыдно произносил свою провокаторскую стряпню прямо в лицо Антону и очень облегчил суду решение о свежем десятилетнем сроке. Вообще этот несчастный, видимо, скатился очень далеко на своем страшном пути, потому что уже в шестидесятых годах, в Москве, я натолкнулась на имя Кривицкого, читая лагерные записки Варлама Шаламова. Кривицкий фигурирует там в той же омерзительной роли.

Не знаю, жив ли он сейчас. Вряд ли. Ведь уже тогда, зимой сорок шестого, его привезли на Беличье после инсульта, с параличом руки, ноги и частично языка. Узнав, что я здесь, он прислал мне с санитаром записку. Странными каракулями, написанными, видимо, левой рукой, он звал меня навестить его. О том, что я имею отношение к Антону Вальтеру, он, конечно, не знал. Не предполагал, очевидно, и того, что мне известны его иудины подвиги.

Больше недели я не шла к нему, только пересылала через Грицька свой сахар. Потом доктор Баркан, которого вызывали туда на консультацию, сказал мне с кривой усмешкой:

— Что же это вы ускоряете смерть Кривицкого? Просто с ума сходит, что вы к нему не идете. А после такого инсульта малейшее волнение...

Я пошла. За несколько дней до того к нему вернулась речь. Косноязычная, неразборчивая, но все-таки вернулась. Он был в состоянии острого возбуждения. Говорил непрерывно. Это было обличительное слово. Он клеймил меня позором за черную неблагодарность. Если бы не он, разве я выжила бы тогда, на «Джурме»? А теперь, когда он в беде, я не хочу даже навестить его. Вот, явилась на двадцатый день...

Что было отвечать? Объяснять причину моей черной неблагодарности — значило спровоцировать ухудшение его болезни. Молчать? Невыносимо. Он вызывал во мне скользкое чувство брезгливости не только тем, что я знала об его прошлом, но и своим нынешним видом. Его мутные, уже готовые остуденеть

глаза все еще источали хитрость и ложь. Рот был перекошен не только параличом, но и великой злобой. Я положила на тумбочку сверток с едой и молча вышла.

Прошло несколько дней, и я узнала, что у Кривицкого — второй удар. Теперь он опять без языка и почти неподвижен. Только левая рука еще жива, и вот он написал мне записку. Передавая мне ее, наш старший санитар сказал:

— Наболтали там ему новые больные, что вы знаете, кто дал доктору Вальтеру третий срок.

Мы втроем разбирали записку. Она была довольно пространная, но в иероглифах этих почти невозможно было разобраться. Смогли мы прочесть только слова «Простите» и «Умру завтра» . . .

Да, его левая рука еще была жива. Она судорожно хватала меня за полу халата, она метушилась по одеялу, в ней была какая-то особая сила выразительности. Именно по руке я поняла, что он просит прощения . . . Глаза его были закрыты. Я села на табуретку, наклонилась к нему и шепотом сказала:

— Вы мне сделали добро. Я помню это. А остальное . . . Я рада, что вы просите за это прощения. Я уверена, что Вальтер простит, когда я расскажу ему о ваших мучениях. Я проклинаю тех, кто воспользовался вашей слабостью.

Один его глаз открылся. Из него лились слезы, и он был живой, не злой, несчастный.

. . . И еще раз пришлось мне наблюдать на Беличем, как может корчить человека от мук угрызений совести и как сравнительно с этой пыткой ничего не стоят ни тюрьма, ни голод, ни, может быть, и сама смерть.

Большого Фихтенгольца доставили с последней партией бурхалинцев. Примерно тридцатилетний, он был красив ангельской, белокурой, нежнолицей красотой. По документам значилось, что Фихтенголец — эска, получивший поселение на неопределенный срок, до особого распоряжения, что он житель города Тарту, эстонец. Но странно было, что по-эстонски он объяснялся с большим трудом.

— Какой он эстонец? — недружелюбно ворчали наши старые эстонские пациенты. — Хлеба по-эстонски попросить не может!

По-русски он и совсем почти не понимал. Вскоре выяснилось, что Йозеф Фихтенголец эстонец только по отцу, которого он потерял в раннем детстве. По матери он немец, и родной его язык — немецкий.

Болел он очень тяжело. Температура никак не снижалась. По ночам задыхался, бредил, отчаянно метался на своем топчане.

Наш доктор Баркан, чем ближе подходило к сроку его освобождение, тем все более отрешенно взирал на мир своими остзейскими глазами. Он не очень-то затруднял себя дифференциаль-

ным диагнозом. Все поступившие к нам больные заранее считались туберкулезниками, всех одинаково лечили вливаниями хлористого кальция. Но однажды, в выходной день Баркана, обход за него провел доктор Каламбет, как две капли воды похожий на Тараса Бульбу, умудрившийся даже в лагере остаться толстячком. С его появлением в наше преддверие морга как бы входила сама жизнь. С прибаутками, забавными ужимками и украинскими поговорками Каламбет уточнил диагнозы, приободрил многих больных, а про Йозефа Фихтенгольца сказал:

— А это ведь не ваш больной, а мой. У него крупозная пневмония. Скажите Баркану, пусть к нам, в главный терапевтический, его переведет.

Но Баркан ударился в амбицию. Его диагноз не мог быть ошибочным. И он продолжал назначать Йозефу все то же бесцельное лечение.

Однажды ночью Грицько разбудил меня.

— Идись, сестрица, до того херувимчика . . . Бо вин, навёрно, сдае концы . . .

Фихтенголец весь выгнулся в жестоком приступе удушья. Голубые глаза вылезли из орбит. По лицу катился холодный пот.

— Ихь канн нихьт мер . . . Битте . . . Люфтэмболи . . . Махен зи люфтэмболи, ум готтесвиллен . . .

Я не сразу поняла, что такое «люфтэмболи». Поняв, содрогнулась. Я слышала, что такой способ убийства применяется в гитлеровской медицине. Введенный в вену наполненный воздухом шприц, говорят, вызывает воздушную эмболию и смерть. И он хочет, чтобы я сделала такое!

— Вы сошли с ума! Мы не фашисты! Мы не убиваем, а лечим больных!

Да, но его уже нельзя вылечить. Так пусть же сестра не длит его агонию, он не в силах больше страдать . . .

Что делать? Бежать за Барканом бесполезно. Каламбет тоже не пойдет, не захочет осложнять отношений с Барканом. И тут я поставила перед собой вопрос, который уже не раз выручал меня здесь, на Беличьем. А что сделал бы в этом случае Антон?

У больного отек легкого . . . Надо дать отток крови. В лагерных условиях старинный метод кровопускания не раз спасал людей в Тасканской больнице. Терять нечего . . . Я подставила тазик, ввела в вену большую иглу. Медленными крупными каплями, похожими на ягоды красной смородины, кровь стала капать в таз и тонкими струйками растекаться по его белому дну. Сердце у меня отчаянно колотилось. Не путаю ли? Сколько граммов крови спускал таким образом Антон?

Больной вдруг перестал стонать и даже словно задремал. Дрожащими руками я ввела ему камфару. Что еще надо? Ах да, горячий сладкий чай, покрепче . . .

В общем, я спасла его. И на утреннем обходе Баркан насмешливо сказал мне:

— Ну вот видите? Вы с Каламбетом сомневались в моем диагнозе. А смотрите, как улучшилось состояние больного от хлористого кальция.

Не знаю, понял ли Фихтенгольц эту реплику, но во всяком случае между мной и им было решено — без всякого сговора, одними взглядами — не говорить Баркану ни о ночном кровопускании, ни о том, что хлористого кальция я ему не вводила.

Он стал мне дорог, как всегда нам дороги плоды наших усилий. И когда он перешел в разряд выздоравливающих, а температура его нормализовалась, я нарочно писала ему в истории болезни тридцать семь и пять, чтобы он успел получше окрепнуть, чтобы подольше пробыл вдали от прииска Бурхала. Я отдавала ему половину своей еды. Это было совсем нетрудно, потому что от тяжелого труда и спертого воздуха я почти совсем потеряла аппетит. А он ел с жадностью возрожденного к жизни смертника и на глазах наливался здоровьем.

На мои заботы он отвечал безмолвным обожанием. Он вообще был молчалив и ничего о себе не рассказывал, даже если я задавала ему вопросы по-немецки. Но вот однажды наш старший санитар Николай Александрович, получая обед на кухне, где сидели все беличьиновские новости, принес об Йозефе Фихтенгольце важные сведения.

— Гитлеровский офицер он! Подумать только! А его наравне с нашими, кто честно сражался, а виноват только в том, что попал в окружение . . .

Это был удар для меня. Выходит, я спасала, убийцу, может быть эсэсовца? . . .

— А откуда узнали?

— Все говорят . . .

Это было еще далеко не точно. Известно, как разрастаются при передаче из уст в уста лагерные слухи. Я ничего не сказала Фихтенгольцу, но стала придирчиво присматриваться к его поведению. Оно было безупречно. Он изо всех сил старался быть полезным для корпуса. «Аккуратист!» — одобрительно отзывался о нем Грицко, которому он помогал в уборке. Особенно старательно он мыл пол в моей кабинке, натирая неструганые доски до зеркального блеска. Кроме того, он дарил мне деревянные фигурки своей работы. Каким-то чудом у него сохранился маленький перочинный ножик, и он вырезал им из кусочков дерева удивительные вещицы, неуклюже-грациозные, полные мысли и

таланта. Однажды он принес мне двух маленьких ангелов, подобие тех, что в подножии Сикстинской мадонны.

— Это вам, — сказал он, преданно глядя на меня, — потому что вы сами ангел.

Мы были наедине. Тут-то у меня и сорвались страшные слова, которых, наверно, не надо было говорить.

— Я ангел? Что вы! Обыкновенный человек. И если бы вы меня встретили года три назад и в другой обстановке, вы бы сожгли меня живьем в газовой камере или удушили на виселице...

— Я? Вас? — Его красивое лицо пошло багровыми пятнами. — Но почему?

— Потому что я еврейка. А вы, кажется, фашистский офицер? Он резко побледнел и упал на колени. Мне показалось, что он испугался разоблачения, и я удвоила удар.

— Не бойтесь! Если о вас не знают, то я доносить не пойду...

Он вскрикнул, как будто в него попала пуля. И я поняла, что ошиблась. Не страх, а именно муки совести терзали его. Те самые корчи, которые ломают почище любой телесной боли. До сих пор не знаю, служил ли он гитлеровцам и как именно служил. Но ясно, что было ему в чем каяться.

Сраженный неожиданностью удара, он забыл свою обычную сдержанность и осторожность. Стоя передо мной на коленях, он рыдал во весь голос, как ребенок, хватал мои руки, пытаясь целовать их, и без конца повторял одно и то же: «Я верующий человек... Разве я хотел? Разве я хотел?»

И такая глубина отчаяния была во всем этом, что я на какую-то секунду пожалела, что так боролась за его жизнь. Может, лучше ему было умереть, чем жить с таким грузом? Не знаю, может он и был фашистским зверем, а может, только слепым исполнителем зверских приказов. Во всяком случае сейчас, в этой своей неизбывной муке, он стал человеком.

Мне могут возразить, что гораздо чаще встречаются люди, громко вопящие о своей невинности, перекалывающие свою вину на эпоху, на соседа, на свою молодость и неискушенность. Это так. Но я почти уверена, что такие громкие вопли призваны именно своей громкостью заглушить тот тихий и неумолимый внутренний голос, который твердит тебе о личной твоей вине.

Сейчас, на исходе отпущенных мне дней, я твердо знаю: Антон Вальтер был прав. «Меа кульпа» стучит в каждом сердце, и весь вопрос только в том, когда же сам человек услышит эти слова, звучащие глубоко внутри.

Их можно хорошо расслышать в бессонницу, когда, «с отвращением читая жизнь свою», трепещешь и проклинаешь. В бессонницу как-то не утешает сознание, что ты непосредственно не

участвовал в убийствах и предательствах. Ведь убил не только тот, кто ударил, но и те, кто поддержал Злобу. Все равно чем. Бездумным повторением опасных теоретических формул. Безмолвным поднятием правой руки. Малодушным писанием полуправды. Меа кульпа . . . И все чаще мне кажется, что даже восемнадцати лет земного ада недостаточно для искупления этой вины.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

СНОВА ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

В тридцать девятом, когда мы досиживали второй год в Ярославской сдвоенной одиночке, Юля как-то вычитала мне вслух двустиишие из незапомнившей книги: «А пока мы здесь разговариваем, десять лет и пройдут сизым маревом . . .» Мы засмеялись. Тогда десять лет, записанные в наших приговорах, еще казались нам фантастикой, ценой с запросом. За это время, по нашим ученым расчетам, должно было обязательно случиться одно из двух: или Шах умрет, или ишаки сдохнут.

Мы ошиблись. Десять лет оказались реальными. Вот они близятся к концу. Уже настало 15 февраля 1946 года. До конца моего официального срока оставался ровно один год, а все было вполне стабильно: и наш обожаемый Шах, несмотря на потрясающие исторические события, все еще был живехонек, и ишаки все еще волочили по тропинкам преисподней свои грузы.

Я не очень-то надеялась, что меня освободят с наступлением календарного срока. Ведь вокруг меня все увеличивалось количество пересидчиков, расписавшихся до особого распоряжения. Но все-таки мысль о том, что я разменяла последний год, как-то поддерживала. Теперь было важно не попасть за этот год на жизнеопасные работы, продержаться тут, около своих бэка. Тем более, что я оказалась удивительно устойчивой по отношению к туберкулезной инфекции. Доктор Каламбет ежемесячно смотрел меня рентгеном — все было в порядке.

Увы! Весна принесла нашему Беличьему большие перемены, рикошетом больно ударившие и в меня. Не знаю уж, по каким высшим соображениям, Савоеву от нас перевели. А место главного врача заняла дородная дама по фамилии Волкова по прозвищу Волчица. В день ее прибытия нарядчик Пушкин сказал мне злощастным шепотом:

— Женщин ненавидит! Не одну уж заключенную со свету сжила . . . Еще Савоева мамой родной нам покажется . . .

— Почему именно женщин! За что?

— Кто ж ее знает! Только факт. С мужчинами по-хорошему, а бабенок . . . Может, оттого, что у нее один глаз стеклянный . . .

Как ни странно, но нарядчик оказался прав. Женщинам-заключенным надо было держать при этой начальнице ухо востро. Неизвестно, какие навязчивые сновидения заставляли нашу новую главврачиху вставать посреди темной ночи и отправляться на охоту за подпольными любовниками. Почему она находила какое-то утешение в том, чтобы так яростно бороться за целомудрие? Почему ей нравилось ссылать на верную смерть заключенных женщин, имевших в лагере романы? Мужчин миловать, а женщин обязательно карать? Кто ж ее знает . . . Но тяжесть ее подозрительного, недоброжелательного взгляда я сразу остро ощутила при первом же знакомстве с ней. Не только живой, но даже стеклянный глаз, казалось, пронзал насквозь.

Однажды ночью меня разбудили бешеные удары в дверку моей кабины.

— Отворите! Немедленно! Иначе взломаем дверь!

Спросонья я не могла сразу попасть в тапочки и халат.

— Ах так!

Раздался треск сухой фанеры, из которой была сколочена самодельная дверка, — и передо мной оказались два вохровца, предводимые новой главврачихой Волковой по прозвищу Волчица. Волосы ее были растрепаны. Лицо, когда-то миловидное, оплывшее книзу жидковатым жиром, было бледно.

— Ищите под топчаном! — скомандовала она.

Вохровцам было неловко. Они знали меня уже целый год и уважали за то, что я «подкованная по науке». Я не раз помогала им выполнять задания для заочной школы, в которой многие из них учились. А однажды я поразила их воображение тем, что прямо-таки без всякого промедления ответила на их вопрос: когда и где Сталин впервые встретился с Лениным. Сейчас они отворачивали от меня глаза и крайне лениво заглядывали под топчан.

Когда действие было окончено и я снова осталась одна, зашел перепуганный Грицько. Он доложил мне, что слышал, как, уходя, один вохровец сказал Волчице про меня: «Сурьезная, шибко грамотная баба . . . Никаких, стало быть, хахалей за ей не замечено . . .»

Тем не менее через недельку Волкова предприняла еще один налет. Такой же безрезультатный . . . Но однажды ночью . . .

Было уже часа два, когда кто-то тихонько постучался в мое оконце. Я вскочила и при слабом лунном свете различила лицо Антона. Да, это был он! Наш благодетель, начальник Тасканского лагеря, наш добрый барин Тимошкин, видя, как сохнет с тоски его придворный лекарь, нашел предлог, чтобы дать ему.

возможность повидаться со мной. Это было совсем не так просто — оформить заключенному врачу бесконвойную командировку. Но Тимошкин сделал это. Сто километров, лежащих между Тасканом и Беличьим, Антон одолевал целые сутки, пристроившись к знакомому шоферу, возившему по трассе неповоротливый, тяжеленный, полученный по ленд-лизу «даймонд». И хоть было уже начало апреля, но в нашем северном управлении еще жали сорокаградусные, с ветерком морозы, Антон заоченел в своем тоненьком бушлате. Часть пути он шел пешком рядом с «даймондом», перегоняя его.

Могла ли я не впустить его? Я понимала, что в любой момент может нагрязнуть Волчица. Я могла спрятать Антона в каморке санитаров или в палате под видом больного. Но разве думаешь об опасности, разве можешь хладнокровно рассуждать, когда свершается чудо, когда человек, о котором ты думала каждую минуту в течение года, вдруг стоит за твоим окном, точно упавший с небес, и говорит: «Это я, Женюша!»

Здорово повезло на этот раз Волчице! Она вошла как раз в тот момент, когда мы целовались. Ее лицо озарилось радостью. Какая удачная охота! Волчица похорошела, оживилась.

— Я главврач больницы Беличье, — торжествующе провозгласила она, глядя на Антона.

— Простите, коллега, за нарушение правил. Я тоже врач. Заключенный. Прошу вас понять: это моя жена. И мы не виделись целый год.

— Составьте акт, — обращаясь к вохровцам, приказала Волчица. — Заключенная застигнута на месте преступления. Принимает мужчин по ночам, используя для разврата служебное положение.

Таким образом, я все ниже скатывалась по торной дорожке разврата. С Таскана меня отправили за то, что «способствовала разврату» («зэка мужского пола в палате обратного пола!»). Сейчас речь шла уже о собственном моем развратном поведении. Именно так и было записано в постановлении о водворении меня снова в Эльген — неизменное вместилище всех колымских штрафниц, а уж блудниц-то в первую голову. Верная себе, Волчица ничего не сделала Антону. Никаких рапортов о нем в его лагерь не отправила.

Кончилось Беличье. Я снова стою с котомкой за плечами у алчных эльгенских ворот. Возвращаюсь на круги своя.

Но первая же местная новость вселяет добрые надежды. Окаывается, Циммерманши здесь больше нет. Начальником теперь майор Пузанчиков. О нем общее мнение: жить можно. Потому что он ни злой, ни добрый. На зэка ему наплевать. Ему глав-

ное — отслужить свое, заработать стопроцентные северные надбавки и вернуться на материк.

В бараке меня встретили, как в родной семье. О, это чувство тюремного родства! Самая, пожалуй, крепкая из человеческих связей. Даже теперь, спустя много лет, когда я пишу эти воспоминания, мы все, вкусившие «причастие агнца», — родственники. Даже незнакомые люди, которых встречаешь в дороге, на курорте, в гостях, сразу становятся близкими, как только узнаешь, что человек был ТАМ. Был . . . Значит, он знает то, что недоступно не бывшим, даже самым благородным и добрым.

Два года я не была в Эльгене. Два года не видела своих спутниц по Ярославке, по Бутыркам, по этапам. Жадно глотая новости. Вилли Руберт освободилась. Мина Мальская умерла. У Гали Стадниковой уже двое родившихся в лагере ребят растут в комбинате. Группу пересидчиков освободили. Нарядчиком сейчас Аня Бархаш, политическая . . .

Все это важно для меня, все волнует, огорчает или радует. А вечером — давно не испытанное счастье сокровенного разговора с людьми своего круга интересов, общей одержимости литературой. Беличьинская Волчица, наверное, сочла бы меня ненормальной, увидав, как мы с Бертой Бабиной, только встретившись, уже уселись за печкой читать друг другу стихи. А как разъярилась бы Волчица, увидав, каким теплом был наполнен для меня этот первый вечер на страшном Эльгене. Каждую возвращавшуюся с работы еще у дверей встречали возгласом: «Женя вернулась!»

Наутро, по совету Ани Бархаш, я встала в очередь к новому начальнику лагеря. За столом Циммерманши сидел статный красивый блондин лет тридцати пяти, немного похожий короткими бакенбардами, прозрачностью светлых глаз и блеском мундира на литографию императора Николая I. Но в отличие от императора, Пузанчиков явно не чувствовал особого аппетита к своей работенке.

Он скользнул по моему лицу рассеянным взглядом, пропуская мимо ушей не только мои слова, но и рекомендацию Ани Бархаш, которая, по заранее обдуманной тактике, должна была говорить обо мне скучным голосом. Вот, дескать, прибыла с Беличьего — почему прибыла — ни полслова, и Пузанчиков не любопытствует — опытная медсестра, но у нас сейчас медицинских мест свободных нет, срок-де остается небольшой, последний год разменяла . . . Пожалуй, на агробазу послать?

Аня проводит свою роль отлично. Мы так с ней и решили: после того, как я «погорела» на Беличьем, лучше всего побыть в тени, на общих работах. Пузанчиков равнодушно кивнул в знак согласия — на агробазу.

Это были общие, но вполне выносимые работы. На таких

можно было продержаться. Агробазовцы жили в центральной зоне, им меньше угрожали дальние этапы. На агробазе можно было постоянно жевать какие-нибудь вершки и корешки, а значит — бороться с цингой. Меня поставили на пикировку капусты. Теперь я уже начисто забыла, что именно мы делали. Помню только какие-то автоматические однообразные движения рук над стеллажом и ноющую боль в ногах, сильно отекавших к вечеру. С непривычки мне было довольно трудно выстаивать на ногах двенадцать часов кряду, так что я даже обрадовалась, когда кусок стекла с крыши теплицы, упав под большим давлением, вонзился мне в руку, как кинжал, вызвал артериальное кровоотечение и обеспечил мне освобождение от работы на три дня.

Я лежала на нарах, наслаждаясь блаженным ничего неделаньем, когда нарядчица Аня Бархаш вошла в пустой барак и взволнованно спросила, могу ли я с этой раненой рукой быстро собрать свои вещи.

— Этап?

— Вроде . . . Да не бледней ты! На Таскан едешь, к своему доктору! Повезло! Выменяли тебя на печника. Только быстро! Конвоир уже ждет.

Мы расстелили прямо на полу старую фланелевую шаль нашей няни Фимы, — уже десятый год она служила мне верой и правдой на всех этапах! — и стали быстро скидывать туда мое барахло. Потом связали большой узел. Боль в руке и гулкие удары сердца заглушали Анин сбивчивый рассказ, но основное я все-таки уловила. Наш благодетель, наш добрый тасканский барин сдержал свое обещание.

— Входит он в УРЧ, — рассказывала Аня, — а там, как неудачу, дымище, печку растапливают! «Что это, — говорит он нашему Пузанчикову, — неужто дельного печника у тебя нет? Хочешь, своего дам? Все печи наладит . . . Только дай мне за него в обмен одну бабенку . . .» А Пузанчиков ему: «Да бери хоть пяток, у меня их навалом . . . Право, возьми трех, а то мне вроде совместно: неравноценный обмен». В общем, договорились! Сам Тимошкин уехал, а конвоира своего тут оставил. Очень торопит конвоир . . . Беги на вахту!

Все было как в сказке. Исполнялись самые дерзкие мечтания. И вот я уже сижу в кузове тряского грузовика на своем узле и полной грудью вдыхаю испарения обнажившейся, снявшей зимний покров земли. Весна. В записке Антона, переданной самым патриархальным образом — через конвоира! — сообщается, что сегодня третий день католической Пасхи.

Капель, капель . . . Большая сосулька рухнула с крыши управления совхоза. Стукнула прохожего по фуражке. Прохожий чертыхается, смеется, отряхивает блестящие льдинки. Мы с конвои-

ром тоже смеемся. У конвоира отличное настроение. Он закури-
вает, мурлычет «Катюшу», всматривается в несмело синеющую
колымскую даль. О чем думает? Наверно, о том же, о чем и я. Что
вот все-таки довелось еще одну весну встретить . . . И то сказать:
при такой войне у него шансов на жизнь было, пожалуй, не боль-
ше, чем у меня. И вот выжили оба. Брызги от колеса, угодившего
в колдобину, пятнают мою телогрейку и его шинель. Мы отряхи-
ваемся, чистимся, и эта общая неприятность еще больше внутрен-
не сближает нас . . .

На трассе «голосует» человек. Берем его в кузов! День чудес!
Он оказывается знакомым. Это бывший московский молодой
литератор Иван Исаев. Теперь он уже не очень-то молодой,
срок — восемь лет — отбыл и стал в качестве вольного каким-то
экономистом тут, в тайге. На материк не едет, ждет невесту. А не-
веста его — Галочка Воронская, дочка того самого Александра
Воронского, — пересидчица, расписалась «до особого».

Потолковав про последние лагерные новости, мы вдруг углуб-
ляемся в обсуждение литературных событий десятилетней дав-
ности. Исаев, видать, страшно соскучился в обществе колымских
экспедиторов. Он рад такой беседе, и мы говорим без умолку, пока
наш конвоир не подытоживает задумчиво:

— Черт-те что! Люди вы вроде русские . . . И по-русски гута-
рите . . . А вот же ни бум-бум понять невозможно! И что за слова
у вас за птичьи . . .

Прибыли! Вот они, заветные ворота тасканского рая! Меня
вводят в зону. Как раз посреди двора стоит начальник Тимош-
кин.

— О-о-о . . . — притворно изумляется он, — опять к нам?
А я и не знал, что вас направили . . .

Это для тех, кто проходит мимо. А для меня — летящие из
узких глаз заговорщические чертики. Тимошкин сияет. Приятно
делать добрые дела.

С крыльца больницы уже бежит навстречу Антон, полы его бе-
лого халата надуваются весенним ветром.

Если бы все это могла видеть беличьинская Волчица, побор-
ница высокой нравственности!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

Насколько из года в год возрастали беззакония в нашем
мире отверженных, можно было судить хотя бы по тому, как из-
менился смысл этого ходячего лагерного выражения: от звонка
до звонка.

Раньше так говорили в отрицательном смысле. Дескать, не подпал человек ни под какие льготы: ни амнистии, ни зачеты за хорошую работу, ни досрочное освобождение на него не распространялись. Просидел весь срок, как записано в приговоре, — от звонка до звонка.

Сейчас, на десятом году моего маршрута, после войны и победы, именно тогда, когда ждали мы все от правительства небывалых милостей, выражение «от звонка до звонка» стало употребляться наоборот, в смысле положительном. Человека освободили вовремя, как записано в приговоре, ему повезло, его не расстреляли за «саботаж», не дали нового срока, не сделали пересидчиком.

А их, пересидчиков, с каждым днем становилось все больше, поскольку календарь все ближе придвигал нас к десятилетию массовых репрессий тридцать седьмого. Никто не мог понять, по какому принципу попадают в пересидчики, почему одних (меньшую часть) все же выпускают из лагеря, хоть и со скрипом, как бы через силу, а других, наоборот, загоняют в эту страшную категорию людей, оставляемых в лагере «до особого распоряжения».

В бараках спорили на эти темы до хрипоты, но установить закономерностей так и не удалось. Только что кто-то блестяще доказал: до особого оставляют тех, у кого есть в деле буква «т», троцкизм, клеймо дьявола. Но тут вдруг освобождается Маруся Бычкова с этой самой роковой буквой. А Катя Сосновская — без этой буквы — расписалась «до особого». Ага, значит, не выпускают тех, кто бывал за границей! Но на завтра игра начальственных умов разрушает и это предположение.

Я внутренне давно поняла, что в нашем мире обычные связи причин и следствий разорваны. Ни Кафку, ни Орвелла я тогда еще не читала, поэтому логики этих алогизмов еще не угадывала. С замиранием сердца отсчитывала месяцы и недели до моей заветной даты — пятнадцатого февраля 1947 года, я не подводила под свои страхи и надежды никаких закономерностей. Что можно предсказать, когда играешь в шахматы с орангутангом?

И я просто гадала по принципу — орел или решка? Чаше казалось: не выпустят. Я уже почти не могла представить себе волю, она была чем-то расплывчатым, неконкретным. Мысль об отъезде с Колымы даже в голову не приходила. Я была абсолютно уверена, что Сталин никогда не простит тех, кому он сделал такое страшное зло, знала, что всякий, попавший в это колесо, никогда из него не выберется. Речь могла идти только о передышке, о временном послаблении, о выходе хотя бы за проволочную ограду. И я жадно мечтала об этом.

Некоторые наши, выходя из лагеря, сейчас же направлялись

на материк, не задумываясь над тем, что вместо паспортов у них волчьи билеты. Я отговаривала многих. Лучше вызывать детей сюда. Там, на Большой земле, даже в самой глубокой провинции, новый арест неизбежно последует, как бы тихо и незаметно ты ни таился в своей норе. Многие называли меня за такие прогнозы пессимисткой, но жизнь показала, что я была, наоборот, чрезмерно оптимистична, надеясь, что хоть здесь-то, на Колыме, нам дадут спокойно дожить на положении ссыльных. Через несколько лет повторные аресты дошли и до Колымы, чего я не предвидела.

Во всяком случае, я твердо решила на материк пока не возвращаться. Правда, меня мучило сознание, что я не увижу больше маму. Но Ваську, последнюю мою уцелевшую кровиночку, я надеялась добыть сюда. Вершиной счастья мне казалась комнатешка в вольном поселке Таскан, где мы с Васькой будем ждать освобождения Антона. Ждать надо было еще шесть лет.

А пока что я мирно досаживала свои последние лагерные месяцы, охраняемая от бурь покровительством Тимошкина. Он направил меня в вольный детский сад на должность медсестры.

Недостаток солнечных лучей и витаминов наложил печать и на маленьких колымских вольняшек. Они были не по возрасту медлительны, недостаточно резвы, часто болели. Но все-таки это были домашние дети, которых приводили и уводили мамы и папы, которые не разрывали сердце так, как дети заключенных в эльгенском деткомбинате.

Среди персонала этого детсада я была единственной заключенной. Остальные были комсомолки, прибывшие на Колыму по велению сердца, для освоения Крайнего Севера. Правда, как они сами говорили, у многих были еще и дополнительные соображения насчет выхода замуж. После войны женихи на материке стали на вес золота, а здесь их было сколько угодно, наоборот, все еще ощущалась нехватка женщин, особенно вольных. Комсомолки с редкостной быстротой выходили замуж за вохровцев, режимников, администраторов лагерей и приисков. Некоторые, строптивые, презрев прямые запреты, сразу заработали выговоры, а то и исключение из комсомола за романы с бывшими заключенными.

Те девушки, с которыми я столкнулась в тасканском детском саду, первые дни приглядывались ко мне с опаской. Но потом победило здоровое чувство реальности: они больше поверили своим глазам, чем тому, что слышали на специальных инструктивных собраниях. А видели они, что я работаю не ленясь, всегда готова подменить любую из них. Ведь спешить мне было некуда: конвоир приводил меня к восьми утра и приходил за мной к восьми вечера. Прежние тасканские вольности так и не восстанови-

лись, теперь режимник строго следил, чтобы заключенные женщины не ходили по поселку без конвоя.

Заведовала детсадом жена начальника взвода вохры, женщина лет тридцати пяти, очень гордая тем, что она окончила дошкольное педагогическое училище. Она говорила об этом каждое утро, на летучке, причем подробно рассказывала, как она выбилась в люди «из простых». Прежде, мол, она и говорить-то правильно не умела. Все, бывало, говорит не «физика», а «хвизика», не «Федор», и «Хведор». Заведующая мило смеялась над своей тогдашней темнотой и добавляла горделиво, что теперь-то она знает твердо: не хвизика, а физика, не хризантема, а ФРИзантема . . .

Ко мне заведующая отнеслась сперва недоброжелательно. Я даже слышала, как она громким шепотом жаловалась поварихе на выходки Тимошкина. Тоже придумал: контрика к детям приставить! Неохота только обострять с ним, поскольку он мужу начальник . . .

Завоевать сердце заведующей мне помогло пианино, стоявшее до моего прихода запертым на ключ, под плотным суровым чехлом. Заведующая не подпускала к нему комсомолку Катю, игравшую по слуху. Нет, брэнчания заведующая не допустит. Пианино откроется только для того, кто сумеет сыграть по нотам то, что напечатано в сборнике «Песни дошкольника». Я предложила свои услуги. Лед был сломлен. А через месяц меня признали настолько, что я стала сочинять от имени заведующей планы детских утренников к торжественным датам. В районе ее очень хвалили. А вольное население поселка Таскан с умилением взирало на своих детей, покоющих под аккомпанемент фортепиано и разыгрывающих драматизированные сказки.

(Я с удивлением обнаружила попутно, что Антон до смерти любит декламирующих малышей и не может без волнения видеть, что я «обучена на фортепьянах». Пользуясь своими докторскими привилегиями, он не пропускал ни одного такого утренника и комично умилялся вместе с родителями ребят. Эти патриархальные, наивные краски придавали его образу какие-то новые трогательно-смешные оттенки. Было удивительно, что к вечеру того же дня он снова становился, как всегда, пронизательно умным и часто отвечал на вопросы, которые я еще не успела задать. Эти вечерние тасканские немногословные беседы остались одним из самых сокровенных воспоминаний, каким-то воплощением мечты о том, чтобы «без слова сказаться душой было можно . . .»)

Близился сорок седьмой. Уже можно было сосчитать не только месяцы, но даже недели и дни, оставшиеся до моего «звонка». Антон предложил устроить встречу Нового года в его больничной кабинке. Но режимник категорически сказал, что

ночью он женщину, то есть меня, в мужскую зону не пустит. Тогда Антон нашел такой выход: встретим Новый год в восемь утра по местному времени. По-материковски это и будет как раз полночь. А нам ведь важен именно материковский, а не колымский Новый год.

Встреча состоялась. Я сварила на больничной плитке заготовленные загодя пельмени с олениной. Конфуций торжественно водрузил на процедурный столик бутылку портвейна, ждавшую этого случая уже давненько. Санитар Сахно расставил мензурки для вина и жестяные мисочки для закуски. Зимний колымский рассвет еще не брезжил, и мы включили для подъема настроения яркую лампочку, временно взятую в морге, где она сияла над столом для вскрытия трупов.

Нас было шестеро за этой новогодней трапезой: Антон, Конфуций, Сахно, бывший дипломат Березов, ставший теперь мед-статистиком нашей больницы, профессор-химик Пентегов, наш вольный гость, бывший зэка, а сейчас инженер пищекомбината. Я была за этим столом единственной женщиной. Сейчас, больше двадцати лет спустя, я единственная, кто еще остался в живых из этих шести. Очень точно сказано в стихах Слуцкого: «То, что гнуло старух, стариков ломало». Правда, мы не были тогда стариками, но формула эта вообще годится для женщин и мужчин любого возраста.

Бедные наши спутники! Слабый пол . . . Они падали за смертью там, где мы только гнулись, но выстаивали. Они превосходили нас в умении орудовать топором, кайлом или тачкой, но далеко отставали от нас в умении выдерживать пытку.

Мы подняли свои мензурки за свободу. Мы жаждали ее алчно, страстно, неутолимо. Именно это общее томление по свободе и делало нас собратьями.

А на другой день — именно в день первого января! — снова пришлось ощутить себя вещью, перекладываемой кем-то из мешка в мешок. Как гром среди ясного неба прозвучал для нас приказ Севлага о ликвидации в Тасканском лагере женского отделения и об отправке всех восемнадцати женщин-заключенных . . . Куда же? Конечно, на Эльген!

— Всего полтора месяца, Женюша, — заклинал Антон, сжимая мои руки. — Шесть недель. Они пройдут незаметно . . . А там — пятнадцатое февраля и твое освобождение. Потерпим . . . Ведь теперь Циммерманши там нет. А я уже договорился по телефону с Перцуленко — это главный врач эльгенской вольной больницы — ты будешь у него работать медсестрой. А я тем временем подыщу тебе здесь на Таскане комнату. И ты сразу после освобождения приедешь снова сюда.

Он старательно перечисляет разные бытовые подробности

нашего будущего устройства, чтобы поглубже упрятать в них страх перед призраком пересиживания.

Нас грузят, всех восемнадцать тасканских женщин, в кузов грузовика. Двадцать два километра пути, которые птицей пролетели, когда я ехала сюда весной, теперь, при направлении к Эльгену, кажутся бесконечными. Январская стужа сковывает все тело, склеивает ресницы, колет щеки. К тому же знаменитые эльгенские ворота не открывались перед нами добрых полчаса: кто-то в УРЧе задержался с оформлением наших списков, и мы коченели в кузове до беспамятства.

Намучившись, я не могла уснуть ночью и, лежа на вторых нарах, металась в каких-то полубредовых видениях наяву. Назойливо привязалась мысль, что моя судьба похожа на игру в крокет, любимую в детстве. Вот уже вроде бы пройдены трудные воротца, а тут вдруг тебя крокируют и угоняют из-под ноги твой шар. Он стучается о колышек — и все! Начинай сначала! Вот и опять я стукнулась об эльгенский колышек. Но ведь до пятнадцатого февраля — только шесть недель. Даже шесть недель без одного дня...

Доктор Перцуленко, знакомый Антона и его почитатель, сдержал свое слово. Я стала медсестрой в вольной больнице. Работала судорожно, не давая себе отдыха. Прослыла сразу трудягой. Напряженная, без малейшей передышки работа была тем единственным способом, каким можно было удерживать себя в каком-то равновесии при постоянных метаниях от надежды к отчаянию.

Едва вернувшись в зону с работы, я мчалась в барак obsługi, где жила нарядчица Аня Бархаш. Что нового? Какие сегодня списки? На освобождение или на пересидку? Обычно такие списки приходили из управления лагерями дней за десять до окончания календарных сроков. Аня, терпеливо вздыхая, рассказывала мне все новости, и мы начинали вместе проникать в высшие соображения начальства. Мы пытались постичь их своими жалкими пятью чувствами. Конечно, мы давно отбросили самую мысль о законе или справедливости. Теперь мы судили, только становясь на ИХ точку зрения, прикидывая, как будет выгодней для НИХ. И все равно получались те же шарады. Таню выпускают, хоть она и жила долго во Франции. А Нину задерживают, хотя она вообще нигде, кроме Саратова, не бывала. Катю выпускают, хоть у нее буква «т», а ее сестру, без всякого «т», оставили «до особого».

Чем ближе подходила моя дата, тем больше я теряла власть над своими нервами. Меня просто лихорадило от постоянной смены предчувствий.

Но вот однажды... ранним утром, еще до развода, дверь

барака взвизгнула с какой-то необычной интонацией. Аня Бархаш задыхалась от бега. Так и не совладав с дыханием, она сумела выкрикнуть мне одно только слово:

— Пришло!

Пришло мое освобождение. Очередной список на выпуск из лагеря, и в нем есть мое имя.

Почти не помню, как прошли эти последние две недели. Остались в памяти только телефонные звонки Антона во время моих ночных дежурств в больнице и его уговоры — держать себя в руках и, сохрани Бог, не напутать чего-нибудь в процедурах с больными.

И вот настал этот день. Еще накануне, на вечерней поверке, мне объявили, чтобы я завтра на работу не выходила, а к девяти утра явилась в УРЧ.

Было еще совсем темно. Косые секущие струи мелкого снега схлестывались в луче прожектора, идущего с дозорной вышки. Ноги разъезжались на грязном льду, изузоренному обильными подтеками из уборных.

Передо мной в очереди к начальнику УРЧа Линьковой стояла уголовница-рецидивистка. Линькова была не в духе. Ее хорошенькое стандартно-блондинистое личико отекло, веки распухли. Наверно, «переживала» что-нибудь семейное.

— Ну как? Надолго от нас уходишь? — скучным голосом спросила она уголовницу, показывая ей своим ярко-красным полированным ногтем, в каком месте та должна расписаться об освобождении из лагеря. — С новым-то, говорю, сроком скоро ли тебя ждать?

— А кто же его знает, — так же равнодушно отвечала девка, выводя непривычной рукой каракули под бумажками. — Как пофартит . . . С навигацией думаю на материк податься. Ну а там, ежли и погорю, так, может, все не на Колыму, а куда ни то . . . На Потьму, аль в мариинские . . .

Моя очередь. Тот же равнодушный взгляд Линьковой. Она позевывает с закрытым ртом, и от этого на ее кукольных глазах навертываются слезы.

— Вот тут распишитесь. Пятьдесят восьмой статье «форма А» выдается не у нас, а в Ягодном. А вам пока временная справка для милиции. Еще здесь распишитесь . . .

Я с благоговением складываю справку вчетверо, как складывала документы наша няня Фима. Куда положить эту драгоценность? Мой первый документ за последние десять лет. Мандат на выход за ворота эльгенской зоны. После некоторого раздумья кладу его — бережно, осторожно — на грудь, за лифчик.

Дневальная тетя Настя, старая знакомая еще по Бутыркам, уже собрала мои вещи, пока я ходила. Она мелко крестит меня.

— С Богом! Давай подсоблю вещи-то до вахты . . . Где ночуешь? Поди в вольной больнице?

— Что ты! Я сейчас же, сию же минуту еду на Таскан. Антон Яковлевич уже снял мне комнату в вольном поселке.

— А ему-то скоро ли освободиться?

— Еще шесть лет . . .

Тетя Настя мрачнеет.

— Глуповата ты, девка! Десятку отмахала да еще шесть хочешь своей волей у вахты отстоять? Мало ли мужиков-то! Вольного найди, пока не старая!

На вахте сегодня дежурит Луговской. Он знает меня с сорокового года и всегда хорошо ко мне относился. Сейчас он удивленно глядит на меня сквозь свое окошечко.

— Куда это с вещами?

— На волю. Совсем ухожу.

— Да ну? Как так?

— Очень просто. Десять лет кончились. От звонка до звонка.

Он просто-таки разволновался от моего сообщения. Привыкают люди друг к другу, несмотря ни на что. А это хороший человек. Один из тех, о которых писал когда-то Короленко: «Добрые люди на скверном месте . . .»

Луговской выходит из дежурки в холодную проходную, где я стою со своим узлом, деревянным чемоданом и волшебной бу-мажкой, отворяющей эти двери.

— Ну, коли так — поздравляю, — говорит он и протягивает мне руку. Потом огорченно покачивает головой и произносит в святой своей простоте вполне серьезно известную фразу из пьесы Погодина: — Лучшие люди, понимаешь, уходят . . . Скоро один рецидив останется. С кем только работать будем! Ну да ладно! До свиданья, значит, вам . . .

— Что вы! — в ужасе восклицаю я. — Что вы, разве можно так говорить! Не до свиданья, а прощайте! Прощайте навсегда!

— Кажись, не обижали, — оскорбленно ворчит он и нехотя отдергивает большой железный болт.

Я выхожу за вахту. Анемичный синюшный рассвет смешивается с поблекшими лучами прожекторов. Откуда-то издалека доносится лай овчарок. По дороге плетется возчик воды на бычке.

— Эй, давай сюда, с вещами-то! Довезу хоть до бани, — добродушно предлагает он.

Нет, нет! Разве мыслимо так тащиться, как этот дурацкий бычок!

И я припускаю, перегоняя бычка намного. Я почти бегу, не чувствуя ни тяжести вещей, ни стужи, спирающей дыхание.

Всему на свете приходит конец. Даже Эльгену.

ЧАСТЬ III

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ХВОСТ ЖАР-ПТИЦЫ

В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как, казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный Военной коллегией, Трибуналом, Особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее . . .

Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего «звонка», все еще уповая на незыблемость Закона.

Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее «подкованных» теоретически заключенных-марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим — большинству — предлагалось расписаться «до особого распоряжения» и оставаться в лагере теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного, назначенного судом срока? Это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку.

Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над нами, у остающихся в лагере могло возникать недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую: освобождавшимся никто не завидовал! Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искажались злобой лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишних десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть к каким-нибудь чуням первого срока или к месту на нижних нарах . . . И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, не защищенные условными масками.

А вот освобождавшимся не завидовали! Все темное, крошечное исчезало, как по волшебству, когда дело заходило о ВОЛЕ,

пусть даже о куцей, худосочной колымской «вольнонаемности» (ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространялись высшие соображения: одним разрешался выезд на материк, другие оставались в тайге).

Да, именно здесь, в заключении, я встретила с этим талантом СОРАДОСТИ, гораздо более редким и трудным, чем талант СОСТРАДАНИЯ. Парадокс? А может, не такой уж парадокс? Я всегда, еще с детства, обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным зверьком, затесавшимся случайно в город. Ну, скажем, еж или белка . . . Как преобразаются лица! Как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота! Удивительный появляется ответ на лицах. Он просвечивает через маску зла.

Вот такими становились и лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз. Не в этап, а за зону! Это было выражение бескорыстной радости. Наверно, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоинством человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, — прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, — прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал СВОБОДУ, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара.

Студеным утром 15 февраля 1947 года этим драгоценным сосудом —местилищем СВОБОДЫ— была я.

Не успела я показаться на пороге эльгенской вольной больницы, где проработала свои два последних эковских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. И я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки **МОЖНО** выйти!

Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка, сектантка, адвентистка седьмого дня, вытаскивала из-под полы халата мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки и требовала, чтобы я ела кашу тут же, на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожиди я до великого преобразования, до двенадцатого дня, до какого дай Боже и всем дожить.

Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривала мою телогрейку, пожимала плечами, находя такой вид абсолютно невозможным для вольной жизни, и вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее платье и чулки. О пальто

подумаем после . . . Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двенадцатом дне, Матильда твердила теперь о возвращении к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова и даже день защиты был назначен.

Истопник Гариф, сидящий по статье 59-3 — бандитизм, стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразу ехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делала горе с их братом, достопочтенным Гарифуллой-оглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни.

Все были настолько наэлектризованы, что даже фельдшер Коля, тяжелый заика, без малейшей запинки выкрикнул несколько фраз подряд.

— Быстро! К телефону! Таскан на проводе! Третий раз уже звонит . . . С ума сходит . . . Икру мечет . . .

Трубка вибрировала, трепетала, захлебывалась тревогой, не решалась выговорить роковой вопрос. Только твердила с вопросительной интонацией: «Это ты? Это ты?»

— Да, да, да! Да, освободилась! Да, расписалась, что мне объявлено об освобождении . . .

От волнения трубка вдруг переходит на немецкий. А я — тоже от волнения — вдруг утрачиваю способность связать в смысловое целое все эти ум, аб, нах, геворден верден . . .

— Говори по-русски! Сегодня я забыла все слова, кроме русских. Скажи, когда ты выезжаешь за мной?

У нас уже давно было сговорено: сразу после освобождения и выхода за зону лагеря я иду в вольную больницу, жду здесь звонка из Таскана, подтверждаю свое освобождение (до последней минуты мы в нем сомневались, ведь бывали и такие случаи, что отменяли в последний момент), и тогда Антон выезжает за мной. Лошадь и санки обещал расстараться начальник Тасканского лагеря Тимошкин.

Антон переходит на русский, но я все равно почему-то не понимаю, что он хочет сказать. Что-то все о погоде . . .

— Десять баллов . . . При температуре . . . Прогноз на ближайшие три дня . . . Придется . . .

— Ничего не понимаю! Метеосводка какая-то . . . Очень плохо слышно! Говори скорей, когда выезжаешь! Громче!

Трубка воеет и ухает, трещит и булькает. Наконец затихает совсем.

Битых полчаса мучаюсь с деревянным допотопным аппаратом. Кручу ручку, отчаянно взываю к станции . . . Но вот в

дежурку входит главный врач вольной больницы Перцуленко. Он из тех вольняшек, что всегда пристально присматривались к жизни заключенных. Из тех, кто не побоялся вступить в отношения личной дружбы с заключенным немецким доктором. Он жмет мне руку, поздравляет, сулит какие-то немислимые успехи в новой жизни. А главное, он предлагает мне гостеприимство на три дня.

— С погодой вам не повезло. Доктор Вальтер только что проврался по моему домашнему телефону. Просит передать вам: начинается буран, южак идет. Прогноз на ближайшие три дня ужасен. Лошади не проехать. Пешком опасно. Мы с женой предлагаем вам пожить эти три дня у нас. Так и с доктором Вальтером договорились. А как только стихнет непогода, он за вами придет . . .

Слова главврача, эти любезные слова, не имеющие никакого отношения к моему душевному состоянию, доходят до меня как сквозь толщу воды. Из всего сказанного я усвоила только одно: Антон советует мне пробыть в Эльгене еще три дня. ДОБРО-ВОЛЬНО остаться еще на три дня в Эльгене!

Нестерпимость оскорбления жгла меня. Господи, как я несчастна! Второй час, всего только второй час длится моя новая, моя вольная жизнь — и уже такой удар. И кто его наносит! Самый близкий человек! Да как у него язык повернулся сказать такое! Чтобы я по своей воле осталась в Эльгене! На три дня! На три часа! На три минуты!

Перцуленко делает еще раз попытку воззвать к моему здравому смыслу. Всего три дня. Чего они стоят сравнительно с десятью годами! И ведь не в лагере ждать, а в вольной квартире . . . Ведь это смешно: пережить все, чтобы потом замерзнуть на трассе. Колымские бураны — не шутка. Уж я-то должна это знать.

Я, конечно, знала. Мне ли не знать . . . Сколько историй о гибели целых этапов и отдельных людей наслышалась я за свой срок! Но ведь всего-то двадцать два километра. Что мне, таежному волку, эти несчастные двадцать два, да еще по прямой трассе, не сворачивая в сторону! А потом — неизвестно, когда именно разыграется этот буран . . . Ошибки в прогнозах могут изменяться сутками. Знаем мы точность наших метеорологов!

Накинув телогрейку, я выбежала на больничный дворик. Ну так и есть — все выдумки. День как день. Вот и градусник. Все-го-то тридцать пять. Отличный просто день. Даже солнце пробивается.

Решение созревает сразу. Только надо уйти так, чтобы никто не заметил. Истопник Гарифулла колет дрова у крыльца. Он

ничего не знает ни о предсказании бюро погоды, ни о моем разговоре с Перцуленко.

— Гарифулла, будь другом, вытащи из тамбура мое барахло. Пойду я.

— Куда?

— Да на Таскан иду. Там меня берут в детсад работать. По вольному найму.

От моих собственных слов меня охватывает острый приступ тоски. Какой серостью обернулся сразу этот взлелеянный в мечтах, годами вымаливаемый первый день свободы! Торчать в Эльгене еще три дня? Пугаться какого-то там бурана, еще неизвестно кем предсказанного? Останавливаться в бессилии перед двадцатью двумя километрами после того, как я отмахала такие расстояния через выюги, через злобу, через Эльген, Мылгу и Известковую... И это совет Антона!

В этот момент раздражение мое против него не знает границ. Где же наше пресловутое взаимопонимание? Где те вечера, когда он отвечал мне на невысказанные вопросы, на мысли, только что пронесшиеся в моем сознании?

Итак, я иду на Таскан только для того, чтобы там работать? Ну, конечно. Ведь работать надо. Надо посылать деньги Васе и маме. И буду работать. Только бы не в Эльгене. Здесь слишком много меня растаптывали. Здесь самый воздух пропитан зловонным дыханием тюремщиков. В течение семи лет все человеконенавистническое, все сатанинское, все смертоносное воплощалось для меня в этом слове — Эльген. И пускай, пускай буран сметет с меня его следы, пускай я очищусь в потоках ветра и снегопада...

Гарифф ничуть не удивляется, что я потащу одна свой чемодан и узел целых двадцать два километра. Он пригляделся за свой срок к женщинам, таскающим трехметровые баланы, валящим строевой лес. Он совсем запросто помогает мне вскинуть узел на плечи.

— Ну, айда, с Богом! Работай мало-мало до навигации, а весна придет — в Азербайджан езжай! Письмо дам — как сестру встретят. Ну, ни пухам, ни перам!

Гарифф любит русские поговорки с тюркскими суффиксами.

И вот я на трассе. Позади остались эльгенские строения. С каждым шагом все дальше от зонных вышек. Я иду. Снег скрипит под ногами очень сухо и категорично. Под этот скрип хорошо выговаривать по слогам: «ни-ког-да, ни-ког-да...» Я полна решимости забыть, что существует под луной такая земля — Эльген. Вспоминаю, как одна из маминых вещевых посылок, посланных мне в войну, потерялась. А мама, бедная, все спрашивала меня потом в письмах: «Может быть, я перепутала адрес? Может

быть, есть еще один Эльген?» А я отвечала ей: «Нет, мамочка, к счастью для человечества, Эльген у нас только один . . .»

С полчаса я иду очень хорошо и легко. Привычная. Сколько их оттопано, этих таежных километров! Сударь. Теплая Долина. Змейка. Мылга. Известковая. По нехоженной тайге ходила. А здесь что! Здесь трасса . . .

Ходьба успокаивает. Мысль, что я все-таки вольная, иду куда мне заблагорассудилось, никого не послушалась, необычайно мне льстит. Двадцать два. В с е г о двадцать два километра. Если таким темпом, то засветло буду в Таскане. И я торжествую, представляя себе, как ахнет э т о ч у д о в и щ е , увидев меня. «Ну, как тут у вас с метеослужбой?» — спрошу я и, не дожидаясь ответа, гордо направлюсь к месту своей службы. Пусть бежит за мной и просит прощения по-русски и по-немецки.

Вот только вещи . . . Пальцы, сжимающие грубую железяку — самодельную ручку деревянного чемодана, затекли, одеревенели. Почему бы не сделать привал? Тем более, что самой-то мне пока совсем не холодно. Только руки, а их я сейчас разотру снегом.

Я присела на чемодан, оттерла пальцы рук, вытащила из кармана промерзшую горбушку — прощальный дар истопника Гарифуллы — и принялась было за нее, как вдруг . . .

Вдруг что-то просвистело у меня в ушах пронзительным захлебывающимся свистом, и я всем телом, всем натренированным чутьем таежника поняла: начинается. Нет, эту мысль надо гнать. Мало ли что могло свистнуть! Может, от резкого поворота головы? Ведь вот небо-то совсем чистое, серовато-голубое. И ветер не сильнее обычного.

Так я успокаивала себя, но внутри уже все напряглось. Снова вглядываюсь в небо. Какая-то свинцовость в очертаниях пока еще небольших тучек уже, несомненно, появилась. И снежная пыль, обдувающая лицо, с каждой минутой становится все более колкой. А главное — на трассе абсолютная тишь и безлюдье. Неужели все, кроме меня, поверили в прогноз погоды?

Да, расслаживаться тут на чемодане, конечно, не стоит. Надо жать и жать, чтобы как можно скорее, засветло, дойти хотя бы до Тасканской электростанции. Там уж в крайнем случае можно и заночевать.

Я решительно зашагала дальше. Только теперь мои валенки уже не выскрипывали «ни-ког-да, ни-ког-да». Теперь получалось что-то другое. «Все было мрак и вихорь . . . Все было мрак и вихорь . . .» Только почему «вихорь», а не «вихрь»? Да потому, что это из «Капитанской дочки» . . . Мрак и вихорь . . . Мрак и вихорь . . . А ведь и вправду потемнело.

Поземка мела уже всюю, да и снегопад усиливался. Все мое

лицо было теперь заляпано снежными колючками. Они становились все более острыми и вьедливыми.

Колымская вьюга отличается от других вьюг не только своей интенсивностью. Главное ее отличие в том, что она несет с собой ощущение первобытной незащищенности человека. Вот уж поистине разные бесы кружатся в ней. Как будто крутит, воеет и норочит сбить тебя с ног почти одушевленная дьявольская сила. Она будит в тебе какую-то прапамять, какую-то неандертальскую тоску. Ты — воистину голый человек на голой земле.

Я знала это давно. Еще в сорок первом, шагая в одном из местных коротких этапов, сочинила стихи «Подражание Лонгфелло», где ставились риторические вопросы. «Что вы знаете о снеге?», «Что вы знаете о ветре?»

*... Она несется, злопыхая, разрушитель первозданный,
И трепещут адской рябью все моря и океаны,
И в тоске дрожат вершины от Тянь-Шаня до Ай-Петри ...
Разве вы слышали это? Что ж вы знаете о ветре!*

И дальше:

*... Вы не шли сквозь стон и ужас, дикие, как печенеги,
Вы не знали этой стужи ... Что ж вы знаете о снеге!*

Сейчас я вспомнила эти стихи и задыхнулась от усилия, от принятого мной решения выстоять, обязательно выстоять под напором ледяного ветра и растущей внутренней тревоги.

Трудно сказать, сколько времени прошло с момента моего выхода из Эльгена. Часов у меня, конечно, не было. Сколько же километров позади? Сколько еще осталось? Если бы не этот проклятый чемодан! Уж не бросить ли его? В нем в общем-то одна рвань. Нет. Эту рвань прислала мама. Голодная, несчастная, героическая моя мама. Сидела там где-то в эвакуации, в рыбинской убогой каморке, и штопала эти старые варежки, пришивала суровыми нитками пуговицы к этой доисторической жакетке. Нельзя бросить чемодан!

Светлые островки в разрывах туч уменьшались с трагической быстротой. Все с большей яростью нагнеталась скорость ветра. Чем дальше я шла, тем больше меня охватывало ощущение враждебности стихий и полного одиночества. Я отчаянно цеплялась за спасительную мысль: ведь с каждым шагом я удаляюсь от Эльгена. Но тем не менее я начинала выбиваться из сил.

Вперед, вперед ... Ах, если бы знать, сколько еще осталось! Пожалуй, я сейчас на половине пути. Я снова поставила чемодан на землю и стала растирать окоченелые пальцы. И тут-то ...

Сначала мне показалось, что это мираж в снежной пустыне. Силуэт человека, идущего навстречу мне. Издалека отсюда-то. Он то исчезал совсем из поля моего зрения, то снова вырисовывался в белой мгле.

Сложное чувство испытывает путник, идущий по колымской трассе, увидав человека, идущего навстречу. Первый импульс — радость. Ты больше не один на один с враждебной природой. Рядом существо твоего вида, и ты испытываешь облегчающее чувство локтя.

Но это лишь в первую секунду. Не успеешь обрадоваться, как тебя с ног до головы обдает унижительным страхом. Человек . . . Не простой, а колымский. Мужчина. Это может быть беглец-уголовник, который зарежет тебя и возьмет в дальнейшую дорогу на мясо. Может быть это солдат, вохровец, осатанелый от мужских командировок, от таежной глухомани, от однополой жизни. Он бросится диким зверем и изнасилует. Может быть, наконец, шакал-доходяга. Этот ограничится тем, что отнимет хлеб и теплые вещи.

Однако — думай что угодно, а выхода нет. Свернуть с трассы — это значит захлебнуться в снежном океане, сбиться с пути. Назад? Но он догонит . . . К тому же позади Эльген. Итак, вперед, и, может статься, прямо в пасть волку.

Теперь уже не было ни малейшего сомнения: навстречу мне шел человек. Иногда он кренился набок под ударами метели, иногда резко поворачивался спиной ко мне и к ветру — делал передышку. Ему трудней, чем мне. Мне ветер в спину.

И только совсем уже вблизи, за несколько метров, мне впервые почудилось что-то знакомое в походке одинокого путника. Господи! Да неужели?

Да, это был он! Доктор Вальтер собственной персоной, в бушлате и в бурках. Даже варежки я узнала. Отличные кожаные варежки. Это ему начальник Тимошкин пожаловал с собственной руки.

— Так я и знал! Так и знал! Вот что значит, девочка в свое время не получила немецкого воспитания! Способна на любое сумасбродство!

Он вырывал у меня из рук злосчастный чемодан и одновременно вытирал мне слезы прямо своей роскошной кожаной варежкой. Слезы примерзали к ней на ходу.

— Покажи руки! Ну, конечно, поморожены . . . Стой!

Он поставил чемодан и, набрав в руки снега, принялся отчаянно тереть им мои пальцы. Это было адски больно, и теперь у меня была уважительная причина реветь во весь голос, причитая:

— Неужели трудно понять, что Эльген не то место, где можно оставаться добровольно! Да пусть хоть и на три дня! Подумаешь, плохой погоды испугались!

Это было упоительно сладко: после такого космического одиночества сознавать, что теперь есть кому меня жалеть, бранить, разоблачать мои необдуманные поступки. Да и мне есть на

кого кричать и возводить обвинения — одно другого несправедливее.

— Конечно, тебе не к спеху, — повторяла я тоном домашней хозяйки, — я должна сидеть на Эльгене, а ты боишься выйти из барака в неважную погоду . . .

— Погода действительно неважная, — юмористически воскликнул он, и я вдруг как бы впервые увидела его обындевевшую фигуру. Против ветра шел . . .

— А ведь это наша первая супружеская сцена! Даже приятно. Запахло устойчивостью домашнего очага. Абер беруиген зи зихь, гнедиге фрау . . .

И тут же, на этом дьявольском ветру, под свист всех стихий он читает шуточные немецкие куплеты, каждый из которых завершается рефреном: «Ихь хабе цу филь ангст фор майне фрау» . . .

И вот мы уже хохочем. Ах, как нам легко стало идти!

— Совсем другое дело, когда ветер в спину! — говорит он.

— Без этого чемодана я чувствую себя просто как на прогулке, — говорю я.

Мы идем рядом. По направлению к свободе. Уходим все дальше от Эльгена. И вдруг я всем своим существом ощущаю острый пароксизм счастья. Не радости, не удовольствия, а именно счастья. Такого безудержного полета души, когда все, даже самые глубинные, тревоги, опасения, страхи покидают тебя и ты несешься, несешься, точно прицепившись к хвосту неведомой Жар-птицы. Наконец-то тебе удалось уцепиться за него! И этот момент остается в памяти на всю твою дальнейшую жизнь.

В моей судьбе, как и в любой другой, были, конечно, радости. Рождение сыновей. Удачи в работе. Увлечения, романы. Чтение.

Но то были именно радости, всегда сдобренные изрядной дозой ожидания предстоящих огорчений. А вот когда я прикидываю, встречалась ли я когда-нибудь с настоящим безумным счастьем, то только и могу вспомнить два коротких эпизода. Один раз это было в Сочи. Совсем беспричинно. Просто мне было двадцать два, и я танцевала вальс на открытой террасе санатория с профессором по диамату, который был старше меня лет на двадцать пять и в которого весь наш курс был влюблен. А вот вторично мне удалось ухватиться за хвост Жар-птицы именно в тот день, который я сейчас описала. Пятнадцатого февраля 1947 года, на террасе Эльген — Таскан во время бурана.

Мы почти летели, уносимые ветром. Иногда мы останавливались и целовались обледенелыми губами. Мы цепко держались, и она, Жар-птица, преданно несла нас по своему удивительному маршруту.

Рассвет еще не брезжил, и вьюга все еще не унималась, когда

мы вошли наконец в покосившийся деревянный барак, где почти всегда находили себе приют ээка, только что вышедшие из лагеря.

— Вот, — сказал Антон, ставя чемодан прямо в сугроб, — вот здесь я снял для тебя комнату. У тети Маруси.

Барак был двухэтажный. Сейчас казалось, что его верхний этаж шатается и того гляди рухнет под напором ветра. Лохматая, ободранная дверь долго сопротивлялась, как живая, не поддаваясь нашим усилиям. Исторический момент моей жизни. Вхожу в первую собственную вольную квартиру. После десяти лет, проведенных в казенных домах.

— Живые? — хрипло осведомляется тетя Маруся, тоже бывшая ээка, отсидевшая десятку за убийство из ревности.

— Ну, кум Део! — торжественно произносит Антон.

Так он говорит всегда перед началом операции, которые ему, терапевту, приходится здесь делать, поскольку он работает в лагерной больнице, что называется, «одной прислугой».

ГЛАВА ВТОРАЯ

СНОВА АУКЦИОН

Наш друг по ссылке Алексей Астахов, инженер, в котором пропал незаурядный писатель, иногда баловал нас сочными устными новеллами из колымского быта. Между прочим, в его репертуаре был рассказ о том, как ведет себя, смакуя свободу, только что вышедший из лагеря какой-нибудь приисковый Колька Карзубый (он же Ручка, Москва, Золотой).

За две пайки он заказывает себе фанерный чемодан с железной ручкой (так называемый «гроб»), обзаводится вольной подушкой, сделанной из четырех цветных накомарников и старой телогрейки. Потом он одевается во все вольное, то есть в новый лагерный бушлат, обшитый по горлу бурундучьим мехом, и кубанку, сделанную из полы старого вохровского полубубка. Затем Карзубый блаженно и бесцельно гуляет по тропинке между вольнонаемной столовой и вольнонаемным ларьком, неизменно при встречах здороваясь (за руку!) с самим комендантом лагерной вахты.

Смешно сказать, но, видимо, в этом уникальном положении действуют какие-то общие психологические законы. Хоть и с иронической оглядкой, но почти все приметы карзубовского вольнонаемного поведения я обнаруживала в первые дни внелагерной жизни и у себя. Чемодан мой как две капли воды был похож на его «гроб». Подушка моя, вернее наволочка на нее,

была сшита именно из четырех цветных накомарников. На лагерную телогрейку первого срока я приспособила если не бурундучий, то какой-то кошачий меховой воротничок. И главное, так же как Карзубый, я испытывала блаженное чувство при каждом посещении так называемого магазина (ларек, насквозь провонявший керосином), столовой, а особенно почты.

В магазине торговала моя квартирная хозяйка тетя Маруся, добродушная толстуха с хриплым голосом. Глядя на нее, почти невозможно было себе представить, что она убила своего мужа из ревности.

Маруся ужасно смеялась, видя, что я совсем не ориентируюсь в ценах и вообще ничего не смыслю в торговом деле.

— Слушай сюда, — снисходительно разъясняла она, — слушай, я тебе плохого не желаю. Бери вот эти мужские брюки. Без ордера тебе устрою, по благу. Распорешь их, перекрасишь в черный цвет и выйдет тебе такая юбка, что на все твои пять поражений хватит. До материка в ней дотянешь. Верно говорю, я тебе плохого не желаю.

Оказалось, что продукты выдают по карточкам. Тетя Маруся чуть не лопнула со смеха, когда выяснилось, что я не понимаю значения популярного среди вольного населения глагола «отварить».

— Горе ты мое! — говорила она сквозь приступы хриплого хохота. — Ну, слушай сюда! Вот, к примеру, у тебя здесь талон сорок три-бе. Что он сам из себя, к примеру, стоит? Groш ему цена в базарный день! И вдруг я вешаю на двери магазина объявление: «Талон сорок три-бе отоваривается полкилом сечки ячневой» или там «макаронных изделий». Вот тут-то этот самый сорок три-бе становится ценный. Его тут и сменить и продать можно, а то самой все полкила получить и сжевать. Поняла?

Меня вдохновляли такие детали вольнонаемного быта. Ведь и они были атрибутами свободного существования, включали в себя элемент личного волеизъявления. Хочу — сменяю сорок три-бе, хочу о т о в а р ю его и буду варить на своей печке-железке эти самые макаронные изделия.

Особенно нравилось мне ходить на почту. В нашем Таскане своего почтового отделения не было, надо было идти за четыре километра на так называемый Второй Таскан. И я шла туда, чтобы прицениться, сколько будет стоить, если перевести в Казань столько-то рублей для Васьки и в Рыбинск, где осталась после эвакуации из Ленинграда моя мама. Деньги — первую зарплату — я должна была получить только через месяц. Но ведь надо было подготовиться к этому великому дню, когда я смогу открыто и свободно послать моим родным свои собственные заработанные деньги.

А пока я сдавала заказные письма на материк, с наслаждением выписывая на конверте обратный адрес. Не почтовый ящик с дробью, а просто — улица такая-то, дом такой-то . . . Сдав письма, я еще долго стояла у конторки, делая вид, что жду кого-то или чего-то, а на самом деле просто радуясь запаху чернил и жженого сургуча. С почты было вроде ближе к матерiku, меньше ощущалось наше осторожное одиночество. (Все знали, что Колыма не остров, но все упорно называли ее островом, а Большую землю — материком. И не только называли — убежденно считали, что так оно и есть.)

Работа в детском саду ничем не отличалась от той, какую я вела здесь раньше в качестве заключенной. Но была несказанная радость в том, чтобы идти на работу без вертухая или бежать в обеденный перерыв д о м о й, в свою комнату, заставить там уже пришедшего Антона, а потом вместе есть суп и кашу, сваренные с вечера. Это давало иллюзию семьи, и я стала как-то забывать, что вольная-то, собственно, только я, а Антон все еще зэка, а до конца его срока (третьего по счету!) все еще оставалось больше шести лет. Он и сам как-то отвлекался от этой мысли, тем более, что его положение на Таскане было исключительным: он свободно ходил по поселку без конвоя, посещал вольных больных. Даже в Марусин магазин заходил. Только ночевать обязан был в зоне.

В общем, я переживала тот удивительный период, когда каждая мелочь обыденной жизни — даже такой убогой, как тасканская! — радует и рождает благодарность. Только месяца через два я впервые обратила внимание на то, что моя комната совсем не держит тепла, дров на нее уходит чертова прорва, а по утрам — мороз. Потом заметила, что довольно трудно таскать воду на второй этаж и, главное, что здесь как-то страшновато по ночам, когда остаешься одна. Моя дверь совсем особняком от тети Марусиной, а между тем уголовники, которые освободились и ждут начала навигации для выезда на материк, стали пошаливать. Впрочем, что у меня воровать-то!

Из этих освободившихся уголовников у меня бывали двое. Один из них, старик-сибиряк, похожий на Распутина, слыл гадальщиком. Впервые его привела ко мне тетя Маруся, и с тех пор он время от времени заходил один. И я привечала его. Почему? Да потому, что он, нацепив на нос очки в железной оправе, долго и пристально вглядывался в линии моей левой руки и затем говорил:

— Вот как хошь, а не вижу я на твоей руке смертности твоих детей. Вот помяни мое слово, затерялся где-то твой старший сын . . . А жив . . . Не вижу его смерти . . . Нет, не вижу . . .

Этого бормотания было достаточно, чтобы перевесить все точные телеграммы, сообщения и справки, которые я к тому времени уже, к несчастью, имела. Фантастические отчаянные варианты Алешиной судьбы и его чудесного спасения посещали меня по ночам. Даже Антону я ничего об этом не говорила. Это была наша тайна. Моя и этого полубезумного старика, похожего на портреты Распутина. И я подкармливала старика, презрев все старательно проконспектированные в юности университетские премудрости и сдавшись невозможной мечте.

Что ж, пусть осудят мои суеверия те, кого Бог миловал, кто никогда не терял своих детей.

Второй мой визитер-уголовник был «поставщиком двора» — он носил мне дрова, и эта вязанка была самым крупным расходом в моем ежедневном бюджете. Но я была довольна аккуратностью поставщика и не торговалась с ним. Наоборот, еще делала ему ценные подарки, например подарила деревянную ложку и жестяную миску. Он прослезился от умиления, от того, что я догадалась: ведь и впрямь не из чего ему похлевать варева, ежели попадетсЯ. Нередко я даже угощала его супом и кашей. Он садился прямо на порог, хлебал алчно, забывая про ложку, прямо через край, и уходил, осыпая меня благодарностями. Иногда, глядя на его доверчиво устремленные на меня глаза, я даже ощущала какие-то смутные угрызения совести за то, что в течение всего своего долгого лагерного пути всегда испытывала к уголовным только отвращение. Ведь вот разные же есть и среди них. Разве вот этот может сделать мне что-нибудь злое?

Но вот однажды в детском саду срочно потребовался сульфидин для заболевшего ребенка. На медпункте сульфидина не было, но он был у меня дома. И я срочно побежала за лекарством домой в необычное, неурочное время.

Ключ почему-то застрял в скважине и не поворачивался ни туда, ни сюда. Досадливо мучаясь около двери, я вдруг неожиданно спиной почувствовала подстерегающую меня опасность. Оглянулась — и застыла от ужаса. За моей спиной стоял с поднятой рукой с занесенным над моей головой тяжеленным поленом мой поставщик двора, мой дровяной доходяга. Еще секунда — и я упала бы, оглушенная ударом.

Я с криком оттолкнула его и пустилась вниз по лестнице, зовя на помощь. Но прежде чем прибежали люди, мой доверчивый приятель успел скрыться.

— Как его фамилия? Или хоть имя? — допытывался Антон этим вечером.

Но я не знала. Только живописала особые приметы. Тонкий синий нос чайником. Прихрамывает.

— Это Киселев, — безапелляционно решил Антон. Ведь он

постоянно лечил и «комиссовал» всех уголовных. — Иду чинить суд и расправу.

Напрасно я его просила пренебречь этим делом. Второй раз он уже не полезет, этот Киселев . . . Но Антон твердо держался своего принципа в общении с уголовниками. А принцип был такой: по начальству никогда не жаловаться, но не пропускать безнаказанно ни одной наглой выходки.

— Отлуплю самолично, — пообещал Антон. И это были не пустые слова. Кулаки у доктора были пудовые. Видно, эти железные лапы достались ему в наследство от нескольких поколений гроссбауэров. А интеллигентность профиля — от единственного затесавшегося в родню не то химика, не то алхимика.

На другой день доктор шумно ввалился в прихожую детсада, волоча за собой избитого доходягу.

— Этот? — громовым голосом вопрошал доктор, держа свою жертву за шиворот.

— Н-н-нет, — сказала я сперва нерешительно, а услышав голос подсудимого, уже с ужасом: — определенно не тот!

— Ды Господи! — зарыдал невинно наказанный, сморкаясь в меховую ушанку, — за что лупите, Антон Яковлич? Подлец буду — не я! Свободы не видать! Это Топорков . . .

— Что ж ты говорила нос чайником? — раздражался Антон, перекладывая свою судебную ошибку на меня. — Ну ладно, не беда! Рассчитаемся и с Топорковым . . . А тебя, Киселев, зато сактируем и поплывешь на материк . . .

Он сдержал свое обещание. После расправы с Топорковым оба голубчика были «активированы». Это были типичные представители колымского племени «шакалов». Они уже еле держались на ногах от истощения, но неуклонно воровали, а при случае не зарекались и от мокрого дела. Теперь исполнялась заветная мечта обоих: по состоянию здоровья оба подлежали отправке из тайги сначала в Магадан, а затем и на вождеденный материк. Перед отъездом оба заходили прощаться и очень благодарили доктора за науку, а главным образом, за активровку.

Из чистосердечного признания Топоркова выяснилось, что в соблазн его ввела моя ватная подушка в наволочке, сшитой из четырех накомарников. Уж больно ему захотелось поспать на мягоньком.

После этого происшествия Антон задался целью сменить квартиру. И вскоре он перевез меня в благоустроенный домик, где жил экономист пищекомбината Яроцкий. Он отбыл свои восемь лет и теперь жил как вольнонаемный, по-семейному, выписал с материка жену с дочкой.

У меня просто дух захватило при виде этой квартиры, а главное, моей новой комнаты. Давно я не сталкивалась с таким уров-

нем цивилизации: даже уборная была здесь не на улице. Но главное — Яроцкие дали мне в пользование письменный столик и кучу книг. И теперь, возвращаясь с работы, я входила в комнату и подолгу стояла на пороге, зачарованная волшебным видением — стопкой книг на письменном столе.

И совсем, совсем мы забыли, что Антон все еще заключенный. Пока в один несчастный день . . .

— Тимошкина снимают! — объявил, входя к нам в комнату, Яроцкий.

Это был удар с неожиданной стороны. Не ждал этого и сам Тимошкин, начальник Тасканского лагеря, который так хорошо относился к заключенным вообще и к нам с Антоном в частности. Впрочем, его увольнение с Таскана не было формальным снятием с работы. Просто его вдруг решили откомандировать на какие-то годовичные курсы повышения квалификации в Магадан. Но от директора пищекомбината Каменной шли слухи, что это не случайно, что кто-то, видимо, все-таки уведомил магаданское начальство о тасканском рае и о гнилом либерализме Тимошкина.

Прощание было трогательным. Больше всего наш разорившийся добрый помещик тревожился о том, в какие руки попадут его приближенные люди, которым он, в отличие от помещиков прошлого века, не в силах был дать вольную.

— Нам-то что! — говорил он преувеличенно бодрым голосом, огорченно оглядывая свою обжитую квартирку. — Нам-то что! Мы-то не пропадем, верно, Валюха? Нам год в Магадане прокантироваться — милое дело . . . Как-никак дом культуры, баня, два кино . . . А вот за доктора сердце болит. Не обидели бы без меня . . .

Потом он жал мне руку и высказывал надежду, что я буду «верным другом жизни», а не какой-нибудь там трали-вали, что меняет мужей на каждой командировке . . . И что ежели, не к ночи будь сказано, новое начальство наладит доктора на прииск, то и я поеду с ним. Ладно хоть я-то освободиться успела . . .

В день отъезда он перепил с расстройства, и Антону пришлось в последний раз отхаживать его.

— Как только без тебя жить будем, — бормотал он, трясая кудрявой головой, в которой столько было забубенности, кутерьмы, неразберихи и в то же время столько благородных, размашистых, чисто русских добрых порывов. — Верно, Валюха? Привыкли, ровно к отцу . . .

Бело-розовая Валя и впрямь, как дочка, бросилась на шею доктору вся в слезах. Мы помогали им укладываться, грузиться и поехали провожать их до Второго Таскана. На прощанье Тимошкин заговорил со мной на «ты».

— Так я на тебя, девка, в полной надёже. Не брось друга в беде!

Обратно мы шли четыре километра пешком, молчаливые, угнетенные разлукой с этими добрыми людьми, одолеваемые тягостными предчувствиями.

Когда мы узнали, что новым начальником Тасканского лагеря назначен Пузанчиков, знакомый мне по Эльгену, я стала успокаивать Антона. А также и себя самое. Уравновешенный человек. Без садистского азарта. Просто служит, все равно как в промкооперации. Лишь бы надбавки шли. А как легко согласился тогда выменять меня на печника. Деловой руководитель!

И действительно, первые дни, даже недели нового царствования не внесли существенных перемен в наш быт. Антон по-прежнему свободно выходил за вахту, посещал вольных больных в поселке, приходил ко мне ежедневно обедать и ужинать.

Только месяца через полтора появились первые тучки, предвещавшие нам грозу. Дело в том, что у Пузанчикова была жена Евгения Леонтьевна, врач, ставшая теперь начальником тасканской лагерной санчасти, то есть прямым командиром Антона. Это была невысокая энергичная женщина лет тридцати с милым лицом и маникюром на пальцах (а это было не так-то просто обеспечить в тайге). Она называла Антона по имени-отчеству, соглашалась с его диагнозами и назначениями. Но когда заболел внук директорши пищекомбината Каменновой и та позволила, как обычно, в санчасть лагеря, прося прислать Вальтера, Евгения Леонтьевна любезно ответила, что придет с а м а.

Она назначила мальчику лечение, но болезнь затянулась, и Каменнова стала настаивать, чтобы прислали все-таки Вальтера, который лечил всю семью уже несколько лет. На это доктор Пузанчиков, мило улыбаясь, разъяснила, что доктор Вальтер действительно неплохой диагност, но, сидя уже двенадцать лет в лагере, естественно, не может быть в курсе новых достижений медицины.

— Надо мне пореже ходить к вольникам, — озабоченно говорил Антон, — но как это сделать, не обижая людей?

Прошло еще несколько недель, и однажды я встретила в магазине нашу докторшу, только что вернувшуюся из Ягодного с какого-то совещания.

— Как живете? — ласково спросила она меня. — Неплохо? А я, к сожалению, должна вас огорчить. Доктора Вальтера от нас забирают. На прииск Штурмовой. Там открыт новый лагпункт, врач нужен до зарезу, и сануправление просто аукцион объявило. Кто хочет получить новое оборудование и кредиты за одного хорошего заключенного врача? Я долго сопротивлялась...

— Но все-таки продали его с молотка?

Она сделала вид, что приняла мои слова как шутку.

Антон был настолько убит известием, что мне пришлось взять на себя роль оптимиста.

— Послушай, ведь и на приисках люди живут . . . Ты жив- здоров . . . И я поеду за тобой . . . Ведь этого-то они мне запретить не могут . . .

Увы, именно это они и запрещали. И Антон уже знал об этом. Полет административной фантазии наших начальников был несопоставим с куцым воображением тюремщиков прошлого века. Система все усовершенствовалась. И оказалось, что новый лаг- пункт прииска Штурмовой организовывался по особому прин- ципу: он будет заселен только заключенными и начальством, лагерным и производственным. Обычные вольняшки, тем более бывшие заключенные, в этом спецпоселке не прописывались и ра- бота им там не предоставлялась. Таким образом, я была лишена права последовать за Антоном и поселиться в вольном поселке этого прииска, как мы вначале планировали.

Рухнула наша иллюзорная семейная жизнь. Только что мы по- сидивали вместе с нашими квартирными хозяевами за чайным столом, шутили, беседовали о книгах, чувствовали себя людьми. И вот снова — невольничий рынок, прииск, разлука, неизвест- ность, черная яма.

Яроцкие были потрясены нашим несчастьем. Особенно Мария Павловна, материковская жительница, впервые столкнувшаяся с колымскими нравами. Она не могла без слез смотреть на нас и все повторяла изумленно:

— Да как же так? Да ведь этого же не может быть . . .

. . . Увозили Антона одного, без этапа, по спецнаряду. Таскан- ский конвойр должен был доставить его до Эльгена, а там пере- дать другому для дальнейшего этапирования.

Я попробовала было пройти в лагерную зону, чтобы помочь ему собраться, но теперь, без Тимошкина, меня не пропустили.

— Вольным нельзя!

— Да какая же я вольная . . .

— А как же . . . На довольствии у нас не состоите . . . Ну и все!

Мы простились в половине двенадцатого ночи. Не позднее двенадцати он должен был быть в зоне. На этот раз мы не гово- рили друг другу обнадеживающих слов, как делали это прежде, когда меня увозили от него. Теперь перед нами была пропасть — шесть лет, оставшихся ему до конца срока. Без свидания. Мо- жет быть, даже без переписки.

Он ушел, а я как села за стол, так и просидела до утра. Шел июнь, и ночь была белая. К пяти часам очертания предметов потеряли ночную размытость, стали четкими. И я вдруг увидала

в моем окне резко очерченную руку и рукав военной гимнастерки. Рука стукнула, и чей-то голос с украинским акцентом скомандовал: «На выход давай!»

Я выскочила на крыльцо. У дома стоял грузовик. В кузове, на каких-то ящиках, сидел Антон. Знакомый тасканский вохровец, по прозвищу Казак Мамай, отрывисто распорядился:

— Сидай у кабину, жинка! А як на трассу выедем, так перейдеш у кузов, та и побалакаете один з одним . . .

Я беспрекословно повиновалась. И вправду: как только машина миновала наш поселок, Мамай остановил шофера и самолично помог мне вскарабкаться наверх к Антону.

В этих неожиданных проходах, в доброту Казака Мамаю, давшего нам еще раз увидеться после последнего навечного прощанья, мы суеверно усмотрели доброе предзнаменование. Вот и не ждали, а нашелся хороший человек. И так же будет дальше. Добро встречается и там, где его совсем не ждешь. Увидимся, обязательно увидимся. А пока я должна переезжать в Магадан, к Юле.

Юля, моя ярославская сокамерница, мой верный одиночный Пятница, жила теперь, после освобождения из лагеря, в Магадане, работала бригадиром какого-то игрушечного цеха. Она уже не раз писала мне в Таскан, хвалила свою комнату и работу, звала к себе, обещала устроить «в колымской столице». Не считая Антона, Юля была моей единственной родной душой на этой земле. Мы считали себя сестрами, крещенными в общей ярославской купели.

Грузовик еле тащился, частенько буксуя. Ящики, наваленные горой, тряслись, тарахтели и колотили нас по ногам. Но нам хотелось, чтобы это последнее наше свиданье длилось как можно дольше, и мы радовались путевым неполадкам. Время от времени Казак Мамай открывал дверку кабины, высовывался из нее, поглядывал на нас. Ему явно было нас жалко, и чтобы скрыть недозволенные чувства, он снимал фуражку, протирал ее внутри платком, а потом этим же платком тер свой крутой лоб и коротко стриженую смоляную голову с чубчиком, за который он и получил свое прозвище.

Мы прощались всю дорогу, бестолково повторяя снова и снова Юлин магаданский адрес, который становился теперь для нас единственным ориентиром во тьме непроглядной разлуки.

Самый момент окончательного расставания пришел как-то неожиданно быстро и длился просто один-единственный миг. Оказалось, что машина с заключенными, этапируемыми на прииск Штурмовой, уже давненько торчала около эльгенского управления и не могла тронуться только из-за того, что Антон опаздывал и у конвоя не сходился счет. Чужие конвоиры ругались. Они

грубо отстранили меня, мгновенно затолкали Антона в свою крытую брезентом машину, в которую уже было натолкано человек пятьдесят мужчин. Увидеть его я уже больше не смогла. Сквозь пыхтенье готовой тронуться машины я еще успела различить только его последний возглас.

— Жди меня! Обязательно жди! — крикнул он по-немецки.

... Моя тасканская начальница — заведующая детским садом — долго сопротивлялась моему увольнению. Сначала она упрасивала меня, суля выдать вне очереди ордер на пять метров бязи. Потом стала грозить. Дескать, не хочу добром, так она мне устроит в Магадане т у е щ е жизнь. Ей стоит только позвонить Марьиванне, а та мужу скажет — и век мне в Магадане на работу не устроиться.

В конце концов, перед лицом моего тупого упорства заведующая сдалась, и мы покончили компромиссом: она отпустит меня, но только не сейчас, а через месяц. А за этот месяц я должна выучить комсомолку Катю играть на пианино весь репертуар сборника «Песни дошкольника». Катя поймет с пальцев, у нее — слух.

Нескончаемо тянулся этот месяц. Я шла на работу и с работы, оглядываясь кругом и недоумевая: неужели это тот самый тасканский рай, к которому я стремилась годами, о котором мечтала на Беличьем и на Эльгене . . . Какая, оказывается, тусклая таежная дыра! Тучи комаров и гнуса. Болотные топи вокруг поселка. Заросли ядовитого тростника. Антон говорил, что в этом тростнике содержится страшный яд — цикута.

Теперь все мои мысли рвались в Магадан. В столицу! В центр колымской цивилизации. Правильно говорил Тимошкин: дом культуры, баня, два кино . . . А главное — там Юля. И Юлин адрес, который известен Антону. И по этому адресу может прибыть треугольничек, исписанный русскими буквами, похожими на готические. Маленькое «в» — точно журавль, опустивший нос в колодец.

Тасканские вольняшки сыпали соль на мои раны. Стоило мне показаться на улице поселка, как кто-нибудь обязательно подходил и спрашивал, не знаю ли я, чем тогда доктор вылечил так быстро рыжего Ивана? Или парикмахера Володьку? Может, оставил он мне эти рецепты? Нет? Вот горе-то! Какого человека угнали! Кто теперь спасать-то нас будет!

Все они высказывали мне сочувствие: «Семью разбили . . .» А шофер пищекомбината, бывший вор «в законе» Федька-Чума, ныне перековавшийся на передовика производства, сказал мне:

— Слышь, довезу до Магадана-то . . . Собирай барахло! Имею сознание. Кабы не твой Вальтер, лежать бы мне теперь под

сопкой лицом на восток, с биркой на ноге. Либо на деревяшке ковылять . . . Знаешь, каким диагнозом болел-то?

И с гордостью, точно графский титул, безошибочно выговорил:

— Об-ли-те-ри-ру-ю-щий эн-до-ар-те-рит . . .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЗОЛОТАЯ МОЯ СТОЛИЦА

По пути в Магадан мне обязательно надо было заехать в Ягодное. Временная справка об освобождении из лагеря, выданная эльгенским УРЧем, давно была просрочена. Ее надо было сменить на так называемую «форму А», по которой спустя какое-то время должны были выдать годичный паспорт. Получить эту форму можно было только в Ягодном.

Шофер Федыка-Чума, благодарный пациент Антона, согласился заехать и туда, хотя для этого приходилось делать большой крюк. Денег с меня он брать ни за что не хочет.

— На кой мне бес твои бумаги? — меланхолично замечает он. — Мне и тратить-то их не на что. Доктор-то твой, знаешь, на прощанье чего мне говорил? Учти, говорит, Федор, тебе каждый шкалик али там каждая закурка — это, говорит, просто-таки гвоздь в крышку гроба. Вон как! Это, говорит, не шутка у тебя, а облитерирующий эндоартерит . . .

Федыка горделиво косится на меня . . .

Едем . . . Можно сказать, летим. Федыка — великий знаток колымской трассы. Знает все прижимы и повороты, знает, где нельзя, а где можно расположиться на привал.

— Устала? А вот сейчас до распадка доедем — и перекур. Припухай себе!

Мы выходим из машины, располагаемся в безмолвном, выстланном мхами распадке, раскладываем на газете пирожки с картошкой — подорожники, заботливо припасенные Федыкиной женой. Она у него не блатная, наоборот, фраерша, с а м о с т о я т е л ь н а я ж е н щ и н а со статьей «Указ». От пирожков веет домовитой слободской жизнью. Покарали же Федыкину жену за какие-то колоски или кочерыжки, относящиеся к сектору государственной собственности. Попутал ее нечистый в голодный военный год. Вот и угодила на Колыму.

Но как она хлебный квас варит! Артистка! Федыка наливает мне его в мою кружку из закоптелого котелка, обмотанного чистым рукавом от старой рубашки.

— Нет, недаром я завязал, — говорит, утираясь, Федька, — с такой хозяйкой по шалману не затоскуешь.

Одно только утомительно: в пути Федька непрерывно требует, чтобы я ему т и с к а л а р ó м а н ы. До Ягодного еще полпути, а я уже успела изложить ему извилистые биографии Атоса, Портоса и Арамиса. Теперь перехожу к злоключениям и победам славного виконта де Бражелона.

Примерно каждые пять-шесть километров мой рассказ прерывается очередным дорожным постовым, требующим документы. Каждый строго допытывается, почему просрочена справка, почему нет «формы А». И я скучным голосом объясняю, что меня задерживали на работе и поэтому я не могла выехать в Ягодное за «формой А». А сейчас вот как раз именно за ней и еду. Постовые записывают номер машины, номер справки, номер моей чистой трудовой книжки. Потом неохотно отпускают. А Федька-Чума удивляется.

— Такая ты баба башковитая... Ишь, сколько романов знаешь? А чего ж ты лягавым напрямки так вот всю правду и режешь? Закосить не можешь, что ли? Сказала бы: а я, мол, гражданин постовой, не сильно тороплюсь насчет «формы А», потому как со дня на день ожидаю полной ребелетации... Дескать, сам товарищ Ворошилов, аль там Молотов, мое дело разобрал и аж лично товарищу Сталину доложил. А тот сказал, что семь шкур с того спустит, кто над невинной гражданкой издевался... Чтобы лучше в делах разбирался...

Федька-Чума гочечет, обнажая свои желтые лошадиные зубы. Верхний клык справа у него золотой, и Федька гордится им только разве немного поменьше, чем облитерирующим эндортеритом.

В Ягодном, возле небольшого домика, выкрашенного в идиллический розовый цвет, толкуются приисковые мужчины. Здесь управление Севлага. Налево от входа, в кассовом окошечке, выдаются вожделенные «формы А».

Федька объясняет мне, что я должна войти в дом с ним вместе и лучше всего под ручку. Тогда всем будет ясно: место уже занято. Иначе все шакалье набезит. Вишь, дожидаются... Это ведь кто тут толчется? Это ведь приисковые женихи тут толкуются, норовят заполучить вольную бабу. С «формой А» даже загс регистрирует.

Я много слышала (и уже немного писала) об этой колымской ярмарке невест. Забавно увидеть все это воочию. В сущности, если вдуматься в это явление и присмотреться попристальней к тем, кого Федька называл шакальем, то, пожалуй, в этом стремлении к семье раскроется именно человеческое, а вовсе не шакалье начало. У каждого из этих женихов за плечами тернистый

путь. И характерно: все эти бывшие уголовники, раскулаченные крестьяне, растратчики и расхитители казенных кочерыжек и даже самые отъявленные урки хотят именно жениться, а не просто вступить в связь. Хотят, чтобы все было честь по чести, с загсом и переменной фамилии.

Вдруг я замечаю на одном из стоящих поодаль грузовиков надпись «Прииск Штурмовой». И, пренебрегая всеми правилами колымского хорошего тона, бросаюсь в самую гущу женихов с возгласом: «Кто тут со Штурмового?»

Нет, я все-таки родилась под счастливой звездой! Подумать только, какая удача! Он вчера — вчера! — видел Антона, этот экспедитор со Штурмового. Он стоит передо мной в штанах полу-галифе, подвязанных вместо пояса веревкой, и, почесывая волосатую татуированную грудь, обстоятельно рассказывает мне, в каких условиях живет сейчас Антон.

— Вообще-то он на закрытой, на режимной стало быть командировке. Семь километров от центрального участка. Никого туда не пускают. Но слух есть, что пайка там даже вроде больше нашей на сто граммов. Так что не тушуйся! Перезимует за милую душу . . .

— Где же вы его могли увидеть, если командировка закрытая? — недоверчиво переспрашиваю я.

— А на центральном! Тут кто-то из начальства стал загибаться. Ну, доктора и привезли его откачивать. Потому, говорят, сильно ученый доктор, всех откачивает. И теперь, пока тот лягавый не отдышится, доктора вашего, гражданочка, еще не раз привезут на центральный. Так что давай строчи ксиву. Передам, подлец буду, передам! Есть у меня там кореш, санитаром работает . . . Не тушуйся, говорю, гражданочка! А он тебе какой муж-то? Колымский аль материковский?

Пока я пишу, он с любопытством заглядывает мне через плечо. Но я перехитряю его. Расправляясь самым отчаянным образом с артиклями и падежами, я слеплю немецкое послание, полное оптимизма. Еду в Магадан, «форма А» почти в руках, есть письмо от Юли, она уже почти нашла для меня работу в Магадане. Пусть только он бережет себя. Увидимся обязательно.

. . . Окошечко, из которого выдают документы, такое глубокое, что сидящего там человека видишь как будто через перевернутый бинокль. Он долго копается, перелистывая бумаги, мычит что-то нечленораздельное в ответ на мои вопросы о порядке получения паспорта. Потом вдруг четко произносит:

— Руку!

— Что?

— Руку давайте!

Ничего не понимаю. Неужели введен такой гуманный ритуал, чтобы поздравлять освобождающихся пожатием руки?

Я несмело, бочком просовываю в туннель правую ладонь, хотя ей явно не пробиться через такую толщу.

— Десять лет просидели, а порядку не научились! — рывкает чиновник. — Куда тянете руку? Не видите разве? Направо!

Меня заливает краской стыда и гнева. Да, я не заметила, что направо от окошечка стоит столик. За столиком — военный. На столике — вся аппаратура для снятия отпечатков пальцев.

— Поиграй напоследок на пианине, — мрачно острит стоящий в стороне Федька-Чума.

И чему я, дура, удивляюсь! Ведь даже у покойников снимают эти оттиски. Горло перехватывает острый спазм. Свободной себя вообразила! Да просто временно расконвоированная! Навеки, навеки с ними, с тюремщиками! Даже сейчас, после таких десяти лет, им снова нужны отпечатки моих пальцев, чтобы травить и преследовать меня до самой смерти. Так и будешь крутиться в этом треклятом колесе, пока не размелет оно тебя до самых мелких косточек.

Военный, не глядя на меня, прокатывает чистый лист бумаги специальным красящим катком. Потом привычными движениями прижимает каждый мой палец к бумаге.

Недаром блатари называют этот процесс «играть на пианине» . . . Пальцы становятся черными и липкими.

— А где же теперь руки вымыть? — спрашиваю я, не в силах сдержат раздражение. Военный равнодушно пожимает плечами.

И вот она у меня в руках, долгожданная «форма А». В перепачканных черных моих пальцах. Я держу ее осторожно за краешек и читаю. Бумага подтверждает, что я находилась десять лет в исправительно-трудовых лагерях (об одиночной тюрьме — ни слова!) за такие-то и такие-то государственные преступления (член подпольной террористической организации, ставившей себе целью и т. д.) и освобождена из лагеря по отбытии срока наказания с поражением в гражданских правах еще на пять лет. Кроме того, внизу сказано: «При утере не возобновляется». Справа, вместо фотографии, отпечаток моего большого пальца.

Завидный документ! Ничего не скажешь, вольная гражданка, перевоспитанная в исправительно-трудовых лагерях и возвращенная в монолитную семью трудящихся.

Выходим из розового домика. Я наклоняюсь над канавкой, и Федька — верный мой водитель — льет мне на руки оставшийся в котелке хлебный квас. Потом дает пропахшую бензином тряпку, и я вытираю руки.

— Поехали! Э-эх, с ветерком! — говорит Федька, нажимая на все педали и в то же время кося на меня свой выпуклый воспа-

ленный глаз. Похоже, что он понимает мое состояние, сочувствует, хочет утешить быстрой ездой, дающей иллюзию свободы, своеволия.

— На семьдесят втором, не доезжая Магадана, кореш у меня есть. На стекольном заводе . . . Второй год как вольнягой стал. И баба ему попалась — во! Из образованных. Маникюрша. У них привал сделаем. Там искупаешься, ручки дочиста отмоешь, причепуришься. В столицу явимся — красючка будешь на все сто . . .

Его душевная деликатность так велика, что он не замечает моих слез, обильно текущих по пыльным щекам.

— Ну, давай опять романы тискать! — бодро предлагает он. — Что там виконт-то? Ну, Дебаржелон этот самый? Расквитался ли со своими лягавыми? А неохота романы — так давай песню споем . . .

И он затягивает невообразимым, настоянным на чистом спирту голосом: «Дорого-а-я моя столица . . .»

Он имеет в виду не Москву, а Магадан. Он поет так: «Но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план, дорогая моя столица, золотой ты, ах, мой Магадан!»

— Это кто же так слова переделал?

— Кто, кто? А коль хошь знать, я сам и переделал . . .

Вообще-то к сорок седьмому году этот, так сказать, романтический эпитет «столица золотой Колымы» уже прочно вошел в состав большого набора клишированных фраз, которыми пестрела газета «Советская Колыма». Это было, с одной стороны, поэтично, с другой — давало некий намек на производственное лицо края. Потому что прямо упоминать о золотых приисках газете не разрешалось, и в передовицах, посвященных выполнению производственных планов, вместо слов «прииск» и «золото» употреблялись слова «предприятие» и «продукция», позднее — «металл».

Федьке слова о столице нравятся, и на вопросы бесчисленных постовых (по мере приближения к Магадану их становится все больше) он торжественно рапортует: «Машина следует в столицу золотой Колымы».

На семьдесят втором километре все оказалось именно так, как сулил Федька. Его кореш со своей образованной маникюршей приняли нас с радушием, которое так часто встречается у людей, долгими годами скитавшихся без своего очага и наконец-то заживших своим домком. Нас потчевали домашними пирогами со свежей морошкой, мне налили полную кадучку горячей воды, и я всласть, неторопливо смыла с себя всю грязь нашей центральной трассы. А когда мой шофер рассказал хозяевам, как я расстроилась из-за печатанья пальцев, маникюрша воскликнула:

— Да кость им в глотку, чтобы из-за них еще слезы лить!

Парь чище руки! Я тебе сейчас на страх врагам еще и маникюр сделаю. Приедешь в Магадан — от полковницы тебя будет не отличить.

... Трасса непосредственно переходит в главную улицу Магадана. Табличка на доме — Колымское шоссе. Я замираю от удивления и восторга. После семи лет таежной глухоманной жизни я въезжаю в почти настоящий всамделишный город. Многоэтажные дома, легковые машины, оживленное движение. По крайней мере мне все видится именно так. Только через несколько недель я заметила, что дома эти можно пересчитать по пальцам. Но сейчас это для меня и впрямь столица.

Загадочно человеческое сердце! Ведь я всей душой проклинаю того, кто выдумал строить город в этой вечной мерзлоте, прогревая ее кровью, потом и слезами ни в чем не повинных людей. И в то же время я явно ощущаю какую-то идиотическую гордость... Как он вырос и похорошел за семь лет моего отсутствия, наш Магадан! Просто неузнаваем. Я люблюсь каждым фонарем, каждым куском асфальта и даже афишей, извещающей, что в доме культуры состоится спектакль — оперетта «Принцесса долларов». Наверно потому, что нам дорог каждый кусок нашей жизни, даже самый горький.

Сворачиваем на вторую центральную улицу. Она выглядит еще роскошнее Колымского шоссе и называется, понятно, улицей Сталина. Вот дом номер один, пятиэтажный, каменный, чуть ли не первый каменный дом в городе. Он построен нашим этапом. Я тоже носила сюда по шатким стропилам мерзлые кирпичи. Неподалеку дом культуры... Выглядит как настоящий театр... Ну, средняя школа была еще при мне. Но тогда она казалась гигантом на фоне низкорослых кривых бараков. Теперь она выравнялась, оперлась на соседние новые дома.

— Ну что, какова столица золотой Колымы? — спрашивает Федька-Чума тоном тароватого хозяина.

— Хорошо... Только...

— Чего только-то?

— Да по краям-то все косточки русские...

— И-и-и... Про это ты меня спроси! Ты еще в Москве чимиковала по бульварчикам, а я уж тут мантулил. Все видал. Русские, говоришь, косточки? А вот и нет, не одни русские! Всяких полно. Как сказать, сердечная дружба народов...

И наклоняясь к моему уху, добавляет:

— Своих ведь и то не миловал! Кацо этих, генацвале, тут тоже полегло, дай Боже...

Юлина улица называется Старый Сангородок. Здесь уже ничто не напоминает двух центральных магистралей, по которым мы только что проехали. Здесь прежний, старый, кривобарачный,

немощенный Магадан. Я узнаю его. Это тот самый квартал, где прежде была больница заключенных, где я отлеживалась полумертвая после морского этапа. Теперь все эти бараки превращены в жилые корпуса, на них прибиты таблички с номерами. Вот и Юлин номер.

Полутемный грязный коридор дверей на двадцать. У каждой двери — кучи тряпья, ящики, помойные ведра, метелки. Оглушительный чад от подгорелого постного масла.

— Эй, люди! — громко взывает Федька.

И сейчас же почти из каждой двери головы:

— Кого вам?

Юлю знают все. Заочно знают и меня. Как же, наказывала: «Бегите за мной сразу, как придет!» На работе Юля. А работа-то рядом. Вон прямо-то вывеска «Мастерская коммунхоза».

Федька бросается за Юлей. Хочет быть благим вестником, хочет сдать меня с рук на руки, чтобы можно было при случае доложить Вальтеру.

Юлька вбегает с шумом, с возгласами, с раскрытыми объятиями. С места в карьер отдается воспоминаниям.

— А помнишь — в Ярославке? Думали ли мы, что доживем до такого дня? Как мечтали свободно пройтись по улице! Вот сегодня же пойдем в кино. Билеты уже есть... А помнишь, как хотелось съесть чего-нибудь овощного? Пойдем скорей в комнату, я борща наварила.

Юлька в своем репертуаре! Верный мой Пятница, неиссякаемый Оптимистенко...

— Пусть же лавины свои вновь прольет на народы Везувий, ты на вершине его все ж посолишь огурцы, — смеясь, вспоминаю я свои тюремные гекзаметры.

Федька-Чума растроганно улыбается.

— Ишь, свиделися, красючки! Сколь годов не видались-то?

— Восемь! — дружно отвечаем мы.

Да, с того дня, как «Джурма» увезла меня на Колыму, а больную Юльку отставили от этапа и она пошла потом по другим, не по моим, точкам... Миновал ее Эльген. Была она на Сусмане и еще где-то. Потом попала в золотую столицу. До меня доходили слухи, что Юля организовала в Магадане какой-то цех с фантастической продукцией, нечто вроде конторы по заготовке рогов и копыт. Но так или иначе многие заключенные и бывшие ээка находили в этом цехе спасение от смертельных наружных работ, от стужи и голода. Немало людей спасла моя предприимчивая Юлька.

Сейчас, ведя меня по коридору к своей двери, она уже успела разъяснить мне, что предприятие именуется «утильцех», что

она добывает с других производств разные отходы и мастерит всякую мелочь: игрушки, абажуры, коврики.

— А вице-председателем у тебя кто?

Юлька хитро подмигивает, давая понять, что все в порядке. Дверь в свою комнату она распахивает таким королевским жестом, точно я должна быть потрясена видом раскрывшейся передо мной роскоши. При этом она произносит ужасно торжественные слова. Я, мол, должна чувствовать себя такой же, как она сама, хозяйкой всего этого великолепия.

В узенькой семиметровой клетушке уже поставлена для меня раскладушка, а стол накрыт выглаженной белой тряпкой (утиль-цех!), и на нем все приготовлено к трапезе. Какое счастье приехать туда, где тебя так заботливо ждали!

Мы хлебаем втроем борщ, густой до того, что ложка в нем стоит, наперченный так, что даже Федька от него чихает. После обеда мой верный водитель сразу начинает прощаться. Ему надо за грузом для пищекомбината. Мне жалко с ним расставаться. Пожалуй, впервые за десять лет встретила блатного волка (бывшего, правда!), в котором не умер человек.

После его ухода мы с Юлей садимся в те самые позы, в каких обычно сживали в Ярославской одиночке: каждая на своей койке, друг против друга. И, так же как тогда, говорим обо всем сразу. За восемь лет лагерных скитаний у каждой накопился целый ворох больших мучений и крохотных удач, героической обороны от наступающей Смерти и чудесных спасений.

Замечаю, что о чем бы ни зашла речь, Юля обязательно сводит разговор на своей цех. Вот чудеса! Да ведь она по-настоящему живет этой работой! И не только тем, что благодаря этому цеху ей удается помогать людям, спасать от гибели многих людей, сильных духовно, но немощных физически. Нет, как ни странно, но Юльку вдохновляет и сама эта, казалось бы, дурацкая работа. Ей нравится проявлять хозяйственную инициативу, добиваться эффекта в почти безнадежных положениях, перехитрять наших хозяев и, сохраняя почтительный тон, оставлять их в дураках. Короче говоря, дух предпринимательства и частной инициативы, генетически запрограммированный в Юльке ее предками — оборотистыми волжскими торговцами, вдруг проснулся здесь, в этих непредвиденных условиях.

Грешница, я люблюсь Юлькой в ее новой магаданской роли Вассы Железновой и мысленно сравниваю ее теперешнее оживление, бурную энергичность, высокий жизненный тонус с тем унылым видом, какой она имела в последний год перед арестом, в университете. Теперь она смела, иронична, ее речи брызжут веселым лукавством. А тогда ее несчастные бакалавры дохли со скуки, пока она разжевывала им очередную дозу философской

ортодоксии, опасаясь каждого вымолвленного словечка, с испугом озираясь вокруг себя. Ведь со всех сторон подстерегали ее ехидны меньшевистствующего идеализма, гienы плоского механицизма и змеи ползучего эмпиризма.

. . . Весь вечер мы гуляем по главной улице Магадана, нашего золотого города. Юля показывает и объясняет мне все, минутами впадая в покровительственный тон столичной жительницы, принимающей кузину из глухой провинции. Я не обижаюсь. Ведь я и впрямь одичала за семь лет в тайге. На каждом шагу делаю ошибки: то не в ту очередь встала, то не в тот ряд села . . . Юлке хочется, чтобы я восторгалась всем, и она даже огорчается, что я не проявляю достаточного энтузиазма в кино, где нам показывают нечто весьма невразумительное про шпионов.

На улице мне куда интереснее, чем в кино. В этот летний вечер по улице Сталина прогуливается весь магаданский бомонд. Главные хозяева жизни курсируют почему-то только по правой стороне — от дома культуры до поворота на Колымское шоссе.

По календарю — июль, но воздух остро прохладен, дует колкий пронизывающий ветер с моря. При этой погоде все сильные мира сего одеты, как в униформу, в серый габардин. Топорчатся ватные плечи. Они придают осанке заметное величие, делая мужчин похожими на свергнутый памятник Александру III в Ленинграде. Что касается дам, то они, из-за неумеренного пристрастия к меху черно-бурой лисы, напоминают мне картинку из немецкой хрестоматии, где изображен охотник, увешанный шкурками убитых лисиц. Под охотником подпись: дер егер.

Те, кто прогуливается по левой стороне улицы, — от школы до угла, — лишены респектабельности и единообразия правосторонних. Другой классовый состав. Здесь незнатные договорники, так сказать, разночинцы, бухгалтеры, техники с авторемонтного завода, медсестры-комсомолки. В общем — мелкая сошка. Порой мелькают даже бывшие зэка. Те, которые уже подкормились, приделались. Но все равно я их безошибочно узнаю по преувеличенной развязности движений, по тому, как они время от времени все-таки втягивают голову в плечи. Непривычно еще им прогуливаться по главной городской магистрали.

В одном из больших окон каменного дома — квартиры начальства — я вдруг вижу свое отражение. Ну и вид! Дернула же меня нелегкая еще обшить телогрейку у ворота этой драной кошкой! За версту видать вчерашнюю каторжанку. Ну и черт с ними! Пусть душатся своими чернобурками, а мы и с кошкой проживем!

Юля читает мои мысли.

— Вообще-то наплевать, конечно, но в таком виде тебя никто на работу не возьмет. Так что завтра с утра — первым делом на барахолку. Пальто тебе купим . . .

Вдруг до меня долетает какая-то странная мелодия. Хоровое пение. Давно знакомая песня звучит как-то непривычно. Оглядываюсь. По мостовой стройными рядами, военным маршем, движутся колонны низкорослых мужчин в необычной одежде — не то военная, не то лагерная. Со всех сторон их конвоируют наши солдаты с винтовками наперевес.

— Пленные японцы, — объясняет Юля, — очень хорошо работают. Уже несколько больших домов построили. Сейчас достраивают новый кинотеатр. А поют-то что, слышишь? «По долинам и по взгорьям . . .»

Юля смеется и рассказывает, что японские офицеры иногда ходят по городу в одиночку и занимаются отхожим промыслом: торгуют теплыми варежками и носками, которые искусно вяжут сами. Где достают такую отличную шерсть — не поймешь. Наверно, какие-нибудь свои шерстяные кальсоны распускают. Один даже приходил к Юле в цех, предлагал свою продукцию и очень забавно высказывался по-русски насчет магаданского быта. «Японская салдата идет — русская салдата охраняй — моя понимай: война! Русская мадама идет — русская салдата охраняй — моя не понимай». Это так он отреагировал на многочисленные женские этапы, бредущие по улицам нашей столицы, все прибывающие и прибывающие морскими транспортом, точно неисчерпаемо количество преступниц в наших городах и селах.

Да, много нового в Магадане за семь лет моего отсутствия, но основное незыблемо — этапы идут и идут.

Некоторые уличные сцены волнуют меня почти до слез. Например, подростки и старики. Их не было здесь раньше. В тайге их нет и до сих пор. По крайней мере я уже десять лет не видела ни тех, ни других. Из заключенных до старости никто не доживает. А начальство раньше не привозило в такой край своих родителей. Дети на Колыме раньше были только те, что родились уже здесь. Подростков почти не было. А вот сейчас в колымский центр уже навезли подросших ребят с материка.

Жадно вглядываюсь в каждого мальчугана-школьника, сопоставляю его со своими сыновьями. Вот этому, наверно, уже четырнадцать. Таким я Алешу уже не видала. Да и Васе сейчас уже пятнадцать. И я не могу себе представить, как он выглядит.

А вот старушка ведет за руку девочку. Какая приятная старушка, круглолицая, опрятная! Как наша няня Фима. И девочка на нее похожа. Наверно, бабушка и внучка. Когда я видела такое? В каких снах?

Еще умиляют меня собаки. В тайге я было возненавидела весь собачий род. Там одни немецкие овчарки — верные слуги тюремщиков. Лютые наши враги. И как-то забылось, что на свете живут

еще веселые безобидные дворняги, чудаковатые таксы, кокетливые болонки. Я радостно смеюсь, когда у дверей Юлиного барака нас приветствует хриплым лаем Юлин цеховой сторож Кабысдох, потомственный безродный дворняга. Пес, не рвущий вас за горло, а добродушно виляющий хвостом. Право же, в этом есть что-то человеческое. И он, бедняга, так же мало повинен в злодеяниях своих родственников, несущих службу у колючей проволоки, как мы — двуногие дворняжки — в волчьих повадках двуногих овчарок. Я треплю Кабысдоха по свалывшейся шерсти и внутренне примиряюсь с собачьим родом.

— Ох, а за хлебом-то и забыли, — спохватывается Юля, и мы сворачиваем в так называемый первый магазин.

Хлеб выдается по карточкам. На простых полках — пачки кофе «Здоровье». На стенах — красочные плакаты. На них — румяные окорка, брусья сливочного масла, головы голландского сыра. И надписи: «К 1950 году на душу населения будет приходиться столько-то мяса, масла, сахара».

Меня охватывает неловкость. Что же это я? На Юлькину пайку приехала?

— Ах да, у меня пироги есть, — радостно вспоминаю я дар, полученный от маникюрши с семьдесят второго километра. — Хорошие, из сеяной муки . . .

— Вот, видала нашу торговлишку? — огорченно говорит Юля и добавляет: — А у тех-то, у габардиновых, заметила, какие ряшки?

— Так ведь у них закрытые распределители . . . Смотри, а водки полно!

— Это не водка. Ее ввозить сюда нерентабельно. Это чистый спирт. И хлещут его тут почти неразведенным.

На улице, у магазина, как трупы валяются пьяные. Среди них немало женщин.

Я вдруг чувствую какую-то непомерную усталость.

— Пойдем домой, Юль! Я что-то уже сыта магаданскими пейзажами по горло . . .

У бани, где по-прежнему, как в наши времена, расположен санпропускник для заключенных, наталкиваемся на огромный, только что прибывший с корабля мужской этап. Люди сидят прямо на мостовой, на корточках, окруженные конвоем и овчарками. Точно и не проходили эти семь лет. Все та же она, золотая моя столица. Принарядилась снаружи, наманикюрила окровавленные пальцы, напялила чернобурки на ожиревшие шеи. А по существу — все та же . . .

И меня обжигает непереносимым стыдом за ту идиотическую гордость, которую я испытала при въезде в город, залюбовавшись многоэтажными домами и афишами оперетты.

Что уж говорить о тех, кто не имеет нашего опыта! Как легко, наверное, втирать им очки, если даже нам, все знающим изнутри, порой застит глаза помпезными фасадами этих новостроек . . .

Часа в три ночи Юлька вдруг проснулась, зажгла свет и внимательно посмотрела на меня.

— Так и знала. Лежит с открытыми глазами и мировой скорби предается. Ну и характерец! погоди, я тебе сейчас верональчику дам, сразу заснешь . . .

Веронал помогает. Понемногу я засыпаю. Во сне вижу Федьку-Чуму, крутящего руль, и слышу его песню. Патриотически-блатную песню: «Но всегда я привык гордиться, выполняя на двести свой план, дорогая моя столица, золотой ты, ах, мой Магадан».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТРУДЫ ПРАВЕДНЫЕ

Юля припасла для меня место в своем цехе. Уже все согласовала с начальством, а это было совсем не так просто при моих-то документах. И Юля очень горда, что вот я приехала в Магадан на все готовое: и жилье, и работу — все она мне обеспечила.

Поэтому я долго не решалась даже заикнуться Юльке, что совсем мне не улыбается перспектива целыми днями гнуть спину в пыльном полуподвале, превращая крашеную стрептоцидом марлю в роскошные абажуры для колымских идиллических домашних очагов.

Я вынашивала другую, почти неосуществимую мечту — снова попасть на работу с детьми. Почему? Да потому, что это было убежище, неповторимое убежище от колымской туфты, от всепроникающего духа уголовщины, даже в какой-то мере от унижений. Ведь дети были теми единственными людьми, которым не было никакого дела до того, что там обо мне написано в моем личном деле. Они отвечали только на мое отношение к себе. Кроме того, при всей казенщине, царившей в детских учреждениях, они все-таки в какой-то мере противостояли окружающему тюремно-лагерному миру. Плохо ли, хорошо ли, но здесь вместо целей мучительства и уничтожения людей ставилась цель их вскармливания и выращивания.

И еще одно было. Тайное от всех, даже от Антона. Даже плохо формулируемое для себя самой. Почему-то, когда я была среди детей, несколько смягчалась моя неотступная раздражающая боль об Алеше. Нет, совсем не так обоснованно и последовательно по-христиански, как это получалось у Антона, когда он говорил мне: «Сделай то-то и то-то для такого-то больного.

Ради Алеши». Просто то, что я делала в детском саду, как бы возвращало меня к другому, к тому, что было так беспощадно оборвано в тридцать седьмом. Даже повторяемость и механичность элементарных повседневных забот давали какую-то обманчивую компенсацию моему поруганному и растоптанному материнству.

Я понимала, что надежды на получение работы в детском учреждении очень мало. Юлия уже подробно объяснила мне, что в столице Колымы не может быть таких патриархальных нравов, как в глубине тайги, где природная доброта таких людей из администрации, как Тимошкин или Казак Мамай, перебарывает иногда бесчеловечные статьи и пункты. Здесь отделы кадров почище, чем на материке, — объяснила Юлия.

А я все-таки решила с утра сбегать в сануправление, ведавшее детскими учреждениями, и дерзко предложить свои услуги. А вдруг отличная характеристика, данная на прощанье тасканским начальством, перетянет мои статьи и сроки. И даже красные полосы на личном деле...

Но сказать об этих замыслах Юле — значит, проявить черную неблагодарность.

Неожиданное происшествие облегчило мою задачу. Было еще совсем темно, рассвет едва занялся, когда раздался робкий отрывистый стук в нашу дверь. Это оказалась Елена Михайловна Тагер, знакомая нам по этапам и лагерям.

— Что случилось? Почему так рано?

— Освободилась! — потрясенным голосом ответила наша гостья и обессиленно опустила на табуретку. Мы начали было поздравлять, но вдруг заметили, что Елене совсем плохо. После ландышевых капель и холодного компресса на голову мы узнали наконец в чем дело.

— Друзья мои, милые друзья... Не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу. И не возражайте... Это ужасно, но это факт. Дело в том, что я... Я не смогу жить на воле. Я... я хотела бы остаться в лагере!

Елена Михайловна действительно могла считать нас своими друзьями. Правда, по возрасту она была ближе к поколению наших родителей, чем к нам. Да и не видели мы ее уже несколько лет. Но на разных этапах тюремно-лагерного маршрута наши пути пересекались, и тогда мы общались с ней очень глубоко и сокровенно.

Ленинградский литератор, человек высокого строя души и редкостной житейской беспомощности, она всегда нуждалась в опекунах. И многие из нас, тогдашних молодых, с радостью опекали ее. А она оказывала нам куда более неоценимую услугу: своими беседами она поддерживала в нас едва теплившуюся жизнь

духа. Где-нибудь на верхних нарах до глубокой ночи рассказывала она нам о своих встречах с Блоком, с Ахматовой, с Мандельштамом. А с утра мы буквально за руку ее водили, втолковывая, как ребенку, где сушить чуни, куда прятать от обысков запрещенные вещи, как отбиваться от блатарей.

Много раз Елена Михайловна доходила на мелиорации и на лесоповале. Но вот за последние три года она достигла лагерной тихой пристани. Ее а к т и р о в а л и, то есть признали за ней право на легкую работу по возрасту, по болезням. И перед ней открылась вершина лагерного счастья — она стала дневальной в бараке западных украинок. Привыкла к несложным обязанностям, одинаковым изо дня в день. Печку топить, полы подметать. Полюбила девчат. Тем более, что к тому времени все родные ее умерли в ленинградскую блокаду. И девчата ее полюбили. Особенно тяжелого делать не давали. Дрова сами кололи, полы мыли. Многие даже стали кликать Елену Михайловну «Мамо» . . .

— Это редкостные девочки . . . Вот уже месяц, как я расписалась в УРЧе и, значит, уже месяц, как пайка на меня не выдается. А я и не почувствовала. Девочки кормят . . .

— Как, уже месяц? Почему же вы до сих пор там?

— А куда же деваться? Ведь за последние три года самый мой длинный рейс был от барака до кипятилки. А этот город . . . Он пустыня для меня. Он наводит ужас . . .

История, поведенная Еленой Михайловной, выглядела так. Дважды за этот месяц она рискнула выйти за зону и поискать себе пристанища в этом непонятном вольном муравейнике, где не дают человеку каждое утро его пайку, где нет у человека своего места на нарах. Ничего не нашла, никого из бывших товарищей по заключению не встретила. Вернулась измученная в лагерь. Вахтер по старой памяти пропустил. Девочки отхаживали ее всю ночь, бегали в амбулаторию за ландышевыми каплями. За этот месяц ее уже не раз предупреждали, чтобы она уходила из зоны. «Нельзя вольным в лагере жить . . .» И вот сегодня . . . Впрочем, теперь уже вчера. На поверку пришел сам начальник режима и категорически приказал Елене Михайловне немедленно покинуть лагерь. Девочки плакали, просили оставить их названую мать. Пусть без пайки! Они ее сами прокормят. Елена тоже не сдержала слез. И тут режимник расчувствовался, доказал, что и у него в груди не лягушка, а сердце. Оставить старуху он, конечно, не мог, но зато все объяснил по-хорошему. «Послушайте, гражданка, — сказал он, — вы десять лет жили, правда? Жили. И никто вас не трогал. А почему? Потому что было можно. Вот. А сейчас — все. Нельзя больше. Не положено. Н е п о л о ж е н о».

Тут-то одна из девочек и подсказала Елене Михайловне

Юлин адрес. Слава про Юлин цех, где устраивают на работу в помещении с самыми трудными статьями, широко шла по заключенному миру.

— Все будет в порядке, Елена Михайловна, — заявила Юлька с такой уверенностью, что наша гостья сразу стала смотреть на нее преданным детским взглядом и безропотно выполнять все Юлины распоряжения. Приняла из Юлиных рук все тот же чудодейственный порошок веронала, послушно улеглась на раскладушку и быстро заснула. Во сне она по-детски всхлипывала и охала, а мы с Юлей, лежа теперь уже вдвоем на узкой железной койке, никак не могли больше заснуть, хотя настоящего рассвета еще не было.

— Помнишь, Женька, твои ярославские стихи «Опасение»? Подумать только, Юлька до сих пор помнит мои самодельные тюремные стихи!

*... чтоб в этих сырых стенах,
где нам обломали крылья,
не свыклись мы, постовав,
с инерцией бессилья...*

— По-моему, Елена Михайловна отойдет... Вот увидишь, Юлька, отойдет она.

(К счастью, мои надежды оправдались. Елена Михайловна оправилась от инерции бессилья. Она дожила до реабилитации, вернулась в Ленинград. Она еще успела написать пронзительную книжку о Мандельштаме. Куски этой книжки вошли в предисловие к двухтомнику Мандельштама, изданному в Америке. Умерла Елена Михайловна в начале шестидесятых годов.)

Теперь я могла уступить свое место в знаменитом утильцехе, не боясь обидеть Юлю.

— А ты как же?

— Пойду в сануправление. Попробую посвататься в детский сад.

Юля скептически качает головой.

— Это ты все по-таежному судишь. Там, в стороне от начальства, такое было возможно. А здесь, в столице... К тому же сестер этих медицинских как собак нерезанных... Не только бывших ээка с легкими статьями, но и комсомолок, договорниц.

Юля была права, как всегда. Но тут вступило в действие мое невероятное счастье. Оно уже не раз прихотливо проявляло себя на путях моих скитаний и выручало из самых безнадежных положений.

Не успела я войти в сануправление — одноэтажное разлапистое здание, выкрашенное все в тот же излюбленный ядовиторозовый цвет, — как сразу в полутемном коридоре натолкнулась на доктора Перцуленко, главврача эльгенской вольной больницы.

Под его командой я проработала свои последние полтора месяца в лагере. Приятель Антона.

Он взял меня под руку и напрямиком провел в кабинет начальника детских учреждений. Им оказалась доктор Горбатова, сорокалетняя красивая блондинка с милым усталым взглядом. Перцуленко рекомендовал ей меня в таких выражениях, что пришлось глаза отводить. И такая-то, и сякая-то.

— А воспитательницей вы не пошли бы? — спросила Горбатова, дружелюбно глядя на меня. — Медсестры у нас в избытке, а вот с педагогами просто беда. Острый недостаток кадров. Не идут. Очень нервная работа. Состав детей у нас специфический.

Пошла ли бы я! Да это предел моих мечтаний. Но я понимала, что иллюзии этих двух добрых вольняшек разобьются в прах при самом беглом взгляде на мои документы. С тяжким вздохом положила я на стол Горбатовой свою «форму А» с отпечатком большого пальца вместо фотографии. Она долго сокрушенно разглядывала ее, но потом, решительно встав, сказала: «Пойду в отдел кадров».

Отдел кадров был рядом, и через тонкую дощатую перегородку мы с Перцуленко различали обрывки диалога Горбатовой с начальником кадров Подушкиным.

— Буб-бу-бу... с высшим образованием педагог, — убеждала Горбатова.

— Бу-бу-бу... Идеологический фронт... Групповой террор... — представлял свои резоны начальник кадров.

Наверняка у него белесые брови и пухловатые руки с часами на толстом золотом браслете.

— Бу-бу-бу... В 3-м саду троих не хватает... Хоть временно оформите...

— Бу-бу-бу... Если бы хоть не тюрзак! На свою ответственность не могу. К Щербакову? Пожалуйста! Если он прикажет...

Скрипнула дверь, раздались шаги.

— Это они пошли к начальнику сануправления Щербакову, — прокомментировал Перцуленко и, заметив мой унылый вид, добавил: — Сидите здесь, а я тоже пройду к Щербакову. Мужик умный! Уговорим...

И совершилось очередное чудо. Через полчаса я вышла из розового здания, унося с собой бумажку, в которой говорилось, что я направляюсь на работу воспитательницей в круглосуточный детский сад номер три.

Детские сады в Магадане сорок седьмого года резко различались по своему классовому составу. Был детский сад для детей начальства. Холеных мальчиков и девочек привозили на саночках няни или домработники (мужская прислуга из заключенных была бытовым явлением). Ребенку из семьи бывших зэка вход

в этот сад был довольно прочно закрыт. Были и другие детские сады для более демократических слоев магаданского населения.

Зато 3-й детский сад, куда я получила назначение, представлял собой в сущности дошкольный интернат или детский дом. В нем жили только дети бывших заключенных. Многие родились в тюрьме или в лагере, начали свой жизненный путь с эльгенского деткомбината.

Помещался этот 3-й детсад неподалеку от нашего с Юлей дома в двухэтажном деревянном здании барачного типа, выкрашенном все в тот же розовый цвет. Рядом с этим зданием торчала труба котельной. Она пыхла, чадила, извергала копоть прямо на прогулочный дворик, обволакивала лица детей клочьями едкого дыма. Зимой эта труба окрашивала снег прогулочного дворика в черный цвет.

Меня сделали воспитательницей старшей группы. Моим заботам было вручено тридцать восемь детей шести и семи лет. Понадобилось провести с ними всего два часа, чтобы понять, почему сануправление испытывало острый недостаток в педагогах, почему им пришлось прибегнуть даже к услугам такой криминальной личности, как я, террористка, осужденная Военной коллегией.

Это были трудные дети. Тридцать восемь маленьких невропатов, то взвинченных и возбужденных, то подавленно молчаливых. Некоторые из них были болезненно худы, бледны, с синими тенями под глазами. Другие, наоборот, как-то непомерно растолстели от мучнистого безвитаминожного питания. Они были трудны и каждый в отдельности, и все вместе.

— Состав детей у нас специфический, — повторила слова Горбатовой заведующая детсадом, — я советую вам с самого начала принять с ними совершенно бесстрастный тон. Излишняя строгость и требовательность могут вызвать эксцессы, излишняя мягкость и ласковость сразу распускают их, потом не соберете.

Скорее всего, она была права и основывалась на опыте других воспитателей. Но она не знала, не могла знать, что именно бесстрастное отношение к этим детям для меня невозможно. Потому что я не могла воспринимать их как чужих. Это были подростки эльгенские младенцы, мои спутники по крутому маршруту. Разве я могла быть бесстрастной и педагогически расчетливой (пусть из самых благих побуждений!) с этими маленькими мучениками, познавшими Эльген?

Эти ребята не знали многого, что знают их материковские ровесники. Они были, что называется, недоразвиты. Зато они догадывались о многом (не умея назвать по имени), доступном только старикам. От таких детей можно было отчаянно уставать, на них можно было гневаться, опускать руки в бессилии. Только

равнодушной к ним оставаться было нельзя. Наверное, то чувство, которое я испытывала к ним, нельзя назвать любовью в точном смысле этого слова. Пожалуй, точнее было бы определить его как солидарность, как единокровность что ли . . .

Кроме меня, все воспитательницы были договорницы, многие совсем недавно с материка. Среди них были милые люди, и я была благодарна им за душевный такт, за то, что не подчеркивают моего изгойства. Но дружить с ними я не могла. Они все казались мне больше детьми, чем наши воспитанники. Несмотря на то, что у них за плечами была война, эвакуация, голод, они кроме этого ничего не знали. Наивная доверчивость их по отношению к официальной пропаганде была так сильна, что они попросту не верили глазам своим, наблюдая колымские явления жизни. Напечатанное в газете было для них убедительнее увиденного на улице. Почти с религиозным экстазом обучали они детей популярной песне: «Один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин». Во всяком случае, чувства реальности у них было значительно меньше, чем, скажем, у Лиды Чашечкиной, родившейся в Эльгене, уже дважды насильственно разлучавшейся с матерью и переживавшей за свои шесть лет жизни много метров колючей проволоки, десятки собак-овчарок и вахтенных вышек.

Мое радостное возбуждение по поводу высокого назначения сильно сникло после того, как я ознакомилась с программой детских садов, по которой надлежало воспитывать детей. От нас требовалось глубокое изучение этой программы и регулярное составление планов воспитательной работы — кварталных, месячных, недельных, ежедневных. Руководили нами в этом деле методисты из дошкольного методкабинета. Итак, я читала и перечитывала довольно увесистую программу воспитания маленького гражданина нашей страны.

В разделе «Патриотическое воспитание» от педагога требовалось, чтобы он выращивал не только чувство любви к Советской родине, но и чувство ненависти к ее врагам.

По развитию речи надо было изучить стихи «Я маленькая девочка, играю и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю».

На музыкальных занятиях, которые вела сама заведующая садом Клавдия Васильевна, разучивали кроме уже упомянутых «Двух соколов» еще несколько песен на ту же неисчерпаемую тему. «Если к нам придет Сталин . . .» Потом песню юных моряков: «Дорогой товарищ Сталин, пусть пройдет немного дней . . .»

Узнав, что я играю, Клавдия Васильевна обрадовалась, велела мне присматриваться к методике ее занятий. Когда она будет занята административными делами, я смогу иногда заменять ее у инструмента.

Посещение дошкольного методкабинета было обязательным.

На первом же семинаре я услышала содержательный доклад методистки Александры Михайловны Шильниковой. Она давала оценку первомайскому утреннику в одном из детских садов и приводила отзывы детей, связанные с этим праздником.

— Мы любим товарища Сталина больше папы и мамы, — так, оказывается, говорили дети. Потом дети кричали хором:

— Пусть товарищ Сталин живет сто лет! Нет, двести! Нет, триста!

А один мальчик Вова оказался настолько политически подкован, что воскликнул:

— Пусть товарищ Сталин живет вечно!

В этом месте методистка Шильникова сделала паузу и взглянула на свою аудиторию победным и вместе с тем растроганным взглядом. Воспитательницы дисциплинированно и торопливо записывали все, что она говорила, в аккуратные общие тетради.

Вот такими непредусмотренными сторонами повернулась вдруг работа с детьми, которой я так добивалась. За десять лет моего отсутствия в нормальной повседневной жизни все процессы ушли очень далеко: и обожествление бессмертного Отца Народов и проникновение Его в каждую щелочку, где еще маячила живая жизнь. А главное, стала совершенно непреодолимой проблема **С О У Ч А С Т И Я** в его свершениях. Даже в таком, казалось бы, невинном деле, как выращивание маленьких детей.

Что делать? В первые дни работы у меня часто совсем опускались руки и мелькала мысль: не покаяться ли во всем Юльке и не попроситься ли все-таки в ее знаменитый утильцех? Может быть, за изготовлением пресловутых абажуров меня оставит это невыносимое ощущение вины и **с о у ч а с т и я**?

Но в это время я заметила, что дети называют меня «Евгеничка Семеночка». И не только в глаза, но и за глаза, когда говорят обо мне в третьем лице и думают, что я не слышу. Это был их способ отличать любимых воспитателей от постылых. Если «Анночка Иваночка» или «Тамарочка Петровначка» — значит, любят. Если «Зойка Андрейка» или «Еленка Василька» — значит, не пришлось им ко двору.

Перед «Евгеничкой Семеночкой» я не устояла. Ведь к этому времени я уже больше десяти лет не видела никого из своей семьи. А тут еще начала делать для них теневой театр «Кот в сапогах». И видела, сколько радости это доставляет им. Успокаивали и частые прогулки на сопку, собрание брусники, оживление детей, когда я читаю им Корнея Чуковского, Маршака. Читала, конечно, наизусть. В детсаде такой литературы не было.

Осуждала я себя и за то, что у меня не хватало хладнокровия, умеренности, объективности. У меня появились любимцы, и мне стоило большого труда скрывать это. Например, я сразу выделила

из общей массы детей Эдика Климова. Это был якутский мальчик. По крайней мере, мать его была якуткой. Отец, как у большинства этих детей, вообще терялся во мраке неизвестности. Вполне возможно, что Эдик был гибридом, потому что его смышленное румяное лицо с раскосыми монгольскими глазами было по краскам куда светлее, чем лицо его матери. Да и волосы у Эдика были русые. Мать его, отбывшая лагерный срок, как многие якуты, «з а о л е н я», работала теперь шофером грузовика, возила технику на прииски и поражала своей физической силой, неотесанностью всех форм и каменной неподвижностью лица. Она была похожа на изваяние, стоящее на великом монгольском тракте, ведущем ко дворцу богдыхана. К сыну она приходила редко, а придя, степенно садилась в коридоре на стул, развязывала мужской носовой платок, вынимала оттуда леденец или пряник и без улыбки вручала Эдику. На все вопросы, которыми он ее засыпал, она громко откашливалась и так же степенно отвечала: «Будешь большой — узнаешь». И снова застывала в неподвижности.

А Эдику не хотелось ждать, пока он будет большой. Его узенькие глаза просто искры метали от любопытства.

— А кто строил этот дом? — спросил он, когда мы во время прогулки проходили мимо только что выстроенного кинотеатра «Горняк».

— Ну, тут понадобились люди разных профессий: и каменщики, и кровельщики, и монтажники, и столяры . . .

— Да я не про это, — досадливо отмахнулся Эдик, — я спрашиваю, кто строил: экашки или япошки?

Исчерпывающий ответ он получил от переростка Володи Радкина. Тому было уже за семь, и он успел всякие виды повидать, потому что по воскресеньям его брала к себе мама, хриплая пожилая блатнячка, перековавшаяся на продавщицу в продуктовом ларьке.

— Разве экашки могут такое кино отгрохать, — снисходительно сказал Володя, — на баланде-то! А япошки сытые . . . Им от пуза дают. Ну да и работать они здоровы.

Цепкий глаз Эдика то и дело падал на разнообразные явления окружавшего его мира и улавливал то и дело противоречия, требующие выяснений.

— А это кто?

Это он про портрет Энгельса, сверкающий красными лентами и огнями электроламп. Ясно, что спрашивает неспроста.

— Про кого ты?

Это я, чтобы выиграть время.

— Да вот второй-то. Первый — Маркс, третий — Ленин, четвертый — Сталин. А вот этого, второго, я забыл.

— Энгельс . . .

— А он . . . А он . . .

Эдик мнется, не зная, как выразиться поделикатнее. Что-то он слышал неважное про Энгельса. И никак не может связать это с лентами и лампочками.

— А он . . . русский?

— Гм . . . Он из Западной Европы . . .

Эдик догадывается, что я тоже избегаю произнести ругательное, неприличное слово «немец» по отношению к человеку, чей портрет висит рядом с Лениным и Сталиным. Но успокоиться, не докопавшись, в чем же тут дело, не может . . .

— А бывают разве такие немцы, что за нас? Энгельс, он ведь за нас, да?

— Безусловно. Он определенно за нас.

Тяжелый вздох. Нет, мучительный вопрос так и не решен.

— Евгеничка Семеночка! Наклонитесь, я вас на ухо спрошу.

Он обнимает меня за шею своими еще младенчески пухлыми руками и горячо шепчет прямо в ухо.

— А Володька на Энгельса глупости сказал . . . Что будто он немец. Не надо глупости повторять, да? Ведь мы всех немцев убили, правда? А Энгельс за нас, значит он русский, да?

Моя сменщица Анна Ивановна, отличная воспитательница, любящая детей, все-таки посоветовала мне:

— Вы не очень-то с этим Эдиком Климовым в беседы вступайте! Всю душу вымотает. Да и сам выскочкой станет.

Но я была уверена, что он не станет выскочкой, что все вопросы, которые он задает, интересуют его по существу. Он не красовался, не затирал других. Просто человек хотел разделить свое отношение к жизни, к различным ее сторонам. Шестилетний человек стремился к гармонии и не мог успокоиться, когда видел что-то не укладывающееся в тот разумный мир, который рисовали ему воспитатели.

Однажды мы гуляли в нашем засыпанном копотью дворике. А рядом, на улице, пленные японцы копали какие-то канавы. Эдик высоко подбросил оловянного солдатика. Тот перелетел через забор и скрылся на дне глубокой канавы. Молодой верткий японец легко прыгнул в канаву и протянул Эдику через рейки забора спасенного солдатика.

— Скажи дяде спасибо, — посоветовала я.

— А он не дядя. Он япошка.

— Японец. Но ведь и у японцев бывают мужчины и женщины. А раз он не тетя, значит — дядя.

Под ударами этой неотразимой логики Эдик сначала призадумывается.

— А он с нашими воевал . . .

— Правильно! Но в этом были виноваты его командиры. Ему приказывали, и он побоялся не послушаться. А сам-то он скорее всего не хотел воевать. У него дома такой же мальчик, как ты, и ему жалко было с ним расставаться.

Эдик поколебался еще немного, потом влез на перекладину забора и закричал:

— Дядя! Дядя японец! Спасибо тебе, что ты моего солдатака спас. А другой раз ты своего командира не слушай и с нами не вой! Лучше поезжай домой к своему мальчику!

Пленный понял ходовое слово «Спасибо». Он подошел вплотную к забору, часто-часто заговорил по-японски, показывая большие желтые зубы. Потом просунул руку между рейками и робко погладил Эдика по рукаву.

— Ты, наверно, похож на его мальчика, — сказала я и вдруг заметила, что и впрямь — раскосые азиатские глаза Эдика точь-в-точь такие же, как у пленного японского солдата.

Во время вечернего дежурства я должна была находиться в спальне, пока дети не заснут. Надо было тихонько бродить в тапочках по комнате, следить, чтобы дети не болтали после звонка на сон, чтобы правильно лежали подушки, а руки были поверх одеяла. Я полюбила этот вечерний час. В постелях они сразу становились обычными ребятишками, их жестокий жизненный опыт отходил куда-то в сторону. Раздавались полусонные вздохи, кто-нибудь еще раз — уже в третий или четвертый — говорил «Спокойной ночи» . . . Эти тихие минуты возвращали к далекому, навеки утраченному. И я, нарушая все у с т а н о в к и методкабинета, гладила то одного, то другого по голове, говорила: «Спи, деточка . . .»

Многие из них никогда не слышали такого обращения к себе, и оно действовало гипнотически даже на самых отчаянных озорников. В этом материнском обращении они улавливали отблеск какого-то иного, не знакомого им мира. Они затихали, иногда прижимались на минутку щекой к моей руке и потом спокойно засыпали.

Мне всегда очень хотелось присесть на кровать к Эдику, поцеловать его на ночь. И было очень жалко, что этого делать нельзя. Но он, хитрец, догадался. Выждав, когда большинство ребят заснет, он садился на кровати и шепотом говорил:

— А у меня горло болит . . .

Он знал, что при жалобе на болезнь воспитательница обязана подойти. И когда я, подоткнув одеяло, присаживалась на краешек кровати, он со смехом шептал мне прямо в ухо:

— Это я понарошке . . . Ничего не болит . . . Я просто хотел вас спросить . . .

Дальше шли бесчисленные, почти всегда замысловатые для ответа «почему?» и «отчего?». Он был чертовски наблюдателен, этот малыш! Ему не давало покоя расхождение между теми правилами, которые прививаются в детском саду, и тем, что он видит в жизни.

— А воспитательницы всегда говорят, что садиться на землю нельзя, можно простудиться и испачкаться . . .

— Да, конечно, — отвечаю я, уже смутно чувствуя стоящий за невинной фразой подвох. И не ошибаюсь. А как же вот, Эдик сам видел на улице, как конвой кричал экашкам из нового этапа «Садись!», и все садились прямо на землю. А еще как раз дождик перед этим шел. И некоторые экашки прямо в лужи плюхнулись. Ведь они простудятся? Ведь это плохой конвой, да?

Чаще всего я уклонялась от ответов на такие вопросы. Переводила разговор на другие темы. Помнит ли, например, Эдик, что вчера он спрашивал меня, какие деревья растут в Африке, и можно ли научить обезьяну разговаривать, если очень долго и старательно с ней заниматься . . . Иногда моя хитрость удавалась, мысли мальчишки перескакивали на другой предмет. Но тут он настаивал.

— Это был плохой конвой, да?

И я не выдержала.

— Да уж, конечно, хороший человек не будет сажать других людей на холодную землю, прямо в лужи. Конечно, могут простудиться . . . А самое главное — ведь это очень обидно людям. А теперь спи, не спрашивай больше!

Обхожу еще раз полутемную спальню. Что я наделала! Завтра же он повторит где-нибудь мои слова . . .

И в дополнение к первому ляпсусу делаю второй, еще более запретный. Подхожу к Эдику и совсем тихо прошу его:

— Никому не рассказывай об этом нашем разговоре. Ладно?

— Конечно! Что ж я, глупый, что ли? — восклицает Эдик с интонациями тридцатилетнего . . .

. . . А методкабинет продолжал неуклонно продвигаться вперед по своему плану повышения квалификации педагогов. Мы прорабатывали тему за темой, проводили «обмен опытом». Каждое такое занятие лишний раз доказывало мне, каким анахронизмом являюсь я, человек тридцатых годов, среди новых людей и нравов. На примере крохотного мирка дошкольной педагогики я с ужасом убеждалась, как далеко мы продвинулись в искусстве лжи и фальсификации за десять лет моего отсутствия.

Запомнилась особенно тема «Творческие игры». Между полдником и ужином отводился час на так называемые творческие игры. Детям предоставлялась свобода играть во что и как хотят,

а воспитатели, сидя в сторонке, должны были только утихомиривать, регулировать пользование общими игрушками, а главное — потом писать в графе «Учет», во что играли дети и как проявлялись в их играх чувства советского патриотизма, ненависти к врагам и прочее . . .

В порядке «обмена опытом» я была направлена в группу Елены Васильевны, официально признанной лучшим педагогом детсада. Все восхищались ее умением добиваться тишины и полного послушания. Меня интриговало, почему же при всем том дети зовут ее за глаза Еленка Василька.

Действительно, боялись ее они здорово. Поэтому творческие игры велись шепотом. Но я все-таки различила, что играют они в баню. Городская баня, только что переоборудованная из части старого санпропускника, была одним из семи магаданских чудес и очень высоко котировалась у населения.

В детсаду детей мыли в тазах, страшно экономя воду, которую надо было таскать со двора. Поэтому дети, которых матери брали по субботам домой и водили в баню, надолго оставались под впечатлением горячих кранов, душей и хлебного кваса в предбаннике.

Девочки, исполнявшие роль мам, деловито мылили воображаемым мылом своих дочек, натуралистически поддавая им часто шлепки, наливали воду в тазы, изображая шипение кипятка, и при этом, увлекаясь, переходили иногда с шепота на громкий спор.

— А мы всегда ходим в баню. Потому что там наша тетя Зина кассиршей.

— И врешь! Как тетя Зина может быть кассиршей! Она ээкашка! А в кассы только вольняшек берут.

— И нет! Тетю Зину везде возьмут. Потому что у нее дядя Федя на вахте . . .

Елена Васильевна, польщенная тем, что я пришла перенять опыт, протянула мне свою идеально разлинованную тетрадь для планов и учета воспитательной работы.

— Вот прочтите, как надо записывать творческие игры. На этой странице записана сегодняшняя.

— Как? Уже? Да ведь они еще играют!

— А я никогда не запускаю учет. Пишу его с утра, вместе с планом.

В графе «План» за сегодняшнее число значилось: «С 5 утра до шести часов пятнадцати минут — творческие игры по инициативе детей». В графе «Учет» тем же каллиграфическим почерком было написано: «Сегодня дети играли в военный госпиталь. Мальчики изображали раненых, девочки — медсестер. Девочки бинто-

вали мальчикам раны (использован подготовленный воспитателем игровой материал) и говорили, что воины — их защитники и спасли родину от немецких захватчиков, а мальчики отвечали, что они служат Советскому Союзу.

— Поняли, как надо писать «учет»? — с той же милой снисходительностью спросила меня Елена Васильевна.

О да, поняла вполне. Елена Васильевна хотела объяснить мне еще что-то, но в это время ребята, изображавшие купанье под душем, слишком расфыркались и расхиликались. И Елена Васильевна произнесла тихим леденящим голосом:

— Котов, встань к столу! Дорофеева, подойди ко мне! Резниченко, выйди за двери!

Сразу воцарилась мертвая тишина. Елена Васильевна взглянула на часы.

— Шесть пятнадцать . . . Группа, строиться парами!

Ребята моей группы тоже часто играли в баню, в 1-й магазин (причем некоторые очень похоже изображали пьяных, валяющихся у дверей этого магазина). Играли, конечно, в музыкальное занятие, в школу, в магаданский парк культуры и отдыха, где детей больше всего привлекала клетка с медведями. Бурого Мишку и белую медведицу Юльку колымские пьяницы спаивали, принося им разведенный спирт в бутылках и потешаясь тем, что он пришелся медведям по вкусу. Первый раз, когда я подвела ребят к этой клетке, меня просто сразил вопрос, заданный кем-то из детей: «А почему медведям нельзя пить шампанское?» Потом оказалось, что на клетке висит объявление администрации, не сразу замеченное мной: «Приносить медведям шампанское строго воспрещается».

Я бывала очень довольна, когда дети в своих играх обращались к тем персонажам, о которых узнали от меня, когда они играли в Мойдодыра, в храброго Ваню Васильчикова, в ленинградского почтальона.

Однажды играли в «Кем быть». Разыгрались очень весело. Все кричали: «А летчиком лучше!» Всем хотелось быть летчиками, которых они знали здесь, в Магадане, как самых главных героев. Ведь именно летчики отвозили людей на сказочный «материк».

И вдруг сумрачная Лида Чашечкина провозгласила:

— А я, когда вырасту, буду Никишовым. Все меня будут бояться . . .

Имя начальника Дальстроя Никишова было им всем известно. На прогулке, проходя мимо большого квартала, обнесенного высоким забором, охраняемого часовыми, дети обязательно объясняли мне, что тут живет сам Никишов.

— Как ты можешь быть Никишовым, если ты девчонка! — это Эдик Климов отреагировал на Лидино дерзкое самозванство.

— И буду! — настаивала Лида.

— Нет, не будешь, — отрезал Эдик, но так как у него было доброе сердце, добавил: — В крайнем случае, ты можешь стать товарищем Гридасовой.

Александра Романовна Гридасова была молодая и красивая жена старого генерала Никишова. Ради нее он оставил свою прежнюю семью, пережил некоторые неприятности в Москве, но зато теперь именно эта красотка жила с ним в отгороженном выском забором доме. Те экашки, которым посчастливилось попасть в штат некоронованной колымской королевы, вечно рассказывали разные истории о ларцах с драгоценностями, о пышных пиршествах, о том, что у Александры Романовны больше платьев, чем у покойной императрицы Елизаветы Петровны.

Все эти и многие другие разговоры доходили до детей. Мамаши, забирая их на воскресенье из стерильной жизни под руководством методкабинета, вели их не только в общежития, но и в шалманы, где жили сами. И уже многие дети, кто был поумней или посовестливей, вроде Эдика, начинали догадываться о какой-то большой лжи.

С каждым днем становилось труднее решать, что и как говорить детям, как согласовать сведения, идущие из методкабинета, с картинками магаданской улицы. Как умудриться в этих условиях привить им хоть крохи человечности, научить отличать плохое от хорошего.

Моя Юлия примечала, что со мной не все ладно, и время от времени возобновляла свое приглашение в утильцех.

— Ну как твои труды праведные? — спрашивала она, вглядываясь в мое лицо по вечерам. — Каждый день мясной суп ешь, а что-то все худеешь . . . А мы сейчас с абажуров на носовые платки перешли. Мережим и обвязываем . . . Может, соблазнишься?

Но при одной мысли о расставании с ребятами мне становилось тошно. Может быть, попроситься в младшую группу, к трехлеткам? Все равно, и там раздел «Патриотическое воспитание» с подразделом «воспитание ненависти к врагам» . . .

И я отшучивалась от Юлиных расспросов, но все хуже и хуже спала по ночам. Грызли меня, конечно, и личные мои боли. Но немалую роль в этой бессоннице играли и мои теперешние труды праведные, мои колымские педагогические проблемы, которые наверняка не могли прийти на ум ни Ушинскому, ни Песталотци, ни Яну Амосу Коменскому.

ВРЕМЕННО РАСКОНВОИРОВАННЫЕ

Почти каждый день я встречала на улицах Магадана знакомых. По Казани и Москве. По Бутыркам и Лефортову. По Эльгуну и Таскану.

В сорок седьмом многим жителям нашего гулаговского царства, несмотря на все ограничения и задержки с освобождением, удалось все-таки выйти за лагерную зону, заполучить «форму А» и таким образом перейти из класса рабов в класс вольноотпущенников. Многие устремились в Магадан. Для одних это был трамплин к возвращению на материк, для других — место, где можно устроиться на лучшую работу и вырваться из таежной дикости.

Встречи со старыми знакомыми радовали и одновременно ранили. Радовали потому, что это было живое воплощение моего прошлого. Самим фактом своего существования эти люди отвечали на вопрос «Да был ли мальчик-то?». Да, да, он был! Были и материк, и университет, и семья, и друзья. Были книги, концерты, мысли, споры . . . Вот я стою и разговариваю с человеком, знавшим моих родителей. А эта женщина была со мной вместе в аспирантуре. Ведь они-то уж доподлинно знают, что я не родилась на нарах и что не всегда к моей фамилии добавлялось звериное слово «тюрзак».

Но как беспощадно изменились все их лица! Обломки крушения. Щепки, гонимые неодолимым злым ветром все дальше по направлению к последней пропасти.

Никто не выглядел старым. Большинству из тех, кто вышел живым из этого десятилетия, было сейчас или около сорока или чуть за сорок. Не возраст исказил их лица, а то нечеловеческое, через что прошел каждый. Всматриваюсь в своих старых знакомых тревожно и пристрастно. Как в зеркало. Значит, и у меня такая складка губ и такой взгляд — всезнающий, как у змеи.

Почти никто не питал иллюзий. Настоящей воли нет и не будет. Мы заложники. И достаточно сгуститься . . . нет, не то, чтобы каким-то реальным тучкам, а просто — достаточно сгуститься сизому дымку, клубящемуся из знаменитой трубки, чтобы нас снова загнали за колючую проволоку.

Те, кто ждал транспорта на материк, придерживались формулы отчаяния: «Будь что будет! Повидаю своих, а там . . .» Те, кто оставался здесь, всячески старались утвердиться в ручном труде, в ремеслах. Кроме врачей, почти никто не работал, да и не хотел работать, по старой специальности. Зоологическая ненависть начальства к интеллигенции слишком хорошо была познана на собственной шкуре в течение лагерных лет. Быть

портным, сапожником, столяром, прачкой . . . Забраться в тихую теплую нору, чтобы никому и в голову не пришло, что ты читал когда-то крамольные книги.

Многие винили меня в неосторожности. Как можно было идти работать в детское учреждение! Быть на виду у н и х! Скорее спохватятся, что зря выпустили . . .

Возвращаясь домой, я рассказывала об этих встречах Юльке, делилась с ней горечью своих предвидений и предчувствий. Юля принималась меня бранить. Раз уж пошла на такую работу, так нечего далеко загадывать! Надо уметь наслаждаться маленькими повседневными радостями, которые так долго были нам недоступны. Любимая Юлина формула была: «А ты вспомни Ярославль!»

Со всей силой своего истинно фламандского жизнелюбия Юля убеждала меня, что нам во всей этой эпопее еще дьявольски везет. Всем смертям назло мы живы, здоровы, неплохо выглядим, в сорокалетнем возрасте еще получаем письма от влюбленных в нас мужчин. А насчет еды!

— Вспомни ярославскую шрапнель. И ежедневно благодари небо за то, что ты в своем детском саду получаешь обед из трех блюд: суп, второе и компот из сухофруктов.

В заключение этого гимна сокам земным Юлька вспоминала стихотворную строчку: «Сколько прекрасного в мире! Вот, например, капуста!»

— О моя Муха, ты права, как всегда, — со смехом отвечала ей, но довольствоваться «капустным» пайком никак не могла научиться.

Однажды я встретила на улице старую казанскую знакомую — Гимранову из университетской библиотеки. Ее муж, бывший ректор Педагогического института, пошел по мукам очень рано, года с тридцать третьего. Его обвиняли в татарском национализме. И она жила до собственного ареста в тридцать седьмом закусив губы, не позволяя себе предаваться горю, потому что ей надо было выращивать двух сыновей.

Она с рыданиями бросилась мне на шею, не обращая внимания на колонку детей, которых я вела на прогулку.

— Какая ты счастливая! Какая ты счастливая! — твердила она.

— Я? Счастливая? Ты разве не слышала? Мой Алеша . . .

— Знаю. Но ведь Вася жив! Ах, какая ты счастливая — твой Вася жив! А мои . . . Оба . . . Оба . . .

Обрубок, лишившийся обеих ног, завидовал одноногому, ковыляющему с костылем.

Да, я счастливая, мой Вася жив! И еще я счастливая потому, что у меня сейчас такая работа, которая дает возможность посы-

лать ему гораздо больше, чем до сих пор. А скоро детский сад вывезет детей за город, начнется оздоровительная кампания, и нам будут в это время платить полторы ставки. Тогда я смогу купить Васе пальто. Он пишет, что ходит в телогрейке.

Предстоящую мне поездку за город Юля все время поднимает, так сказать, на принципиальную высоту. Подумать только — ведь это я на курорт поеду! Какая же тут может быть мировая скорбь!

На двадцать третьем километре от Магадана, где прежде была центральная больница заключенных, теперь организовали пионерский лагерь «Северный Артек». Летом там отдыхали школьники, а с конца августа туда отправляли малышей из всех детских садов и яслей.

Несколько дней хлопотливых, утомительных сборов. Купаем ребят, пакуем посуду, одежду, игрушки. И вот уже автобусы около нашего двора, а строгая Елена Васильевна отсчитывает своим негромким гипнотизирующим голосом: «Пятая пара проходит, десятая пара проходит . . . Гаврилов, не смотри по сторонам! Малинина, дай руку Викторову!»

И еще два трудных дня устройства, расстановки кроватей и столов, утихомиривание взбудораженных переездом детей.

Зато потом наступает благодатная тишь. Сентябрь — лучший месяц в Магадане и вокруг него. Лето — всегда ветреное и дождливое — уступает место ясным задумчивым дням ранней осени. Осторожное медлительное солнце плывет по сопкам, а на них краснеет коралловыми рифами зрелая брусника. Шишки, битком набитые кедровыми орешками, оттягивают вниз ветки толстого слоя хвои. Ноги скользят и пружинят, как на ворсе толстого ковра. Но самое умирительное — это бурундуки. Их здесь очень много и, незнакомые с коварством людей, они отчаянно смелы. Бесстрашно шныряют под ногами, а иногда усаживаются на пеньки и, соперничая в любопытстве с ребятами, рассматривают нас в упор своими черными бусинками-глазками.

От близости природы дети стали мягче, тише, доступнее. К тому же на этот месяц отменены все занятия. Мы только гуляем, поем на ходу песни, читаем стихи, собираем бруснику и кедровые шишки.

За последние почти одиннадцать лет — это мое первое более или менее свободное общение с небом и деревьями, с травой, со зверушками. Брожу с детьми и стараюсь быть бездумной, как они. Минутами это почти удается. Вдруг рождается какая-то примиренность, приятие всего. Жизнь . . . Ее надо благодарить за все. И она отдаст все в свой черед. «Принимаю пустынные веси и колодца больших городов, осветленный простор поднебесий и

томления рабских трудов». И вот ведь дождалась, вот он передо мной — освещенный простор поднебесий. Пусть ненадолго, но ведь пришел все-таки на смену томлениям рабских трудов.

Только по воскресеньям мне становилось здесь очень уютно. Ко всем воспитательницам приезжали из города мужья, дети. И я снова должна была осознавать, что все простые человеческие радости не про меня. Ко мне не придут. Мне не положено. Я из другого теста. И как раз по воскресеньям с особой истовостью в меня вгрызались все мои боли. Непоправимая — об Алеше. И требующие активного моего вмешательства две живые боли — о Ваське и об Антоне. С каждым из них дело обстояло плохо, очень плохо.

О Васе я получила из Казани письмо от Моти Аксеновой, его родственницы по отцу, в семье которой он жил все годы своего сиротства, после того, как его разыскали в костромском детском доме для детей заключенных. Мотя писала, что у Васи тяжелый характер. За последнее время он связался с плохими мальчишками, пропускает школьные занятия, шляется в учебное время по бульварам и киношкам. Вообще с ним просто сладу нет. Еще можно было терпеть все это, пока другого выхода не было: мать была в тюрьме. Но теперь, когда мать на свободе, какая причина не приехать за своим ребенком? Или, может быть, мать думает, что те деньги, которые она посылает, окупают все труды и расход нервов, потраченных на Васю? Так очень ошибается!

В конце письма Мотя ставила вопрос в упор: почему я остаюсь после освобождения в Магадане, почему не возвращаюсь и не забираю своего сына, чтобы заботиться о нем самой? Дальше делались довольно прозрачные намеки, что, видимо, я предпочла материнскому долгу свои личные женские дела.

Ну как было объяснить, да еще письменно, этому жителю другой планеты особенности моей «свободы»? Да и к чему объяснять? Надо было обязательно забрать Ваську сюда, в Магадан. С Юлей все это уже было согласовано. Она даже сказала своему начальству, что к ней с материка едет племянник, и начальство обещало сменить нашу нынешнюю семиметровую комнату на двенадцатиметровую в соседнем бараке.

Но для въезда на Колыму нужен пропуск. А пропуска выдаются по разрешению отдела кадров Дальстроя. И легче верблюду пройти через игольное ушко, чем тюрзаку-террористу получить пропуск на члена семьи. Этим делом ведает полковник Франко, известный своей высокой бдительностью по отношению к врагам народа.

Опытные люди советовали мне действовать по особой методике, уже проверенной многими. Этот способ назывался «перманент» или «непрерывка». Следовало, получив отказ, подавать

заявления снова и снова. Хоть десяток отказов! Пиши дальше! И в конце концов, по закону больших чисел, пропуск твой проскочит фуксом через бюрократическую машину. Ну мало ли что! Может быть, твое очередное заявление придется на время отпуска полковника Франко. Или канцеляристы что-нибудь перепутают.

Я послушалась этих советов, и к осени получила один за другим два отказа. Я подала третье заявление и одновременно записалась на прием к полковнику Франко, надеясь умиловить его личным объяснением. Может быть, увидав меня воочию, он поверит, что опасность террористических актов с моей стороны и со стороны моего пятнадцатилетнего сына не так уж велика.

Аксеновым я посылала отчаянные письма, умоляя их потерпеть еще немного. Уже скоро-скоро я заберу Ваську. Писала я и самому Ваське — таинственному незнакомцу, чей образ двоился перед моим внутренним взором: я пыталась представить себе своенравного подростка с резкими повадками, но тут перед глазами выплывала толстенькая фигурка четырехлетнего малюканчика на руках няни Фимы.

Писала я и маме, просила ее объективно написать, велика ли опасность, что Васька совсем отобьется от рук и бросит школу. Мама отвечала, что, конечно, надо мне Васю вызвать к себе. Вообще-то он умный и довольно красивый парень. Но характер... Сама увидишь.

Начались снова мучительные сны про Ваську. Я просыпалась в холодном поту, с сердцебиением. Мне снилось, что он бросил школу, связался с уголовниками и что я встречаю его в лагере.

Не лучше обстояли дела и с Антоном. Всего дважды я получила от него по Юлиному адресу короткие весточки. Один раз — это было письмо, присланное официально, по почте, со штампом лагерной цензуры. В письме подробно описывалась природа вокруг прииска Штурмовой, а о себе сообщалось лаконично: жив-здоров. Второй раз — это был мешочек с кедровыми орешками. Его передал экспедитор со Штурмового, приехавший в Магадан по делам. К сожалению, ни меня, ни Юли не было дома, и он оставил мешочек у соседей, сказав только, что это от доктора Вальтера. Мы перебрали орешки по одному и нашли-таки среди них свернутую трубочкой записку на папиросной бумаге. Всего несколько слов по-немецки. Из них было ясно: командировка строго режимная, никакой связи с вольными, будущее покрыто мраком.

Вот потому-то я и не любила воскресений, которых почти все остальные обитатели нашего детского оздоровительного лагеря ждали с нетерпением. В обыкновенные дни горькие мои раздумья вытеснялись работой, непрерывным напряжением нервов, забо-

тами о том, чтобы все мои тридцать восемь человек были здоровы, чисты, сыты, веселы. А по воскресеньям на моих руках оставалось всего семь-восемь человек ребят, таких же бездомных бедолаг, как я. К остальным приезжали мамы, а в отдельных случаях даже папы или дяди, и ребята уходили с ними, разбредались отдельными группками.

Своих безродных я старалась отвлечь от естественного чувства зависти, от ощущения своей неполноценности и заброшенности. Поэтому я с самого утра вводила их на дальние прогулки, в сторону от лагеря. Кстати, чтобы и самой не видеть, как весело щебечут мои вольные коллеги-воспитательницы с приехавшими мужьями и детьми.

Во время этих дальних походов я освобождала себя от программы, утвержденной методкабинетом. Чтобы как-то утешить и себя и их, я пересказывала своим сиротам книжки моего детства. Они узнали от меня историю маленького лорда Фаунтлероя, оторванного жестоким дедом от матери. И злоключения маленькой принцессы Сары Крю, которую так обижали злые люди, что она подружилась с крысой. Крысу звали Мельхиседек. И малопомалу я начала уже говорить им о Давиде Копперфильде с его жестоким отчимом, и о ранней смерти Домби-сына, и о крошке Доррит . . .

В конце прогулки, когда я, усталая, усаживалась на пенек, мои неутомимые воспитанники, как гномы, продолжали кружиться вокруг меня, награждая меня за рассказы горстями спелой брусники. Сыпали ее мне прямо на колени, а потом мы ели все вместе. Бывали в этих одиноких прогулках и хорошие минуты, когда я чувствовала благодарность и привязанность детей.

Тем не менее я бесконечно обрадовалась, когда однажды, уже под конец нашего курортного сезона, я услышала в одно из воскресений голос моей сменщицы Анны Ивановны:

— К вам гости! Двое мужчин . . .

На секунду мелькнула безумная мысль: не Антон ли появился каким-то чудом? Но на пороге стояли двое незнакомых людей — старик и человек лет сорока. Они представились. Старик назвался Яковом Михайловичем Уманским, его спутник — Василием Никитичем Куприяновым. С первого беглого взгляда можно было определить, что оба они — бывшие заключенные. Как попали сюда, что здесь делают? Ведь до сих пор я была здесь одна-одинешенька в царстве вольняшек.

Все оказалось очень просто. Когда на территории теперешнего лагеря «Северный Артек» была центральная больница заключенных, оба мои гостя, врачи-патологоанатомы, работали здесь и жили в маленькой комнатке при морге. Теперь эта хатка вне ограды пионерского лагеря. С октября анатомы должны

перейти в Магадан, работать в морге вольной больницы. А сейчас им поручено составить для управления лагерей большой секретный отчет о смертности заключенных. Вот потому они и живут тут, по соседству.

— Узнали, что среди воспитательниц есть одна наша, ну и пришли, — сказал Куприянов. — Поди несладко тут одной среди вольняшек. Словом не с кем переброситься. Давайте погуляем, поговорим . . .

Наконец-то, наконец и у меня появились родственники. И мне тоже разрешают передать детей другой воспитательнице, а самой идти со своими гостями . . .

Мы отправились на дальнюю сопку. Мы говорили наперебой. Говорили, как друзья, встретившиеся после долгой разлуки. Нас не отравляло то гнусное чувство неуверенности в собеседнике, опасение предательства, которое так часто и так долго (уже десятилетиями!) отравляет многие наши новые знакомства.

Старик Уманский с первого же знакомства проявил свою страсть к философствованию, к теоретическому осмысливанию происходящего. О чем только он не говорил в эту первую нашу встречу. О трагизме нашей эпохи, об ее апокалиптическом характере. О слепой игре иррациональных злых сил и в нашей личной и в общей исторической жизни. О фашизме, об этом духовном заболевании человечества, и об его заразительности.

Речи Василия Куприянова были насквозь пропитаны горечью. Бывший коммунист, притом пламенно верующий, он, пройдя через все наши круги ада, переживал теперь неизбежные сумерки думиров, и это перерастало у него в отрицание реальной силы добра вообще. Он был теперь убежден, что удел всего честного и доброго — гибель. Молодой ученый, подававший в тридцатых годах блестящие надежды, он говорил теперь о полном крушении гуманистической культуры, вспоминал пророчество Герцена о пришествии Чингисхана с телеграфом.

Выглядел Куприянов, в противовес своим горьким речам, очень хорошо. Белокурый викинг. Типичный синеглазый, прямоносый, высоколобый помор. Он был родом из Архангельска.

— Вы похожи на Рюрика, Синеуса и Трувора, — смеясь, сказала я ему.

Старик Уманский, философ-созерцатель, знаток Священного писания, полиглот, пожиратель стихов, сформировался под влиянием противоречивых условий. Нищее детство в еврейско-украинском местечке, а потом долгая эмиграция и образование, полученное во Франции и в Швейцарии.

Из чуть выпуклых голубых, совсем не выцветших глаз Уманского, из всех морщинок и бугорков стариковского лица так и струилась доброта. Речь его, битком набитая цитатами, была

тем не менее ярко своеобразна, полна мягкого, слегка по-еврейски окрашенного юмора. Память Якова Михалыча была просто феноменальна для его возраста. Он читал наизусть кого угодно — и Лукреция Кара, и Георгия Плеханова, и лорда Байрона, и Да-вида Бурлюка.

Несколько часов кряду бродили мы по сопке, охрипли от споров и наконец присели на склоне отдохнуть и поесть брусники. Стоял один из прозрачных сентябрьских деньков. Брусника была в самом соку. Мы ели ее горстями, высыпая в рот из ладони. Оба мои кавалера по-рыцарски подносили мне то и дело зеленые ветки, огрузневшие от зрелых ягод.

— Не надо, Яков Михалыч. Вам трудно . . . Пусть уж Василий Никитич постарается, он молодой.

— И я не так уж стар, — слегка обижается Уманский и огорченно добавляет: — Впрочем, и не молод, конечно. В Библии сказано: веку же человеческого — семьдесят лет, а что свыше — то от крепости. Так вот, я уже перешел на крепость . . .

Я навсегда запомнила ту душевную радость, которую принесло мне это нечаянное общение с неожиданно обретенными родственниками. Какими родными я их чувствовала в этот солнечный день! По страданиям. По мыслям. По желаниям и надеждам. Есть ли ближе родство? Почему-то человеку доставляет особую радость сознание общности психологических законов. И мне и моим гостям было так отрадно видеть, что в условиях одинаковых страданий и унижений наши мысли и чувства развивались в одном направлении, приводили нас часто к одинаковым выводам.

С полунамека поняли они и все конкретные сиюминутные трудности моего вольнонаемного существования.

— Вот приедет Васька, — говорил Уманский таким тоном, точно знал моего Ваську с самого рождения, — и я буду с ним заниматься по математике и по языкам. Чтобы он подогнал все, что там упустил, шалопай этакий!

Куприянов, в противоречии со своим всеобъемлющим пессимизмом, утешал меня насчет пропуска.

— Правильно делаете, что пишете повторно. Пишите! По закону больших бюрократических чисел в конце концов машина сработает на «Да». Логика? Ишь, чего захотели! Именно по закону алогизмов и сработает. Только на прием к этому атаману шайки не ходите. При всех условиях лучше, чтобы персонально они нас не знали.

В итоге тридцать седьмого года Куприянов потерял двоих самых дорогих людей: жену и товарища, с которым шел вместе с детства до самого ареста. Жена уже на втором году заключения умерла в Томском женском лагере для жен и з м е н н и к о в р о д н ы . С другом вышло хуже. Он не только стал свидетелем

обвинения по делу Василия Никитича, не только дал ему «очную ставку», подтверждая, что Куприянов имел преступные сношения с моряками иностранных кораблей, пришедших в порт Архангельск, но и присвоил себе почти готовую диссертацию Куприянова. Сейчас кафедру получил. И хоть бы рубль дал старой матери своего бывшего друга, которая работает уборщицей и растит четырнадцатилетнего внука, единственного сына Василия Никитича.

— Надо ехать. Не сомневаюсь ни минуты, что опять посадят. Но выхода нет. Может, хоть год продержусь на поверхности, поддержу их.

Отчетливо помню странное, почти мистическое чувство предвидения дальнейшей судьбы Куприянова, охватившее меня вдруг. Знала, что погибнет. И что отговаривать от поездки на материк — бесполезно.

Что до Уманского, то он, оказывается, прибыл на Колыму в качестве вольного врача-договорника.

— Хотите презирайте, хотите нет, но приехал за деньгами. Двойная ставка, процентные надбавки. А у меня две дочки. Обе невесты. Сусанночка и Лизочка. Я вырастил их без матери, жена умерла рано.

Дальше жизнь Якова Михайловича приняла вдруг такой неожиданный оборот: в тридцать седьмом вольные врачи Магадана были призваны выразить на собрании свое гневное возмущение антисоветскими и аморальными поступками арестованного в Москве известного профессора Плетнева.

И тогда доктор Уманский, приехавший на Колыму с целью скопить приданое дочкам, поднялся и сказал: «Я не знаю политических взглядов профессора Плетнева, на эти темы мы с ним не беседовали. Но я работал в его клинике и могу заверить вас, что все эти рассказы о том, что он якобы пытался изнасиловать пациентку, абсолютная несусветная чушь. И это скажет вам всякий, кто хоть немного знает профессора Плетнева. И лично я голосовать за такие вздорные обвинения не могу».

На этом и закончилось накопление приданого для барышень Уманских. На другой же день после этого выступления Яков Михайлович был арестован. Он получил по Особому совещанию полных десять лет по статье КРА (контрреволюционная агитация). Он полностью отбыл этот срок и освобожден совсем недавно.

Под конец нашей прогулки Яков Михалыч вдруг отчаянно заспорил со мной, услышав, что я назвала бывших заключенных вольноотпущенниками.

— Совершенно неточный термин! — горячился он. — Абсолютно несравнимые категории! Я вам назову десяток имен рим-

ских вольноотпущенников, которые стали потом персонами грата. И уж во всяком случае никому из них не угрожало возвращение в рабство. А мы? Да ведь каждый бывший зэка — это в то же время и будущий зэка. Как вы смотрите, Василий Никитич?

Куприянов усмехнулся.

— Что уж говорить мне, пессимисту, если наш оптимист делает такие прогнозы! Не будем углублять терминологический спор. Скажу только одно: мне ясно, что наша сегодняшняя бесконвойная прогулка — это одна из улыбок судьбы, дарованная нам в промежутке между двумя тюремными циклами. Наш Родной Отец никогда не прощает тех, кому он сделал такое зло . . .

— Сдаюсь, — провозгласила я, — действительно, вольноотпущенник — не то слово. А как посмотрит ученый совет, если я предложу другое ходовое словечко — «временно расконвоированные?»

— Это точнее, — одобрил старик. — Но тем не менее, сознавая это, мы должны жить так, точно всерьез верим в свою свободу. Иначе сведется к нулю вся прелесть этих расконвоированных дней или месяцев.

— А вот с этой точки зрения стоит ли рисковать мальчишкой? — задумчиво сказал Куприянов. — Может, лучше вам самой добиваться разрешения на материк?

— Кто ее туда пустит, террористку-тюрячку? И чем она там этого Ваську кормить будет? Здесь вон какого педагогического чина удостоилась а там и в уборщицы не возьмут. Нет, Ваську надо обязательно сюда. Бог милостив, может, успеет кончить школу, пока мама расконвоирована. А нет, так хоть честным человеком вырастет, увидав своими глазами колымский пейзаж.

С какой готовностью они принимали в себя чужие боли! Как добры они были, эти люди, пережившие свыше того, что, казалось бы, может пережить человек!

И все они умерли, умерли . . . Куприянов уехал в Архангельск в сорок восьмом, а уже в пятидесятом мы узнали, что он погиб в этапе по пути в Восточную Сибирь, после второго ареста. Уманский был просто сражен горем. «Почему не я? Почему не я? — твердил он все время. — Ведь он, Василий Никитич, почти целых тридцать лет не дожил до того возраста, который определен человеку Священным писанием. Такой ученый! Мог быть вторым Пастером или Вассерманом. А умер от голодного поноса . . .»

Впрочем, и сам Яков Михалыч ненадолго пережил своего молодого друга. Но об этом дальше . . .

И БАРСКИЙ ГНЕВ, И БАРСКАЯ ЛЮБОВЬ . . .

Год сорок восьмой надвигался на Магадан, с мрачной неотвратимостью пробиваясь сквозь сумерки ледяного тумана, сквозь угрюмую озлобленность людей.

Бешеный заряд злобы несли на этот раз не столько заключенные и бывшие зэка, сколько вольные. Денежная реформа конца сорок седьмого года, пожалуй, большее, чем по жителям любого другого угла страны, ударила по ним, по колымским конкистадорам, по здешним простым советским миллионерам. В верхней прослойке договорников отряды этих социалистических миллионеров были уже довольно значительны. Но даже и средние вольняшки, прожившие на Колыме несколько лет, насчитывали на своих сберкнижках сотни и сотни тысяч.

Все эти люди, привыкшие ощущать себя любимыми детьми советской власти, были оглушены обрушившимся на них ударом. Как! Поступить подобным образом с ними, с теми, кто составлял оплот режима в этом краю, населенном врагами народа! С теми, кто пережил здесь столько студеных зим, лишая свой организм витаминов!

Для многих эта реформа стала началом краха того иллюзорного мира, в котором они жили и который казался им так безупречно организованным. Мне запомнилась беседа с бывшим командиром тасканского взвода вохры. Я встретила этого «знакового» на улице, по пути на работу, и он долго задерживал меня, чтобы я приняла на себя взрыв распивавших его словес. Ох, и удивительные же это были словеса! Голос командира шипел, клокотал, захлебывался.

— Справедливость называется! Семь годов мантулил как проклятый! Жизнь рисковал . . . Каких зубров охранял! Баба моя ребят бросала на благо святых, сама на работу бежала, проценты эти выбивала. А сейчас . . . Только, понимаешь, оформились на материк, уволились с Дальстроя. Ну, думаем, хату на Полтавщине купим, барахла всякого . . . По курортам покантуемся . . . И вот — на тебе! Купишь тут шиша елового . . .

Я охотно повела с таким необычным собеседником массово-просветительную работу. Дескать, война и все такое . . . Инфляция . . . Оздоровление экономики . . .

— А, брось ты, понимаешь! Хорошо вам, голодранцам, про экономику-то болтать! Терять вам нечего . . . Да и люди вы отчаянные. Не только денег, а детей своих не пожалели, во враги народа подались . . .

И вдруг он прервал сам себя, пристально поглядел на меня,

махнул рукой и буркнул: — А может, и про вас все наврали! Черт его разберет!

Настроение вольных было испорчено еще и тем, что появились новые этапы заключенных, получивших свежие сроки именно за махинации, связанные с реформой. Им дали статью «экономическая контрреволюция», и они, таким образом, попадали опять-таки в категорию врагов народа. Были такие случаи и среди жителей Магадана.

По углам тревожно шептались, передавая сенсационные подробности разнокалиберных денежных операций. Самая суть махинаций была для меня абсолютно непостижима: кто-то кого-то предупредил, кто-то кому-то продал, кто-то не то вовремя снял деньги с книжки, не то, наоборот, вовремя положил на книжку. Но развязка во всех случаях была стандартной: десять, иногда восемь, лет заключения за экономическую контрреволюцию.

Юлька радовалась как ребенок, что мы-то несколько не пострадали от денежной реформы. Ни одного гривенника!

— Мне хорошо, я сирота! — острила она и добавляла: — Нет, у меня все-таки есть интуиция... Как будто какой-то внутренний голос подсказал мне: покупай вторую раскладушку!

Эту капитальную затрату мы сделали, имея в виду предстоящий приезд Васьки. Но пока что все это оставалось в пределах беспочвенных мечтаний, потому что к началу сорок восьмого года я получила от отдела кадров Дальстроя уже восемь — ВО-СЕМЬ! — отказов на выдачу моему сыну пропуска в Магадан.

Вся технология «перманентной» подачи заявлений была у меня уже отработана с предельной четкостью. Я выходила из комнаты, где мне сообщали: «Вам отказано», и тут же заходила в соседнюю, куда сдавала новое, заготовленное заранее заявление. Новые заявления принимались механически и безотказно. Каждый раз говорили: «За ответом придете такого-то числа». И после этого отчаяние опять уступало место обманчивым надеждам.

Да, на встречу с Васькой я еще надеялась. Потому что от него шли письма. Скупые, редкие, но шли. И он выражал в них интерес к предстоящему, первому в его жизни, далекому путешествию.

Зато мысль об Антоне и его судьбе будила меня среди ночи толчком в самое сердце, обливала холодным потом, застилала глаза мутной тьмой.

После мешочка с кедровыми орехами потянулись долгие месяцы без всяких вестей, без признаков жизни. Я развила бешеную энергию. Писала всем нашим, кто после выхода из лагеря жил в районе Ягодного и Штурмового. И вот уже перед самым Новым годом пришел ответ, хуже которого трудно было придумать. Одна из моих знакомых по Эльгену все разузнала и сообщила мне,

что Антона уже давно нет на Штурмовом. Его отправили в этап и при очень странных обстоятельствах. В обстановке строгой секретности. Без всякого нарушения режима с его стороны. Отправили одного, спецконвоем. Похоже, что по требованию откуда-то свыше.

В бессонные ночи передо мной проплывали картины недавних военных лет. Сколько заключенных немцев (советских граждан) вот так же отправлялись в секретные этапы, чтобы никогда и никуда не прибыть. Правда, сейчас война кончилась. Но кто поручится за колымское начальство! Мне рисовались сцены избиваний, допросов, расстрела. Виделась таежная тюрьма «Серпантинка», о которой никто ничего не знал, потому что еще ни один человек оттуда не вернулся.

Хуже всего было сознание собственного бессилия. Я даже не могла сделать официального запроса об его участии. Ведь я не родственница. Пораздумав, написала в Казахстан одной из его четырех сестер, находившихся там в ссылке. Просила ее сделать запрос от имени родных. Они писали. Им не ответили.

Между тем на работе у меня тоже происходили существенные перемены. Вскоре после нашего возвращения из «Северного Артека», где мне дали Почетную грамоту, меня вызвала к себе начальник детских учреждений доктор Горбатова. Она начала разговор с того, что очень довольна моей работой.

— Все у вас есть: образованность, трудолюбие, привязанность к детям. Но . . .

У меня похолодело под ложечкой. Смысл этого НО был ясен. Наверно, отдел кадров сживает ее со света за то, что она держит террористку-тюрзачку на «идеологическом фронте». И сейчас эта добрая женщина ищет слова, чтобы смягчить удар. Боже мой, что же я буду посылать Ваське?

— Нет, нет, никто вас не увольняет, — воскликнула Горбатова, прочтя все это на моем лице, — я просто хочу принять некоторые меры, чтобы упредить ваше положение . . .

Оказалось, что в нашем детском саду освобождается место музыкального работника. Наша заведующая, которая по совместительству вела музыкальные занятия, уходит в 1-й детский сад. Таким образом, мне предоставляется замечательная возможность.

— Мне сказали, что вы хорошо играете.

— Очень неважно. Училась давным-давно, в глубоком детстве.

— Ничего. Поупражняйтесь — восстановите. Зато понимаете . . .

И тут Горбатова заговорила так открыто, точно сама была не начальником, а тюрзачкой-террористкой.

— В ближайшее время из Красноярского дошкольного педучилища прибудет несколько выпускниц-воспитательниц. Тогда мне будет почти невозможно отстаивать вас дальше. А пианистка . . . Пианисток среди них нет. Это для вас защитная добавочная квалификация. К тому же слово «пианистка» звучит как-то нейтральнее. Подальше от идеологии . . . Ну что, согласны? Зарплата та же.

Рассуждения эти не могли вызывать возражений. Но все-таки соглашалась я скрепя сердце. Ведь здесь не таежный Таскан, где достаточно было разбирать «Песни дошкольника». Здесь придется проводить утренники при большой публике, играть бравурные марши в быстром темпе. Одним словом — надо было срочно вернуть утраченную технику.

Я дала телеграмму в Рыбинск, где после войны жила мама, оставшись на месте своей эвакуации из Ленинграда. Бедная, все думала, что Рыбинск-то, может быть, мне и разрешат . . . Сейчас я просила выслать ноты, не очень-то надеясь, что она сможет купить в Рыбинске то, что надо. Но прибыла бандероль, и я с изумлением обнаружила в ней мои старые детские ноты. Как она умудрилась сохранить их, вынести из двух пожарищ, своего и моего дома? Однако — факт: у меня в руках был мой собственный Ганон, над которым некогда страдала я, восьмилетняя. Пожелтевшие подклеенные страницы пестрели резкими карандашными пометками учительницы, и я вспомнила ее большую руку, обводившую лиловыми кружками те ноты, на которых я фальшивила. На одной странице было написано кривыми ребячьими буквами: «Не умею я брать октаву. Руки не хватает!» И «умею» — через ЯТЬ.

Ганон! Я смотрела на него с глубоким раскаянием. Ведь именно в нем воплощались для меня когда-то все силы старого мира. Именно эту тетрадь я забросила подальше, подавая заявление в комсомол и объявив родителям, что у меня теперь заботы поважнее. Пусть дочки мировой буржуазии штудируют Ганон!

Думала ли я тогда, что настанет день, когда отвергнутый Ганон прибудет на Крайний Север спасти меня от увольнения с работы, от беды, от всяческого злодейства. Прости меня, Ганон! И вы простите, Черни и Клементи!

Я рьяно принялась за дело, просиживая долгими часами у расстроенного детсадовского пианино. Совсем не просто было вернуть гибкость пальцам вчерашнего лесоруба и кайловщика. Видела бы мама, как я усидчива, как настойчиво не отхожу от инструмента! Сколько огорчений доставила ей когда-то моя музыка! Теперь от этой постылой в детстве тетради зависела моя дальнейшая жизнь, судьба Васи . . . И я старалась. И мне помогли пометки давно умершей учительницы.

Горбатова была права: для отдела кадров слово «пианистка» звучало нейтральнее, чем «воспитательница». Но она ошибалась, думая, что музыкантша детского сада может стоять подальше от «идеологического фронта». Наоборот. Ведь именно музыкальный работник должен был быть и автором сценариев и режиссером всех праздничных утренников. А утренники это и был основной «товар лицом». Их показывали начальству. Их проводили раз семь в году, по всем двенадцатым и престольным праздникам. По успеху или провалу утренников судили обо всей работе с детьми. Так что и в новой моей должности методистки из дошкольного методкабинета продолжали бдительно следить за каждым моим шагом.

Моим дебютом должна была стать елка, новогодний утренник сорок восьмого года. Именно в эти черные дни, когда я уже была вконец обессилена борьбой за приезд Васьки, когда неотступно стояло передо мной лицо Антона, истерзанного, может быть убитого, — именно в это-то время я и должна была изощряться, чтобы составить сценарий, какого еще не было в Магадане, яркий, веселый, полный елочной мишуры. И не только сочинить сценарий, но и заразить его веселостью детей, воспитателей. И главное — чего уж там скрывать от себя самой — ублажить начальников, которые придут смотреть.

Бросить все, уйти в спасительный утильцех? Но там я зарабатую втрое меньше. А вдруг в это время разрешат вызвать Васю? А у меня не будет денег на билет для него . . . Значит, надо делать все, чтобы понравилось, чтобы не выгнали с выгодной работы . . .

Елка удалась на славу. Да это и нетрудно было. Ведь масштабом для сравнения были довольно казенные представления, однообразно переходящие из года в год. Методистам понравилась драматизация сказки. Это давало ценный опыт для работы кабинета методики. Родители хохотали вместе с детьми. Горбатова жала мне руку и говорила громко, так, чтобы слышал начальник кадров Подушкин: «Такого утренника в наших садах еще не было». Даже сам начальник сануправления Щербаков улыбнулся и кивнул мне головой.

О низость! Я ли это? И не лучше ли, в конце концов, было в тюрьме и в лагере? Там мне не надо было ловить начальственные улыбки. Там пайку давали даром. Да, но пока я ела эти даровые пайки, пропал Алеша. А теперь я должна спасти Васю. Нет, не любой ценой, конечно . . . Не любой . . . Ведь я не сделала ничего подлого. Только притворилась веселой, только любезно ответила на улыбку Щербакова . . . Такие силлогизмы терзали меня день и ночь, и хуже всего было то, что Юле нечего было и

заикаться об этом. Она гордилась моими успехами, а все остальное считала «интеллигентскими рефлексиями».

... Стоял беспросветный магаданский январь. Правда, температура здесь не доходила до пятидесяти, как часто бывало на Таскане или в Эльгене. Но магаданские тридцать—тридцать пять переносить было тяжелее, чем таежные пятьдесят. Колкий ветер с моря, промозглость воздуха и какое-то особое, чисто магаданское удушие терзали людей.

Каждое утро хотелось умереть. Главным образом и для того, чтобы все забыть. И это страстное желание все забыть каждое утро терпело поражение. Его побеждала именно память, которая подсовывала одно только слово: Васька. Ведь его надо заполучить сюда. А если даже это не удастся, то ему надо посылать каждый месяц деньги на жизнь, на образование.

В один из таких дней, когда хотелось отчаяния выть по-волчьи, а приходилось аккомпанировать ребятам, разучивавшим песню «Сталин — он с нами везде и всегда, он — путеводная наша звезда», дверь музыкальной комнаты отворилась, вернее чуть-чуть приоткрылась.

— Вас вызывают ... Из дома ...

У дверей стояла Юлия. На лице ее был отсвет чего-то необычайного — тревоги, изумления, радости, чуда, землетрясения какого-то, что ли. Она сжала мою руку и зашептала:

— Скажи, что ты неожиданно заболела. Или еще что-нибудь наври ... Но отпросись домой! Немедленно! У него в распоряжении только один час.

— У кого?

— У Антона Вальтера. Он сидит в нашей комнате.

Не помню, как мы шли, как бежали против ветра. Помню только, что Юлия сказала: «Отдышись, а то умрешь. Как буду перед ним отчитываться!»

Он стоял у самого порога, прислушиваясь к движению в коридоре. Сразу узнал мои шаги и распахнул дверь. И я прямо упала к нему на руки.

На улице я бы его не сразу узнала. Он был похож теперь на любого из наших тасканских доходяг. Просто невероятно, чтобы можно было так исхудать меньше чем за год. Он почему-то хромал, и нога была перевязана. Черные тени лежали под глазами. Морщины на щеках стали резкими, как у старика. Но это был он. Живой. Пусть даже полуживой. Он все время дотрагивался до моей руки, точно стараясь убедиться, что это действительно я, точно это я, а не он, восстала из гроба.

Теперь мы слышали ответы на все мои ночные загадки: где? как? почему?

На Штурмовом все шло сначала более или менее благополучно. Хлеба достаточно, обращение начальства хоть и холодное, но вежливое. До тех пор, пока не появился там новый начальник режима. Он сразу возненавидел доктора по многим причинам. И за манеру свободно разговаривать с начальством, и за то, что заключенному врачу довелось однажды увидеть режимника не в форме, когда тот занемог, малость перехватив чистого спирта. И за то, что вообще немчура, фриц недобитый, еще лыбится, вражина . . .

Стал помаленьку утеснять врача. Запретил писать и получать письма. А кем она вам приходится, эта Гинзбург? Чтой-то подозрительно . . . А вот ослобонитесь, тогда и пишите . . .

Вот так угодил доктор под барский гнев.

А в это время в столичном городе Магадане действие развивалось в обратном направлении: доктор явно подпадал под барскую любовь. Дело в том, что у начальника Дальстроя генерала Никишова страшно разболелась печень. Приступы были лютые, и генерал гневался на врачей. Ничего не могут . . . И однажды кто-то из придворных обмолвился, что вот в Москве, дескать, в таких случаях отлично помогают гомеопаты.

— Так неужели нет у нас среди ээка гомеопатов?

— Вспомнили! Есть один! Только немец!

— Ну и хорошо, что немец! Они в науке хитры. Где он?

— На Штурмовом, на строгом режиме.

— Вызвать в Магадан!

И в один прекрасный день на Штурмовом получили приказ: этапировать заключенного Вальтера Антона Яковлевича в Магадан. Приказ лег на почву давно бурлившего барского гнева и поэтому был воспринят как репрессия против ненавистного немца. Режимник не сомневался, что Вальтера везут на переследствие и пересуд. А так как два лагерных срока, в дополнение к первому, основному, у немца уже были, то что ж ему, голубчику, остается? «Серпантинка» и вышка! Или прямо вышка, без пересадки. Меньше всего режимнику приходило в голову, что немчура потребовался САМОМУ. И отправил он Вальтера в общем порядке, то есть именно по этапам. Как на грех, в магаданском приказе не проставили слово СРОЧНО. Так что везли Антона не торопясь, четыре месяца. Мытарили по неотопливаемым таежным тюрьмам, бросали в камеры, набитые страшными блатарями. Водили по тайге пешим. Почти не кормили. В ответ на жалобы — ухмылялись. Со смертниками не церемонятся.

— И действительно, я был смертником. Независимо от того, собирались ли они меня расстрелять. Диагноз мог поставить любой студент четвертого курса. Тем более, раскрылась трофическая язва на ноге.

Значит, это была язва. А я думала, ногу сломал . . . Сколько раз он говорил мне на Таскане, обнаруживая такие язвы на ногах доходяг: «Начало гибели. Распад белка».

— Не пугайся. Это был бы и впрямь конец, если бы у генерала Никишова не разболелась печень. Но сейчас я нужен. Меня откормят. Язва снова закроется.

(Тогда он оказался прав. Многие годы после этого на месте зияющей язвы был всего небольшой непроходящий синяк. Только к шестидесятому году, после душевной перегрузки и физического потрясения, связанных с реабилитацией и возвращением на материк, по каким-то загадочным законам природы эта трофическая язва снова раскрылась и зазияла на ноге Антона. Как клеймо, с которым уходило из жизни столько колымских заключенных. За два дня до смерти, в конце декабря пятьдесят девятого года, лежа в Московском институте терапии, Антон с горькой улыбкой говорил: «Узников Освенцима и Дахау узнают по выжженным на руке номерам. Колымчан можно узнавать по этому штампу, вытатуированному голодом».)

Но тогда до последнего удара было еще далеко. И мы бились как птицы между стеклом и приоткрытой форточкой — между страхом задохнуться и надеждой вылететь. Оснований для надежды было теперь много: мы снова в одном месте, он снова получит пропуск на бесконвойное хождение.

Антон поселили за четыре километра от города на так называемом «карпункте». Работать его назначили в вольную больницу, так что были шансы быстро подкормиться.

Первое его появление у генерала Никишова было связано с неприятностью. Готовя врача к столь ответственному визиту, чиновники-порученцы притащили для него в лагерь, на карпункт, вольный костюм, рубашку с галстуком, настоящие ботинки. Измученного этапом Антона это взбесило. Категорически: он не наденет этого костюма. Но почему? Да потому, что не подходит ни к общему виду, ни к общественному положению. Но ведь нельзя же ехать лечить генерала в этом рваном тряпье. Почему же? Если можно в нем ходить . . . Ах так? Может быть, он отказывается лечить генерала? Нет, лечить всякого, кто к нему обращается, — святой долг врача. Но в маскараде участвовать он не желает. Пусть генерал посмотрит, как выглядит заключенный врач после четырехмесячного скитания по таежным изоляторам.

Порученцы ушли, предложив доктору подумать до завтра. Юлька, которая с первого взгляда поддалась обаянию Антона и полюбила его, всячески уговаривала его «не упрямитесь из-за мелочи», «не поднимать этот идиотский костюм на принципиальную высоту». Я молчала. Во-первых, знала, что говорить бесполезно, во-вторых, внутри еще свербело у меня от собственных

елочных улыбок. Молчала, хотя умирала от страха: не упекли бы его еще куда-нибудь почище Штурмового.

Но все обошлось. Сошлись на лагерной одежде первого с р о к а, в котором врача и доставили на следующий день к генералу. В прихожей те же порученцы заставили его надеть белый медицинский халат. Но из-под него торчали лагерные ботсы и штаны из чертовой кожи.

Впрочем, генерал, которого скрутило очень основательно, никакого внимания на внешний вид врача не обратил. Однако его рецепты в гомеопатическую аптеку приказал отправить в Москву тут же, специальным самолетом.

Началась новая жизнь. Она не была больше пустыней одинокого отчаяния, но зато каждый конкретный день насытился неизбывной тревогой. Если Антон запаздывал хоть ненадолго со своим ежевечерним приходом к нам (а приходил, только чтобы подтвердить, что жив, и шел снова в лагерь, отшагивая свои километры в сторону карпункта), я просто погибала под бременем своего воображения. Да и не только воображения! Так многое могло с ним стрястись вполне реально. Наиболее ходовые варианты несчастий: не отправили ли опять в этап? Не упал ли на ходу со своего карпункта и не замерз ли на трассе? Не убил ли какой-нибудь блатарь, которому врач не дал освобождения от рабобы?

Больше всего мучило, что я не только не смогу помочь, но даже и не узнаю ничего точно. Просто в один страшный вечер он не придет, исчезнет, растворится в воздухе, будто и не было его . . . Так вот и каменела от ужаса до того самого момента, как раздавались наконец три условных стука в дверь. Пришел! Жив! Сегодня жив и пришел. А до завтра еще далеко . . .

Антону приходилось шагать ежедневно не меньше десятка километров: с карпункта до вольной больницы, из больницы — к нам, а на ночь — снова на карпункт. Но как ни странно, а именно активность движений и напряженность работы и вывели его из статуса доходяги. Тогда ему еще не было пятидесяти, а воля к жизни была огромна. Первым признаком того, что дело пошло на поправку, были рассказы в лицах и анекдоты. Из нашей комнаты по вечерам теперь снова доносился хохот, как, бывало, на Таскане. Новые персонажи из окружения Антона как живые вставали перед нами из его рассказов. Святой мученик на глазах снова превращался в веселого святого.

Слава Богу, Никишову вроде полегчало от гомеопатических средств, и он приказал оставить немца в Магадане, чтобы был на случай всегда под рукой.

— Да ты понимаешь, какой это дар небес, что мы опять можем видаться каждый день? — без конца повторял Антон. — Ну

сколько было шансов, что снова встретимся? Ноль целых, одна сотая! И вдруг именно эта сотая и перетянула. И вот увидишь, Вася тоже скоро будет с нами. Только надо действовать энергичнее.

Куда еще энергичнее! Я получила уже ДЕВЯТЬ отказов и подала десятое заявление. Все наши советовали мне, если откажут в десятый, идти на прием к Гридасовой. О ней ходили всевозможные рассказы. Из уст в уста передавалась, например, история Иры Мухиной, балерины из нашего этапа. Эта Ира чем-то так очаровала всемогущую Гридасову, что та снабдила ее чистым паспортом, одела с ног до головы в одежду со своего плеча и на свой счет отправила на материк. Но были и Гридасовой и другие слухи. Говорили, что если кого невзлюбит, то тому уж на свете не жить.

В марте я попала наконец на прием к полковнику Франко из отдела кадров Дальстроя. Много раз записывалась, но все невпопад: то уехал, то болен, то не принимает. Но вот я стою наконец перед огромным полированным столом, за которым сидит очень бравый военный, увешанный орденовыми колодками. Садиться он мне не предлагает, а пока я сбивчиво излагаю суть дела, он морщится и нетерпеливо постукивает по столу автоматической ручкой.

— Вам отказано в полном соответствии с существующими на этот счет правилами . . .

— Но поймите, мальчику негде жить! Он ведь учиться должен . . .

— Я не могу входить в ваши семейные дела.

— Это не семейное, это общественное дело. Я не лишена по суду материнских прав. Мой старший сын погиб от голода в Ленинграде. По какому закону вы приговариваете меня к вечной разлуке с последним моим сыном?

Упоминание о правах и законах выводит полковника из равновесия. На меня обрушивается барский гнев. Шея полковника медленно краснеет под стоячим воротничком, и краснота постепенно проступает на щеках.

— Права ваши крайне ограничены. Вы забыли, что у вас поражение в правах на пять лет?

— Это поражение в избирательных правах. Но не в праве быть матерью своему сыну.

— Не собираюсь спорить с вами. Разговор окончен.

Эти слова он произносит совсем уже разгневанным, шипящим, как у гусака, голосом.

Но и я разгневана. И я пришла в состояние аффекта, в котором человек не отвечает за себя.

Выскочив из отдела кадров Дальстроя, я перебегаю площадь под носом у грузовиков и влетаю в открытую дверь другого

учреждения — управления Маглага. Формально Маглаг больше мной не заведует, я вольная. Но именно там сидит начальник Маглага товарищ Гридасова, мое последнее прибежище, та самая мощная инстанция, которая может вернуть мне Ваську.

Не обращая внимания на извилистую очередь у дверей, я влетела в «предбанник» — комнату личного секретаря Гридасовой. Никто из очереди почему-то не сказал мне ни слова. Был ли у меня такой безумный вид, что никто не решился остановить меня? Или просто не успели, потому что я пронеслась мимо них стрелой?

Только когда я дерзновенно ринулась прямо к черно-золотой табличке «Начальник Маглага», секретарша, остолбеневшая было от моего неслыханного поведения, опомнилась и грудью встала на защиту своей крепости.

— Вы с ума сошли! Люди ждут приема месяцами . . . Уходите сейчас же!

Сердце у меня ходило маятником. Перед глазами стлался туман. Я не различала лица секретарши. Приметила только крашенные в ярко-рыжий цвет волосы, огненным нимбом торчавшие над узким лбом. Кажется, она была выше и полнее меня. Но я бросилась на нее грубо и оттолкнула от дверей. От непредвиденности и дерзости моих действий она, видимо, растерялась. И я ворвалась, ворвалась-таки с криками и рыданиями в кабинет колымской королевы.

Позднее мне стало ясно, как я рисковала. Ведь королева, по общему мнению, умела не только миловать, но и казнить. Все зависело от момента, от настроения, от того, что сказало сегодня утром королеве ее заветное зеркальце. Она ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

Что я выкрикивала сквозь рыдания, какие слова рвались из меня навстречу удивленному королевинуому взгляду? Точно не помню. Но во всяком случае не о правах и не о законах . . . Инстинктивно я поняла, что этот мотив еще более далек королеве, чем полковнику Франко. Странно, я несомненно была в этот момент, что называется, в состоянии аффекта, но где-то подспудно шла во мне работа сознания. Я именно сознательно отбирала сейчас те слова, которые могли оказать воздействие на любительницу чувствительных кинофильмов, бывшую надзирательницу Шуручку Гридасову. Я выкрикивала именно те могущественные банальности, которые могли тронуть ее сердце. О материнских слезах . . . О том, что чужой ребенок никому не нужен . . . И о том, что сирота может сбиться с пути . . .

Ее бездумное красивенькое личико принимало все более растроганное выражение, и наконец нежный голосок прервал меня. Он прозвучал, нет, прожурчал прямо над моей головой:

— Успокойтесь, милая! Ваш мальчик будет с вами . . .

Потом пошла настоящая фантасмагория. Она нажала на звонок и приказала вошедшей секретарше взять бумагу и писать. Она не обратила ни малейшего внимания на жалобы секретарши по поводу моей неслыханной дерзости. Бумага, которую она продиктовала, была адресована тому же полковнику Франко. Депутат Магаданского горсовета Александра Романовна Гридасова обращалась в отдел кадров Дальстроя с просьбой оказать содействие в вызове из Казани ученика средней школы Аксенова Василия Павловича.

— Я боюсь идти к Франко. Он только что почти выгнал меня.

— А сейчас он будет говорить с вами совсем по-другому. Не бойтесь, милая. Не благодарите, милая! Я сама женщина . . . Принимаю материнское сердце . . .

Это «милая», которое она повторила несколько раз, делало ее особенно похожей на добрую помещицу, беседующую с облагодетельствованной крепостной.

Через пятнадцать минут я снова стояла, нет, теперь уже сидела пред светлыми очами полковника Франко и наблюдала ряд волшебных изменений его милого лица при чтении бумажки от депутата Магаданского горсовета А. Р. Гридасовой. Параллельно переменам в лице шла и хроматическая гамма его речей.

— Как, опять вы? Я ведь сказал вам, что . . . Бумажка? Какая еще бумажка? Гм . . . Что же вы стоите? Садитесь! Гм . . . гм . . . Из Казани? Знаю Казань. Большой город. Университетский. Значит, фамилия вашего мужа Аксенов? Что-то как будто слышал в тридцатых годах. Жив? Не знаете? Гм . . . Ну что же! Средняя школа здесь хорошая. Будет учиться парень . . .

После таких приятных речей полковник взял свою автоматическую ручку и четко вывел наискосок в углу гридасовской бумажки одно — но зато какое! — слово: оформить!

Вечером, когда Антон пришел из больницы, я изображала все это ему и Юле в лицах. А ночью долго не могла заснуть, таращила глаза в темноту и, казалось, различала в ней, как дрожат и колеблются весы моей жизни. На одной чашке — барский гнев, на другой — барская любовь. Такая капризная, причудливая, такая уязвимая, готовая ежеминутно иссякнуть . . .

(Наверное, я была — да и осталась — непоследовательным человеком. Но отдавая себе полный отчет в унизительности, в непереносимости барской любви, я все-таки испытывала тогда и испытываю до сих пор чувство самой искренней благодарности к этой королеве на час. Сентиментальность, право же, не главная опасность нашего времени, и хорошо, что державная Шурочка была способна если не к подлинным добрым чувствам, то хоть к чувствительности.

Судьба ее в дальнейшем сложилась жестоко. После разжалования генерала Никишова, после обнаружения связи Александры Романовны с другим, она оказалась в Москве с двумя или тремя ребятами на руках и с пьяницей-мужем. В ее пользу говорит, безусловно, и тот факт, что из периода своего единодержавного управления Колымой она не вынесла денежных запасов. И в шестидесятых годах ее телефонный звонок нередко звучал в квартирах реабилитированных, бывших объектов ее милосердия. Александра Романовна просила двадчатку до мужниной зарплаты. И никто из реабилитированных ей не отказывал.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«НЕ ПЛАЧЬ ПРИ НИХ...»

После магической резолюции полковника Франко дело о приезде Васьки перешло в другие каналы. Туда, где процент бывших заключенных составлял ноль целых и сколько-то десятых. В этих каналах все было приспособлено для вызова людей, желанных и нужных для официальной Колымы. Так что дело пошло теперь куда быстрее.

И когда Казанское управление милиции любезнейшим образом вручило Ваське самые первосортные документы на въезд в таинственную запретную зону страны, в семье Аксеновых разволновались, стали строить предположения. Не может быть, чтобы такие роскошные бумаги могла раздобыть бесправная таперша детского сада. Они прислали мне смятенное письмо, в котором, с одной стороны, поздравляли меня, что я «снова в люди вышла», а с другой — били отбой насчет приезда Васи. Люди они были хорошие, за десять лет привязались к мальчишке. И хотя за последние два года он донимал их своевольным поведением и они сами требовали, чтобы я взяла его к себе, но теперь, когда дело перешло в практическую плоскость, им стало страшно отпускать его в такой дальний путь. «Пусть уж кончит школу здесь», — писали они.

Новое препятствие с неожиданной стороны. Не хватало только, чтобы теперь, после всех мытарств с пропуском, сорвалась моя встреча с Васей! Но беспокойство мое было напрасным. Моим союзником оказался сам Васька. Впервые за двенадцать лет разлуки я стала получать от него письма, в которых проглядывала индивидуальность не знакомого мне сына. Вместо прежних коротеньких писулек: «Как ты живешь? Мы ничего. Какая у вас погода? У нас ничего» и т. д., стали приходиться настойчивые подтверждения, что пропуск он получил, приедет обязательно. И правда

ли, что от Колымы рукой подать до Аляски? И верно ли, что на Колыме есть племена, родственные ирокезам?

Я перечитывала эти написанные неустоявшимся почерком подростка листки и живо представляла себе, как на узенькой кушетке в аксеновской столовой ворочается по ночам мой мальчишка, мечтающий стать Лаперузом или де Гамой, плыть по изгибам зеленых зыбей меж базальтовых и жемчужных скал. Я поняла, как жадно рвется он в дальнейшее плавание, он, не выдавший еще в жизни ничего, кроме сиротского детства в семье не слишком близких родственников да серой казарменной школы сороковых годов.

Впервые между нами протянулась тоненькая ниточка внутренней связи. Теперь я знала, о чем писать ему, вместо воспоминаний о нашем семейном прошлом, о котором он не мог помнить. Я напирала на экзотические описания колымской природы, на опасности морского путешествия. Спрашивала, как он предпочитает ехать: морем или по воздуху . . . Антон достал для него кинжал из моржовой кости, расписанный чукотскими косторезами, и я подробно описала ему этот кинжал, а заодно и быт чукчей. (О котором сама знала пока только понаслышке.) В ответ приходили нетерпеливые вопросы: когда же?

Приезд его был назначен на первые числа сентября, чтобы не опоздать к началу учебного года. С замирающим сердцем я зашла в среднюю школу, тогда еще единственную в Магадане, и побеседовала с завучем о том, что вот у меня сын приезжает и есть ли у них места в девятых классах . . . Это было острое, терпкое чувство возвращения из страшных снов к разумной человеческой повседневности. Как это замечательно — хоть на минуту оказаться такой, как все! Не одиночица, не этапница, не подсудимая Военной коллегии, не террористка-тюрячка. Просто мамаша, пришедшая в школу определять сына.

Но все это пока были еще самооблажения. Еще предстояло преодолеть многое, чтобы встреча стала реальностью. Прежде всего — деньги на дорогу. Где их взять? Если самолетом — то три тысячи. Потом второе — с кем он поедет? Хотя Васе шел уже шестнадцатый год, а путь до Магадана за эти годы несколько упростился, особенно для вольных, но я все еще была во власти давнишнего представления как о моем малыше, так и о трудностях пути, пройденного мной по этапам. Я просто не могла допустить мысли, чтобы дитя пустилось в такую дорогу одиношенько.

Заботу о деньгах взяла на себя Юлия.

— Я уже объявила среди наших. Соберем . . . Ведь это первый наш материковский ребенок едет на Колыму. При чем тут

благотворительность? Ерунду городишь! Ну конечно, займы. Я так всем и сказала: выплатим в течение года.

Но вдруг сложилось так, что сбор денег оказался не нужен. Вдруг выяснилось, что среди Юлиных цеховых мастериц есть одна подпольная миллионерша. Ну, не миллионерша, так тысячница. Тетя Дуся.

Тетя Дуся была большая искусница по части вязанья кофточек и имела клиентуру среди колымской знати. Кроме того, у нее, шестидесятилетней, только что скончалась где-то во глубине России старая матушка, которая оставила Дусе в наследство прочный рубленый домик со ставнями. Дальняя родня запросила Дусю, придет ли она вступить во владение. А нет, так пусть переписшет дом на них, а они ее тоже не обидят. После недолгой переписки Дуся получила перевод на пять тысяч.

Все это тетя Дуся доверяла только Юле, от остальных скрывала, держала в глубокой тайне, опасаясь людского завистливого глаза. Сберкнижку тетя Дуся хранила в Юлином железном шкафчике, где лежала вся документация утильцефа. В быту тетя Дуся проявляла бережливость на грани скупости. Если другой раз в цеху варили суп на всех, то тетя Дуся не разрешала снимать с него накипь, уверяя, что вот именно в этой-то накипи как раз самый питательный белок и содержится.

Вот эта тетя Дуся и стала теперь главным моим кредитором. Она выбрала время попозднее, когда кругом уже спали, пришла к нам, уселась на постель прямо в бушлате, огляделась на тонкие стенки, через которые был слышен каждый звук из соседних клетушек, и приложила палец к губам.

— Т-ш-ш... Главно дело — молчком все покончить. Чтоб люди не балаболили, — шептала она, копаясь в недрах своего бушлата. — Вот, бери! В аккурат три. На самолетный билет. А на мелочишку там всякую — это уж еще у кого займите. Только про меня не сказывайте, что я этакую кучу деньжищ отвалила. Завидовать станут. Не люблю.

Большие сторублевки, нарядные, торжественные, новенькие, солидно легли на колченогий столик. Тридцать штук. Они сияли неправдоподобным великолепием. Они смущали нас.

— Уж очень много, тетя Дуся, — сказала Юля. — Может, лучше от всех помаленьку соберем? Чтоб не одной тебе страдать?

— Чего мельтешиться? Берите, раз даю! Не навовсе ведь. В займы.

— Конечно! В течение года я все выплачу, Дуся. А может, расписку написать, чтобы тебе спокойнее было? — предложила я.

По лицу тети Дуси пробежало легкое раздражение.

— Пословицу знаете: бьют — беги, дают — бери? Тоже мне вольняшка нашлась — расписки давать! Нынче здесь, завтра —

там. Перелетная птица . . . А будешь в силе, так и раньше отдашь. Неужто не поверю на слово? Не первый день знаемся . . .

Тетя Дуся еще раз пересчитала сотенные, заботливо выравняла пачку, погладила ее своей разработанной на лесоповале широкой ладонью.

— Удивляетесь? — обиженно зашептала она опять. — Думаете, чего это скупердяйка вдруг раскошелилась? Эх вы! Много понимаете в людях! Это что я девкам на кино не даю, так вы и думаете — Кошей? А чего нам в кино-то ходить? Наша зэкашная жизнь почище всякого кина. А тут дело кровное! Первый наш зэкковский сын с материка едет! Вот был бы мой-то жив да ехал, так ты мне неужто не дала бы займы? Ну то-то . . . Пошла я . . . Спите . . .

(Единственный сын тети Дуся погиб еще в первый год войны. Стыднее всего, что во время всей сцены вручения денег ни я, ни Юля об этом не вспомнили. Тетя Дуся никогда об этом не говорит. Ей невыносимо больно, что похоронная адресована не ей (вроде она уж и не мать своему сыну!), а какой-то двоюродной тетке. И ей кажется, что такое унижение бросает какую-то тень и на память сына.)

. . . Теперь деньги на билет были. Оставалось искать попутчиков. Попутчицу нашел Антон. В вольной больнице, где он работал, лежал тяжелый сердечник Козырев, главный бухгалтер Дальстроя. Болел долго, безнадежно. Случайно, в связи с отъездом вольного врача, Козырев был на короткое время передан Антону. Две недели Антон вел его, и за это время больному стало много лучше. Откуда взялось это улучшение, было непонятно. Может быть, атмосферное давление изменилось? А может, влияние психотерапии, в которой Антон был неотразим. (Недаром я подшучивала над ним: не столько врач, сколько священник . . .)

Но тут вернулся лечащий вольный врач, Антона отстранили и . . . состояние больного вдруг резко ухудшилось. Жена Козырева Нина Константиновна, кассирша из продовольственного магазина, забегала по начальству, требуя перевести мужа в палату, которую обслуживает врач Вальтер. Ей объяснили, что в той палате лежат только бывшие зэка. Ее вообще урезонивали, просвещали политически, доказывали, что замена вольного врача заключенным, да еще немцем, может иметь ненужный общественный резонанс. Пока шли эти препирательства, больной скончался. Скорее всего, и Антон не смог бы его поднять, так, по крайней мере, думал он сам. Но вдову никто не мог разубедить: оставили бы при больном Вальтера — он был бы жив.

После похорон занемогла с горя и вдова. Она решила в больницу не ложиться. Пусть Вальтер лечит ее на дому. Он ходил туда ежедневно. Больная поправилась и превратилась в страстную

поклонницу доктора. Ради него она готова была на все. И когда он рассказал ей историю вызова Васьки, она решительно заявила: «А вот я как раз еду в отпуск на материк. Я и привезу его».

Это была сухонькая проворная пятидесятилетняя женщина с маленькими быстрыми глазками. Она безошибочно отсчитывала сдачу у своей кассы. С русским языком у нее дело обстояло хуже, чем с арифметикой. Говорила она мещанским подмосковным говорком. И даже свое собственное отчество произносила «Кискиновна». Но сердце у нее было мягкое и, главное, — своевольное. Она сама решала, кто хорош, кто плох, не приглядываясь к анкетам. Плевать ей было и на статьи и на сроки Антона, и даже на то, что он немец. Она знала одно: спас ее и обязательно спас бы мужа, да не дали, собаки . . .

В деле с приездом Васьки она проявила не только доброту, но и смелость. Дело в том, что ее дочь Тамара была замужем за следователем МГБ, и тот резко возражал против того, чтобы его теща связывалась с сыном «такой статьи». Но она пренебрегла домашними неприятностями и поступила по-своему.

Теперь, когда все складывалось как будто благоприятно, я стала особенно нервна. Непрерывные страхи перед роковыми случайностями, которые могли сорвать приезд Васи, день и ночь терзали меня. Не заболел бы . . . Не заупрямились бы Аксеновы . . . Не раздумал бы сам . . . Не раздумала бы Козырева . . .

Нет, она была тверда в своем решении. В мае она пригласила меня к себе на квартиру в часы, когда ее зять на работе. Я пришла в назначенное время и вручила ей Дусины три тысячи на билет для Васи.

— Ладно! — сказала она, быстро пересчитав бумажки и щуря на меня любопытные маленькие глаза. — Ладно, не тушуйтесь! Сказала — привезу, значит — привезу. Ради доктора . . . Сколько лет не видали сыночка-то? Двенадцатый год? И как только терпите? А так с личности незаметно, чтобы сильно тосковали. Личность у вас справная . . .

В июне я набрала по мелочам в долг еще одну тысячу и выслала маме в Рыбинск, с тем чтобы она поехала в Казань, сама снарядила Ваську и довезла его до Москвы, где Козырева будет ждать его. Это было за полтора года до маминой смерти. Но она скрывала от меня, как плохо себя чувствует, как трудно ей это путешествие. Только потом я вспомнила фразу из ее письма: «Как я любила раньше ездить по Волге! А сейчас и на воде что-то чувствовала себя неважно. Но это все пустяки. Самое главное, чтобы ты встретилась с Васенькой».

В июле пришли письма, что Вася уже в Москве, на Сретенке, у Козыревых. Мама сдала его Нине Константиновне с рук на руки и уехала опять в свой Рыбинск. Васька упивается Москвой,

личной свободой, дружбой с забубенным сыном Козыревых Володькой, отбившимся от ученья. Сейчас Володька — таксист, катает Васю по Москве, все показывает. Скоро полетят в Магадан . . .

Но прошли июль и август, а на мои звонки в квартиру следователя МГБ все отвечали одно и то же: Нина Константиновна задерживается в Москве по семейным причинам. В сентябре я должна была опять выехать с детским садом в оздоровительный лагерь. Это приводило меня в отчаяние. Он придет без меня . . .

Но наступил октябрь. Уже целый месяц шли занятия в школе. Уже я успела вернуться из «Северного Артека», а Козыревой с Васькой все не было.

Мое нервное напряжение дошло до крайности. Ведь Вася так плохо одет, ему будет холодно лететь поздней осенью. Не пропал бы учебный год для него . . . Но все эти дневные разумные опасения были ничто по сравнению с ночными темными мученьями, лежавшими по ту сторону рассудка. Может быть, чьей-то чудовищной злой волей я обречена на гибель моих детей? Ведь Алеши уже нет, нет . . . А Вася — последняя искорка моей угасающей жизни — не то летит и гибнет где-то в облаках, не то просто растворяется в пространстве. И снова, как в кошмарные эльгенские ночи, стучит в моих ушах формула отчаяния: меня никто в жизни не назовет больше мамой.

И Антон и Юля тратили ежедневно массу слов — сердитых и ласковых — чтобы приводить меня в чувство.

— Кончится тем, что он прилетит, а тебя уже не будет, — мрачно пророчила Юля, — не ешь, не пьешь, не спишь . . . Сколько еще протянешь . . .

— Ты неблагодарная, — злился Антон, — тебе одной из всех бывших зэка удалось получить разрешение на приезд сына, а ты . . .

— Ох, не говори так! Сглазишь . . .

При такой моей реплике Антон тут же садился на своего конька. Да, он не видел в тюрьмах и лагерях более суеверных людей, чем бывшие коммунисты. Во все верят: и в сон, и в чох, и в птичий грай . . . Вот если бы я в Бога так верила, как во все эти глупости . . .

А тут уже включалась Юля, они оба отвлекались от меня и начинали спорить между собой. Юле, еще с младых ногтей твердо уверовавшей, что религия опиум народа, невыносимо было слушать Антоныны разъяснения разницы между верой и суеверием.

— Просто странно, Антон Яковлич, как это вы, человек с таким отличным биологическим образованием, можете повторять фидеистические басни . . .

— Гораздо страннее, Юлия Павловна, что вы, человек с философским образованием, повторяете самые плоские банальности и не хотите осмыслить уроки, которые всем нам дала тюрьма.

Я оставляла их длить этот нескончаемый спор, а сама брела в соседний дом, на вахту Юлиного горкомхоза, — позвонить Козыревым.

— Скажите, пожалуйста, не приехала ли Нина Константиновна?

— Нет еще!

Трубка бахала мне прямо в ухо, пресекая дальнейшие распросы. И снова тянулись изматывающие дни, каждый из которых начинался надеждой и кончался отчаянием.

Между тем мы с Юлей переехали на новую квартиру. Ей выписали ордер на целых пятнадцать метров в связи с увеличением семьи — предстоящим приездом Васи. Наш новый барак стоял рядом со старым, но он был двухэтажный, и наша комната находилась на втором этаже. Всего вдоль по коридору было не меньше двадцати комнат. Наша была одна из лучших. А может, это казалось нам тогда. Во всяком случае в ней действительно было пятнадцать метров и хорошее окно. Юля раздобыла где-то ширму, и мы отгородили для Васи отдельный уголок. Там уже стояла железная койка, стул, столик, а на столике — чернильница, бумага, учебники девятого класса. Васе было припасено шерстяное одеяло и настоящая пуховая подушка, которую Юля внесла, как трофей, поднимая ее кверху и сверкая восторженными глазами. Антон уложил под эту подушку стопку нового белья, носки и две верхние рубашки. Все это он выменял на карпункте, отдав немало своих хлебных паек.

Так Колыма встречала девятиклассника Васю самым первоклассным набором лагерного обмундирования.

Вместо того чтобы благодарить своих верных друзей, я еще покрикивала на них, срывая тоску и тревогу. Иногда прямо-таки осыпала их несправедливыми обвинениями.

— Конечно . . . Вам можно так спокойно ждать . . . Не ваш последний ребенок пропал без вести.

Они не обижались. Понимали и терпели.

Но однажды . . . Я сняла трубку с чувством тупой безнадежности и свой вопрос насчет приезда Нины Константиновны задала с интонацией аппарата, дающего справку о времени. И вдруг, вместо обычного обрезающего «нет», услышала веселый, даже слишком веселый, голос слегка пьяного человека.

— Да, прилетела! Вот встречаем! Бокалы поднимаем за здоровье!

— А . . . Скажите, а мальчик? Мальчик из Казани прилетел с ней?

— Мальчик?

В этом месте разговора кто-то подошел к моему собеседнику и задал ему какой-то вопрос. И он, отвлекшись от меня, стал все так же весело разъяснять кому-то что-то там насчет посуды . . . Он острит и кто-то громко смеялся ему в ответ.

Сколько времени длилась эта пауза в разговоре со мной? Минуту? Вечность? Во всяком случае я успела с ослепляющей яркостью представить себе все возможные варианты Васькиной гибели. Все автомобили Москвы наезжали на него. Все уголовники Владивостока или Хабаровска грабили и резали именно его. Все эмгэбисты всех городов хватали его за какое-то неосторожное слово. Вот сейчас так же весело, что нет, мальчик не приехал . . .

— Мальчик? Вы спрашиваете про казанского мальчика? Да вот сидит на диване, беспокоится, что за ним долго не идут . . . Шампанского не хочет, трезвенник . . .

Снова взрыв смеха. Потом кто-то берет у весельчака трубку и сухим злым голосом говорит:

— Почему же вы, гражданка, не идете за сыном? Он хоть и знает адрес, но в чужом месте трудно сразу сориентироваться. А провожать его здесь некому. Хватит и того, что с материка привезли.

— Я . . . я сейчас . . . Сию минуту . . . Я не знала . . .

Я положила трубку. Хотела бежать. Но тут со мной приключилось что-то странное. Ноги точно прилипли к полу, стали пустыми и ватными. Как сквозь слой воды, услышала голос дежурного на вахте:

— Эй-эй-эй, ты что, девка? Никак с копыт валишься?

Он выглянул в вахтенное окошечко и крикнул кому-то:

— Добеги-ка там до Кареповой! Скажи, ейная родня тут концы отдает.

Появилась Юлька. Валериановые капли, валидол . . .

— Возьми себя в руки. Я пойду с тобой, — твердила Юля, сама бледная и взволнованная.

Картина, которую мы застали в квартире Козыревых, напоминала кадр из давнишних фильмов, где кутили и разлагались белые офицеры. Мы топтались в прихожей, ожидая выхода Нины Константиновны, и в полуоткрытую дверь видели блеск погон, разгоряченные лица, слышали звон стеклянной посуды, взрывы хохота, пьяные возгласы.

— О, это вы? Проходите, проходите . . . Он уж тут заждался, приуныл совсем, — гостеприимно пригласила нас хозяйка, — вас двое? А вот интересно, узнает ли он, которая мама?

Ей очень хотелось разукрасить и без того интересное трогательное зрелище этой предполагаемой сценой узнавания.

— Смотри, Тамара, — окликнула она свою дочь, жену следователя, — сейчас у нас тут будет, как в кино, — и, обернувшись к дивану, добавила: — Вот, Василек, видишь? Две дамы . . . Одна, стало быть, твоя мама. Ну-ка, выбери, которая?

И тут только я нашла наконец глазами то, что тщетно пыталась различить в кутерьме этого кутежа. Вот он! В углу широченного дивана неловко приткнулся худой подросток в потертой курточке.

Он встал. Показался мне довольно высоким, плечистым. Он ничем не напоминал того, четырехлетнего белобрысенького толстяка, что бегал двенадцать лет назад по большой казанской квартире. Тот и цветом волос и голубишной глаз был похож на деревенских мальчишек рязанской аксеновской породы. Этот был шатеном, глаза посерели и издали казались карими, как у Алеши. Вообще он больше походил на Алешу, чем на самого себя.

Все эти наблюдения делал как бы кто-то, стоящий вне меня. Сама же я, оглушенная, неспособная к какой-либо членораздельной мысли, была поглощена как будто только тем, чтобы выстоять на ногах, чтобы не свалиться под гулом ритмичного прибоя крови, бьющего в виски, в затылок, в лицо . . .

Выбирать между мной и Юлей он не стал. Он подошел ко мне и смущенно положил мне руку на плечо. И тут я услышала, услышала наконец то самое слово, которого боялась не услышать вовеки, которое донеслось ко мне сейчас через пропасть почти двенадцати лет, через все суды, тюрьмы и этапы, через гибель моего первенца, через все эльгенские ночи.

— Мама! — сказал мой сын Вася.

— Узнал! — восхищенно закричала Козырева. — Вот она кровь-то! Всегда скажется . . . Видишь, Тамара?

Нет, глаза определенно не карие. Не Алешины. Те, карие, закрывшиеся навеки, не повторились. И все-таки . . . Как он похож на тогдашнего десятилетнего, нет, почти одиннадцатилетнего, Алешу! Оба мои сына как-то слились у меня в этот момент в один образ.

— Алешенька! — шепотом, почти произвольно вымолвила я.

И вдруг услышала глубокий глуховатый голос:

— Нет, мамочка. Я не Алеша. Я Вася.

И потом быстрым шепотом, на ухо:

— Не плачь при них . . .

И тут я справилась с собой. Я посмотрела на него так, как смотрят друг на друга самые близкие люди, знающие друг о друге все, члены одной семьи. Он понял этот взгляд. Это и был тот самый переломный в моей жизни момент, когда восстановилась распавшаяся связь времен, когда снова возникла глубинная

органическая близость, порванная двенадцатью годами разлуки, жизнью среди чужих. Мой сын! И он знает, хоть я еще ничего ему не сказала, кто МЫ и кто ОНИ. Призывает меня не уронить своего достоинства перед НИМИ.

«Не бойся, сынок. Я не заплачу», — говорю я ему взглядом. А вслух деловым, почти спокойным голосом:

— Поблагодари Нину Константиновну, Васенька, и пойдем домой, нам пора.

Козырева посмотрела на меня с удивлением и нескрываемым разочарованием. Неужели я не буду долго рыдать, обнимая сына? Неужели не расскажу гостям о том, как страдала в разлуке? Не растрогаю ее зятя, который, хоть и выпил, а все-таки хмурится, глядя на странных гостей?

— Как домой? Да вы присядьте, выпейте хоть по чарке за встречу. Вот люди! Железные какие-то! И не прослезилась даже . . . Скажи, Тамара!

Нас еще долго тормозили, совали в руки бокалы с шампанским, а те из офицеров, кто был подобродушнее, — а может, по-пьянее, — даже усаживали нас за стол. И Юлька, дипломатичная хозяйка утильцеа, выручила: присела на минутку и даже хлебнула винца, чтобы не обиделись, изъяснила, махнув на нас с Васькой рукой, что оба мы совсем замotalись: он — с дороги, мать — от долгого ожидания.

Это случилось девятого октября сорок восьмого года. Спустя одиннадцать лет и восемь месяцев я снова вела по улице своего второго сына, крепко держа его за руку.

Но как она тонка, эта ниточка, скрепившая порванную связь времен моей жизни, как она трепещет на ветру! Не дать ей порваться снова! Удержать, удержать во что бы то ни стало . . .

— Нет, Вася, ты пойми, что твоя мама добилась почти невозможного, — торопливо объясняла Юля, довольно невразумительно обрушивая на неподготовленную Васькину голову все мои перипетии с отделом кадров Дальстроя, с посещением Гридасовой, со сбором денег на дорогу . . .

Но, по существу, она права: я действительно добилась почти невозможного. Вот он идет рядом со мной, шагая шире, чем я, и несет в руках свое имущество: заплатанный стиранный-перестиранный рюкзак, похожий на наши лагерные узелки. И телогрейка на его плечах такая же, какие носят у нас в Эльгене. При мне на материке никто не носил таких телогреек. Наверно, появились в войну. Но все-таки меня ужасно коробит, что на Васе такое, почти лагерное одеяние . . . Уже маячит передо мной новая сверхзадача — пальто для Васи.

Мы шли и молчали, не находя слов для выражения того слишком большого, что надо было сказать. Слово теперь было

только за Юлей. И она без умолку говорила всю дорогу, объясняя Ваське сразу про все. И про то, как вырос Магадан, и какой он был раньше, и про замечательную среднюю школу, и про нашу новую очень просторную — пятнадцать метров! — комнату.

Но на ночь Юлька — спасибо ей! — оставила нас вдвоем, ушла под предлогом дежурства в свой цех. И вот тут-то началась наша первая беседа. Мы не заснули в эту ночь. Да и не хотелось даже помыслить о сне. Мы торопились узнать друг друга и радовались, что каждый узнавал в собеседнике самого себя. Удивительны, поистине удивительны законы генетики! Колдовство какое-то! Ребенок, не помнивший ни отца, ни мать, был похож на обоих не только внешне, но и вкусами, пристрастиями, привычками. Я вздрагивала, когда он поправлял волосы чисто аксеновским жестом. Я захлебывалась от радостного изумления, когда он в эту же первую ночь стал читать мне наизусть те самые стихи, с которыми я жила, погибала и снова жила все эти годы. Так же как я, он находил в поэзии опору против жестокости реального мира. Она — поэзия — была формой его сопротивления. В той первой ночной беседе с нами были и Блок, и Пастернак, и Ахматова. И я радовалась, что владею в изобилии тем, что ему от меня хочется получить.

— Теперь я понимаю, что такое мать . . . Впервые понимаю. Раньше, особенно в раннем детстве, мне казалось, что тетя Ксения заботится обо мне, как мать. И она действительно заботилась, но . . .

Он раздумывает несколько минут. Потом формулирует довольно четко:

— Мать это прежде всего бескорыстие чувства. И еще . . . Еще вот что: ей можно читать свои любимые стихи, а если останешься, она продолжит с прерванной строчки . . .

(Свет этой нашей первой магаданской беседы лег на все дальнейшие годы отношений с сыном. Бывало всякое. Ему выпал сложный путь, на котором его искушала и популярность у читателей, и далеко не беспристрастная хула конъюнктурной критики, и вторжение в его жизнь людей, органически чуждых и мне, да и ему самому. И в трудные минуты я всегда вспоминала прозрачный незамутненный родник его души, раскрывшийся передо мной в ту первую его колымскую ночь. И это всегда глушило мою тревогу. Я всегда знала, что внутри у него все та же чистая глубь. Остальное — накипь. Она стечет, когда река войдет в берега. И я оказалась права. Сейчас мой сорокатрехлетний сын такой же мой всепопавший друг, как тот мальчуган, что приехал в Магадан с томиком Блока в потертом рюкзаке.)

Перед Васиным приездом вся магаданская колония бывших заключенных горячо обсуждала вопрос о том, как осветить пер-

вому нашему материковскому ребенку, прорвавшемуся сквозь оградительные заслоны полковника Франко, главный вопрос нашей жизни. Как мы сюда попали? Есть ли хоть крупинка правды в предъявленных нам чудовищных обвинениях? Кто виноват в творимых жестокостях и несправедливостях? Одним словом — говорить ли ему правду? Всю ли правду?

Странно, но многие склонялись к тому, чтобы «не вносить в молодую душу неразрешимые сомнения». Даже Юля говорила: «Ему жить. А зная всю правду, жить трудно. И опасно». Только Антон доказывал горячо и страстно, что на лжи и даже на умолчаниях настоящих отношений с сыном не построишь, что надо заботиться прежде всего не о том, чтобы он был удачлив, а о том, чтобы был честен.

Я довольно терпимо выслушивала разные советы на эту тему, но внутри у меня сомнений не было. На первый же его вопрос «За что?», я ответила: «Не «за что?», а «почему?» И дальше с полной искренностью и правдивостью рассказала ему обо всем, через что прошла и что поняла на этом пути. Поняла я тогда, к сорок восьмому году, еще далеко не все. Однако многое.

Но даже если бы я и пыталась в ту ночь скрыть от него правду, мне это не удалось бы. Потому что он ловил все с полуслова. И то драгоценное, что возникло тогда между нами, было немыслимо вне правды. Именно на переломе от девятого к десятому октября 1948 года, уже ближе к рассвету, я рассказала ему устно задуманные главы «Крутого маршрута». Он был первым слушателем . . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

Уже через несколько дней после своего приезда Вася сказал: — Мама, надо бы что-нибудь живое в доме иметь. Щенка или котенка . . .

Он не знал, что такое скромное желание очень трудно выполнимо в тогдашнем Магадане. И собаки (не овчарки) и, тем более, кошки были здесь пока предметом импорта. Но мне удалось после долгих стараний раздобыть материковскую кошку Агафью, которая в дальнейшем в течение нескольких лет была неотъемлемым членом нашей семьи. Очень грациозная, капризная в выборе еды, она нисколько не походила на своих колымских родственников, проходивших в первом поколении процесс одомашнения. (Эти вчера еще дикие, похожие на маленьких тигров, коты, которых приручали некоторые наши знакомые, вызывали во мне отвращение.)

Агафья придавала нашему семейному очагу очень мирный традиционный вид. Она любила восседать прямо на столе, греясь у настольной лампы и мурлыча, как патриархальный самовар. Когда Вася садился за стол учить уроки, она меняла позицию, переходила к нему на плечи и возлежала так в виде роскошного горжета.

Вакантное место деда занял у нас в семье Яков Михайлович Уманский, верный своему слову репетировать Ваську по математике. Старик неуклонно прибывал в точно определенное время, медленно двигаясь своей походкой кашалота, но уходил только после того, как все задачи сходились с ответами, а это — увы! — не всегда удавалось. Яков Михалыч сперва каждый раз петушился, уверял, что в учебнике опечатка, потом грустнел, жаловался на склероз, вспоминал, что в свое время щелкал такие задачки как орехи. Помню несколько случаев, когда ему все-таки пришлось уйти, так и не решив задачи. Но каждый раз при этом он возвращался к нам в час-два ночи, не стесняясь ни расстоянием, ни погодой. С возгласом «Вася, вставай, я нашел ошибку!» он появлялся на пороге. Васька сонно мычал, говорил «черт с ней!», но старик, укутанный обледенелым башлыком, стоял как привидение до тех пор, пока Вася не встанет и не запишет правильного решения.

После отъезда своего друга Куприянова старик чувствовал себя одиноком и очень пристрастился ко всем нам, хотя с Антоном они постоянно и страстно спорили. Они не сходились во мнениях насчет Томаса Мора и Фомы Аквинского, насчет побочного действия сульфамидов и эффективности малых доз сулемы. Они классически иллюстрировали столкновение двух полярных психологических типов. Горячий, непримиримый, склонный к абсолютам ум Антона с разбегу натыкался на скептическую иронию, на скорбное неверие старого добряка, сомневающегося в способности рода человеческого к высоким побуждениям. Особенной остроты достигали эти споры, когда дело доходило до одного из двух самых острых для Антона пунктов: до Мартина Лютера, которого Антон считал началом всех зол на земле, и до Самуила Ганнемана, основоположника гомеопатии, который, наоборот, был для Антона спасителем человечества.

Но как бы горячи ни были споры и взаимные перехлесты в обличениях, а стоило старику запоздать с визитом, как Антон уже тревожился, посматривал на часы, говорил о высоком кровяном давлении Якова Михалыча и успокаивался только тогда, когда раздавалось знакомое шарканье глубоких резиновых галош, какие, бывало, носили казанские старьевщики.

Вася очень привязался к Якову Михалычу, хотя и довольно непочтительно хохотал над очаровательными стариковскими чу-

дачествами. Всегда поглощенный какими-нибудь идеями, Уманский был рассеян до предела. К кошке Агафье он обращался на «вы»: «Агафья, подойдите сюда, — говорил он без всякой шутливости, — вот здесь хороший кусочек оленьего мяса. Правда, мне он не по зубам. Он немного жилистый . . . Но вы, я надеюсь, справитесь, а?»

Иногда старик читал нам стихи собственного сочинения. Это была какая-то нескончаемая поэма, излагавшая в хронологическом порядке всю историю философии. Мы с Васей запомнили одну строфу про Лукреция Кара и забавляли друг друга декламацией, когда падало настроение и хотелось выйти из упадка. Я и до сих пор помню эту строфу: «Достоин похвалы Лукреций Кар. Он первый тайны разгадал природы. Безумных мыслей разогнав угар, он уголок обрел святой свободы».

Однажды Яков Михалыч, очень польщенный, сообщил, что его просили перевести с французского текст «Письма Перикола».

— Это для вокального исполнения . . . Одна певица обратилась. У нее в нотах французский текст.

Васька буквально катался по своей постели, корчась от хохота, когда Яков Михалыч патетически прочел: «Твоя, любящая тебя, хоть и рыдаю, Перикола . . .»

Вот так внешне идиллически был построенный нами карточный домик. Но ни на секунду мы не отвлеклись от ощущения тех грозных подземных толчков, которые непрерывно колебали почву под нашим хрупким сооружением. Ведь приближался сорок девятый год, и грозная атмосфера нового землетрясения сгушалась над нами. Каждый из нас в одиночку фиксировал про себя и увеличившееся количество прибывающих с материка этапов, и увольнение многих бывших заключенных с хороших работ. А Антон, кроме того, знал и о нарастающем закручивании режима внутри лагеря. Но говорить об этом у нас было запрещено. Чтобы не травмировать Ваську. Чтобы и самим себе не омрачать периода передышки. Жить как ни в чем не бывало . . .

И мы жили. А Васька — в нем уже и тогда проявлялись черты острой писательской наблюдательности, интереса к нестандартным людям — просто был счастлив временами, что может слушать никогда ранее не слышанные споры и разговоры. Он прожил всю свою сознательную жизнь в семье Аксеновых, где говорили и думали только о хлебе насущном, и его восхищали новые, впервые на Колыме встреченные люди, которых волновали отвлеченности вопреки бесхлебью собственной судьбы.

В наш карточный домик, как и положено в приличных семейных домах, приходили знакомые. Например, профессор Симорин с женой Таней. Они жили в маленькой халупке напротив нашего

барака. У них был тоже лагерный роман, прошедший через пропасти запретов, разлук, неизвестных отсутствий. Теперь оба они вышли из-за проволоки, были уже не зэка, а бывшие зэка и наслаждались собственной печкой и свободным «совместным проживанием». Симорин, блестящий эрудит, остроумец, бывший сердцеед, импонировал Ваське своими рассказами о предрестном прошлом, в которых фигурировали имена, встречавшиеся Васе только на обложках учебников. Под стать Симорину был и доктор Орлов, коллега Антона. Этот, правда, был молчаливее Симорина, но иногда «выдавал» интересные парадоксы по всем вопросам жизни.

Бывала у нас художница Вера Шухаева, рассказывавшая про Париж, про встречи с Модильяни, с Леже, про работы своего мужа. Теперь, накануне сорок девятого, Вера Шухаева работала в магаданском пошивочном ателье, где ей иногда удавалось придать приличный вид магаданским начальственным толстомясым дамам.

Наконец в нашем же коридоре гнездилась целая колония немцев, которые тоже постоянно бывали у нас. Ганс Мангардт, австриец с живописной бородой Санта Клауса, давнишний коммунист, попавший в Россию и прошедший массу всяческих авантур, которые он теперь, «осмысливал с марксистской точки зрения». Его жена Иоганна Вильке — бывшая машинистка в берлинском комитете компартии Германии. Вслед за ними являлись все их земляки, которые пели хором немецкие песни, приводя в умиление Антона.

Появился и наш старый знакомый по Таскану Натан Штейнбергер. Он бесконечно мучился с устройством на работу. К Натану приехала теперь его настоящая материковская жена, освободившаяся из лагеря в Караганде. Это была шумная и очень требовательная по отношению к мужу женщина, так что мы с Антоном часто жалели о тех хороших часах, которые проводили на Таскане в обществе Натана. Теперь, при этой жене, спокойное вдумчивое общение с ним стало невозможным.

Среди наших немцев была и Гертруда Рихтер, игравшая в то время на рояле в оркестре магаданского дома культуры. Тогда это еще была болезненная, исхудавшая, всегда полуголодная женщина. У нас она находила гостеприимный кров, Антон лечил ее. В ее высказываниях и тогда уже было много всякой несурезицы, но все-таки мы никак не могли тогда предположить, что из нее со временем получится тихий правоверный оруженосец из королевской рати Вальтера Ульбрихта, каким она стала позднее в своем Лейпциге.

Были у меня теперь и вольные знакомые. И не только сослуживцы. Ведь я ходила на родительские собрания в Васину школу,

да и Антон знакомил меня с некоторыми своими вольными пациентами из тех, кому вполне доверял.

Но с вольными всегда соблюдалась дистанция. Мы могли очень дружелюбно беседовать на нейтральной почве: в школе, на улице, в парке, в фойе кино «Горняк». Но ни им, ни нам никогда и в голову не приходило пригласить таких знакомых к себе домой. Единственные вольняшки, посещавшие наш дом, были Васины одноклассники. Но и то как-то само собой подобрались ребята с изъянами в анкетах. У Юры Акимова был в заключении отец, и они с мамой приехали к нему, когда он вышел из лагеря. Это было уже после Васиного приезда. Юра Маркелов, хоть и прибыл с мамой-договорницей, но она здесь вышла замуж за нашего старого тасканского знакомого, бывшего зэка, профессора Пентегова.

Благодаря Васиным приятелям у меня появился новый источник заработков: я стала репетировать некоторых ребят, остававших по-русскому. Но все равно денег систематически не хватало. Так что, кроме таких классически-интеллигентских заработков, как репетированье, мы с Юлей не гнушались и тем, что со смехом называли прикосновением к частнособственнической стихии. Вечерами мы мережили и обвязывали так называемые носовые платки, квадратики, выкроенные из раздобытого Юлей утиля. По субботам за этой нашей продукцией приходил некий сомнительного вида дядька, именуемый в наших разговорах «контрагент». Он забирал готовые носовые платки и по воскресеньям торговал ими на магаданской барахолке. А так как в магазинах тогда и в помине не было подобных товаров, то по понедельникам он приносил нам вырученные деньги, отчислив в свою пользу довольно солидный процент. Совершенно не помню, в каких цифрах выражались эти торговые доходы, но помню, что они играли некоторую роль в нашем бюджете, в постоянных усилиях прокормить наше довольно большое семейство и многочисленных гостей. В послевоенном Магадане неважно приходилось тем, кто не получал северных надбавок и не входил в многоступенчатую систему закрытых распределителей. Тем более, что цены на рынке складывались с учетом огромных, находящихся в обращении денег.

Казалось бы, в этих условиях постоянного страха и нужды никто из нас не был заинтересован в дальнейшем увеличении нашей семьи. И все же . . .

Это случилось вскоре после Васиного приезда. Был обычный рабочий день. Я уже провела музыкальные занятия с младшими и средними. Оставалась старшая группа, и я привычно барабанила марш, под который они должны войти в зал. Ритмично шагая под музыку, дети обходили свой обычный круг, чтобы на

конец музыки остановиться около своих стульчиков. И вдруг я заметила, что за подол последней в строю девочки держится малышка, не доросшая не только до старшей, но даже до младшей группы детского сада. У девочки были заплаканные светлые глаза, а на голове именно такой пушок, какой и полагается птенцу, выпавшему из гнезда.

Воспитательница быстрым шепотом объяснила мне, что мать ребенка, бывшая ээка, сунула заболевшую девочку в больницу, а сама скрылась, подкинула . . . Весной будет для таких детский этап в Комсомольск-на-Амуре, в спецдетдом. А пока вот мы должны возиться. В яслях, видите ли, мест нет . . . А мы вроде двужильные, нам все можно . . . И так в группе тридцать восемь душ. А эта не того возраста, да и плакса большая. Замучились с ней . . . Пусть посидит на музыкальном, может, отвлечется . . .

И она — ее звали Тоней — действительно отвлеклась. Она приложила ухо к блестящему полированному боку пианино и, услышав гудение, счастливо расхохоталась. Когда стали разучивать какую-то очередную русскую пляску, она вдруг поднялась и встала в общий круг. Ей было тогда год и десять месяцев. Но она двигалась ритмичнее шестилеток, в среду которых затесалась так неожиданно.

С тех пор так и повелось. Стоило мне войти утром в так называемый зал, как распахивалась дверь той группы, куда была временно подброшена Тоня, и она выбегала со всех ног, выкрикивая на ходу: «Музыка пришла! Музыка пришла!» Говорила она для своего возраста и биографии на удивление хорошо. Не все наши четырехлетки имели такой запас слов и чистое произношение.

Няни и воспитательницы очень охотно сплавляли Тоню ко мне, и она не плакала, не капризничала, просиживая около пианино со всеми группами поочередно. Со всеми пела и танцевала. А вообще-то была она очень нервна, впечатлительна, слезлива.

Однажды в субботу, когда шла раздача детей родителям на выходной, я задержалась у заведующей на каком-то совещании и вернулась в зал уже в сумерках. Эта странная приземистая комната, с несимметричными окнами, выглядела в пустоте и полутьме особенно мрачной. Единственным пятном на грязно-серых стенах, кроме черного силуэта пианино, был огромный, не по масштабам помещения, портрет генералиссимуса в орденах и красных лампасах. У подножия портрета, на самодельном пьедестале, всегда стояли искусственные цветы. Очень грубые цветы из кусков шелка, а то и просто из накрахмаленной марли. Но в детях воспитывался священный трепет перед этим алтарем, и даже самые отчаянные шалуны никогда не прикасались ни к цветам, ни к самому портрету.

Но сейчас кто-то возился у этих цветов. Какая-то крохотная фигурка теребила букет белых марлевых роз.

— Тоня? Что ты тут делаешь одна впотьмах?

Она ответила очень точно:

— Я тут плакаю . . .

Обычно Тоня плакала вслух. Громко рыдала и всхлипывала. Но в эти субботние сумерки, когда, отшумев, затих весь дом, она плакала беззвучно. Скорее всего уже обессилела от громких рыданий. Наверное, начала плакать, когда субботнее буйство было еще в полном разгаре, когда мальчишки с пернатыми криками скатывались вниз по перилам, кувыркаясь, как циркачи, девчонки визжали и ссорились, отыскивая свои варежки или рейтузы в общей куче, а няни залиvisto кричали и на детей и на родителей. И над всей этой сутолокой висело слово «домой!» Его выкрикивали все дети, его повторяли родители, твердили няни. Кто же тогда мог услышать Тонины вопли?

— Домой, — повторила Тоня, — а это чего такое?

Откуда ей было знать? И как это можно было ей объяснить? Ее биография пока не включала этого странного понятия. У нее был эльгенский деткомбинат, больница, наш круглосуточный . . . А впереди детский этап в спецдетдом. И надо ли ей растолковывать, что такое «домой»?

— Пойдем в живой уголок, нальем кроликам воды, — странным деревянным голосом предложила я ей.

Нет, ей было не до кроликов, она досадливо отмахнулась от моего предложения.

И тут она вымолвила с неправдоподобной для ее возраста четкостью:

— А у меня нету дома . . .

. . . Когда я в эту субботу, договорившись с заведующей, привела Тоню в нашу комнату, никто особенно не удивился. Мне и раньше случалось приводить на воскресенье кого-нибудь из детей, оставшихся на выходной без отпуска. Только Вася недовольно сказал: «Уж очень маленькая! Будет мешать мне заниматься . . .»

Сама же Тоня с первого момента акклиматизировалась настолько, что, оглядев комнату, задала вопрос: «А где же моя кроватка?» Она вообще умела (и умеет до сих пор) мгновенно ориентироваться в незнакомой обстановке.

А в понедельник утром она категорически отказалась идти в детсад. Ей здесь понравилось, дома лучше, она останется тут с мамой (это слово она мгновенно переняла от Васи). Но маме надо работать! Ну ладно, Тоня согласна сходить туда провести музыкальное занятие, только чтобы сразу вернуться домой.

Заведующая детсадом не позволила мне взять ее в понедельник вечером. В субботу, когда никого нет, пожалуйста! А в будни нельзя. Могут в любой час нагрянуть инспектора, могут затребовать девочку для отправки на материк, в спецдетдом . . .

В эту же ночь — с понедельника на вторник — я сделала для себя странное открытие: оказывается, в субботу, когда здесь была Тоня, я спала спокойнее, меня не мучили кошмары на тему гибели Алеши. А они по-прежнему неотступно были со мной, даже после приезда Васи. Каждое чувство, связанное с Васей, — пусть и радостное, — было в то же время мучительным. Потому что я все время мысленно ставила рядом с Васей Алешу, примеряла и сопоставляла их характеры, растревляла себя фантастическими видениями наших бесед втроем . . . Он все время незримо стоял рядом с Васей, особенно по ночам, и я поднималась утром обессиленная своей молчаливой мукой, о которой я не смела сказать ни Антону (он считал страшным грехом мое упорное неумение смириться с потерей), ни Юле, ни тем более Ваське.

В следующую субботу Тоня долго не могла заснуть, ворочалась, вздыхала. А когда я присела на край кушетки, она вдруг взяла обеими руками мою руку и подсунула ее себе под щеку. У меня захватило дыхание. Потому что это был жест маленького Алешки. После кори с тяжелыми осложнениями, которую он перенес трех лет, он всегда требовал, чтобы я сидела с ним, пока не заснет, и именно таким вот движением подкладывал мою руку себе под щеку.

На секунду мне показалось, что даже взгляд ее похож на Алешин, хотя объективно в ее серо-голубых глазах не было ничего общего с карими глазами моего ушедшего сына.

Теперь между субботами меня давил еще один этапный страх. До появления Тони я начинала каждое утро с мысли: не услали бы Антона, который, может быть, уже больше не нужен начальнику Дальстроя. Теперь, вдобавок к этому, я замирала от тоски и ужаса, открывая дверь детского сада: вдруг сейчас мне скажут, что сиротский этап в Комсомольск-на-Амуре уже ушел.

Сейчас это кажется неправдоподобным, однако факт, двухлетняя Тоня уже знала слово «этап». Оно витало в разговорах нянек — бывших ээка — да и в играх старших ребят — бывших питомцев эльгенского деткомбината. В одно из воскресений, сидя за нашим семейным столом, Тоня вдруг четко вымолвила, без всякой связи с общим разговором:

— Это у кого мамы нет — тех в этап . . . А у меня — мама . . .

Как раз за два дня до сиротского этапа Тоня заболела дифтеритом и ее положили в больницу.

— Ну, ваша Тоня отстала от большого транспорта. А сле-

дующий — через год, не раньше, — сказала мне заведующая детским садом.

В инфекционное отделение больницы меня, конечно, не пустили, и я утешала рыдающую Тоню знаками, стоя на завалинке у закрытого окна.

Недели через две врачиха объявила, что девочка практически здорова и ее можно бы выписать, будь она домашним ребенком. А в детский коллектив нельзя: она бациллоноситель. Вася дифтеритом болел, так что препятствий к тому, чтобы взять Тоню к себе, не было.

За полтора месяца, проведенных у нас, она прочно забыла все прошлые горести, стала меньше плакать, очень развилась умственно.

И опять то же странное наблюдение над собой я сделала за это время. Когда девочка здесь, моя тоска об Алеше становится менее раздражающей, она как бы отступает перед механичностью мелких бытовых забот о маленьком ребенке. Точно все эти манные каши, постирушки, укладывания и одевастья, возвращая мне память о моем неутоленном материнстве, врачуют смертельно раненную душу.

Все мои домашние встретили в штыки мое предложение официально удочерить Тоню. Юлька особенно возмущалась:

— Нет, ты поистине мастер выдумывать себе новые пытки! Мало тебе того, что есть . . . Сама говорила, что домик наш — карточный. И правильно! Так куда же еще ребенка! Чужого! С неизвестной наследственностью! Уж поверь, что мать, подкинувшая дитя, не очень-то полноценные качества ей передала . . . Ну а если нас опять заметут? Каково ей будет второй раз оставаться сиротой? Она хорошенькая! Ее охотно какая-нибудь бездетная полковница возьмет, и будет она там как сыр в масле кататься.

Вася, относившийся к Тоне с тем же добродушием, что и к кошке Агафье, никак не мог переключить этот вопрос в серьезную плоскость. Он молчал, но я видела, что все Юлины аргументы кажутся ему убедительными.

Антон подошел к моему намерению с другой стороны:

— А ты подумала, имеем ли мы право связывать судьбу ребенка с нашей обреченной судьбой?

Все это было очень огорчительно, хотя ничуть меня не убеждало. Ведь они не знали, не могли знать, что все их доводы от рассудка не имеют для меня никакого значения, что для меня появление Тони в моей жизни — не бытовое происшествие, а нечто тайное, почти мистически связанное с Алешей.

И я, выслушав все возражения, отправилась на другой день в отдел опеки и попечительства. Полный крах! Оказалось, что

лица, неблагонадежные в политическом отношении, правом усыновления не пользуются.

— Скажите спасибо, что на собственных детей материнства вас не лишили! Еще чего придумали — чужих усыновлять! — злобно отчитывала меня тетка, сидевшая в этом отделе и, очевидно, совсем ошалевшая от полного безделья. — И думать забудьте!

Под высокой прической у нее торчали ушки, маленькие, но оттопыренные, как у летучей мыши. Пухлые губы, извергавшие все эти словеса, были аккуратно намалеваны бантиком.

Вечером этого дня, когда мы оказались наедине с Антоном и я рассказала ему о своем визите в учреждение, решающее судьбы детей, он, видя мое горе, стал говорить о моей доброте, о том, что, конечно, девочке лучше всего было бы со мной, но . . .

— Господи! При чем тут моя доброта! Никакой тут доброты нет . . . Ну ты-то, ты-то разве не понимаешь, что Тоня нужна мне больше, чем я ей?

Услышав эти слова, Антон осекся, задумался . . . Больше он никогда не сказал ни слова о неблагоразумии этого поступка.

(На протяжении дальнейших тринадцати лет он был для Тони больше, чем родным отцом. К несчастью, он умер, когда Тоне шел всего только пятнадцатый год. И все овраги и рытвины ее юности мне пришлось преодолевать уже без него. Юлины предсказания насчет неизвестной наследственности в какой-то мере сбылись. Были моменты, когда я впадала в полное отчаяние, не зная, как справиться с недоступными моему пониманию, моему складу поступками. Но ни разу за все двадцать семь лет, что она — моя дочь (сейчас, когда я пишу это, ей двадцать девять и она актриса Ленинградского Театра комедии), ни единого раза я не пожалела о том, что я взяла ее. И горе и радость, доставляемые ею, я воспринимаю всегда как органическую часть моей жизни, моей судьбы. А ощущение, что я не могла пройти мимо нее, так и осталось.)

. . . А между тем на нашу страну, на всю Восточную Европу, а в первую очередь на наши каторжные места, надвигался сорок девятый год — родной брат тридцать седьмого.

Мы ощущали его грозное приближение, безотчетно — а иногда и сознательно — улавливали его шаги. Но верные своему принципу — использовать передышку до конца — жили как ни в чем не бывало. Даже участвовали в новогодних вечерах. Антона, правда, в этот вечер не выпустили из лагеря. Но каждый из нас — Юля, Вася, я — встретили этот зловещий год среди хороших людей, окруженные всеобщим доброжелательством и симпатией. Я сочинила сценарий для всех работников детских садов и сама

же была ведущей на этом вечере. Юля — в своем цехе, Вася — в школе.

Никогда мы не говорили вслух о нависших над нами завистливых бедах. И только ночами, когда мешаются сон и явь, когда теряешь контроль над словами и мыслями, когда расслабляется пружина многолетнего напряжения — только в это время торжествуют чудища. Они встают перед глазами одно за другим, они хватают тебя липкими хватками пальцами за горло. Вот они . . .

Дальние этапы, суды и пересуды над Антоном. Вторичный арест — мой или Юлин, или обеих вместе. Вася, оставшийся в одиночестве на этой дальней планете. Тонин этап в Комсомльск-на-Амуре.

Сохраню ль к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей непреклонность и терпенье гордой юности моей?

Сорок девятый . . . Сорок девятый . . .

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПО АЛФАВИТУ

Сначала поползли зловещие слухи с материка. Говорили, что город Александров Владимирской области (сто первый километр от Москвы), где поселились многие бывшие заключенные, вернувшиеся в сорок седьмом, опустошается с непреклонной систематичностью. Каждую ночь увозят по нескольку человек. Называли и определенные фамилии, многие из которых были нам знакомы.

По ночам мы с Юлей, скрываясь от Васьки, перешептывались на эту тревожную тему. При этом мы неизменно одобряли друг друга за дальновидность. Как мы были правы, оставшись на Колыме! Юля горячо надеялась и меня уверяла, что на этой дальней планете «брать не будут». Здесь мы и так изолированы от всего мира. Да и как здесь обойтись без бывших заключенных! Все производство на них держится . . .

Нет, не только чужой, но даже и свой собственный опыт ничему не учит. Мы по-прежнему пытались прогнозировать свое и общее будущее исходя из разумных посылок. Ничему мы не научились за двенадцать лет. Все так же недоступна была нам логика, вернее, алогизм злодейства. Или, может быть, мы нарочито отмахивались от беспощадных предвидений, чтобы оторвать в свою пользу еще месяц, неделю, день . . .

Очевидно, не только мы, но и вольняшки скромных чинов не подозревали ничего о готовящейся массовой акции. По крайней мере на моей работе все шло мирно, тихо, почти идилично.

Прошла елка в детском саду. Потом и утренник в честь Дня Советской Армии. Дети маршировали в костюмах всех родов войск. Методисты часто созывали совещания, на которых меня неизменно хвалили. Я действительно уже набила руку на сценариях утренников, выдумывала разные разности, развлекала детей и взрослых. Однажды я даже выступала со своими ребятами по радио, и дикторша, не сообразив, объявила с разбегу мою фамилию. И хотя ей, бедняге, за это потом здорово досталось, но все наши бывшие ээка усмотрели в этом факте серьезный симптом либерализации.

И вдруг . . . Вдруг в один злосчастный день все мы узнали, что здесь, у нас в Магадане, повторно арестованы двое наших. Первый из них — Антонов — работал где-то бухгалтером. Второй — Авербах (или Авербух) — жил в нижнем этаже нашего барака. Это был тихий замкнутый человек, который вежливо здоровался, но никогда не останавливался при встречах.

Вспыхнувшую общую тревогу стали немедленно гасить всякими домыслами и «достоверными» слухами. Ведь Антонов, дескать, имел большой подотчет и, конечно, его арест связан с денежной нехваткой. А второй? Ну, второй, оказывается, был когда-то раньше активным сионистом. Сейчас, после создания Государства Израиль, — это модный товар. Наверно, решили проверить его старые связи. Проверят и отпустят . . .

Через некоторое время взяли Аню Виноградову и доктора Вольберга, популярного в городе врача. И снова — сначала паника, потом взаимные утешения: это скорее всего какой-нибудь неудачный лечебный случай . . . Виноградова ведь тоже медик, фельдшерница. Вот их и обвиняют в смерти какого-то больного.

Никто не хотел верить, что начались массовые повторные аресты. По крайней мере, никто не хотел признаться в этом не только друг другу, но даже самому себе. Оглядываясь назад, на это страшное время, просто дивишься намеренной слепоте людей: как можно было не задуматься над очевидностью, над тем, что в Магадане с каждым днем все шире, глубже и бесперомоннее укоренялось управление нового министерства — МГБ, реорганизованного из НКВД, что этому новому управлению отдают лучшие здания города, вплоть до таких крепостей, как здание Маглага, что уже вошли в быт выражения «красный дом» и «белый дом» — две их цитадели. Казалось бы, нам, опытным людям, отсидевшим десять лет и два года прожившим на магаданской «воле», надо было хоть повнимательней приглядеться к лицам и повадкам наехавших откуда-то молодых офицеров МГБ, которые с хозяйским выражением энергичных упитанных лиц сновали по улицам города. Их все увеличивающееся количество уже само по себе должно было наводить на мысль о планируемых новых ак-

циях. Но мы не хотели замечать всего этого, а еще больше не хотели над этим раздумывать.

Позднее выяснилось, что повторные аресты уже шли вовсю, а мы не замечали их массовости потому, что дело осуществлялось во всеколымском масштабе, по единому списку. Так что на город Магадан падали пока более или менее единичные случаи. Так или иначе мы благополучно дожили до осени сорок девятого. Устоял наш карточный домик до самого октября месяца. Вася перешел в десятый класс. Тоня опять уцелела от повторного детского этапа, так как по нынешнему приказу отправлялись только дети с пятилетнего возраста, а ей было всего три года. И судьба еще даровала нам четыре замечательные недели в пионерлагере «Северный Артек», куда мне разрешили взять с собой Ваську. А Тоня поехала туда же с детским садом. Ваське нравилась экзотическая природа, он много бродил по сопкам, окреп, загорел. Тоня, пользуясь отпускными вольностями, не отходила от меня ни на шаг. И сентябрь — единственный колымский месяц, милостивый к людям, — как всегда, щедро одаривал нас нежным желтоватым солнцем, паутиной, брусникой, кедровыми орешками, проказами шустрых бурундуков.

И как же я цеплялась за каждый такой денек, чувствуя, зная почти точно, что вот уходит, утекает, просачивается между пальцами моя с таким трудом построенная новая жизнь! Пусть убогая, нищая, отравленная постоянным страхом, но все-таки жизнь. С Васей, с Тоней, с Антоном, с Юлькой . . . Но вот подходит к концу и эта передышка. Скала, нависшая над нами, готова ежеминутно рухнуть.

В «Северном Артеке» отвлекаться от эмгэбистского комплекса было легче: сюда не доходили городские слухи. Зато к середине сентября, когда мы вернулись в Магадан, сомневаться в близкой катастрофе стало уже невозможно. Все бывшие зэка ходили как придавленные, при встречах на улице вместо приветствия вполголоса называли все новые и новые фамилии взятых. Никто из арестованных пока не вернулся. Судьба их была укрыта прочной тайной. Последовательность арестов и цель их тоже не прояснялась.

Первым догадался старик Уманский. Однажды, позанимавшись с Васей алгеброй, он сел на кушетку, утомленно откинулся к стене, закрыл глаза и неожиданно попросил:

— Карандашика нет у вас?

Исписав страничку своего блокнота короткими строчками, Яков Михалыч поднялся с кушетки и воскликнул:

— Эврика! Все ясно! По алфавиту . . .

Мы все были в этот момент дома. Но уже не было теперь веселых застольных бесед, как в сорок восьмом. Теперь все

молчали, стараясь не смотреть в глаза друг другу, чтобы не увидеть в них отражение собственного великого Страх. Даже Тоня, чувствуя общую подавленность, говорила с куклой шепотом.

— Что по алфавиту?

— Арестовывают повторников. По алфавиту! Вот послушайте . . . Я привел в систему. Вот те фамилии, которые нам известны по Магадану . . .

И он стал читать. Антонов, Авербух, Астафьев, Берсенева, Бланк, Батурина, Вольберг, Виноградова, Венедиктов . . .

— Чепуха! — горячо воскликнул Антон, кидая на Уманского гневные многозначительные взгляды. — Случайное совпадение!

Но я-то сразу поняла все. Знакомый удушливый спазм перехватил горло. Кульминация Страх. А . . . Б . . . В . . . Но ведь в таком случае — следующая буква моя! И Антон тоже сразу понял это, потому и кричит на Уманского и делает ему глазами знаки — не пугать заранее Васю.

— Нелепые домыслы, — повторял Антон раздраженно. А я вспомнила, что в последнее время он каждый раз тревожно оглядывается, входя по вечерам в нашу комнату, и облегченно вздыхает, увидев меня.

Постучали в дверь. Вошла наша соседка Иоганна. Бледна как смерть.

— Гертруду взяли, — сказала она и плюхнулась на стул, как в обморок.

Это был снаряд, упавший уже совсем рядом. Гертруда — чуть ли не ежедневная наша гостья. Гертруда — партийный ортодокс, бывший берлинский доктор философии, мастерица на заковыристые силлогизмы, призванные объяснить и теоретически обосновать любые действия гениального Сталина.

— Чем она могла провиниться, играя на рояле в оркестре дома культуры? — растерянно сказала Юля.

— Тем же, чем вы в своем утильцехе, а ваша подруга — в детском саду. Все виноваты лишь в том, что ЕМУ хочется кушать, — ответил Уманский. — Станные вопросы из уст человека, просидевшего столько лет. Пора понять. Массовая акция. Повторные аресты бывших ээка. По алфавиту . . .

— А вот и осрамились вы со своими изысканиями, — сердито бросил Антон, — фамилия Гертруды — Рихтер . . . Буква Р . . .

Да, действительно! После Б — и вдруг Р. Может быть, Уманский и впрямь ошибается . . . Но он спокойно возразил:

— Я сам был бы рад ошибиться. Но, к несчастью, я прав. Дело в том, что у Гертруды Фридриховны двойная фамилия — Рихтер-Барток. Вернее, Барток-Рихтер . . . Так что она явно прошла на Б.

С этого дня Вася стал иногда опасливо спрашивать меня: «Мама, а тебе не страшно?», на что я отвечала: «Бог милостив . . .»

Обычно он спрашивал об этом перед сном. Мысль об аресте связывалась с ночью.

Но это случилось опять днем, так же как в тридцать седьмом. Я вела музыкальное занятие в старшей группе. Приближались октябрьские праздники, и надо было усиленно готовить детей к утреннику. Дети под руководством воспитательницы разучивали песню «И Сталин с трибуны высокой с улыбкой глядит на ребят». Аккомпанемент был какой-то трудный, и я уже дважды сфальшивила, не взяв бемоля.

В этот момент двое мужчин в штатском — один молодой, другой постарше — вошли в музыкальную комнату, по-хозяйски дернув дверь.

— Сюда нельзя, здесь музыкальное занятие, — строго сказала им шестилетняя Белла Рубина. Ей уже скоро должно было исполниться семь, и она очень ценила свою роль старшей в группе.

Но вошедшие посмотрели сквозь девочку как сквозь воздух. Они вообще вели себя так, точно в комнате не сидело тридцать восемь человек детей. Они видели только меня. Им была нужна только я. Тот, кто помоложе, небрежно вынул из бокового кармашка небольшой твердый билет с золотыми буквами и бегло показал его мне. Слово «безопасность» я успела схватить взглядом. Его спутник сказал вполголоса:

— Следуйте за нами!

— Евгеничка Семеновка! Не ходите! — закричал, вскакивая со своего места, Эдик Климов.

Образ его встревоженного, покрасневшегося лица преследовал меня потом в тюрьме. Безошибочность детской интуиции! Почувял опасность, грудью ринулся, как всхохленный боевой воробышек, — защитит, предостережет . . .

Но в это время вошла заведующая. Она тоже была вся в красных пятнах и старалась не смотреть на меня.

— Евгения Семеновна сейчас вернется, — сказала она детям. — А пока я побуду с вами . . .

Наверху, в кабинете заведующей, мне предъявили ордер на арест и обыск. Все было оформлено законно, с санкцией прокурора.

— Сейчас мы проедем в вашу квартиру для обыска, — объяснил мне один из рыцарей госбезопасности.

— Я не сделаю ни шага, пока вы не дадите мне возможность повидать сына. Он в школе. Остается на краю земли, один, без куска хлеба. Я должна поговорить с ним перед расставаньем, объяснить ему, куда он может обратиться за помощью.

Старший из рыцарей пожал плечами.

— Ну что ж, пожалуй... Школа рядом. Мы на легковой машине. Заедем за ним...

Вася рассказывал потом, что он сразу понял все, когда во время урока приоткрылась дверь класса и раздался повелительный голос: «Аксенов! На выход!» Да и многие ученики поняли, в чем дело. Здесь, на краю земли, лишними церемониями не злоупотребляли, и повадки «белого дома» (а также и «красного») были хорошо известны населению.

Через минуту мы уже были вчетвером в машине с завешанными шелковыми шторками окнами: я, два рыцаря, бесстрашно осуществляющие опасную операцию по задержанию видной террористки, и мой младший сын, которому довелось в семнадцатилетнем возрасте уже вторично провожать мать в тюрьму. Он казался сейчас совсем мальчиком. У него тряслись губы, и он повторял: «Мамочка... Мамочка...»

Мучительным внутренним усилием я старалась сосредоточиться на практических мыслях. Ведь я должна была тут же, за оставшиеся несколько минут решить, какие инструкции дать Васе. Сказать ему, чтобы телеграфировал на материк, а получив деньги на обратный путь, возвращался в Казань? Или сказать, чтобы он оставался здесь до конца десятого класса? Ведь Юлина буква К еще не скоро. Может, и до весны дотянут... Но если возьмут Юлю, то отнимут комнату, и Вася может остаться не только без хлеба, но и без крыши. Что сможет сделать для него при этом заключенный Антон? За Тоню в этом смысле можно было не беспокоиться — сыта и в тепле будет. Хорошо, что я отвела ее как раз сегодня в детский сад...

Обыск проводился как-то небрежно, точно нехотя. Управилась за пятнадцать минут, которые я использовала, чтобы собрать себе узелок и показать Васе, где его белье и одежда. Денег, как назло, совсем не было, зарплату должны были выдавать завтра. Я написала Васе доверенность, но не была уверена, что деньги отдадут. Если судить по тридцать седьмому, то ничего не выйдет: тогда у нас пропали и вещи, и книги, и зарплата, и гонорары...

— Подпишите протокол обыска, — приказали рыцари. — Изъято четырнадцать листов материалов...

— Господи, да какие же это материалы? Ведь это сказка «Кот в сапогах»! Я ее переделала в диалогах для кукольного театра.

— Там разберутся, что для детей, а что для взрослых, — загадочно протянул старший рыцарь. Потом он вдруг начал корить Васю, который не мог сдержаться слез:

— Стыдитесь, молодой человек! Вам семнадцать лет. Я в ваши годы уже семью кормил . . .

Васька сорвался. Ответил грубо:

— При этой профессии семью прокормить нетрудно. А я четырех лет остался круглым сиротой, а теперь, когда с таким трудом добрался наконец до матери, вы снова отнимаете ее . . .

И тут молодой рыцарь не выдержал. В нем проснулось что-то человеческое.

— Ненадолго, — пробурчал он, — не расстраивайтесь, это совсем не то, что в тридцать седьмом. Новый год встречать будете вместе. И не езжай никуда, парень! Кончай десятый здесь, а то год потеряешь . . .

Я, конечно, не поверила ни одному его слову. В тридцать седьмом тоже вызвали на сорок минут. Но хорошо, что хоть лжет благожелательно, успокаивает Васю.

Я наконец решаюсь дать Васе совет, как быть. Пусть он pošлет моей сестре телеграмму, что я опасно больна, пусть попросит денег на обратный путь. Но когда получит деньги, пусть положит их на книжку и продолжает учиться в Магадане. А деньги — для страховки. Чтобы в случае крайней необходимости было на что уехать. Он понимает намек на возможный арест Юли и кивает мне в знак того, что понял. Молодой рыцарь ворчит: «Никуда ехать не придется . . .»

Мы подписали протокол обыска и изъятие «Кота в сапогах». Я узнала таким образом фамилии рыцарей. Молодой — Ченцов, постарше — Палей.

Я обнимаю Ваську. Выходим в коридор. Из всех дверей — испуганные лица. Анна Феликсовна, старуха-немка, живущая у Иоганны, удивленно говорит вполголоса: «Опять за старое? Опять матерей от ребят уводят?»

В машине со мной рядом усаживается Палей. Ченцов — с водителем. Поднимаю глаза на наше окно и вижу, что Васька отодвинул стол и вплотную приник к стеклу. Это видение было потом моей смертной мукой в тюрьме. Даже сейчас, много лет спустя, писать об этом больно. Стараясь полаконичнее.

Мы остановились у «белого дома». Плохой признак. По нашему зковскому телеграфу передавалось, что именно «в белом» — избранное общество. «Красный дом» — рангом ниже, он для более массовых акций. Еще более массовых! «Белый дом» ранит меня еще и потому, что это — бывшее помещение Маглага, где сидела Гридасова и где мне в прошлом году удалось получить разрешение на въезд Васи. Ради нового всемогущего министерства потеснили даже колымскую королеву. С какими надеждами я сходила с этого крыльца в прошлом году!

Меня заводят в машинописное бюро, где мои рыцари оформляют еще что-то бумажное насчет меня. А я сижу на табуретке в ожидании отправки в тюрьму. Машинистка неопытная, стучит двумя пальцами, то и дело испытывает орфографические сомнения.

— «Произведенный» — два НЫ или одно? — с детской доверчивостью вопрошает она Ченцова, а тот бросает пытливый взгляд на меня.

— Д-два, — неуверенно говорит он с вопросительной интонацией. И я подтверждаю кивком головы. Да, два НЫ . . .

Мне почему-то вдруг делается жалко и Ченцова и машинистку. Бедные люди! Ничего-то не знают . . . Ни сколько НЫ, ни что такое хорошо, ни что такое плохо. Но эта неожиданная жалость так же внезапно сменяется раздражением против бессмысленно-голубых, газированных глаз машинистки, против таких же газированных, только черных, сапог Ченцова, нелепо вылезających из-под штатского пальто. Хоть бы уж скорей в тюрьму, в общую камеру, к своим . . .

В канцелярии тюрьмы пахнет пылью, табаком, чесноком, влажными солдатскими шинелями. Какой-то истукан с физиономией пожилого усталого дога шарит по моим карманам и долго глубокомысленно разглядывает целлулоидную кукольную ногу, которую Тоня оторвала от своего голыша, а я сунула в карман, чтобы потом попытаться приделать. Истукан должен составить список изъятых при поступлении моих «личных вещей». Он уже записал: «Шпилек головных — три (в скобках прописью — три), карандаш химический — один (опять в скобках прописью — один)». А вот дальше он в затруднении. Как записать кукольную ногу? Он смотрит ее на свет. Ничего . . . Просвечивает . . . Послюнив толстый палец, трет ее. Опять ничего . . . Не меняет консистенции . . . Наконец он спрашивает: «Это чё у вас?» И с облегчением вздыхает, услышав мой ответ: «Обломок игрушки». Формулировка подходит для списка. Под сведениями о химическом карандаше появляется строчка: «Обломок игрушки». И опять-таки неуклонно прописью — один.

Но на этом процедура по охране государственной безопасности еще не окончена. В действие еще вводится неопрятная баба, в задачу которой входит «личный обыск». Устанавливаю, что техника этого дела за последнее десятилетие ничуть не изменилась, нимало не продвинулась вперед. Баба действует точно так же, как ее коллеги в Бутырках, Лефортове, Ярославке. Разве что более провинциальна в повадках.

Короткий переход по сводчатым гулким коридорам. Тарахтенье ключей. Взвизг камерной двери. Ужасная камера! Вонючая, сырая, тесная. От каменного пола — хватающий за пятки холод.

Из передвигаемой мебели — одна параша. Уродливое окно. Оно, правда, довольно большое, доступное дневному свету. Пламенистый круг отраженного солнца словно печать, которой мы снова отгорожены от мира жизни.

— Женя! Женя!

Это хором и поодиночке твердят заключенные женщины. Они мне знакомы, все до одной. Это повторницы. Наши, эльгенские. Они теребят меня, расспрашивают, требуют информации. Я кратко объясняю им, кто взят за последние дни, какая погода на улице, что пишут в газетах, чем торгуют в магазинах. Но им этого мало. Прежде всего они хотят знать, почему взяли именно нас, а не других лиц той же преступной категории. Из допросов, которыми они тут подвергаются, это абсолютно не проясняется.

Перебивая друг друга, они высказывают разные глубокомысленные соображения по этому поводу. Интереснее всех соображения Гертруды. Она вещает со вторых нар, как пророк Моисей с горы Синай. Недаром она доктор философии, да еще коренная германская немка, райхсдойче. Фрау доктор выводит наши аресты прямиком из Марксовой теории познания, ленинской теории империализма, а также из последней встречи итальянского и афганского министров иностранных дел.

Пока она проповедует, я проверяю остроумную догадку старика Уманского. Та-а-ак . . . А . . . Алимбекова, Артамонова . . . Б — пожалуйста — Барток, Берсенева, В — Васильева, Виноградова, Вейс . . . Г — Гаврилова, Гинзбург . . .

— Хватит, Гертруда, — говорю я, устало махнув рукой. — Оглянись вокруг и перейди от теоретических обобщений, так сказать, к эмпирическому восприятию реального мира.

Она понимает меня по-своему и шепчет по-немецки:

— Если знаешь что-нибудь важное, не говори вслух. Тут есть разные . . .

— О Господи! Опять . . . Тринадцатый год сидишь, и все тебе кажется, что все кругом разные. Только ты не разная . . . Достойная секретов и государственных тайн . . .

— В чем дело? — обиженно осведомляется Гертруда.

— Да в том, что по алфавиту! Не смотри на меня как на безумную! Повторников арестовывают по алфавиту! Вот оглянись кругом . . . А, Б, В, Г . . .

В этот момент дверь камеры снова раскрылась, и мы увидели стоящую на пороге незнакомую бледную женщину средних лет.

— Как ваша фамилия? — почти хором спросили мы.

— Голубева, — ответила она тихо, — Нина Голубева из Оротукана.

В камере воцарилась мертвая тишина.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ДОМ ВАСЬКОВА

Самое страшное — это когда злодейство становится повседневностью. Привычными буднями, затянувшимися на десятилетия. В тридцать седьмом оно — злодейство — выступало в монументально-трагическом жанре. Дракон полыхал алым пламенем, грохотал свинцовыми громами, наотмашь разил раскаленными мечами.

Сейчас, в сорок девятом, Змей Горыныч, зевая от пресыщения и скуки, не торопясь составлял алфавитные списки уничтожаемых и не гнушался «Котом в сапогах» как вещественной уликой террористической деятельности.

Скучно стало не только на поверхности Драконова царства, где с каждым днем уменьшалось количество слов и оборотов, нужных для поддержания жизни, но и в его подземных владениях, в его Аиде, где тоже воцарилась банальная унылость.

Тогда, двенадцать лет назад, арест стал открытием мира для правоверной хунвейбинки, которая пятнадцатого февраля 1937 года переступила порог тюрьмы на казанском «Черном озере». Раскрылось неизвестное и даже неподозреваемое подземелье. Пробудилась совсем было атрофированная потребность находить самостоятельные ответы на проклятые вопросы. Жгучий интерес к этому первооткрытию пересиливал даже остроту собственной боли.

Теперь я не находила в себе ни любознательности, ни даже любопытства, ни интереса к душам палачей и жертв. Все было уже ясно. Я уже знала, что все строится по трафарету, мне были известны расхожие стандарты гонителей и гонимых.

Теперь, в сорок девятом, я уже знала, что страдание очищает только в определенной дозе. Когда оно затягивается на десятиле-

Теперь, в сорок девятом, я уже знала, что страдание очищает только в определенной дозе. Когда оно затягивается не десятилетия и вырастает в будни, оно уже не очищает. Оно просто превращает в деревяшку. И если я еще сохраняла живую душу в своей «вольной» магаданской жизни, то теперь-то, после второго ареста, одереveneю обязательно.

Вот я лежу на верхних нарах между Гертрудой и Настей Берсеновой, и единственное, что я испытываю — это отвращение. Ко всему. К нищенскому пайку неба из-за решетки и деревянного щита. К разглагольствованию Гертруды и к возгласам Ани Виноградовой, которая с утра до вечера подробно и смачно прокликает следователей. К себе самой. Одно омерзение . . .

Еще за год до второго ареста меня приводило в трепет само

название «дом Васькова». Когда о человеке говорили «Он был в доме Васькова», — это значило, что он прошел более высокий, нам неизвестный круг ада. Слова «Дом Васькова» могли сравниться по своему зловещему звучанию только со словом «Серпантинка» — таежная тюрьма.

Но вот я лежу на нарах дома Васькова и не испытываю ужаса. Омерзение — да. А ужаса нет. Я уже деревянная, мне все равно. Меня теперь не столько потрясает главное, сколько раздражают отдельные детали. Вот, например, селедочный запах. У меня к нему идиосинкразия. Как бы я ни была голодна, я никогда и в руки не беру тюремную или лагерную селедку. А здесь и Гертруда и Настя, между которыми я лежу в положении спички между двумя другими спичками, каждое утро раздражают селедку пальцами. И их пальцы — а они на уровне моего лица — весь день и всю ночь источают тошнотворный рыбий жир. И мне кажется, что в доме Васькова нет ничего более ужасного, чем этот селедочный дух, помноженный на вонь парашаи.

Следствие? Это очень странное следствие. Вот как была «странная война», так это — «странное следствие». Его окутывает такая же липкая тягучая скука, какая оплела весь дом Васькова. Молодой следователь Гайдуков даже не прячет этой скуки. Он откровенно зеваёт, потягивается, а иногда, не выдержав, прямо в моем присутствии звонит по телефону в соседнюю комнату и делится с товарищем последними футбольными новостями. Стенки в «белом доме», куда меня возят на допросы, тонкие, я довольно хорошо слышу и без телефона, что отвечает насчет футбола другой молодой следователь, приятель Гайдукова.

Боже мой! Что сказали бы мои первые инквизиторы — Царевский, Веверс, майор Ельшин, если бы увидели все это! С каким азартом, гневом, коварством, а иногда и с притворной ласковостью они вели это дело! И все это для того, чтобы спокойный, слегка подверженный сплину Гайдуков переписывал спустя двенадцать лет каллиграфическим почерком эти пламенные протоколы!

Никаких новых обвинений мне не предъявляли. Никаких «признаний» не требовали. Все, что я говорила, Гайдуков без малейших извращений безропотно записывал в протокол. Даже записал мои слова о незаконных методах следствия в тридцать седьмом году. Тогда я еще не знала выражения «до лампочки». Но ему безусловно все было именно до нее.

Однажды, подписывая что-то, я заметила, что в папке лежит бумажка, видимо послужившая для мотивировки моего нынешнего ареста. Я успела прочесть слова: «... по подозрению в продолжении террористической деятельности».

— Да что же это такое! — не сдержалась я. — Это в детском саду, что ли, я террористическую деятельность продолжала?

Гайдуков равнодушно скользнул глазами по бумажке и, не повышая голоса, ответил:

— Так это же просто для оформления . . . А что же вам писать, когда у вас старая статья пятьдесят восемь-восемь и одиннадцать? Террористическая группа . . . Шпионаж или вредительство ведь не напишешь, правда?

Вообще он был, что называется, безвредный парень, службист. Он разрешил мне получать из дому передачи. И я получила узелок, весь состоящий из съедобных символов. Два лагерных пончика. Это знак, что Антон ходит к Васе. Это он принес со своего карпункта премиальное докторское блюдо лагерного меню. Два бутерброда с яйцом и килькой. Такие продают в школьном буфете. Значит, Вася продолжает ходить в школу. Наконец варенные в постном масле кусочки теста, так называемый «хворост», — Юлино фирменное блюдо. Знак того, что Юлька пока дома.

Однажды мне на редкость повезло. Меня повезли на допрос не ночью, как обычно, а среди белого дня. И выходя из ворот дома Васькова, я увидела своего Ваську, стоящего с узелком передачи у вахты. И он увидел меня. Меня охватила короткая, но острая радость. Вот он — жив-здоров и неплохо выглядит. Не улетел на материк, не растерялся, не бросил последний класс школы. И ходит к матери с передачей, не боится, а если и боится, то преодолагает свой страх, хоть, может, его и терзают за это в комсомольской организации.

И я широко улыбнулась ему, садясь в машину, и рукой поманила. (Потом, когда встретились, он все удивлялся: почему ты такая веселая была?)

Но прошла эта минутная утеха, и снова — беспробудное отчаяние. Опять, опять заключенная . . . Опять привычное выматывающее ощущение конвоя за спиной. Точно и не прерывалось. Ночные бессонные мысли шли теперь сплошным некрологом. И так и этак поворачивала свою жизнь, но любой поворот вел к единственной избавительнице — смерти. Ведь нельзя же в самом деле дать им в руки вторично, вновь пойти по эльгенским кругам. Нет, я не думала о самоубийстве, тем более — о конкретных его формах. Я знала, что это не потребует. Достаточно было только перестать сопротивляться ей — и она придет.

Как потом выяснилось, нас арестовали **ВСЕГО ТОЛЬКО** для того, чтобы оформить нам по приговору Особого совещания МГБ вечное пожизненное поселение. Для этого требовалось переписать старое дело, отправить его фельдьегерской связью в Москву, дожидаться, пока там проштампуют (а очередь шла во всеоюз-

ном масштабе), и наконец получить приговор опять все при помощи той же неторопливой фельдъегерской связи. На это уходило пять-шесть месяцев . . . Полгода в доме Васькова!

Ах, если бы мы знали это! Если бы хоть догадывались о таких гуманных намерениях! Тогда хватило бы сил переносить эту камеру. Ведь поселение — не лагерь. Это без конвоя, без колючей проволоки, в своей конуре, со своими близкими . . .

Но следователи не имели права сообщать нам о том, что нам грозит и что не грозит. (Только мой молодой рыцарь госбезопасности Ченцов, обнаруживший при обыске у видной террористки «Кота в сапогах», пытался намекнуть нам с Васькой, что теперь «совсем не то, что в тридцать седьмом году». И хоть я тогда, наученная всей многолетней ложью, и не поверила ему, а ведь оказалось правдой. И я задним числом благодарна Ченцову за эту его человеческую попытку утешить и рада за него, что у него дрогнуло сердце, не выдержав нашего с Васей прощания.)

Но все это узналось позднее. А пока мы, несчастные обладатели фамилий с начальными буквами алфавита, так сказать, первопроходцы сорок девятого года, должны были на собственных судьбах узнать, каковы цели этой повторной акции. И нас терзал призрак нового лагерного срока. Мы ждали полного повторения всей программы тридцать седьмого, а это было свыше человеческих сил.

Поэтому я и готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, беды, обиды. И все свои великие вины. Читала про себя наизусть по-немецки католические молитвы, которым научил меня Антон. И впервые в жизни мечтала о церкви как о прибежище. Как это, наверно, целительно — войти в храм. Прислониться лбом к колонне. Она прохладная и чистая. Никого вокруг не замечать. Но чувствовать чью-то невидимую руку на своей голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи . . .

. . . Днем и ночью в камере спорили о том, что с нами будет. Назывались новые чудовищные сроки. Двадцать лет . . . Двадцать пять . . . Только Гертруда проявляла оптимизм. Уверяла, что будут созданы какие-то промежуточные формы гетто для бывших заключенных, нечто среднее между лагерем и вольным поселением.

— Цум байшпиль, колькоз «Красная репа», — заканчивала она на своем воляпюке. Это было не лишено остроумия, и главное — всем хотелось, чтобы это было правдой. С тех пор разговор, о том, что нас ждет — лагерь или поселение — формулировался кратко: Эльген или «Красная репа»?

Наступили ноябрьские праздники. В соответствии с лучшими традициями начальство дома Васькова отметило их гигантским обыском. Следователи не работали три дня, никуда никого не вы-

зывали, и тоска, охватившая герметически закупоренную камеру, как бы материализовалась, стелясь по полу грязными пятнами.

И вдруг среди этой могильной тишины, в ночь на девятое, загрели замки, закричала ржавым голосом дверь камеры. Мень! На допрос!

Через минуту я уже жадно вдыхала морозный ноябрьский воздух, стоя у вахты в ожидании машины. Здесь возили на допросы на легковой. Я незаметно покрутила ручку, спускающую боковое стекло, и полакомилась кислородцем. Конвоир сделал вид, что не заметил.

Гайдуков после праздников был какой-то отекий и еще более равнодушный, чем обычно.

— Ну вот и оформили вас, — эпически сказал он, похлопывая ладонью по толстой розовой папке моего «дела». Это было то самое дело, заведенное еще в тридцать седьмом году. Только папка была новая, свежая, с четкой печатной надписью наверху: «Хранить вечно». Под этой надписью — другая, все через дефисы: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ. Если прикинуть литераторским глазом, то в папке не меньше двадцати печатных листов.

— Неужели все обо мне? — вяло поинтересовалась я.

— А то о ком же? — удивился Гайдуков.

Вдруг на его столе зазвонил телефон.

— Да, да, — несколько оживившись, подтвердил мой следователь, — да, у меня. Слушаю, товарищ полковник . . . Сию минуту, товарищ полковник . . .

Обернувшись ко мне, следователь сообщил:

— Вас желает видеть наш начальник — полковник Цирульницкий. Следуйте за мной!

У полковника был очень импозантный, почти вельможный вид. Он был в меру высок и в меру дороден, с орлиным носом, с живописной сединой в еще густых волосах. К его внешности подошла бы средневековая кардинальская мантия. Но орденские колодки, разноцветной мозаикой теснившиеся на его груди, напоминали, что заслуги его связаны отнюдь не со средними веками.

— Садитесь! — Это мне. — Можете идти . . . — Это Гайдукову.

Дальше пошло непонятное, необъяснимое! Полковник вдруг сбросил с лица всю важность и заговорил, называя меня по имени-отчеству, точно за чайным столом.

— Какой у вас чудный мальчик! Он приходил за разрешением на передачу. Я любовался им. И как смело он с нами разговаривает! Обычно ведь нас боятся . . .

Он произнес последние слова со странной интонацией. Не с важностью, не с самодовольством, а даже с каким-то оттенком горечи.

— У вас один мальчик? — спросил он.

Это был именно тот вопрос, которого я не могла перенести. Я долго молчала, мысленно твердя себе Васину просьбу: «Не плачь при них!» Пауза затянулась. Полковник с недоумением глядел на меня.

— Было два. После того, как вмешались в мою жизнь, стал один.

— Война?

— Блокада. Ленинград.

— Но ведь это и при вас могло случиться.

— Нет. Я бы из огня живого вынесла.

Теперь полковник смотрел на меня просто-таки с необъяснимым сочувствием. Я внутренне одернула себя. Что это я? Еще не изучила за двенадцать лет их ухватки? Сейчас, наверно, предложит освободить меня. В обмен на определенные услуги. И я отвечаю на добрый взгляд настороженным враждебным взглядом. Полковник усмехается.

— Не любите вы нас . . .

— И с чего бы . . . — непроизвольно слетает с моих губ. Тут же пугаюсь. Добился-таки он своего, сбил меня с официального тона. А сейчас, убедившись, что ничего со мной не выходит, начнет расправу. Вспоминаю рассказы о карцерах дома Васькова.

Но полковник и не думает злиться. Постукивает карандашом по настольному стеклу и задумчиво говорит, как бы размышляя вслух:

— Да, удивительный у вас мальчик. У меня такой же . . . То есть такой же по возрасту. А вот хватило ли бы у него смелости в нужный момент идти заступаться за отца в такое страшное место — этого я не знаю. Так что видите — в каждой беде есть и хорошая сторона. Теперь вы убедились, как ваш сынок вас любит.

Нет, оказывается, я еще не совсем одервенела. Слова о сыновней любви, да еще произнесенные полковником МГБ в «белом доме», вдруг потрясли меня. И я нарушила обет, не соблюла Васькину просьбу: заплакала при них.

Полковник с неожиданной легкостью встал со своего места, налил воды в стакан, поднес мне. Я судорожно глотала воду, стуча зубами о стекло. И вдруг различила совсем уж невыносимую в этих устах фразу:

— Я знаю, что вы ни в чем не виноваты . . .

Да что же это такое? Какое-то уж совсем чудовищное коварство? Или . . . Или . . . Неужели искренно?

— Да, я это знаю, — продолжал полковник. — Но сделать из этого все выводы — выше моих возможностей. Однако облегчить ваше положение могу. И сделаю это. Вот читайте!

Он вынул из ящика папку с бумагами. Протянул мне эту папку и подвинул ближе настольную лампу.

Я долго читала механически, от волнения не в силах связать казенные слова в смысловое целое. Фразы пузырились и лопались, не оставляя следа. Но вот наконец кое-что проясняется.

Бумага адресована в Особое совещание при МГБ СССР. Это копия той, что уже отправлена в Москву. «Направляется дело такой-то по обвинению» . . . бу-бу-бу-бу-бу . . . Ну, это все условный код, применяемый в царстве Змея Горыныча. Но вот и суть! «Для ссылки на поселение» . . . Ссылка на поселение! Колхоз «Красная репа!» Спасибо! Значит, не Эльген, не лагерь, не ключая проволока . . . Значит, небо надо мной будет открытое?

Поднимаю на полковника счастливые глаза.

— Поселение? Вольное поселение? С семьей можно?

— Да. И из тюрьмы вы тоже скоро выйдете. Осталось несколько дней.

Он протягивает мне другую бумажку. Это копия письма, посланного им прокурору. Он ходатайствует, чтобы в отношении меня была изменена «мера пресечения», чтобы «содержание под стражей заменить подпиской о невыезде». И мотивирует просьбу тем, что остался без средств к существованию несовершеннолетний сын.

— Видите? Я превратил вашего семнадцатилетнего сына в ребенка, чтобы вас выпустить.

— И что прокурор?

— Согласен. Я говорил с ним сегодня. Но официальной резолюции еще нет. Обещал завтра. Ну, пока бумагу проведут через все канцелярские каналы, пройдет еще дней пять. Считайте, что через неделю будете дома, с сыном. Вас вызовут с вещами. Это будет — на волю. Работать будете на старом месте.

У меня мелькает мысль — попросить его тут же дать разрешение на удочерение Тони. Но он уже нажал кнопку звонка, и в дверях уже стоит пришедший за мной конвоир.

— Уведите арестованную, — приказывает полковник, почти не разжимая губ. Лицо у него снова вельможное, непроницаемое. И все, что он сейчас говорил мне, кажется какой-то фантазмагорией, сном, увиденным на ходу.

В камеру я возвращаюсь на рассвете. Уже раздают кипяток, хлеб, селедку. Проходя по тюремному двору, я только что хлебнула свежего ноябрьского воздуха, и после этого едкая селедочная вонь валит меня с ног. И вообще после эфемерных видений, показанных мне полковником Цирульничкиным, реальность камеры еще более непереносима.

— Ты бледна как смерть, — говорит Гертруда, — что они сказали тебе?

— Потом . . . — отвечаю я и, отказавшись не только от сиденья, но и от хлеба, ложусь на нары и закрываю глаза.

Чтобы не сглазить, не разрушить мечту, я решила никому не говорить о странном поведении полковника.

День. Второй. Третий. Надежда и отчаяние. Отчаяние и надежда. Вокруг меня люди, лежащие плотно, как кильки в банке, а я чувствую себя одинокой, как единственный фонарь на пустынной площади.

На четвертый день мне принесли очередную передачу — узелок с едой. Это был знак полного поражения. Ведь если бы меня действительно собирались выпустить, то передачу не приняли бы. Значит, ничего не вышло. Наверно, прокурор не подписал.

К концу пятых суток, ночью, когда от тоски я ощущала корешок каждого волоса на голове, я не выдержала: разбудила Гертруду и рассказала ей весь разговор с полковником.

— О Женя! Ви думм бист ду! — воскликнула Гертруда и произнесла целую речь, в которой выражала изумление, что я могла хоть на минуту довериться таким полковничьим речам. Ну ясно, хотел что-то прощупать . . . Втереться в доверие. Расположить к себе. Ничего не требовал? Подожди, еще потребует . . .

Я устыдилась. Действительно, нет пределов моей глупой доверчивости. Даже ортодоксальная Гертруда реально смотрит на «гуманизм» тюремщиков. И все же . . . Сотни раз я точно проигрывала пластинку, мысленно воспроизводя все речи полковника. Ведь не во сне же . . . Хорошо, пусть врал. Но ведь бумагу про ссылку на поселение я читала собственными глазами. Впрочем, что им стоит сфабриковать любую бумагу?

И еще пять дней. Только девятнадцатого ноября, когда я окончательно и безвозвратно окунулась сожженной душой в тюремное полубытие, только тогда и раздалась эти уже не чаемые слова: «С вещами!»

В ответ вскочила не я одна. Все мои соседки повскакали со своих мест. Потому что это было эпохальное событие для всех нас. Отсюда еще никого не брали с вещами. Значит, судьба одной уже решена. И это эталон всех остальных судеб.

Конвоир стоял в дверях все время, пока я собирала вещи, так что обменяться какими-нибудь словами мы не могли. Да и не нужны были слова. Понятны были взгляды. «Сообща как-нибудь . . .» «При малейшей возможности . . .»

Через несколько минут я была уже в конторе тюрьмы. Там сидел тот самый истукан, что месяц назад составлял опись моих «личных вещей». Сейчас он щепетильно выложил их передо мной: мои три шпильки, один химический карандаш и — главное — целлулоидную пухлую ногу Тониного голыша. Обожаю строгую законность!

— Распишитесь!

Вошел мой следователь Гайдуков. Я даже не подозревала, что у него может быть такое веселое доброжелательное лицо.

— Ну вот и все, — сказал он. — Обедать будете уже дома. Сейчас заедем вместе на машине в прокуратуру, я возьму там на вас бумажку и тут же высажу вас и отпущу на все четыре стороны. В пределах Магадана, конечно . . .

Увидав его благодушное настроение, я задумываю сложное дело.

— Гражданин следователь! Я забыла в камере очки. Без них я не могу читать.

Это была наглая ложь. В то время я еще очками не пользовалась. Гайдуков послал истукана в камеру, но тот возвратился, естественно, ни с чем. Мифических очков не нашли.

— Разрешите мне самой на минуточку. Вместе с конвоиром. Я ничего не буду говорить.

Это полное нарушение режима. Но Гайдукову сегодня хочется быть добрым до конца. Он идет со мной сам. Отчаянно торопит, но я, роясь на верхних нарах, успеваю шепнуть Гертруде заветный пароль — «Красная репа». Теперь хоть они не будут бояться новых лагерных сроков.

За те десять минут, что мне приходится ждать Гайдукова в машине, остановившейся возле здания прокуратуры, все демоны снова неистово впадают в мое сознание. Десятки предположений, одно другого страшнее. Вот сейчас выйдет и скажет, что прокурор отказал. И обратно в тюрьму. Или коварно ухмыльнется и объявит, ради какой дьявольщины полковник Цирульницкий был так добр ко мне. Я совершенно не могу себе представить, что бы это такое могло быть, но уж наверняка самое беспробудное, беспросветное, бессовестное . . . А тогда, значит, опять-таки останется только смерть.

— Можете идти домой, — говорит, открывая дверку машины, Гайдуков. И таким добрым голосом говорит, что я краснею от своих предположений. Вот во что я превратилась! Уж до того замаяла меня жизнь, что я совсем потеряла способность верить во что-нибудь хорошее. А между тем вот оно — чудо! Я иду домой. Домой! Кто-то помог мне выбраться из пропасти, а я, вместо того чтобы благодарить и размышлять, что даже в главной резиденции Змея Горыныча есть люди, не лишенные доступа к добру, — вместо всего этого я судорожно ищущу подвохов, подставленных ножек.

— Спасибо, — искренно говорю я, адресуя эти слова не Гайдукову, а куда-то поверх его головы.

— На здоровье, — улыбается он и добавляет: — Завтра при-

ходите к часу в «белый дом», ко мне, чтобы оформить подписку о невыезде.

Эмгестистская легковая машина исчезает за углом, а я остаюсь на мостовой с большим плохо связанным узлом в руках. Боясь неожиданных этапов, мои домашние натаскали мне в тюрьму всяких теплых тряпок, и вот теперь я изнемогаю под тяжестью этого груза. Да и от воздуха отвыкла за этот месяц в зловонии васьковской камеры. Еле иду. Голова кружится, ноги подкашиваются.

Совсем обессилев, ставлю узел на землю и останавливаюсь перевести дух. Вдруг слышу тихое «ох!». Около меня остановилась наша методистка из дошкольного методкабинета. Та самая Александра Михайловна Шильникова, что делала доклад о трогательной любви детей к Великому и Мудрому. Она смотрит на меня, и я словно впервые вижу ее типично уральское высоколобое лицо с мягким ртом и большими круглыми глазами. Оказывается, очень человеческое лицо, если с него смыть официальный служебный налет.

— Отпустили? — допытывается она. — Совсем отпустили?

— Насчет «совсем» ничего определенного сказать нельзя. Но и «пока» — тоже неплохо. Пока отпустили. Вот пытаюсь добраться домой . . .

— Давайте я помогу нести узел. Вы, видно, очень ослабли . . .

Мы медленно поднимаемся в гору, приближаясь к нашему Гарлему. И Александра Михайловна, методистка, от которой я за два года слышала столько узорчатых слов о задачах дошкольного воспитания, тащит мой пыльный тюремный узел, предлагает денег взаймы, сует мне в карман какие-то свертки из своей хозяйственной сумки. Вот, оказывается, какие настоящие зеленые ростки у нее в душе, глубоко внутри, под слоем бумажных гофрированных мертвых цветов.

(После двадцатого съезда, после чтения доклада Хрущева, Александра Михайловна подошла ко мне как-то и сказала: «Боже, как я была близорука! Как идеализировала этого человека! — (Она теперь даже не могла выговорить еще недавно дорогое ей имя.) — Вы, наверно, зная все, считали меня безнадежной . . .» «Нет, — ответила я, — за вами ведь заячий тулупчик . . .» «Какой тулупчик?» — «А узел-то мой тюремный . . . Помните, помогали тащить . . .»)

Уже неподалеку от нашего барака мы вдруг встретили Ваську. Он шел нам навстречу со своим школьным приятелем Феликсом Чернецким. От неожиданности мы не сразу бросились друг к другу.

(Потом Вася рассказывал, что Феликс, увидев меня, сказал:

«Вон идет твоя мама». А Вася принял за шутку и резко сказал: «И не стыдно издеваться над ТАКИМ?»)

— Вася!

И опять у него стало совсем детское лицо. Как тогда, когда меня уводили.

— Мамочка!

Ах, до чего же уютен наш закопченный кривой коридор! Как домовито и оседло пахнет жареным луком! И как родны мне все эти люди, тут же набежавшие к нашим дверям!

Антон придет только вечером. Он шагает ежедневно по восемь километров пешком, носит Васе свой лагерный ужин. Тогда я побегу сейчас же в детский сад, за Тоней, чтобы вечером мы были опять все вместе. Все вместе.

В детском саду мертвый час. Дети спят. Зато все воспитательницы, няни, сестры окружают меня с таким искренним теплом и сочувствием, что как бы стирают с моей души все, что на ней накопилось за этот месяц в доме Васькова. Узнаю, что в праздник они носили Васе гостинцы — пирожки, конфеты . . . Как добры люди! Вчерашние мысли о смерти кажутся мне невозможными, точно это и не приходило мне в голову . . .

Няня из Тониной группы кается и просит прощения. Так ревели девчонка, маму звала, что пришлось ей соврать: умерла, мол, мама, не придет больше

— Не ждали ведь вас обратно-то . . . Уж извините . . .

По пути домой Тоня, вцепившаяся в мою руку мертвой хваткой, болтает о разном, но время от времени переспрашивает: «А ты больше не умрешь?»

Юля обязательно хочет сделать Антону сюрприз, и вечером, перед его приходом, она приказывает мне взять Тоню на руки и посидеть за ширмой. И хотя я с большей радостью встретила бы его даже не в комнате, а в коридоре, но Юльке отказать не могу. Пусть потешится.

Я слышу, как Антон входит, снимает галоши у дверей, тяжело вздыхает, кладет что-то на стол и напоминает Васе, что завтра в тюрьме день передач. И вдруг Тоня не выдерживает конспирации.

— А мама больше не будет умирать, — объявляет она, соскакивая с моих колен и выбегая из-за ширмы.

Антон так дергает ширму, что она падает на пол с ужасным грохотом. На шум опять сбегаются соседи.

— Ты? Ты? — повторяет Антон.

Соседи вокруг нас утирают слезы. А мы с Антоном не плачем. Он все твердит: «Как исхудала!» А я: «Ничего, поправлюсь . . .»

Ночь. Антон ушел в лагерь, Юля — в цех, в ночную смену. Тоня спит на кушетке. Только мы с Васькой все говорим, лежа

в постелях. Уже несколько раз он желал мне спокойной ночи, но разговор вспыхивает все снова и снова.

Наконец я засыпаю, сохраняя даже во сне чувство острого физического наслаждения от чистой простыни и пододеяльника. Меня будит Васин голос.

— Мама, ты спишь?

— Да. А что?

— Ничего. Я только хотел сказать: спокойной ночи, мамочка . . .

И через полчаса опять:

— Спокойной ночи, мамочка . . .

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Улеглось первое радостное возбуждение после неожиданного освобождения из тюрьмы. Наступила реакция. Я просыпалась по утрам бледная, с отеками веками, с головной болью. И опять, опять с сознанием обреченности.

Из-за окна навстречу мне поднимался декабрьский колымский рассвет. От него нельзя было спрятаться. Надо было выходить на улицу, вступать в соприкосновение с людьми, узнавать новости.

Новости отличались однообразием. Строгий алфавитный порядок не нарушался. Каждый день брали новую пачку повторников. Оставалось только удивляться, как им удается затолкать столько человек в ограниченное пространство дома Васькова. Наверно, лежат уже и под нарами. С каждым днем алфавит все ближе подходил к Юлиной букве К. По вечерам, перед сном, Юля давала инструкции.

— Если сегодня возьмут, то имей в виду: мои меховые варежки в починке. Заберешь из мастерской и принесешь. Хлеба не носи, пайки хватит. Но сахар — обязательно. Без сахара я совсем дурею . . .

И я уже не отвечала теперь: «Не говори глупостей», а лаконично соглашалась: «Хорошо, принесу».

Первое время после моего выхода всех очень поддерживало мое достоверное сообщение о том, что речь идет только о поселении, что лагерных сроков никому не дадут. Но потом радужные мечты о «Красной репе» стали как-то линять перед реальной перспективой дома Васькова, да еще неизвестно на какой срок.

Васька ходил мрачнее тучи. Оставалось полгода до окончания средней школы, а он вдруг зарос тройками. На мою попытку завести об этом разговор — огрызнулся:

— ЭМГЕБЕ, что ли, о моих отметках тревожится?

Отвечать было нечего. Действительно, эмгебе вошло в нашу повседневную жизнь. Прежнего, доарестного, надзора можно было не замечать, он был секретным. Теперь за мной надзирали гласно, и тень «белого дома» лежала на нашем карточном домике, на нашем углу семейном счастье. За первую неделю после выхода из тюрьмы я ходила туда уже трижды. Первый раз — давать подписку о невыезде. Второй и третий — жаловаться на отдел кадров, не желающий восстанавливать меня на работе. А потом они просто приказали мне являться к ним два раза в неделю, пока не придет из Москвы решение по моему новому «делу».

По звонку «оттуда» меня восстановили на работе. Я снова играла на пианино, но то и дело ловила на себе жалостливые взгляды сослуживцев, слышала обрывки разговоров о том, что заведующая ищет нового музыкального работника. Она стала очень неохотно отпускать со мной Тоню.

— Чем больше привыкнет, тем больше будет отвыкать.

Антону тоже не удавалось теперь приходиться каждый вечер, потому что режим в лагере усилился в связи с приближением исторической даты — семидесятилетия Вдохновителя и Организатора всех наших побед, Великого Языковеда и Лучшего Друга советских физкультурников — Генералиссимуса Сталина.

Юля требовала, чтобы радио было всегда включено. У нее была теория: «Надо все слышать». И наш репродуктор надрывался с утра до ночи, извергая на нас потоки холуйского вдохновения по поводу тезоименитства Вождя. Семидесятилетие праздновали чуть ли не неделю подряд. Вакханалия восторгов и изъяснений в любви и преданности длилась часами. Каждый народ шаманствовал по-своему. Азиаты били в тамбуры и цокали языками. Сибиряки истошными голосами вопили насчет просторов родины чудесной, на которых они, дескать, сложили радостную песню о великом друге и вожде. Рязанцы и воронежцы отбивали в честь Генералиссимуса какую-то особенно дробную чечетку, прерывая гармонику лихими взвизгами. Потом транслировалось народное гулянье на Красной площади, громовые оркестры и хоры. Все это шло крещендо, и не видно было этому крещендо предела.

Сейчас это кажется уже почти невероятным. Уж не приснились ли нам тогда эти шаманские свистопляски, под которые уходил с исторической сцены недоброй памяти год сорок девятый? Увы! Точность памяти подтверждалась всякий раз, когда еще совсем недавно мы случайно набредали в эфире на пронзительные дискантовые пекинские голоса, захлебывающиеся в пре-

восходных степенях, бьющиеся в конвульсиях любви к самому-рассамому Великому Кормчему.

... Двадцать пятого декабря сорок девятого года умерла моя мама. Мой второй арест оказался той самой последней каплей, для которой уж не нашлось места в чаше. Как она металась, бедная, узнав из Васиного письма, что он остался снова без меня! Как пыталась оттуда, издалека, защитить, помочь! То посылала полузнакомым людям телеграммы, начинавшиеся со слова «Умоляю», то отваживалась, — сухонькая, почти семидесятилетняя, в драповом своем пальтишке с отделкой из тесьмы, — переступить порог грозного министерства, доказывая упитанным, отлично выбритым дежурным, что по всем законам мать имеет право хотя бы узнать, жива ли ее дочь и где она находится, если жива.

К счастью, она еще успела получить мое письмо о выходе из дома Васькова. И я тоже успела получить последнюю ее весть — тетрадный листочек в косую линейку. Крупно уже писала моя мама. Крупно и неровно. Жаловалась на левый глаз. Почти ничего не видит. Но правым она видела мой почерк, понимала, что я еще раз вышла живая, и потому писала: «Какое счастье!» За неделю до смерти так писала.

Она была совсем рядовой, никем не описанной матерью. Матерью заключенной. Свой безмолвный, неосознанный подвиг она совершала уже под старость, уже во вдовьи, бездомные свои годы. Не останавливали ее ни болезни, ни возраст, ни хроническое недоедание. Не было для нее в нашем фантастическом царстве Змея Горыныча недосыгаемых земель. Долгих тринадцать лет, день за днем, она отыскивала меня всюду, куда бы меня ни забросили. Если бы издать ее письма за эти тринадцать лет, получился бы человеческий документ разящей силы. Но письма отбирали при обысках, этапах, при втором аресте.

Не осталось писем. Остались только две фотографии. На одной — темноглазая задумчивая гимназистка тысяча девятьсот второго года. Эта гимназистка потихоньку читала не вполне понятную, но заманчивую своей запретностью «Критику Готской программы». На другой фотографии — скорбная старуха. Она досконально изучила правила переписки с заключенными, тоже не очень-то понятные. Она то и дело вступала в юридическое единоборство с Великим Душегубом, в чистоте своей искренно поражаясь тому, что он не хочет соблюдать даже собственные, им же созданные правила. В бесчисленных заявлениях она писала: «На основании пункта такого-то постановления такого-то, прошу предоставить мне разрешение на...»

Телеграмму о маминой смерти принесли двадцать шестого декабря. Репродуктор все еще надрывался в конвульсиях юбилейного ликования. Кто-то надсадно вопил «Да здравствует!», пере-

крывая голосом сводные оркестры. Да, он дожил до своего семидесятилетия. А она вот не дождала . . .

. . . Удар за ударом. Пришло постановление Особого совещания МГБ по моему новому «делу». Я была приговорена к вечному поселению в пределах Восточной Сибири.

Убийственным для меня, для всех нас, был, понятно, не самый факт пожизненной ссылки. Она, наоборот, была меньшим злом, сравнительно с призраком нового лагерного срока. Убивал адрес — Восточная Сибирь. Он означал полное крушение нашего карточного домика. Меня увезут, а Антон будет досиживать на Колыме в лагере свои оставшиеся четыре года. Потом и ему дадут вечное поселение в другом месте, не в том, где я. Вася останется совсем один, потому что Юлина буква, а с ней и дом Васькова, неотвратно приближается к нам. Тоню весной отправят в спецдетдом. Наконец, по общим отзывам, этап, предстоявший мне, был страшен. Кое-кто уже шел таким и мало кто остался в живых. В частности, жертвой такого этапа стал незадолго перед тем друг Уманского, молодой, талантливый Василий Куприянов.

Ирония судьбы состояла в том, что такой адрес вечного поселения я получила благодаря сочувствию и снисхождению полковника Цирульницкого. Он хотел облегчить мое положение, и потому мое дело оформлялось не на Колыму — места весьма отдаленные, а на Восточную Сибирь — места не столь отдаленные, материк все-таки. Откуда ему было знать все мои обстоятельства!

После получения приговора мой следователь Гайдуков предложил мне являться к нему на отметку через день. Этап в Восточную Сибирь пока откладывался из-за сильных морозов, но в любой час мог быть назначен.

Началась совсем чудовищная жизнь. В углу нашей комнаты стояли мои уже связанные этапные узлы. Каждое утро в день отметки я прощалась со всеми, как навсегда. А отыграв на пианино свои оптимистические марши и лирические песни, я напрямик бежала не домой, а в «белый дом» на отметку. Там-то, в коридоре, и увидал меня однажды полковник Цирульницкий.

— Что с вами? Больны? — спросил он, взглянув на мое заострившееся желтое лицо с черными подглазницами.

— Здорова. Ведь отчаяние нельзя считать болезнью.

— Почему отчаяние? — досадливо спросил полковник. — Ведь вам вынесли сравнительно мягкий приговор. Не Колыма с ее вечной мерзлотой, а Восточная Сибирь. Там лето настоящее, там овощи, там железная дорога. К вам приедут родные.

— У меня нет больше родных, которые могут приехать.

Полковник смотрел на меня с явным неудовольствием. Не возражений он ждал, а благодарности.

— Я здесь уже обжилась. У меня есть угол, работа, близкие люди. А там все заново: голый человек на голой земле, — попыталась я разъяснить.

После короткой паузы полковник распахнул дверь в свой кабинет.

— Зайдите! Если Колыма как место ссылки для вас предпочтительней, то напишите об этом заявление на имя Особого совещания. Мы отправим ваше заявление в Москву. Мотивируйте болезнью и невозможностью следовать этапом.

— А как же этап?

— Отсрочим до получения ответа . . .

От волнения никак не могу сформулировать текст заявления, и полковник диктует мне. «Ввиду резко ослабленного здоровья . . . Невозможность перенести дальний этап . . . Ввиду того, что сын учится в выпускном классе магаданской школы . . .»

— А дочка еще совсем маленькая, — добавляю я вдруг.

— Какая дочка?

И тут я обрушиваю на полковника историю Тони. Вот уж кто наверняка не перенесет этапа . . . А ее все время прочат в Комсомольск . . . Не хочет ли полковник взглянуть на девочку? Она здесь, сидит на стуле в коридоре, ждет меня.

— У нас? Ребенок?

— Ну да. Мне пришлось взять ее с собой, чтобы не возвращаться в детский сад. Я должна сегодня вести ее в баню.

— И что же, хотите официально удочерить?

— Попыталась. Отказали. Говорят, репрессированным нельзя.

Так состоялась первая встреча трехлетней Тони с всесильным министерством. Вот примерное изложение ее диалога с полковником.

— Здравствуй, Тоня. Скажи, не хочешь ли ты поехать в Москву?

— С мамой?

— Нет, со мной. Маме ведь надо работать . . .

— Без мамы не поеду.

— Гм . . . Жалко. А там в Москве есть цирк. А в цирке медведи, обезьяны, лисицы . . .

— У нас дома тоже есть кошка Агафья.

— Агафья? — переспросил полковник и взял телефонную трубку. Дозвонившись до отдела опеки и попечительства при горно, он отрывисто сказал, что к ним на днях обратится ссыльнопоселенка такая-то. По вопросу о девочке Антонине. Так вот — мнение МГБ — удовлетворить просьбу.

Представляю себе, как выкатила глаза та ушастенькая, похожая на летучую мышь, которая говорила мне, что меня надо бы лишить материнских прав даже на собственных детей.

Но что же все-таки происходило с полковником? Почему он выказывал такие далекие от его профессии чувства? Ведь сколько добра сделал мне этот человек, увешанный орденами за службу в органах! Выпустил из тюрьмы. (Другие в ожидании оформления вечной ссылки просидели не месяц, как я, а все пять-шесть месяцев.) Помог восстановиться на работе при активном сопротивлении отдела кадров. Взаялся хлопотать о перемене места ссылки и отсрочил этап. А теперь вот Тоня . . .

Тогда все это загадочное поведение было мне неясно. Только после отъезда полковника из Магадана я услышала, что во время моей эпопеи сорок девятого года полковник уже знал о своей близкой отставке. Он был ошарашен этим, душевно метался, не находя объяснений чинимой над ним «несправедливости», и, может быть, впервые задумался о судьбах других людей. Я просто попалась ему под руку во время его великого смятения чувств.

А то, что с ним случилось, было связано с другим землетрясением сорок девятого года, эпицентр которого находился на материке. До нас еще только начали доноситься слабые раскаты этого далекого грома. Дело в том, что у полковника, при всех его заслугах перед органами, был изъян в анкете. Изъян роковой и неустранимый. Он относился к пятому пункту анкеты — о национальной принадлежности.

Так или иначе, но через несколько дней после встречи Тони с полковником мы выходили с ней из Магаданского загса, унося с собой метрическое свидетельство, где в графе «Мать» значилось мое имя, отчество и фамилия. И хотя Юля продолжала твердить, что все это моя дикая фантазия, за которую мы все еще поплатимся, но и она вздохнула с облегчением, осознав, что мы больше не должны бояться детского этапа, висевшего над нами грозной тучей целых полтора года.

Сравнительно быстро, месяца через полтора, пришел и ответ на мое заявление в Особое совещание МГБ. Мне благосклонно разрешили остаться навеки на Колыме. Это событие мы шумно отпраздновали за семейным столом. Великое дело — теория меньшего зла! Я с радостью принимаю из рук коменданта бумажку — вместо вида на жительство, — в которой сказано, что я ограничена в правах передвижения семью километрами от Магадана, что я нахожусь под гласным надзором органов МГБ и обязана дважды в месяц являться на регистрацию. И что все это — пожизненно!

Радуюсь я совершенно искренно. Разве это не меньшее зло — остаться со своими близкими в уже обжитой конуре, работать в детском саду, быть окруженной многолетними товарищами по тюрьме и лагерю! А ведь могла быть Восточная Сибирь, с цинготно-дизентерийным голодным этапом, таким, в котором, корчась,

умирал друг Уманского Василий Куприянов. Могла быть новая неизвестная пустыня, в которой надо было начинать все сызнова — от крыши над головой до первого доброжелательного человека по соседству.

От формулировок «вечно» и «пожизненно» я тоже не приходила в отчаяние.

— Еще неизвестно, до конца ЧЬЕЙ жизни... Моей или ЕГО? — разъясняла я своим близким. — А он как-никак старше моей мамы...

Не успели нарадоваться на вечное поселение в пределах Колымского края, как подоспела еще одна радость. По той же теории меньшего зла. В доме Васькова произошел, выражаясь современным языком, демографический взрыв. В связи с абсолютным перенаселением тюрьмы наши местные эмгекбисты добились от Москвы разрешения оформлять повторников на пожизненное поселение без предварительного тюремного заключения. С этих пор всех подлежащих переводу на ссылку повторников перестали арестовывать. Их стали просто вызывать в «белый дом», где у них отбирали паспорта, брали подписку о невыезде и отпускали домой. А месяца через два, получив из Москвы оформленные дела, повторников вызывали вторично и вручали им вместо паспорта такой документ, каким уже владела я. К великой нашей радости, эта благодетельная реформа произошла на уровне буквы И. Так что до буквы К и, следовательно, до ареста Юли, дело не дошло.

Так — на редкость парадоксально — наш карточный домик не только выстоял в землетрясении сорок девятого года, но даже вроде бы и несколько укрепился.

Или, может быть, правильной сравнить нашу комнату с ковчегом, плывущим в первозданных волнах? Ну, если и так, то факт остается фактом: сотрясаемый толчками довольно высоких баллов ковчег наш вливался в новое десятилетие.

... Наступили пятидесятые годы. Пришла весна пятидесятого. Вася кончает школу. Замелькали, как в кино, быстро мелькающие кадры. Аттестат зрелости с жирной тройкой по физике. С такой анкетой да еще с тройкой! Как же в вуз попадать!

Выпускной вечер в школе. Сижу среди родителей выпускников рядом с полковницами и генеральшами. Слушаю, как длинноносенькая шустрая историчка призывает своих учеников не забывать наш светлый золотой Магадан, построенный руками энтузиастов. Гордиться, что учились в таком городе...

Я в своем самом парадном платье из последней предсмертной маминой посылки. Оно с плеча моей сестры Наташи и до этого вечера казалось мне вполне приличным. Но в соседстве с шелками, чернобурками и массой ювелирных изделий я выгляжу

самой затрапезной кухаркой, чьего сына выучили по милости господ.

(Вообще-то я дьявольски неблагодарна! Ведь именно эти тетки, так безвкусно расфуфыренные, проявили человечность: давали Васе за счет родительского комитета бесплатный обед, пока я сидела в доме Васькова.)

На выпускном вечере Васька впервые напился допьяна, и я волочила его по ночным улицам домой, видя себя со стороны в этой классически русской роли и горько всхлипывая на ходу. А наутро он совершенно по-ребячьи просил прощения и зарекался от повторения. Но я плакала неутешно.

На самом деле я плакала, понятно, не от Васиного дебюта по части выпивки, а оттого, что на меня снова надвигалось страшное испытание: день Васиного отъезда на материк. Как они пролетели — эти два года нашей общей жизни! И вот опять он уедет. И тосковать о нем, теперь уже таком моем, таком нашем, я буду еще больше, чем раньше тосковала об оставленном четырехлетнем.

Впервые мне показалось, что вечное поселение — пусть хоть и в пределах Колымы — не такая уж сладость. И хотя сын дает мне слово прилететь на каникулы, а я даю ему слово обязательно, чего бы то ни стоило, скопить денег на эту его поездку, но у обоих на уме: не вечная ли ждет нас разлука?

И вот он пришел, этот день. Магаданский аэропорт, тогда еще довольно пустынный. Вольные родители Васиных одноклассников, провожающие своих детей так же, как я, но, в отличие от меня, весело обещающие детям скоро приехать в отпуск на материк.

Посадка. Последнее объятие. Последние нелепые слова. Про галоши, кажется. Не забыл ли галоши? И маленькая точка в небе — гудящий шмель. Летит, унося от меня моего последнего кровного мальчишку, обломок моей настоящей семьи. А я стою одна-одинешенька на опустелом аэродроме, все смотрю вверх, хотя уже ничего не видно. Одна . . . Антону нельзя показываться в официальных местах, он попрощался с Васей накануне. Юля — на работе. Тоню я не взяла с собой, чтобы не плакала.

Улетел Васька. Точно и не было, точно приснился. Еле долакиваю до автобуса враз отяжелевшие ноги. Вхожу в комнату, которая тоже уже почти не моя, потому что мы с Тоней должны уехать отсюда, так как Юлька моя выходит замуж. Я рада за нее, за ее будущего мужа. Это очень степенный, рассудительный белорус, бывший учитель, работник минского горно. Отбыв свой срок, он не стремится теперь никуда. Дело в том, что до ареста, там, в Минске, он был женат на еврейке. Во время оккупации ее убили гитлеровцы. Заодно убили и двоих его детей — девочку и

мальчика, хотя они и числились по отцу белорусами. Добрый и тихий человек, он имел одну странность — не мог видеть маленьких девочек. Все они казались ему похожими на его пятилетнюю расстрелянную дочку. «Вы уж извините, что я с вашей Тоней не разговариваю. Не могу. Дочку напоминает».

Да, я рада была за Юлю, но уходить из нашей комнаты, где все было еще полно Васей, мне было тяжело. Старалась не показывать этого Юле, которая так активно помогала мне к тому же хлопотать насчет нового жилья.

В конце концов хлопоты увенчались успехом. В нашем бараке, на первом этаже, была огромная, как сарай, общая кухня. Вот от нее-то и разрешили отгородить фанерной перегородкой восемь метров.

Неприятно было в нашем новом доме. Всегда пахло убежавшими щами, горелым молоком, рыбой на постном масле. С раннего утра начиналась кухонная жизнь. Пятнадцать женщин — из них немало бывших уголовниц — во весь голос, не стесняясь в выражениях, обсуждали свои дела, скандалили, пели.

Антон, приходя по вечерам, утешал: скоро уже, вот выйдет он из лагеря, и мы сменим эту комнату на другую. Я устало улыбалась в ответ, как улыбаются ребенку, обещающему отрубить голову Змею Горынычу. До конца его срока оставалось еще больше двух лет. Да еще и выпустят ли его вообще? Ведь немец! А время-то какое!

Время, действительно, никак не утихало. Пятидесятый оказался ничуть не легче сорок девятого. наших бывших зэка переводили на вечное поселение во все возрастающей прогрессии. Многие после этого не оставляли в Магадане, отправляли поглубже в тайгу. Каждый день приносил новости, и все в одном плане. Покончили самоубийством Шура Сидоренко и Ганс Штерн. Они жили вместе уже несколько лет, любили друг друга с какой-то иступленностью. При получении ссылки на поселение каждого направили в противоположный конец колымской пустыни. Зарегистрировать их брак, чтобы можно было жить в ссылке вместе, не разрешили: он был австрийский подданный. Они натопили в своей халупе печку, закрыли трубу и умерли от угара. Повесился мой старый знакомый, беличчинский врач-терапевт Каламбет. Сошла с ума Тина Келлер. Нашу Гертруду тоже после выхода из дома Васькова не оставили в Магадане, а отправили в Омсукчан, и она писала оттуда необычные для нее письма: не очень-то старалась «теоретически обосновать» «данный этап», а просто горько жаловалась на тяжелое положение.

Зловещие новости добирались к нам и с материка. Сплошные мартирологи да списки повторно арестованных. Недаром я так боялась Восточной Сибири. Хоть она и считалась краем «не столь

отдаленным», но наши пропадали там с голоду, не получая работы, даже физической. Пропадали и с тоски, так как были разлучены со всеми многолетними друзьями по несчастью. Потрясло всех известие о самоубийстве Липы Каплан. Все ее помнили по лагерю как хохотушку, кровь с молоком, рубаху-парня. Бывало, Циммерманша как увидит Липу, так и гневается: «Цветете, прямо как на курорте!» Потом уж стали мы при появлении Циммерман кричать Липе: «Прячься, а то попадешь за свой румянец на Известковую!» Вот эта-то румяная хохотушка и выпила яд в ожидании второго ареста.

Можно ли было в непроглядной тьме таких новостей разглядеть какой-нибудь лучешек надежды? И я отмахивалась почти с досадой, когда Антон уже несколько раз повторял мне, что у него появилась надежда на досрочное освобождение. К чему такие детские разговоры! Хоть бы пересидеть не пришлось! Но он снова и снова подробно рассказывал, как ему удалось вылечить от многолетней экземы одного крупного начальника. Тот давно уже считал себя неизлечимым и сейчас просто ликовал от избавления. Он клялся, что освободит доктора досрочно, пусть тот хоть сто раз немец. Нет, я все равно не принимала этого всерьез. Уж очень не ложилось такое в цвет времени.

Но мы жили в стране парадоксов. И однажды, довольно поздно вечером, когда Тоня уже спала, а я еще дописывала, судорожно зевая, свои бесконечные «планы музыкальных занятий», в нашу новенькую фанерную дверь постучали. Это был какой-то странный стук. Торжествующий какой-то, вроде на мотив марша из «Аиды».

— Скажите, пожалуйста, не здесь ли квартира доктора Вальтера? — сказал Антон, протаскивая сквозь узенькую дверь свой деревянный лагерьный чемодан. — Мне кажется, что это квартира в о л ь н о г о доктора Вальтера . . . А вы, по всей вероятности, его супруга, фрау Вальтер?

Он сверкал зубами, громко хохотал, разбудил и растормошил Тоню, включил яркий верхний свет. Потом выложил на стол свою справку об освобождении. Это не был сон. Его действительно освободили досрочно, за два года до окончания его ТРЕТЬЕГО срока.

Теперь на своих восьми метрах околукохонного пространства мы зажили уже втроем. Антон работал как в о л ь н ы й врач в той же самой больнице, где практиковал еще как заключенный. Но для прописки его на м о е й п л о щ а д и от нас потребовали регистрации брака. Это было единственное право, которое давали поселенцам: право так называемого с о в м е с т н о г о п р о ж и в а н и я в зарегистрированном браке. Причем имелся в виду только новый брак, заключенный уже по месту ссылки. Матери-

ковские супруги, разлученные в тридцать седьмом, ни в коем случае не соединялись.

Мне не очень-то хотелось идти в загс. У меня были сложные мучительные чувства по отношению к моему материковскому мужу Павлу Аксенову, вернее — к памяти Павла. Потому что, независимо от того, жив ли он, я была твердо убеждена, что мы никогда не встретимся. В той, другой, в первой моей жизни, которая теперь казалась приснившейся, мы любили и понимали друг друга. Думаю, что мы никогда не расстались бы, если бы в это дело не вмешался Родной Отец, Лучший друг советских семей. И я продолжала любить Павла, как любят дорогого покойника. Странно, но мне казалось, что они с Антоном понравились бы друг другу. Я часто рассказывала Васе об отце в присутствии Антона, и он охотно поддерживал эти беседы. Не знаю, была ли я при этом преступницей и двоемужницей. Угрызений совести я не чувствовала. Но теперь, когда регистрация брака с Антоном стала практически вопросом дня, мне, по какой-то необъяснимой логике, вдруг показалось, что именно вот этой-то регистрации и надо бы избежать ради Павла. Как будто вмешательство загса наносило ему оскорбление.

Формально я могла считать себя вдовой, потому что еще в тридцать девятом, в ответ на мой запрос о судьбе мужа, мне дали справку: скончался от воспаления легких. Но после этой точной справки от него были письма. Когда погиб Алеша, мама телеграфировала мне: «Живи ради Васи, отца у него тоже нет». Но и после этого были слухи, что жив, что на Инте.

Антон, заметив, что я оттягиваю прогулку в загс, все понял без слов.

— Ведь это только чисто полицейская процедура. Чтобы избежать лишних страданий. А то у нас может получиться, как у Шуры с Гансом. Тебе дадут приказ — на запад, мне — в другую сторону...

В загсе от нас не потребовали никаких справок о судьбах моего мужа и первой жены Антона. Оказалось, что существует закон, разрешающий новый брак в случае десятилетнего безвестного отсутствия одного из супругов. А все заживо погребенные на одной из земель в царстве Змея Горыныча считались безвестно отсутствующими и для материка, и для других уголков Горынычева царства.

Вот так мы оказались к началу пятьдесят первого года обладателями нескольких солидных документов: брачного свидетельства, Тониной метрики, Васиного студенческого билета. Вася, несмотря на тройку, поступил в медицинский институт и на всякий случай выслал нам об этом справку.

Как ни скромны были все эти бумажки, но и они обладали

кусочком той чудодейственной силы, которую имеет в нашей стране бумага. Хоть и непрочный, но все-таки какой-то барьер для нашего карточного домика они создавали. По крайней мере теперь у нас были в запасе официальные ответы на подозрительные вопросы «А кто она (он) Вам?».

Неисповедимы извилины судьбы заключенных! Получилось, что наш карточный домик не только выстоял в землетрясение сорок девятого—пятидесятого годов, но даже укрепился, легализовался.

Впрочем, только до нового подземного толчка . . .

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

Новые преследования не заставили себя ждать. На этот раз несчастье непосредственно выросло из моих трудов праведных. Так как денег нам по-прежнему не хватало, а сейчас приходилось высылать регулярно Васе, то я не отказывалась ни от каких частных уроков. И хотя меня несколько смутило, что семья, на этот раз предложившая мне урок, была уж очень высокопоставленной, но я все-таки согласилась.

Это был, так сказать, второй по зажиточности в чиновном мире дом Колымы. Мне предложили урок в семье начальника политуправления Дальстроя Шевченко.

Жена этого начальника — красивая женщина с довольно интеллигентным лицом — увидела меня в нашем детском саду. Она ходила к нам как член женсовета. Ей понравились музыкальные занятия, особенно драматизация сказок. Мы играли «Волка и семерых козлят». Самого шустрого и сообразительного седьмого козлика играл Эдик Климов. Смотреть его сбегались все няни из групп и поварихи с кухни. Очаровал он и знатную даму. В перерыве она сделала мне предложение репетировать ее сына по-русскому, сообщив с горечью, что ее четырнадцатилетний мальчик интересуется только футболом.

Я уже слышала кое-что об этой даме от обслуживавших ее бывших заключенных. Говорили, что она резко отличается от других начальственных супругов. Читает книги, интересуется музыкой, а главное, проявляет необъяснимый интерес к своему обслуживающему персоналу. Человеческий интерес. Художница Шухаева рассказывала мне, что эта дама не только рассматривает у нее в дамском ателье новые выкройки, но и задает ей довольно осмысленные вопросы о живописи, о прошлом жизни Шухаевой в Париже. Свою маникюршу, известную у нас на Эльгене под именем «Крошка Альма», — веселую неунывающую толсту-

ху-латышку, — она, иронически улыбаясь, спросила, как это Альма при такой своей комплекции умудрилась стать диверсанткой . . . Своей прачке Ане Мураловой она сразу сказала, что знала ее мужа, расстрелянного в тридцать седьмом году бывшего начальника Московского военного округа. Похоже было, что огненное дыхание тридцать седьмого года если и не опалило ее, то пронеслось где-то поблизости, заставив вздрогнуть.

Я стала три раза в неделю подниматься на третий этаж правительственного дома. Проходила мимо двух охранников — по одному на каждом этаже, — предъявляя им записку моей нанимательницы: «Прошу пропустить учительницу».

С учеником мне приходилось трудно. Это был законченный оболтус, цинично ухмылявшийся в ответ на мои опасения, не рискует ли он остаться на второй год в том же классе. Он шурил свои красивые, как у матери, глаза и баянил: «Это было бы опаснее для учителей, чем для меня. Не хватает им того, чтобы сын Шевченко стал у них второгодником . . .»

— Невыносимый ребенок, — вздыхала мать, — оставьте его, пойдемте кофе пить . . .

Она явно хотела сделать меня своей компаньонкой. Но я уклонялась, твердо помня золотое правило о барской любви, которой надо опасаться пуще всех печалей. Но даже мои краткие ответы на ее расспросы о судьбе моей семьи, о моем вторичном аресте, о суде, о тюрьме и лагере — вызывали у нее на глазах слезы.

Хозяина я изредка встречала в коридоре. Он вежливо кланялся и скрывался за дверь своего кабинета. В его внешности тоже была какая-то несовместимость с колымскими стандартами. Это было лицо интеллигентного человека.

И вдруг однажды ко мне в детский сад явилась горничная Шевченко с конвертом. В нем лежали деньги за проведенные уроки.

— Хозяйка велела вам передать, что пока больше ходить не надо. Мальчик заболел.

Она направилась было к двери, потом вернулась, отозвала меня в сторонку и зашептала, переходя на «ты».

— Скажу-ка я тебе правду, только ты меня не выдавай! Самато я тоже бывшая зэка, чего ж буду своим людям врать? Мальчишка здоровехонек что твой бугай. Но у хозяина вышел скандал с начальником Дальстроя, и тот говорит ему, что, мол, ваша жена окружила себя заключенными. Дескать, и портниха, и прачка, и прислуга, и маникюрша, и даже учительница — все контрики. А учительница — так даже тюряк! Это, мол, неспроста. Так что и я, наверно, на этом месте последние дни доживаю. Хоть бы тебя отсюда, с детсада-то, не сняли, а? В общем, имей в виду . . .

Я давно слышала, что между начальником Дальстроя Митраковым, сменившим уволенного в отставку Никишова, и начальником политуправления Шевченко — нелады. Не знаю, было ли там что-нибудь принципиальное или просто шла борьба за власть в пределах «Дальней планеты». Известно лишь, что вражда между двумя «первыми людьми» Колымы дошла до такой остроты, что Митраков начал «подбирать ключи» под Шевченко. Пристрастие его жены к знакомствам с бывшими заключенными — было очень удобным ключом.

И скоро до меня в нескольких вариантах донеслась весть, что я стала темой обсуждения магаданского партийного актива, что упоминалась моя фамилия с эпитетом «известная террористка». Митраков якобы сказал примерно так: «Вот мы вас, товарищ Шевченко, охраняем от возможных покушений со стороны контрреволюционных элементов, которыми кишит наш край. У вас на лестнице — постоянная охрана. А вы пригласили известную террористку такую-то в качестве учительницы к своему сыну. Да и вообще в окружении вашей жены — сплошные шпионы, диверсанты, вредители . . .»

Судьба моя была решена. Я стала тем самым холопом, у которого чуб болит, когда дерутся паны. Меня сняли с работы.

— Без всякого объяснения причин, — взволнованно обобщала мне моя заведующая, не раз бегавшая в отдел кадров, пытаюсь отстоять меня. — Умоляла хоть недели две подождать, чтобы хоть утренник провести — ни в какую . . . И что стряслось? Может, вы сами знаете?

Я знала. Но что толку было рассказывать об этом заведующей!

— Как без рук остаемся, — продолжала сокрушаться она, — и главное, после такого успеха.

Под успехом она имела в виду наше недавнее выступление по радио все с теми же «Семерыми козлятами». В программе для малышей. Меня всегда и умиляло и обескураживало это трогательное непонимание оригинальных закономерностей нашего бытия, которое проявлялось у простых бесхитростных людей. Наша заведующая работала здесь, в самом эпицентре землетрясения, уже несколько лет, но все равно ей была недоступна алогичная связь между успехами бывшего заключенного в работе и снятием его с этой самой работы.

Я-то, конечно, все понимала и, наученная горьким опытом, очень убедительно просила работников радио, ведущих программу, не называть моего имени. Они и не назвали его. Сказали так: «Вы слушали радиоспектакль для малышей «Волк и семеро коз-

лят» в исполнении воспитанников старшей группы магаданского детского сада № 3. Текст выступления составлен музыкальным работником этого сада».

Но такое прозрачное инкогнито не спасло положения. Наоборот, даже подлило масла в огонь. В доклад Митракова, сделанный на партактиве, происшествие с семьей козлятами вошло в такой редакции: «Благодаря политической беспечности работников радио, а также тех, кто руководит ими, слегка замаскированный классовый враг, отбывший срок за террористическую деятельность, получил трибуну. Это не первый случай, когда при попустительстве соответствующих организаций врагам удается пролезть на идеологический фронт». Вот на какую головокружительную принципиальную высоту были подняты бедные семеро козлят!

Я была в отчаянии. Это происшествие потрясло меня, пожалуй, не меньше, чем недавний второй арест. Напрасно Антон со своим безудержным оптимизмом убеждал меня, что все не так плохо. Вот если бы это случилось, когда он еще был в лагере, — это действительно поставило бы нас в очень тяжелое положение. А сейчас, что же? Ведь он получает свою зарплату в больнице, и с голода мы не пропадем.

Меня мало утешало это рассуждение. Дело было не только в деньгах. Угнетала мысль, что ты полностью бесправна, что тебя швыряют, как вещь, что надежды хотя бы на относительную самостоятельность твоих поступков (сравнительно с тюрьмой и лагерем) иллюзорны. Вот захотели — и одним движением вышвыривают тебя из этого коллектива детей, где ты со всем сроднилась за четыре года работы, где каждый ребенок для тебя — кусок твоей жизни. Они, конечно, обо всем догадались, наши многоопытные эсковские дети. Ни на минуту не поверили в официальное объяснение: заболела. Я приходила туда потихоньку, чтобы подписать «обходной лист», стараясь не встретиться с ребятами. Но они ловили меня, обхватывали за колени, ревмя ревели, приговаривая: «Евгеничку Семеночку опять на этап . . .» Они не просили меня остаться, отлично знали, что не от меня зависит. Только Эдик страстно нашептывал мне в ухо, что уже недолго осталось потерпеть: скоро он вырастет, уже через месяц пойдет в школу — а тогда отомстит всем, кто меня обижает.

Пытка усугублялась еще и беготней с этим несчастным обходным листком. Приходилось отвечать на расспросы, сочувствия, предположения. Но вот наконец настал день, когда я проводила Антона на работу, Тоню — в детский сад, а сама вернулась в каморку, отделенную от кухни фанеркой, и беспощадно осознала, что мне некуда больше торопиться, не надо больше выдумывать новые зрелища для ребят, писать постылые планы и отчеты,

разучивать новые марши и песни. Одним словом, впервые с четырнадцатилетнего возраста — если не считать тюрьмы — я была безработная, иждивенка. Существование мое облягало до полной серости. Не было даже сил, чтобы отправиться на поиски другой работы.

Чтобы вывести меня из этого оупения, Антон сотворил невозможное. Это было поистине чудо! Он купил мне пианино. Самое настоящее пианино марки «Красный Октябрь», сверкавшее черным лаком и позолотой педалей. Когда его подвезли на грузовике к нашему бараку, все население двух этажей, человек сто, высыпало на улицу. В те времена, в 1951 году, в Магадане вообще было считанное количество инструментов, тем более в частном владении. Нечего и говорить, что в нашем Гарлеме появление пианино восприняли как феномен другой солнечной системы.

Спасая меня от неожиданного горя, Антон проявил удивительную настойчивость. Использовал все связи своих вольных пациентов, залез в долги на три года. Зато теперь, возвращаясь с работы, он останавливался в дверях и со счастливой улыбкой несколько минут любовался черным сиянием пианино, прислонясь к той самой перегородке, из-за которой круглые сутки шел чад и крикливая ругань. И инструмент вроде бы улыбался ему в ответ своими нежно-кремовыми клавишами. Они казались видением другого мира рядом с топчаном, табуретками, ватными подушками в серых лагерных наволочках с завязками. Иногда Антон и сам подсаживался к пианино и брал медленные аккорды, напоминавшие орган или фисгармонию.

Если сама покупка пианино была чудом, то почти таким же чудом было и то, что его удалось установить все на тех же восьми метрах, где мы жили втроем и где кроме спальных мест, табуреток и стола накопилось уже множество книжных полок.

Антон нашел мне несколько частных уроков. Это давало кое-какой заработок, но не выводило из ощущения отверженности, выброшенности из жизни. Только сейчас, потеряв работу, я поняла до конца, какое это было счастье — каждый день на несколько часов забывать о том, что ты прокаженная. Это давал мне детский сад, где я была нужна целому коллективу, где со мной считались, меня любили, ждали моего прихода. А теперь . . . Было что-то бесконечно унижительное в том, что надо приходиться в эти ломящиеся от избытия благ квартиры, старательно вытирать ноги, прежде чем ступишь на неумеренно лоснящийся паркет, толковать с хозяйками об успехах их обожаемых чадушек. А хозяйки эти нисколько не походили на жену Шевченко. Они каждым жестом и словом подчеркивали, что осчастливили меня, давая заработать на хлеб.

На сером фоне такого существования выделялись к тому же еще две черным-чернушие даты: первое и пятнадцатое число каждого месяца. В эти числа происходила так называемая «отметка», то есть мне надо было идти на регистрацию в комендатуру МГБ. Она помещалась в небольшом домишке на площади, между «белым домом» (МГБ) и «красным домом» (МВД). Уже с раннего утра ссыльнопоселенцы выстраивались в длиннющую очередь, заполняя узенький коридорчик, насыщая его тревожными перешептываниями, нервными покашливаниями, клубами табачного дыма.

Процедура «отметки» была, казалось бы, несложна. Штамп с датой на нашем волчьем билете, заменяющем паспорт, и птичка в личной карточке, хранящейся в ящике на столе коменданта. Но ведь алфавитный порядок, в котором переводили бывших заключенных на поселение, далеко еще не был исчерпан. Все прибывали и прибывали новые ссыльнопоселенцы. И коменданты путались в карточках, подолгу разыскивали их, иногда не находили, приказывали прийти еще и завтра. В общем, простаивать в коридоре у ободранной двери приходилось иногда очень долго.

Уже за два-три дня до первого или пятнадцатого я начинала ощущать невыносимую тяжесть от предвкушения близкого свидания с заветным учреждением. Рассудительные самоуговоры — дескать, пустая формальность — не помогали. Еще меньше помогали уговоры Антона, не очень-то искренние, потому что сквозь его оптимистические речи, основанные на теории меньшего зла, то и дело прорывалась тревога. Дело в том, что после каждого отметочного дня с кем-нибудь что-нибудь да случалось. Кого-то отправляли из Магадана в тайгу. Кого-то переспрашивали, где он работает, и через несколько дней снимали с работы. А некоторым просто говорили «пройдемте» и уводили в задний дворик комендатуры, а оттуда — неизвестно куда. И тогда всех охватывал снова тот Великий Страх, тот невытравимый из нашего сознания ужас, который всем был так хорошо знаком по Бутыркам, по Лефортову, по Ярославке, по дому Васькова... Все начинали убеждать друг друга, что ни о каких расстрелах не может быть и речи, но тем не менее в висках стучало, под ложечкой перекатывалась отвратительная тошнота, а все люди вокруг становились как бы бесплотными и крутились перед глазами, как китайские тени.

Были ли мы трусами? Навряд ли. Просто срабатывала нервная память. Те, кто не прошел через все наши круги, не понимают этого. Меня и сейчас, двадцать с лишним лет спустя после посещения Магаданской комендатуры, раздражает, когда я слышу привычные реплики «вольняшек»: «Вам-то чего бояться? Вы-то ведь уж и не такое испытали!» Вот именно. Мы испытали. Вы представляете себе это чисто умозрительно, а мы ЗНАЕМ.

И вот дважды в месяц мы толпились в этом душном коридорчике, охваченные общей живой болью, сроднившиеся одинаковыми ранами. Каждый, кто уже выходит от коменданта, придерживая за собой скрипучую дверь и бережно складывая свой вид на жительство, — это счастливчик. Ему уже приклепнули штамп, делающий его вольноотпущенником на целых тринадцать дней. Каждый, кто только еще входит в эту дверь, суетливо развертывая на ходу свою бумагу, — это пловец, прыгающий в неизведанную пучину. Голова у него втянута в плечи, готовая к приятию очередного удара.

Каждое первое и пятнадцатое мы с Антоном прощаемся, как навсегда. Он очень страдает от того, что ему не надо отмечаться. Вину передо мной чувствует за то, что мне хуже. Хотелось бы ему проводить меня до комендатуры, но он должен вовремя быть на работе, повесить номерок. Он только доводит меня до порога нашего барака и говорит: «Ты прости меня, Женюша, если я тебя когда-нибудь обидел . . .» А я: «И ты меня тоже . . . Тоню, смотри, не оставь».

После того как штамп отметки уже в кармане и ничего, слава Богу, не случилось, я спешу откуда-нибудь позвонить ему в больницу. «Все в порядке. Иду домой . . .» И так каждое первое и каждое пятнадцатое.

. . . В начале пятьдесят второго года нам удалось переменить квартиру. Взамен своей восьмиметровой клетушки мы получили теперь целых пятнадцать метров в одном из новых бараков поселка Нагаево. Здесь неподалеку была бухта, веяло морским воздухом, бараки еще не были так загажены, как в нашем Старом Сангородке. Население здесь было смешанное. Основная масса бывших заключенных, ссыльнопоселенцев с семьями разводнялась вольняшками из тех, кто победнее, кто недавно прибыл с материка и еще не имел процентных надбавок.

Радость наша была отравлена тем, что она вытекала из чужой беды. В нашей новой комнате только что скончался от инфаркта талантливый ссыльный художник Исаак Шерман. Его жена Марина, с которой они прошли вместе весь путь, не хотела, не могла ни минуты оставаться в доме, где все напоминало мужа. Она согласилась на нашу конуру, торопила нас с обменом и была благодарна Антону за то, что он все хлопоты взял на себя.

Новое жилище было по соседству с больницей, где работал Антон. Но зато до центра города надо было добираться через большой заснеженный пустырь, открытый всем ветрам, почти неосвещенный и очень удобный для вечернего промысла уголовных. А они пошаливали. Вся активность «белого» и «красного» домов была направлена на нас, врагов народа, террористов, шпионов, диверсантов, вредителей. До блатарей у начальства обычно

руки не доходили. Спыхватывались только эпизодически, после каких-либо особых происшествий. В темные зимние вечера Антон не пускал меня одну через этот пустырь и старался сам привести Тоню из детского сада. Но в дни его круглосуточных дежурств мне приходилось идти за ней самой. Шла, опасливо озираясь на каждого встречного.

И не зря опасалась. Помню один трагикомический случай. Было всего-то около семи вечера, но наш пустырь выглядел полуночной полярной равниной. Мы с Тоней торопливо пробирались по тропинке между снегами. Тоня первая заметила скачущую прямо по сугробам мужскую фигуру.

— А это хороший дядя? Или противный? Он зачем в снегу купается?

Он купался в снегу, чтобы догнать нас и двигаться параллельно. Я знала эту волчью блатную повадку: идти параллельно преследуемой жертве, а потом вдруг внезапным прыжком перегородить ей путь, став лицом к лицу. И только что я вспомнила об этом, как все произошло именно так. Кроме прыжка тут был использован еще и световой удар. Он чиркнул большой зажигалкой, и в глаза мне мелькнул синий пламень. Тоня закричала и заплакала.

— Уйми пацанку! — сказал он неожиданно звучным баритоном. — И сама не ори... А то хуже будет. Слушай сюда! Не бойсь! Мне твоих грошей не надо и твою лису тоже.

Он презрительно ткнул пальцем в мой воротник. А тот действительно был из чернобурки. Один чукча-охотник, лечившийся у Антона, продал ему по дешевке небольшую шкурку, и Антон удовлетворил свое тайное пристрастие к роскошной жизни. Он купил эту чернобурку, за что я долго пилила его.

— Не нужна мне твоя лисица, — продолжал наш попутчик, — а нужен мне чистый паспорт. На бабу... Во льды иду, поняла? Себе документ исделал, а сейчас бабе своей добываю. Так что гони паспортягу и давай мотай отсюда с пацанкой твоей. Не трону... А за потерю паспорта сотнягу — штраф выложишь, поди не обедняет твой полковник...

Мое ссыльнопоселенское удостоверение было при мне. Я ничуть не боялась расстаться с ним. По ходячей поговорке такой документ страшнее найти, чем потерять. Но я все же попыталась урезонить собеседника.

— Послушайте, ваша жена, наверно, совсем молодая, а мне за сорок. Год рождения не подойдет.

— Не твоя забота! Был бы бланк справный, а цифирь эту есть кому пересобачить. Гони, говорю, а то заплачешь...

— Вам и вообще мой паспорт не подойдет. По нему далеко не уедешь.

Он гневно рывкнул и недвусмысленно замахнулся на меня. Тоня закричала еще громче.

— Уйми, говорю, пацанку, а то я ее уйму . . .

Я торопливо достала из сумки свой документ.

— Что даешь-то? Паспорт, говорю!

— Это и есть у меня вместо паспорта. Зажгите вашу зажигалку и прочтите, кто я.

Он долго вчитывался, шевеля толстыми, обметанными лихорадковой губами.

— Ог-ра-ни-че-на в пра-вах пере-дви-же-ния . . . Под гласным надзором органов МГБ . . .

И уже совсем бойко, очевидно хорошо знакомые слова: «Явка на регистрацию первого и пятнадцатого числа каждого месяца . . .»

Он дунул на зажигалку и вдруг раскатился довольно добродушным, почти мальчишеским хохотом.

— Дак это чё, девка? Это, выходит, тебе самой надо чистый добывать, а?

И тут нам всем троим стало очень забавно. У меня отвалилась из-под ложки ледяная лягушонка. Тоня запрыгала и закричала: «Дяденька не противный? Он добрый, да?»

Добрый дяденька вразумительно объяснил, что его ввела в заблуждение чернобурка. Он думал — полковница.

— Полковницы не живут в Нагаеве, — резонно возразила я. — Они на улице Сталина и на Колымском шоссе.

Узнав, что имеет дело с женой и дочкой доктора Вальтера, наш новый знакомый искренно расстроился. Сообщил мне, что по блатной конвенции этот доктор является лицом неприкосновенным. Хорошо лечил их на карпункте. Мне бы сразу сказать, так разве стал бы он нас пужать!

— Ты вот чего . . . Ты тут больше в темноте одна с пацанкой не ходи. А то тут Ленчик-Клещ гуляет неподалеку. Он психованный. Пришьет — потом доказывай ему, что Вальтера баба. Давай-ка доведу вас до дому, а то еще обидят . . .

Он взял Тоню за руку, а меня под руку. На тех местах, где поземка обнажила обледенелую землю, он трогательно предупреждал: «Держись мотри, тут склизко» . . . Довел нас до самого барака и сдал с рук на руки Антону, повторив свое предупреждение насчет психованного Ленчика-Клеща.

В общем, наши жилищные условия хоть и улучшились, потому что опять же пятнадцать метров — не восемь, но район Нагаева, чреватый подобными встречами, как-то еще больше замыкал круг моего отчаяния. Непроглядные зимние вечера, ледяной пустырь на пути к центру городу — все это еще больше изолировало

от обычного ритма жизни, от ежедневной работы, о которой я все больше тосковала.

И вдруг замаячила надежда. И как это ни странно, но именно со стороны тех же семерых козлят, так нагло прорвавшихся на идеологический фронт.

Однажды в воскресный день к нам в Нагаево пришла незнакомая дама. Из вольного мира. Нарядная, энергичная, полная замыслов.

— Вы не узнаете меня? — спросила она. — А ведь мы с вами встречались в дошкольном методкабинете. Я Краевская, Любовь Павловна Краевская, заведующая 2-м детским садом. Еле разыскала вас. А в вашем коридоре еле пробилась сквозь пробку велосипедного транспорта.

Она имела в виду семнадцать человек детей, населявших наш коридор. Они непрерывно ездили по коридору на трехколесных велосипедах, отчаянно звонили в звонки и кричали друг на друга. Большая партия трехколесных велосипедов, полученная недавно магаданским универмагом, была распродана за час. Я тоже успела. И наша Тоня была довольно агрессивным велосипедистом.

Пошутив по поводу велосипедов, Краевская без всяких околичностей сообщила мне, что она собирается хлопотать о моем назначении музыкальным работником в ее детский сад. Пришла спросить согласия. Я с горечью изложила ей всю историю с уроком у Шевченко, с радиопередачей про семерых козлят и речью Митракова на партактиве. Никогда отдел кадров меня не утверждает . . .

— Вот я удивляюсь, — жизнерадостно и напористо прервала меня Любовь Павловна, — вы ведь, говорят, на воле были на ответственной работе. Так неужто не понимаете систему! Разве вам не ясно, что Митракову вы сами абсолютно безразличны, что ему важно было усть Шевченко . . . Ему и подобрали материал . . . Уверена, что за два месяца он и фамилию вашу забыл . . .

Дальше выяснилось, что муж Краевской — главный архитектор города, у него большие связи. Поможет . . .

— Скажите, — спросила я, — кто же просил вас за меня? Что вас заставляет приняться за такие сложные хлопоты? Неужели просто хотите помочь человеку, попавшему в беду?

— Опять удивляюсь, — спокойно ответила она, глядя на меня в упор веселыми ироническими глазами. — Не понимаете разве систему? Самое главное показать товар лицом. А в работе детского сада — самое важное! — праздники, утренники. На них все начальство приходит. По ним судят о воспитательной работе . . . Ну, а кто просил за вас? Да ваши же семеро козлят! Такой замечательный спектакль был . . .

Она встала, попудрила перед зеркалом нос и, смеясь, добавила:

— Цены себе не знаете . . . Мало того, что музыкант, так еще и сценарист, и режиссер. Я как «Семерых козлят» по радио услышала, так и сказала себе: «Не я буду, если эта женщина не будет у меня работать» . . .

Через две недели после этого визита я уже сидела за роялем во 2-м детском саду. Моя новая заведующая не стала посвящать меня в подробности своих хлопот по поводу моего назначения. Сказала только, что дело проходило «через шесть звеньев». В одном из звеньев фигурировал даже шофер заместителя Митракова. Так или иначе, а семеро козлят снова пробрались на идеологический фронт, захватили трибуну. Далеко не так просто обошлось дело с «Тараканищем». Но об этом — в следующей главе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ТАРАКАНИЩЕ

В феврале пятьдесят второго года кончилось мое поражение в правах, присужденное мне в тридцать седьмом военной коллегией в Москве.

Я совсем было запамятовала про это. Пережив второй арест, приговор на вечное поселение, снятие с работы, я, понятно, не слишком убивалась по поводу своего «лишения». Скорее напротив, было даже некоторое удобство в том, что при довольно частых избирательных кампаниях — то общесоюзных, то республиканских, то местных — нас не тревожили многочисленные агитаторы. На их стук в двери нашего жилья мы привычно и кратко отвечали: «Здесь избирателей нет. Только пораженцы». На Колыме это было не диво, и агитаторы молча ретировались, поставив в своем списке какую-то птичку против номера нашей комнаты.

Но на этот раз наша стандартная отговорка не приостановила напористую агитаторшу.

— Нет, — возразила она, входя, — ваше поражение в правах кончилось пятнадцатого февраля нынешнего года. Я агитатор вашего района и хочу побеседовать с вами.

Это была первоклассная, ну просто великолепная колымская вольная дама. Из общественниц. Жена какого-нибудь не самого высокого, но и не совсем рядового чиновника. Вокруг нее клубился обволакивающий аромат модных духов «Белая сирень». Она сверкала перламутровым маникюром и золотыми коронками. Да и весь остальной реквизит был в полной исправности: темно-голубое джерси, чернубурка, меховые расшитые бисером чукотские унты.

— Хочу вас прежде всего поздравить, — сказала она, протягивая мне руку, — от души приветствовать вас с возвращением в семью трудящихся.

У меня стало горько во рту. Это были те самые незабвенные словеса, что красовались на наших эльгенских воротах. «Через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся».

— Вы ошибаетесь, — угрюмо буркнула я, — у меня пожизненное поселение.

— Нет, милая, не ошибаюсь. По инструкции ссыльнопоселенцы пользуются избирательным правом.

Она самым демократическим образом уселась на край моей кровати и сразу принялась рассказывать мне о производственных достижениях того знатного вольного горняка, за которого мы должны были голосовать.

Это была сталинистка умиленного типа. Она просто вся сочилась благодным восхищением, искренним желанием приобщить и меня, изгоя, к тому гармоничному миру, в котором так плодотворно живет она. Она говорила со мной приблизительно так, как, наверно, разговаривают кроткие и терпеливые монахини-миссионерши с грубыми африканскими аборигенами.

— Так значит, вы меня поняли? Ссыльнопоселенцы пользуются правом избирать . . .

— А быть избранными?

— То есть как это? — любознательно осведомилась она.

— Ну так . . . Вдруг, например, на предвыборном собрании кто-нибудь назовет мою кандидатуру в местный Совет. Могу я баллотироваться?

Агитаторша рассмеялась рассыпчатым и чистым детским смехом.

— Вот и видно, как вы давно оторваны от жизни. Что же вы думаете — так каждый и кричит на предвыборном собрании, что ему вздумается? Списки-то ведь уж заранее подработаны в партийных органах. Ну ничего, приходите к нам на агитпункт, помаленьку войдете в курс . . . Вы ведь, наверно, тогда еще совсем молоденькая были, когда это случилось-то с вами . . .

— Что случилось? — с тупым упрямством переспросила я.

— Ну, вот когда вы в контрреволюционную организацию попали. Молоденькая были, не разобрались . . . А они воспользовались . . . В каждую щель лезут . . .

— Кто лезет в щель? — еще более тупо спросила я.

— Ну иностранные-то агенты! От разведок . . . Которые завербовали вас. Но вы не расстраивайтесь. Теперь уж это давно прошло. И Советская власть хочет исправить тех, кто по молодости оступился . . .

— Красивое у вас кольцо, — сказала я, не отводя глаз от сапфирового камня на ее пальце.

— Нравится? — добродушно переспросила она. — Главное, к этому костюму идет . . . Да, говорят, и к глазам . . .

Она бросила мимолетный застенчивый взгляд в зеркало. Глаза у нее и впрямь были безоблачно-голубые.

На прощанье она еще обласкала меня улыбкой и дала лакированную открытку немислимой красоты. Наискосок пышной алой розы вилась золотая лента с надписью «Все на выборы!». Потом от имени всего коллектива агитаторов обратилась ко мне с просьбой не опаздывать, проголосовать пораньше, проявить с первого же шага своей новой жизни высокую сознательность.

Надо сказать, что в условия избирательной игры входило раннее вставание. Предполагалось, что высокие гражданские чувства не дают людям глаз сомкнуть в предвыборную ночь и что с первыми лучами рассвета они наперегонки устремляются к избирательным участкам, открывавшимся в шесть утра. Впрочем, «первые лучи рассвета», неизменно фигурировавшие в колымской газете, — были, конечно, чистой данью романтике. В это время года колымский рассвет начинал еле-еле синеть часу так в десятом.

— Женя, Христом-Богом тебя прошу: пойдём голосовать самые первые, — умоляла меня соседка по бараку, избирательница Фирсова Клавдия Трифионовна, так же как и я впервые возвращенная в семью трудящихся.

Клава, отсидевшая восемь лет за какое-то недонесение на кого-то, была теперь женой вольного шофера Степы Гусева. Это был на редкость счастливый брак. Просто весело глядеть было на них. Степан, уникальный образец непьющего колымского водителя, приезжал из рейса с центральной трассы трезвый как стеклышко, кричал на весь коридор: «Клавдею мою не видали?» И волок ей то мороженую рыбу каталку, то огромный кус оленины. А Клава, не ведая усталости, сразу после работы принималась варить, стирать, скоблить полы, чтобы Степочка, спаси Бог, не испытал какого неудобства. В комнате у них были коврики, салфеточки, диванные подушечки на все темы: лебеди, кошечки, девы-русалки, охотники за оленями. Пышная постель была оторочена снизу кружевным «подзором», связанным Клавой в выходные дни из шпулечных ниток. Одно только угнетало Клаву — социальное неравенство.

— Пойми, Женя, — откровенничала она со мной во время совместной стирки на общей кухне, — пойми, не ровня я ему. Анкета у него больно чистая. Отец — партийный, мать — депутат райсовета. Ну как я к им явлюсь? Бывшая . . . Пораженка . . . Страм один . . .

Степан, действительно, был что называется знатным человеком. Шоферов без судимости на Колыме было раз-два и обчелся. И Степан уже года два, как попался в зубы областных газетчиков, и о нем строчили очерки насчет покорителей таежных просторов.

— Пойдем самые первые, — горячо шептала Клава. — Первых-то обязательно ведь на карточку снимают и в газете потом пропечатывают. Вот я тот снимок и возьму с собой, когда на материк к Степиным родителям поедем. Вот, мол, и мы не какие-нибудь, и о нас в газетах пишут . . .

И так сияло ее миловидное доброе лицо, так она гордилась своей хитрой выдумкой, что у меня язык не повернулся сказать ей, что в редакции есть специальное бюро проверки — чтобы не попадали по недосмотру бывшие заключенные ни в качестве авторов, ни в качестве героев. Согласилась я ради семейного счастья избирательницы Фирсовой встать среди ночи.

Антон в ту ночь дежурил в больнице. Покоритель таежных просторов Степан был в рейсе. Мы с Клавой бежали, как гончие, в студеной тьме нашего пустыря. Бояться, впрочем, было нечего: милиционеры в предвыборную ночь ходили по пустырю косяками.

И мы первыми опустили свои бюллетени. И — о счастье! — фотокор снял-таки Клаву и записал ее фамилию и место работы. Домой она шла тихая, умиленная и все твердила: «Хорошо-то как! Ровно от заутрени!»

Тем сильнее было разочарование, когда на другой день Клава прочла в газете, что первой на нашем участке подала свой голос за блок коммунистов и беспартийных товарищ Козихина Тамара Васильевна, работница комбината бытового обслуживания. Тут же был портрет Козихиной. Она опускала бюллетень в урну и улыбалась голливудской улыбкой.

— Какая же она первая! — с детским отчаянием восклицала Клава. — Тамарка-парикмахерша! Помнишь, мы уж отголосили, назад шли, а она нам в дверях попалась. Еще боты сняла, снег вытряхала. Зачем же врать-то! Как сивые мерины . . . А еще писатели . . . Нет, видно, нету правды на земле . . .

Было и трогательно и смешно, что эта женщина, отбывшая восемь лет за недонесение о чем-то, чего она к тому же и не слышала, только теперь, вернувшись в семью трудящихся, открыла ложь и запылала негодованием.

— А что же! Там-то я думала, может, ошиблись, обмишулись и впрямь подумали на меня . . . А тут-то . . . Выкатил свои бесстыжие зенки и врет, и врет. А люди читают, думают — правда. Газета ведь пропечатала. Как не поверить . . .

Вечером тихая Клава вырвала из рук своего Степы газету

и с плачем повалилась прямо на царственную их постель, сминая накрахмаленный «подзор».

— Не гляди, говорит, на эту падлу, — смущенно рассказывал Степа. — Тамарка-парикмахерша там снята. Голосует с утра пораньше. Да мне, говорю, нужна эта Тамарка, как вороне — физика. Лыбится эта Тамарка, как майская роза, выпендривается около урны. На что она мне? Уж не захворала ли Клавдея? Никогда так не ревела, никогда не ревновала меня.

— Это не ревность, — сказала я Степану. — Это зависть к Тамаркиному общественному положению, к ее полноправию. И обида на вранье журналиста. На самом-то деле не Тамара, а Клава голосовала первая.

— Ох и дуреха же Клавдея моя, — ласково резюмировал непьющий чудо-шофер. — Нашла, чему завидовать! Не знай чего завтра с той же Тамаркой будет. У нас ведь это по диалектике: нынче выдвигенка, завтра — поселенка . . .

Диалектики в социальном строе нашей дальней планеты действительно было хоть отбавляй! Существовали у нас даже поселенцы-коммунисты, не исключенные из партии. Это были все члены партии немецкой национальности. Не исключаясь из рядов, они ходили дважды в месяц в комендатуру «на отметку», владели вместо паспорта справкой, аналогичной моей, не имели права выезжать с места поселения дальше чем за семь километров. Иногда явки в комендатуру совпадали с партсобраниями, и партийные немцы, отстояв длинную очередь, чтобы пришепнуть штамп к своему виду на жительство, торопились на партийное собрание, где единодушно голосовали за повышение большевистской бдительности ввиду обострения классово-борьбы по мере нашего продвижения к коммунизму.

Старик наш, Яков Михалыч, у которого после отъезда Васи и прекращения уроков математики стало больше времени, даже схему составил — социальное и политическое устройство Колымы. По этой схеме тут насчитывалось не меньше десятка сословий. Зэка, бывшие зэка с поражением и бывшие без поражения, ссыльные на срок, поселенцы на срок и ссыльнопоселенцы пожизненные, спецпоселенцы-срочники и спецпоселенцы-бессрочники. Здание увенчивали немцы — поселенцы-партийцы.

Озаглавил он свою схему «Тернистый путь к бесклассовому обществу». Все смеялись, подшучивали над стариком, знали, мол, его как врача, как философа, как поэта и математика. А теперь, выходит, — он еще и социолог.

А было это все за неделю до его смерти. В последний раз мы видели его, как всегда, в воскресенье. По воскресеньям мы устраивали традиционный обед для тех наших ссыльных друзей, кто жил здесь одиноко. Приходил обычно Юрий Константинович

Милонов, старый большевик не то с двенадцатого, не то с тринадцатого года. Приходил Александр Мильчаков, бывший секретарь ЦК комсомола. Приходил мой знакомый по Казани Тахави Аюпов, бывший секретарь Татарского ЦИКа. А уж Яков Михалыч не пропускал ни одного воскресенья.

В этот последний свой визит он был весел, оживлен, несколько раз повторял свое излюбленное пророчество: «Подождите, мы все еще будем носить жетон «Политкаторжанин» . . . И еще: «Неужели я не прочту ЕГО некролог? Мы с НИМ ровесники. Но я все-таки надеюсь. Я ведь тут живу на свежем воздухе и соблюдаю диету, а ОН наверняка обжирается. Кроме того, у меня меньше волнений, чем у НЕГО. Мне ведь нечего терять, и врагов у меня совсем нет . . .»

Только вечером этого воскресенья, когда мы с Антоном пошли его провожать, он вдруг сказал со сдержанной тоской: «Как вы думаете: неужели это возможно, чтобы моя Лизочка забыла меня?» Это была его незаживающая рана. Дочери не писали ему, боялись связи с «врагом народа». А он, отказывая себе во всем, откладывал какие-то гроши на сберкнижку, чтобы они знали: папа думал о них.

Ровно через неделю, в субботу, прибежала Татьяна Симорина и взволнованно сказала: «Идите в морг. Он там».

Лежал он очень спокойный, помолодевший, даже какой-то величественный. Это был тот самый морг вольной больницы, где Яков Михалыч несколько лет работал патологоанатомом, и два прозектора из бывших бытовиков стояли рядом с его телом, наспуленные и побледневшие. Они приколоты к лацкану стариковского пиджака искусственную, но хорошо сделанную гвоздику. И я вспомнила про жетон «Политкаторжанин».

Похоронили мы его хорошо. И место возвышенное, и плиту поставили, и ограду. И письмо я написала Лизочке и Сусанне, в котором не только указала номер завещанной им сберкнижки, но и подробно рассказала, каким человеком был их отец. Только про его страдания, связанные с дочерьми, про то, как ранило его их молчание, — умолчала. Многие наши советовали немного намекнуть на этот вопрос, чтобы они хоть задним числом поняли свою жестокость. Но я не согласилась. Вовсе не жестокость это была, а все тот же великий Страх. И если уж бывшие трибуны, вожди и проповедники приняли участие в дьявольском спектакле, выполнив все требования режиссера Вышинского, то что было взять с двух несчастных обывательниц, затюканных бдительными шепотами коммунальной кухни.

И я оказалась права. В минуту острого горя образ любимого отца вытеснил на короткое время все великие страхи. Мы получили сердечное письмо, начинавшееся словами: «Незнакомые

друзья, стоявшие у гроба нашего дорогого отца! За вашу доброту вам заплатит Бог . . .»

Вся наша ссыльная колония оплакивала Якова Михалыча. После его смерти объявилась масса народа, неизвестного нам, но связанного со стариком какими-нибудь его услугами. Тому он денег давал, того лечил, этому правил рукопись, этому делал переводы . . . Были среди этих людей и недостойные, эксплуатировавшие рассеянность, самоуглубленность и абсолютную житейскую беспомощность чудака-доктора.

Именно его именем («Я к вам от покойного доктора Уманского») и открыл впервые нашу дверь человек, принесший нам много горя, наследивший в нашей чистенькой комнатенке омерзительными грязными пятнами провокации. Впрочем, ведь неизвестно, правда ли, что Яков Михалыч как раз незадолго до своей смерти собирался познакомить нас с инженером Кривошеем. Может быть, ссылка на покойника была всего удобнее, чтобы проникнуть в наш дом, войти к нам в доверие.

Инженер Кривошей представился нам как политический, только что вышедший из лагеря. Это была первая ложь. Позднее выяснилось, что он бытовик, сидевший не то за растрату, не то за халатность. Кроме того, он представился как больной, только что перенесший тяжелую операцию и нуждающийся в помощи Антона. (Операционный шов был тут же предьявлен.) Но больше всего доверие к новому знакомому вызывала его образованность, причем образованность гуманитарная, не имеющая прямого отношения к его инженерной профессии. Он любил и знал поэзию, читал наизусть Блока, Ахматову, Пастернака. Он оригинально и свежо высказывался по вопросам политики, экономики, истории. Помню, как интересно было слушать изложение полузабытых страниц Ключевского, Соловьева. Говорил он, правда, несколько вычурно и архаично по стилю, но это как раз очень укладывалось в образ старого потомственного интеллигента-петербуржца, каким он рекомендовался.

Помаленьку он стал у нас завсегдатаем, заняв за нашим воскресным столом опустевшее место Якова Михалыча. Всем новый знакомый понравился. Все снисходительно смотрели на то, что он оказался неистощимым говоруном. Ведь рассказы его были интересны. Было у него несколько отработанных устных новелл, которые он охотно, под общий веселый смех, повторял на бис. Коронным номером среди этих новелл был так называемый «Монолог Уоллеса».

История о том, как американский путешественник Уоллес умудрился проехать по Колыме и увидеть только те «потемкинские деревни», которые ему решило показать начальство, всем была хорошо известна. Но Кривошей произносил свой «Монолог

Уоллеса», так здорово имитируя английский акцент и мимику дальнотзорного путешественника, что старая история расцветивалась новыми красками.

«Рослые здоровые парни из центральной России решили покорить этот дикий край», — говорил Кривошей от имени Уоллеса, а от своего вполголоса и «в сторону» комментировал: «Три взвода отборной вохры, переодетые в рабочие комбинезоны американского производства . . .» И опять — от Уоллеса: «Пионеры прогресса . . . Основатели новых городов . . .» Потом про женщин: «Долгими зимними вечерами женщины и девушки охотно собирались и предавались искусству вышивки гобеленов. Это старорусское искусство — гобеленштрикерай . . .» И «в сторону»: «Это был переодетый в приличные кофточки заключенный вышивальный цех, где над этой «штрикерай» слепли наши женщины».

В промежутках между кусками «Монолог Уоллеса» Кривошей изображал интермедию: вроде бы он рассказывает все это колымской шоферне, а та гогочет и похваливает американцев и за то, что лопухие, и за то, главное, что привозят антифриз — средство против замораживания двигателей автомобилей. Это средство наши отважные водители потребляли под закуску из морзверя, несмотря на то, что на посуде с антифризом наклеены этикетки по-русски и по-английски — «ЯД!» Это, мол, жидконогому американцу — смерть, а нашему брату — час без горя!

Итак, Кривошей стал у нас душой общества. Только иногда мы с Антоном удивлялись, обращая внимание на то, что обаяние нашего нового знакомца сразу исчезает, как только он замолкает. Тогда вдруг замечаешь, как плотно он сжимает свои извилистые жабьи губы. И глаза его за очками выглядят тогда как-то уклончиво. Он умеет водить их в сторону и не попадать ими в глаза собеседника.

Впрочем, наверно, все это мы вспомнили уже потом, когда узнали, кто он. А тогда если и были какие-то сомнения, то они окончательно рассеялись после того, как мы побывали у него в гостях и увидели его семиметровую клетушку, битком набитую книгами. Стеллажи шли до самого потолка. Кроме книг в конурке были только две табуретки и тумбочка, на которой он ел и писал. Раскладушка стояла в коридоре за дверью и раскладывалась только на ночь.

И каких только редкостных лакомых кусков не было на этих грубо сколоченных полках! «Цветы зла» Бодлера. Полный Гете по-немецки. Несколько комплектов журнала «Вестник Европы» за начальные годы нашего века. Альманахи «Весы» и «Шиповник» . . . Да разве перечислишь . . . У меня просто сердце заколотилось, когда хозяин торжественным тоном объявил, что хотя он никому своих книг не дает, но для нас сделает исключение, и мы

можем хоть сейчас выбрать по две книги на человека. Он видит, что для нас книга не меньшее сокровище, чем для него, и что мы будем возвращать их аккуратно.

Захлебываясь, рассказывал он историю отдельных книг. Вот эту он выменял еще в лагере на две пайки хлеба. А эти остались после смерти одного поселенца — его друга в глухом таежном поселке. А эти, представьте, куплены на магаданской барахолке. Лежали рядом с крабами в заднем ряду . . .

От азарта у него даже руки тряслись. Ревнивая жадность, с какой он следил за нашими движениями, когда мы брали с полки какой-нибудь томик, изобличала в нем настоящего библиофила, точнее — библиомана. А разве это можно совместить с чем-нибудь плохим? Человек, выменявший в лагере пайку хлеба на книгу, не может быть дурным человеком.

А оказалось, что может. Но это обнаружилось позднее, уже к началу пятьдесят третьего года. А весь пятьдесят второй мы с инженером Кривошеем были закадычными друзьями, охотно цитировали его острые словечки, с упоением слушали его устные новеллы и с глубокой благодарностью пользовались его уникальной библиотекой. В этот беспросветный год, когда вести с материка становились все более зловещими, а газеты все более неистовыми, мы просто душу отводили в беседах с нашим просвещенным другом. Я, как по нотам, разыгрывала популярную песенку: «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий».

К новому, 1953 году Кривошей подарил каждому из нас по книге. Мне — томик стихов Ахматовой в дореволюционном издании, Антону — учебник терапии Зеленина, а Тоне — отличный изданный сборник сказок Чуковского. Третьему подарку мы особенно обрадовались. Дело в том, что наш новый друг любил животных, но не любил детей. Каждый раз, приходя к нам, он брал на руки кошку Агафью и нежил ее в течение всего визита. На Тоню же он обычно не обращал ни малейшего внимания, никогда не улыбался ей и даже досадливо морщился, когда она своими вопросами отвлекала меня от беседы с гостем. Однажды я даже спросила его, почему он так неприветлив с ребенком. Он с чистосердечными интонациями объяснил: жизнь начисто выбила из его души то чувство умиленности, которое неизбежно требуется для общения с детьми. Лицемерить он не может. Кроме того, он так мрачно смотрит на будущее нашей цивилизации, что просто поражается людям, решающим бросать в этот хаос новых несчастных.

Эти рассуждения нас огорчали. Когда он смотрел сквозь Тоню, как сквозь пустое место, нам казалось, что это как-то не укладывается в созданный нами образ тонко мыслящего и чув-

ствующего человека. Тем более мы обрадовались, когда он улыбнулся Тоне и протянул ей томик сказок Чуковского.

Почти все эти сказки я помнила наизусть и часто читала детям в детском саду, где книг Чуковского совсем не было. Но сейчас, чтобы доставить Кривошею удовольствие, я тут же начала читать их вслух, перелистывая красивые лакированные страницы. И тут мы наткнулись на «Тараканище», которого, конечно, знали и прежде, но как-то не осмысливали. Я прочла: «Вот и стал Таракан победителем, и лесов и морей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому . . .» И вдруг всех нас поразила второй смысл стиха. Я засмеялась. Одновременно засмеялся и Антон. Зато Кривошей стал вдруг необычайно серьезен. Стекла его очков переблеснулись рассыпчатыми искрами.

— Что вы подумали? — с необычайным волнением воскликнул он. — Неужели . . . Неужели Чуковский осмелелся?

Вместо ответа я многозначительно прочла дальше: «А он меж зверями похаживает, золоченое брюхо поглаживает . . . Принесите-ка мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю . . .»

— Неужели Чуковский осмелелся? — с каким-то просто невиданным возбуждением повторял Кривошей.

Я не замедлила ответить. (Птичка весело продолжала свой путь по тропинке бедствий!)

— Не знаю, хотел ли этого Чуковский. Наверно, нет. Но объективно только так и выходит! Вот послушайте, как реагировали звери: «И сидят и дрожат под кусточками, за зелеными прячутся кочками. Только и видно, как уши дрожат, только и слышно, как зубы стучат . . .» Или вот это: «Волки от испуга скушали друг друга . . .»

Кривошей, ни на минуту не останавливаясь, ходил по комнате. Он потирал руки, так крепко сжимая пальцы, что они белели.

— Блестящая политическая сатира! Не может быть, чтобы никто не заметил . . . Просто каждый боится сказать, что ему в голову могло прийти такое . . . Такое . . .

После ухода гостя Антон недовольно сказал:

— Какой-то осадок у меня остался. И чего он так взвинтился? Не надо бы про Тараканище-то . . . Не хватает нам ещё дела об оскорблении величества. Да нет, Кривошей-то, конечно, никому не скажет, но вообще . . . Давай договоримся: больше никому про это ни слова.

Призывы к осторожности со стороны бесшабашного в смысле свободы высказываний Антона произвели на меня впечатление. И больше никому, ни одной душе я не высказала соображений по поводу Тараканища.

... Наступил 1953 год. В моем теперешнем детском саду его встретили пышной елкой, которая удалась на славу и за которую мне объявили благодарность в приказе.

Однако ровно через два дня после благодарности меня внезапно и без всякого объяснения причин сняли с работы. Заведующая, которая за год до этого так энергично боролась за меня, вела себя как-то странно. Старалась не встречаться со мной глазами, произносила отрывистые загадочные слова насчет того, что тут, мол, замешан спецсектор. Видно было, что она что-то знает и это «что-то» обрекает меня на гибель. Она говорила со мной так, как говорят родственники с раковыми больными, не знающими своего диагноза. Желала здоровья. Даже промямлила словечко о будущем годе. Дескать, самое главное, чтобы прошло какое-то время... А там...

На другой день пришел выразить мне свое соболезнование наш приятель инженер Кривошей. Антона и Тони не было дома. Визитер уселся у стола. Кошка Агафья сладострастно замурыкала, устраиваясь у него на коленях. А он начал огорченным голосом упрекать меня в излишней доверчивости. Вот, например, наш приятель Милонов... Кривошей сам на днях видел, как тот выходил поздно вечером из «белого дома». Что бы ему там делать?

— Что вы говорите! — возмущенно воскликнула я. — Как же тогда жить, если подозревать в предательстве самых близких друзей! Мы знаем Милонова... Он честный человек...

Кривошей странно усмехнулся. И мне почему-то вдруг стало страшно. Нет, я еще не допускала мысли о том, кто подлинный предатель, затесавшийся в наш дом. Но в этот момент я как бы впервые заметила, что его лицо надежно скрыто маской, из-под которой время от времени прорывается подлинный взгляд, непритворная гримаса, очень далекая от того внутреннего мира, который мы ему сочинили. Это была еще не догадка, но первое предчувствие близкой догадки.

Гость собирался уже уходить, когда в комнату вошел, нет, не вошел, а вбежал Антон. На нем лица не было. Давно я не видела его таким взволнованным. Еле кивнув Кривошее, он отрывисто бросил мне:

— Выйдем на минутку в коридор...

Это было так не похоже на его обычную вежливость, что я сразу поняла: то, что он сейчас скажет мне, будет относиться именно к этому неистощимому говоруну, знатоку отечественной литературы и страстному любителю животных.

— Что? — спросила я, уже предвидя ответ.

— Это он! Тебя сняли с работы по его доносу. Он сообщил про чтение «Тараканища» и про твои комментарии.

Одна из медсестер, работавших с Антоном в поликлинике, взяв с него клятву, что он никогда никому не заикнется об этом разговоре, плача, воскликнула: «Боже мой! Что теперь с вами обоими будет! Что же это ваша Евгения натворила! Назвала товарища Сталина — пауком!»

Так говорили у них на закрытом партсобрании. И соответственно объяснили, что за подобное оскорбление божества воздастся.

Холодея, я выслушала Антона до конца. Механизм происшествия мне был теперь совершенно ясен. Никто, ни одна душа на свете, кроме Кривошей, не слышал моих дерзновенных догадок насчет Тараканища. Ну а путаница с насекомыми объяснялась, по-видимому, недостаточной начитанностью инстанций «белого дома», а также неосознанными подкорковыми процессами, подсунувшими вместо гротескового, отчасти даже комичного Таракана реального, зловещего и совсем не смешного Паука-кровососа.

— Дай доносчику по физиономии и выгони его за дверь! — потребовала я.

— Это всегда успеется. Никогда нельзя сразу показывать провокатору, что он раскрыт. Последим за ним несколько дней. Предупредим других . . .

Такая удивительная рассудительность вспыльчивого Антона объяснялась, как он рассказал мне потом, тем, что на улице, около нашего барака, он заметил, входя, несколько милиционеров, круживших тут из-за скандала в одной из комнат, где жили шоферы. Кривошей мог тут же броситься за помощью к правосудию и тем ускорить ход событий.

Так или иначе, но мы вернулись в нашу комнату, где все в той же идилической позе, с кошкой Агафьей на коленях, сидел как ни в чем не бывало наш желанный гость.

Я не в силах была смотреть на него и без всяких обиняков юркнула за ширму, где у нас на тумбочке стояла электроплитка и вообще было подобие кухни. Там я сразу начала судорожно чистить картошку, прислушиваясь к тому, как выйдет из положения Антон.

— Евгения Семеновна слишком остро реагирует, — ласково, как с больным, заговорил Кривошей. — Ведь уже все бывало. Пройдет и на этот раз.

— Н-да . . . — отвечал Антон, нетерпеливо постукивая пальцами по столу.

— Я уж тут до вашего прихода говорил, что надо быть более разборчивой и, пожалуй, даже недоверчивой в выборе знакомых, — продолжал наш гость эпическим тоном, глядя кошку двумя пальцами по передним лапкам.

— У-гу . . . — почти прорычал Антон. — Святая правда!

К счастью, беседа длилась недолго. Постучался кто-то из соседей и завел с Антоном разговор о своих болезнях. Кривошею представилась таким образом возможность вполне благопристойно закруглить свой визит. Он, пожалуй, пойдет, не будет мешать больному беседовать с врачом. Видно, у него был принцип «Чем наглее — тем правдоподобнее», потому что он не преминул взглянуть ко мне за ширму, чтобы еще раз настоятельно порекомендовать мне «экономить нервы». На прощанье он протянул мне руку.

— Извините, руки грязные, — двусмысленно сказала я, пряча свои — за спину.

Но понимать намеки — не входило в его методику. Он ласково улыбнулся и, не растерявшись, просто приветственно помахал своей повисшей в воздухе рукой.

Вечером (терять уже было нечего!) я снова читала Тоне вслух «Тараканище».

*Бедные, бедные звери!
Плачут, рыдают, ревут . . .
В каждой берлоге и в каждой пещере
злого обжору клянут . . .*

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДАТАЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС

А на другой день, с утра, развернув газету, я увидела сообщение о деле врачей — убийц в белых халатах.

То, что последовало за этим, было до сих пор неслыханно на Колыме. Впервые на нашу дальнюю планету проникла эта отрава. До тех пор мы были в глазах начальства единым массивом. Нас терзали на основе полного национального равенства, не выделяя из общей мученической среды, так сказать, ни эллина, ни иудея. Даже космополитская кампания сорок девятого года прошла как-то стороной от нас. В это время нашему начальству было не до того: свои, специфические дела вытесняли эти, общесоюзные. И так все запарились с массовыми повторными арестами, с назначением ссылок и вечных поселений, с расширением числа комендатур . . . Да мало ли . . .

А о нашем обществе заключенных и ссыльных в этом плане и говорить было нечего. Ведь среди нас преобладали комсомольцы двадцатых и тридцатых годов, надежно законсервированные в идеях и категориях своей юности. Мы просто и понятия не имели о том, как за время нашего загробного существования здорово окрепла там, на материке, дружба народов.

Итак, в этом отношении Колыма позорно отставала. Только сейчас, в пятьдесят третьем, здесь спохватились и начали «регулировать национальный состав». Начальник сануправления Щербаков, — человек, безусловно, незлой и неглупый, — точно неожиданно сойдя с ума, метался по больничному двору, восклицая: «А Горин — не еврей? А Вальтер — не еврей? А кто здесь вообще еврей?»

— Хоть запрашивай из Германии справку о расовой чистоте, — мрачно острил Антон.

Шутка имела под собой некоторое реальное основание: через новых заключенных, прошедших плен, Антон узнал по каким-то каналам о судьбе своего брата, оказавшегося вместе с фольксдойчами в Германии. Там его подвергли «расовому обследованию», после чего он получил справку, что в роду Вальтеров до пятого колена были все сплошные чистокровные тевтоны.

Но Антону тевтонство не помогло. С работы его тоже сняли. Правда, начальник отдела кадров Подушкин благосклонно выслушал сообщение Антона о том, что он не еврей.

— Никто вас В ЭТОМ и не обвиняет, — беспристрастно отверг ложное ОБВИНЕНИЕ начальник. — Зато вас можно обвинить в другом . . .

И сделал несколько прозрачных намеков на манеру распускать язык, на участие в контрреволюционной болтовне. Конечно, смешно было надеяться, что наш друг Кривошей скроет от «белого дома» участие Антона в той беседе о творчестве Корнея Чуковского.

— Вот так-то, — заключил начальник кадров, — впрочем, увольняетесь вы по сокращению штатов.

Так или иначе, к началу февраля пятьдесят третьего года мы оба были безнадежно безработными. Для полноты картины и Тоню отчислили из детского сада.

— Это потому, что ты, мамочка, не работаешь. Марья Ивановна сказала, что у тебя теперь есть время за мной ухаживать.

Да, времени вдруг объявилось сколько угодно. Но кормить Тоню так сытно и хорошо, как кормили ее в детском саду, скоро стало не на что.

Когда годами живешь без чувства будущего, без ощущения реальности завтрашнего дня, то начисто выветривается из сознания самая идея запаса, накопления. Ведь были периоды, когда мы хорошо зарабатывали. Могли бы скопить на так называемый черный день. Но когда все дни — черные, то об этом как-то не думаешь. Теперь мы сами удивлялись, куда ушли все деньги и почему мы сразу сели на мель.

Друзья, понятно, приходили на помощь. Присылали нам опять каких-то частных учеников, частных пациентов. Мы учили и

Степа басит, что, мол, продажа условная и что как только все у нас утрясется, — а так, наверное, и будет, — он сейчас же прикатит наше пианино обратно, благо живем-то дверь в дверь.

Клава на этот раз мыслит трезвее мужа. Она качает головой, сморкается в фартук и обещает приносить нам передачи.

При помощи практичной Юли мы довольно выгодно провели дешевую распродажу имущества и выручили немалую сумму — одиннадцать тысяч. Половину из них выслала Ваське. «Положи на книжку и начинай расходовать только тогда, когда точно узнаешь, что меня больше нет». Так я писала на бланке перевода. В те времена Васино высшее образование еще было для меня нерушимым фетишем. Если Вася будет вынужден бросить институт — это будет почти такое же страшное несчастье, как моя собственная гибель. Глаза бы выцарапала всякому, кто сказал бы мне, что Васька не воспользуется своим медицинским дипломом и что жизнь его пойдет совсем стороной от этого института. Это во мне бурлила кровь моих неведомых дедов и бабок. Тех самых, что готовы были обходиться без супа, лишь бы вырастить ученых детей.

Хуже всего обстояло дело с Тоней. Страшно было подумать, что она снова окажется в детдоме, теперь, после того как узнала домашнюю жизнь с папой и мамой. Наше нынешнее странное поведение ей очень нравилось: никто никуда не спешил, никто не ходил на работу. Она просыпалась веселая, пела в кровати, хлопала в ладоши, кричала: «Папа дома! Мама дома!»

Я грызла себя раскаянием: разве можно было связывать ребенка с моей жизнью, в которой хозяйничают демоны! Это был чистейший эгоизм с моей стороны! Мне нужна была замена Алеши. Нет, не замена. Его не может заменить никто, даже Вася. Не замена, а постоянное напоминание о нем. Но не рвущее на части, а примиренное напоминание . . . И вот теперь . . .

Немного отлегло от сердца, когда получили из Казахстана письмо от Антоновых сестер, живших там на поселении. Они писали, что согласны принять девочку (которую считали нашей родной), если с нами, не дай Бог, что случится. Оказалось, что потихоньку от меня Антон писал им об этом. Юля дала слово — сразу же отправить ребенка туда с кем-нибудь из надежных вольняшек, едущих на материк.

Итак, все было сделано, предусмотрено. Оставалось ждать. И мы ждали. Ждали и наши друзья. Встречая нас на улице, они радовались: ходят еще! Приходя к нам, они сначала стучались к Гусевым, чтобы узнать, не опечатана ли наша комната. Мы не обижались. Ведь и сами мы были парализованы страхом. Везде нам грезились стукачи или люди из «белого дома». Обжегшись на

любителе поэзии Кривошее, мы теперь с подозрением относились ко всякому незнакомому человеку.

Помню, как мы испугались, когда к нам явился неизвестный парень, назвавшийся дальним родственником доктора Чернова, вольного сослуживца Антона. Чернов незадолго до этого уехал на материк. Нам показалось ужасно подозрительным, что наш визитер, только что, по его словам, приехавший с Большой земли, был как две капли воды похож на лагерника. Резкие острые скулы, обтянутые сухой шелушащейся кожей. Куцый бушлатик. Сбитые бурки из солдатского сукна. Обтрепанный малахай. Все это напоминало знакомые таежные типы. Только гораздо позднее мы, не видевшие военной России, узнали, что в те годы, «сороковые, роковые», такой облик был обычен для наших городов и поселков. К тому же Глеб — так звали парня — был беглецом из колхоза, скитавшимся в бегах два года. Выход из мытарств он нашел в конторе Дальстроя, где его завербовали на колымский прииск экскаваторщиком. Нужда в рабочих этой профессии была так велика, что отдел кадров закрыл глаза на подмоченную анкету Глеба.

От постоянного страха перед карающей десницей, от недоедания и скитальческой жизни в глазах Глеба то и дело вспыхивал какой-то звериный огонек. Не то чтобы волчий, но примерно как у бездомного пса, окруженного преследователями. Но губы были мягкие, немного отвислые. Они обличали жалостливый характер. Ел Глеб с истовостью человека, знающего цену пище. За третьей кружкой чая он отошел от первоначального смущения, расстегнул пиджак и начал очень реалистично рассказывать о жизни в колхозах.

— Говорю вам все открыто, потому как сказано мне, что вы — свои люди . . .

Мы переглядываемся. Свои люди . . . это выражение очень любил употреблять наш друг Кривошей. Да и сживал он, бывало, за столом на том же месте, где сидит сейчас этот Глеб. Так же радушно мы его потчевали. И пошел тут у нас странный диалог.

Глеб. Как стали ребята пухнуть с голоду, так и решился я. Пойду, думаю, хоть копейку какую раздобуду да вышлю им. Сил нет смотреть . . .

Мы (после паузы, глаза опущены, голоса автоматические). У вас много детей?

Глеб (еще не замечая нашего испуга). Трое . . . Баба всю войну батрачила, пока я воевал. А теперь начальство-то вместо спасибо . . .

Мы (с грустными интонациями неопытных лжецов). Где же вы тут остановились в Магадане?

Я пишу об этой случайной встрече так подробно, чтобы показать, до каких пределов мы дошли в этом бреде преследования.

Я уже ясно видела, как в очередных протоколах «белого дома» рядом со строчками о «Тараканище» ложатся отличные формулировки насчет опорочивания колхозного строя. На какие-то мгновения я почти не сомневалась, что этот Глеб послан к нам как подкрепление к показаниям Кривошея. А между тем только при полной нашей затравленности можно было принять этого вековечного бедолагу из села Неелова-Горелова за провокатора, усмотреть нечто двузначное, нарочитое в его простодушных сетованиях на судьбу.

Вот какой мрак мы допустили в свои сердца! Все это чаепитие с Глебом осталось навсегда в моей памяти как одно из позорных воспоминаний. Я и сегодня краснею, когда передо мной всплывает это лицо с горьким недоумением в глазах. Он, наверно, мысленно сопоставлял то хорошее, что говорил ему о нас доктор Чернов, с тем, что он нашел у нас сегодня.

— Извиняйте, если что не так, — забормотал он, вставая из-за стола. — Я, вишь ты, попросту . . . Потому мне сказывали, что . . .

Когда он ушел, мы поссорились из-за какой-то чепухи. Потом я заплакала и сказала:

— Ничтожная козявка я, вот кто . . .

— Главное, какой им смысл сейчас подсылать к нам еще ко-го-то! Ведь материала против нас у них и так предостаточно, — сказал Антон и добавил: — Пойдем гулять!

Мы всегда шли гулять, когда становилось уж совсем невыносимо. В любую погоду выходили из дому — что нам буран или снегопад! Скитались по городу, забредая то в Марчечан, то под Круглую Сопку. Наградой таких походов было полное физическое истощение. Изнемогшие, мы потом засыпали, хоть ненадолго, пусть даже со страшными сновидениями. Лишь бы заснуть!

Впрочем, с Антоном такие эпизоды, как прием Глеба, случались реже, чем со мной. Главное — он оставался добрым, не отказывался в любое время суток бежать к больному, который позвал его. Временами на него находило какое-то веселое отчаяние гибели. Он начинал шутить, рассказывать анекдоты, звать меня в кино.

— Пойдем! По крайней мере два часа полного покоя. В кино-то уж ни за что не будут они нас хватать. Не захотят поднимать шум.

И мы часто ходили в кино. Сидели, взявшись за руки, ободренные тем, что в устремленных на нас взглядах людей не было ни страха, ни жестокости. Одно любопытство. Ведь весь город знал немецкого доктора. Все знали, что он сейчас снят с работы. И почти все — вплоть до больших начальников — были недовольны этим. Он был нужен им всем.

В последний день февраля в «Горняке» шел какой-то итальянский фильм.

— Пойду за билетами, — сказал Антон и ушел, оставив меня с ученицей. Я репетировала девочку-двоечницу по русскому.

И вдруг раздался стук в дверь. Тот самый. Которого мы ждали. Я сразу, шестым чувством, поняла это.

— Что с вами? — воскликнула тринадцатилетняя двоечница. Потом она говорила мне, что я стала блеее стены.

Не дожидаясь ответа на стук, он отворил дверь. Властным движением белого фетрового сапога пнул ее — и она безропотно раскрылась. Это был некто в штатском. Выдавали его только фирменные фетровые сапоги и еще канты высокого военного воротничка, выпиравшие из-под мехового воротника пальто. Да все равно! Будь он хоть в королевской мантии или в костюме мушкетера, я признала бы его с первого взгляда. Оттуда!

— Где Вальтер? — спросил он, не здороваясь. Тем самым голосом. С теми самыми интонациями. Бутырско-лубянскими . . . Эльгенско-васьковскими . . .

— Не знаю . . .

— Как, тоись, не знаешь? Ведь он вам муж . . .

— Он не сказал куда . . . Может быть, к больному . . .

— К какому еще больному, когда уж месяц с работы снят . . .

Мной лично он как будто не интересовался. Зато внимательно осматривал жильё. Прошел хозяйским шагом по комнате, оставляя на полу мокрые большие отпечатки подошв, заглянул в тетрадь двоечницы, прочел с оттенком любознательности правило правописания частицы НЕ с причастиями. Потом посмотрел на часы.

— Если скоро вернется, пусть идет сразу же в «красный дом». Комната семнадцатая. А если через час не придет, тогда завтра. К девяти утра. Не в «белый дом», смотри, а в «красный». Понятно?

К девяти утра. Я вздохнула с облегчением. Значит, нам дарована еще целая ночь. Только бы не забыть, что я должна сказать Антону. Самое главное. А то после ареста близкого, как и после смерти, всегда оказывается, что самого-то главного и не успела сказать . . . Ах, только бы ЭТОТ ушел до возвращения Антона, только бы не встретил его в коридоре!

Я напрягаюсь до кончиков волос, внушая пришьелцу: ну уходи, уходи же! Но он не торопится. Еще раз взглядывает на часы. Ужас! Он садится!

Нет . . . Только поправить портянку, выбившуюся из правого сапога. Встал . . .

— Так ровно в девять! Понятно?

Я хочу выйти вслед за ним в коридор, но моя двоечница, которая вполне разобралась в этом эпизоде (уроженка Колымы!),

отстраняет меня и на цыпочках выходит вслед за фетровыми сапогами. Проходят нескончаемые секунды.

— Ушел . . . — шепчет моя ученица, и на ее близоруких глазах блестят слезы. — Вниз пошел, к бухте . . . А Антон Яковлич как раз из города идет . . . С другой стороны . . . Нет, нет, не встретились!

Антон еще с порога, взглянув на меня, все понял.

— За мной приходили?

И после краткой информации:

— Нельзя нам с тобой сейчас расставаться ни на минуту. Ведь могли и за тобой первой . . . И увели бы без меня . . .

Несколько минут мы обсуждаем — при активном участии моей ученицы — такую важную деталь, как приказ явиться именно в «красный дом», а не в «белый». Это вселяет надежды.

— В «красном» — насчет ссылки и поселения. А если бы новый срок, так уж обязательно бы в «белый», — разъясняет нам тринадцатилетняя колымская девчонка, отец которой тоже носит фетровые сапоги. Тут она все на пятерку знает! Это вам не частица НЕ с причастиями!

Посидев немного на табуретке, прямо в пальто и шапке, Антон решительно встает.

— Не опоздать бы в кино, Женюша . . . Ну конечно, пойдем . . . Что ж последний вольный вечер сидеть тут и мучиться! Хоть отвлечемся . . .

Мы отводим Тоню к Юле, а сами вот уже снова сидим, взявшись за руки, на наших излюбленных местах — в предпоследнем ряду с краю.

По ходу итальянского фильма показывают кусок католической мессы. Антон радостно волнуется.

— Боже мой, какая ты еще дикарка, Женюша, — шепчет он, — коммунистическая готтентотка. Подумать только — ты никогда не слыхала ничего этого. Зато эта радость еще у тебя впереди . . .

И вдруг мы оба явственно слышим, как девушка в дорогой каракулевой шубке, сидящая позади нас, вздыхает и громким шепотом говорит своему соседу:

— Смотри, как раньше Бога-то славили! Прямо как Сталина!

Ночь прошла удивительно быстро. Как ни странно, но именно в эту ночь мне удалось заснуть. Потому что мы рассудили: раз вызвали к девяти утра, значит, сегодня вряд ли придут ночью. А когда проснулись — около шести — то часы помчались как бешеные. И опять мы не успели сказать самого главного. И вот уже Антон стоит у дверей в пальто и шапке. И снова:

— Прости, если я тебя когда-нибудь обидел . . .

— Молчи, молчи . . . Скажи, сколько часов можно ждать с надеждой на возвращение?

— Часа четыре, не меньше. Бюро пропусков . . . У дверей кабинетов . . . До часа не приходи в отчаяние, ладно? Ну а если и не вернусь, то ведь все равно встретимся . . .

Чтобы переключить свое страшное возбуждение, чтобы куда-то направить то, что сжигает изнутри, я начинаю мыть полы. С остервенением скоблю те места, где остались пятна от вчерашних фетровых сапог. Потом тру половую тряпку мылом так ожесточенно, точно всерьез задумала вернуть ей первоначальный белый цвет.

Стук в дверь. Ничего, это всего только наш друг Гейс. Михаил Францевич Гейс, земляк Антона, тоже немец-колонист из Крыма. Он выглядит не просто взволнованным, а потрясенным, и это усиливает мое отчаяние.

— Уже знаете? — спрашиваю я.

— Да. И вы тоже?

Мимолетно удивляюсь странному его вопросу — как же мне-то не знать . . . И тут же начинаю выпытывать, что он думает о перспективах, если человека вызвали не в «белый дом», а в «красный». Можно ли надеяться, что . . .

— Можно! — произносит он каким-то нелепо-торжественным тоном. — Теперь нам действительно можно надеяться.

И совсем уж без всякой логики добавляет:

— Почему у вас выключено радио? Включите!

— Господи! Да что с вами? Понимаете ли вы, наконец, что Антона вызвали в «красный дом»?

Не отвечая, он подходит к стене, включает вилку репродуктора в штепсель. И вдруг сквозь трескучие разряды я слышу . . . Что я слышу, Боже милосердный!

« . . . Наступило ухудшение . . . Сердечные перебои . . . Пульс нитевидный . . . »

Голос диктора, натянутый как струна, звенит сдерживаемой скорбью. Отчаянная невероятная догадка огненным зигзагом прорезает мозг, но я не решаюсь ей довериться. Стою перед Гейсом с вытаращенными глазами, не выпуская из рук половой тряпки, с которой стекает вода.

« . . . Мы передавали бюллетень о болезни . . . »

Из-за шума в голове — точно звуки прилива дошли сюда из бухты Нагаево — я не слышу перечисляемых чинов и званий. Но вот совершенно явственно:

«Иосифа Виссарионовича Сталина . . . »

Чистая половая тряпка вырвалась из моих рук и брякнулась назад в ведро с грязной водой. И тишина . . . И в тишине отчетливо слышу торопливые шаги Антона по коридору.

— Вернулся!

— Паспорт отобрали! — ликующим голосом, точно благую весть, возвещает он. — Вспомнили, что у меня нет ни ссылки, ни поселения. Переведут на поселение, только и всего . . .

— Еще неизвестно, переведут ли, — загадочно произносит Гейс.

Антон начал было рассказывать о беседе в «красном доме», но репродуктор снова затрещал во всю мочь. И опять: «Передаем бюллетень . . .»

— Антоша, — твердила я, вцепившись в руку Антона, — Антоша . . . А вдруг . . . А вдруг он поправится?

— Не говори глупостей, Женюша, — почти кричал возбужденный Антон, — я говорю тебе как врач: выздоровление невозможно. Слышишь? Дыхание Чайнстока . . . Это агония . . .

— Вы просто младенцы, — ледяным голосом сказал Гейс, — неужели вы думаете, что если бы была надежда на выздоровление, народу сообщили бы об этой болезни? Скорее всего, он уже мертв.

Я упала руками на стол и бурно разрыдалась. Тело мое сотрясалось. Это была разрядка не только за последние несколько месяцев ожидания третьего ареста. Я плакала за два десятилетия сразу. В одну минуту передо мной пронеслось все. Все пытки и все камеры. Все шеренги казенных и несметные толпы замученных. И моя, моя собственная жизнь, уничтоженная ЕГО дьявольской волей. И мой мальчик, мой погибший сын . . .

Где-то там, в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание кровавый Идол века — и это было величайшее событие для миллионов еще недомученных его жертв, для их близких и родных и для каждой отдельной маленькой жизни.

Каюсь: я рыдала не только над монументальной исторической трагедией, но прежде всего над собой. Что сделал этот человек со мной, с моей душой, с моими детьми, с моей мамой . . .

— Который час? — спросил вдруг Гейс.

— Двенадцать, — ответил Антон, — пробил двенадцатый час. Скоро мы будем свободны . . .

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПО РАДИО — МУЗЫКА БАХА

И до пятого марта и после него, в скорбные дни погребения Великого и Мудрого, в эфире царил Иоганн Себастьян Бах. Музыка заняла в передачах невиданное, непомерное место. Величавые музыкальные фразы, медленные, просветленные, лились изо всех репродукторов нашего барака, заглушая коридорную беготню детей и истерические рыдания женщин.

Да, в нашем бараке, населенном колымским плембсом, бабы гогосили об усопшем со всей истовостью, с выкриками «И на кого ж ты нас спокинул»... Они знали приличие, наши бабенки, и не хотели выглядеть хуже людей. Рыдал весь Магадан — рыдали и они.

Впрочем, иногда, сходясь на кухне, они вдруг прерывали плач и деловито обменивались соображениями насчет того, что же теперь с нами, сиротами, будет. По международным вопросам все сходились на том, что войны не миновать, потому что нынче и заступиться-то за нас некому. Но насчет внутренних дел стали иногда, вопреки рыданиям, прорываться оптимистические нотки: может, теперь не так будет строго, может, кому и удастся на материк стронуться.

— А ты, мамочка, почему не плачешь? — любопытствовала Тоня. — Все тети плачут, а ты нет...

— Мама уже плакала один раз, — терпеливо объяснял ей Антон, — только тебя тогда дома не было, ты у тети Юли гостила.

В эти траурные дни у Антона вдруг снова объявилась огромная врачебная практика. То и дело за ним присылали из начальных домов. От тягостных переживаний, от полного смятения чувств и тревог за будущее занемогли многие. И вспомнили опального, снятого с работы, сдавшего свой паспорт в «красный дом», но — черт возьми! — умелого немецкого доктора.

Смятение охватило знатных колымчан еще до сообщения о смертельном исходе болезни Вождя и Друга. Уже и предварительные бюллетени повергли наше начальство в мучительное недоумение. Ведь они начисто забыли о том странном факте, что Генералиссимус сотворен из той же самой несовершенной плоти, что и остальные грешные. Уже сама по себе его болезнь становилась трещиной на теле той счастливой, понятной, гармоничной планеты, обитателями и хозяевами которой они были и с которой так ловко управлялись.

Кровяное давление... Белок в моче... Черт возьми, все это годится для простых смертных, но какое отношение такая подлая материя может иметь к НЕМУ?

Наверно, так же были бы оскорблены в своих лучших чувствах древние славяне, если бы им объявили вдруг, что у Перуна повысилось кровяное давление. Или древние египтяне, если бы они неожиданно узнали, что у бога Озириса — в моче белок.

Еще более разрушительное действие возымела на колымских начальников ЕГО смерть. Немудрено, что со многими из них в эти дни случались приступы стенокардии и гипертонические кризы. Нет, при всем реализме своего мышления эти люди не могли смириться с вульгарной мыслью о том, что Гений, Вождь, Отец, Творец, Вдохновитель, Организатор, Лучший друг, Корифей

и прочая и прочая подвержен тем же каменным законам биологии, что и любой заключенный или спецпоселенец. Своенравие Смерти, вторгшееся в гигантскую систему, такую стройную, такую плановую, было непостижимо. Наконец, все они привыкли к тому, что люди высокого положения могут умирать только по личному указанию товарища Сталина. А тут вдруг . . . Нет, право, в этом было что-то скандальное, не совсем приличное . . .

Медлительная музыка Иоганна Себастьяна Баха была призвана поддержать дрогнувшее величие.

Немало сердечных приступов и нервных припадков было в эти дни и среди наших политических ссыльных. Десятилетиями лишённые надежд, мы валились с ног, пораженные первой вспыхнувшей зарницей. Привыкшие к рабству, мы почти теряли сознание от самого зарождения мысли о свободе. Прикованные к своей ледяной тюрьме, мы заболели при воскресшем воспоминании о поездах, пароходах, самолетах . . .

Никто из нас не мог сидеть в эти дни дома. Бродили по улицам. Останавливались при встречах со своими. Озираясь по сторонам, обменивались потаенным блеском глаз, возбужденными шепотами. Все были словно пьяные. У всех кружилась голова от предвкушения близких перемен. И хотя еще никто не знал, что скоро с легкой руки Эренбурга вступит в строй весеннее слово «оттепель», но уже вроде услышали, как артачатся застоявшиеся льдины, но уже шутили, повторяя формулу Остапа Бендера «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»

— Говорят, Молотов будет . . .

— Вряд ли . . . Тупица . . . Может только твердить зады . . .

— Ну и достаточно . . .

— Скорей Берия . . .

— А тогда как бы еще солонее не было . . .

— Ведь, наверно, есть какой-нибудь документ . . . Завещание о престолонаследии.

— Во всяком случае вечное поселение отменят. Вот увидите!

— И двадцатипятилетние сроки . . .

Время от времени раздавался чей-то совсем сбитого с толку голос:

— Как бы хуже не стало . . .

На такого сейчас же бурно обрушивались. Возобновились споры о роли личности в истории. Находились еще среди поселенцев ортодоксальные марксисты, все еще лепетавшие бесцветными растрескавшимися губами что-нибудь из некогда затверженного на лекциях по диамату.

Но огромное большинство ссыльных явственно ощущало, как дрогнуло государство, лишившееся Владыки к исходу тридцатого года его царствования, как смутились и переполошились все

крупные и мелкие диспетчеры, когда увидели, что нет больше «того пальца, который столько лет лежал на главной кнопке управляющей машины».

На четвертый день траурной музыки, вернувшись домой из магазина, я увидела, что наше пианино стоит на старом месте. Улыбающийся Степа Гусев, непьющий чудо-шофер, на этот раз изменил себе. Сидя за столом вместе с Антоном, они оба потягивали из кружек шампанское, заменявшее на Колыме ситро и минеральную воду.

— Теперь вы в безопасности, — добродушно щурясь, сказал Степан, — теперь вас не тронут.

Он разыскал в шкафчике третью кружку, налил мне и провозгласил:

— Ну, за свободу!

— Глас народа — глас Божий, — подытожил Антон.

Собственно говоря, еще не было никаких конкретных признаков того, что опасность для нас миновала. Строго говоря, совсем не была исключена возможность того, что «белый дом» даст ход доносу Кривошея. Но мы интуитивно почувствовали, что этого не будет. Мы, не сговариваясь и не обсуждая этого вопроса, перестали ждать третьего ареста. Точно девятипудовый камень свалился с плеч. И не последнюю роль в этом вновь обретенном чувстве жизни играла музыка, день и ночь льющаяся по радио музыка Баха. Она напоминала нам о том, что нет уже того, кто воплощал безумие и жестокость.

Я не могла бы отчетливо объяснить, чего я жду от ближайшего будущего. Но ждала я страстно. Каждое утро начиналось теперь для меня с восхитительного чувства: все дрогнуло, сдвинулось, повернулось. Мы — у истоков новой эпохи. Конечно, это сопровождалось тревогой. Она гнала на улицу. Хотелось видеть людей, слышать их мнения о нашем будущем, о будущем страны. И как радостно было видеть, что почти все наши разделяют эти чувства!

Вот мы с Юлей идем по центральной улице Магадана. Встречаем Алексея Астахова. Это приятель Антона по прииску. Он весь лучится. Сияет его великолепная черная борода а ля Александр III, лакированные карие глаза, белые, такие же как у Антона, неистребимые зубы. Это живописнейший человек. Высок, статен, красив. Да и слушать его — одно удовольствие. Речь его остра, сочна, блестяща. И все это после многих лет заключения.

— С праздничком вас! Со светлым Христовым воскресеньем! — восклицает Алексей Алексеич. На какой-то момент его голос заглушает даже траурную музыку, все еще плывущую по радио. Изо всех громкоговорителей . . . Астахов на прииске оглох,

и теперь ему не всегда удается соразмерять мощь своего раскатистого голоса со слухом собеседника.

Осторожная Юля в ужасе. Оглядывается на прохожих. Затем кричит так же громко, прямо в ухо Астахову:

— Разве нынче такая ранняя Пасха?

Она победительно смотрит на меня. Вот как тонко она вышла из неловкости! Потом для окончательной безопасности Юля с пафосом добавляет:

— Скорее всего, Генсеком будет теперь Лаврентий Павлович . . . Это было бы самое разумное . . .

О Юлька, великий конспиратор! Зря старалась! Никто из прохожих не обращает на нас никакого внимания. У всех масса новых забот и волнений. В новой ситуации каждый еще только прощупывает свое новое место.

Подходят еще двое ссыльных. Снова перекрестный огонь предсказаний, предположений, опасений. Еще не проникло в наши беседы слепящее слово «реабилитация», но уже носится в воздухе отчасти унижительное, но все-таки желанное — «амнистия». И уже развелось немало информированных товарищей, рассказывающих, какие именно статьи подойдут под этот акт доброй воли нового правительства.

Во всех этих толках было много смешного, нелепого, трогательного. Люди, десятилетиями оторванные от жизни Большой земли, не могли не делать ошибок в рассуждениях. Но единой и общей для всех была уверенность, что кто бы ни сел сейчас на престол московский (в том, что диктатура будет единоличной, как-то даже не сомневались), он будет менее жесток, чем покойник. Потому что более жестоким быть нельзя не только по человеческой, но даже по дьявольской мерке.

Эти наши умозрительные надежды впервые начали облекаться плотью через десять дней после кончины Генералиссимуса, пятнадцатого марта, в день очередной «отметки» ссыльных и поселенцев. Войдя в длинный узкий коридор, где мы обычно стояли нескончаемой шеренгой перед дверями коменданта, я увидела, что вдоль этой знаменитой стены стоит скамейка.

Скамейка! Довольно удобная, со спинкой, вроде садовой. Длинная, человек так на десять. На ней уже сидело четверо, и у всех у них сияли глаза и раздвигались в улыбке губы. Ведь годами, годами стояли-выстаивали мы здесь, подпирая своими спинами и боками грязно-серую, мажущую мелом стену. Годами переминались с ноги на ногу в ожидании, когда откроется перед тобой заветная дверь и хмурый комендант, не поднимая глаз, пристукнет штамп, продолжит твою жизнь на две недели. И вдруг на этом самом месте — скамейка! Со спинкой . . .

— Садись, дорогая, — сказал мне старик в серой телогрейке

с синими заплатами на локтях, — садись, отдыхай! Комендатура не хочет, чтобы ты зря утомлялась.

Он весело подмигнул мне мутным склеротическим глазом, а трое остальных захохотали. Смех в комендатуре!

Минут через десять вся скамейка была заполнена, а те, кому не хватило места, все равно были радехоньки и любовно разглядывали сидящих.

И тут свершилось второе чудо. Торопливо вошли оба наших коменданта, аккуратно закрыли за собой дверь, чтобы не сквозило, и . . . улыбнулись нам. Правда, это были несколько вымученные улыбки, какие-то неопределенные, с оттенком опасности. Но все-таки факт оставался фактом: коменданты улыбались. Те самые коменданты, — а их уже много у нас сменилось, — которые неизменно проходили мимо нас, хлопнув входными дверями, напустив в коридор холода, не глядя на нас, с каменными лицами, точно мы были не живые существа, а какие-то детали постройки.

— Проходите, товарищи, — сказал один из комендантов, — вдвоем быстренько отметим вас . . . Пять человек проходите сразу. А остальные вот тут, на скамейке, посидите, подождите немного.

— Он, кажется, сказал ТОВАРИЩИ? Я не ослышалась? — переспросила поселенка Голубева, знакомая мне по дому Васькова.

— Нет, не ослышалась, — с готовностью ответил старик с синими заплатами.

— Раз скамеечка, то почему бы и не ТОВАРИЩИ! — И, прищмокнув губами, со смаком произнес: — Так сказать, социалистический гуманизм!

Все ответили ему дружным счастливым хохотом.

. . . Летели дни, и мало-помалу траурная музыка стала уступать место обычному разговорному жанру. Мы теперь не выключали своего репродуктора. Ведь впервые можно было ждать от этой коробочки, среди потока обычной шелухи, каких-нибудь реальных новостей.

И однажды мы действительно услышали нечто, что поразило не только весь мир, но даже и выдавшую виды Колыму. Это было в самом начале апреля.

— Слушайте! — истошным голосом завопила Клава Гусева, влетая на кухню. — Радио слушайте!

На кухне радио не выключалось, но его голос всегда был заглушен примусами, керогазами, бабьим гомоном. Однако сейчас все затихло в один миг. И во внезапной тишине мы прослушали официальное сообщение о прекращении дела врачей —

«убийц в белых халатах». Текст явно смущал диктора. Его наторевший в победных реляциях и патетических восторгах голос звучал непривычно. Его устами говорил великий Левиафан, непогрешимая держава. И впервые на памяти слушателей она говорила сейчас о своих ошибках. И не только об ошибках! Даже о «незаконных методах следствия». Правда, эти странные слова были произнесены как-то не совсем разборчиво, точно сквозь зубы и с явным усилием. Но так или иначе, а произнесены они были. И это стало в нашем восприятии началом новой эры.

Незаконные методы следствия! Подумать только! Они выговорили это. Эти три слова были теперь точно некая вакцина неумного возбуждения, впрыснутая под кожу миллионам колымских ссыльных и заключенных. Всем вместе и каждому в отдельности. Люди перестали спать. Исхудали от перенапряжения, от ежеминутного ожидания невиданных перемен. Говорили до сухости в глотке, точно в какой-то горячке снова и снова пересказывая друг другу свои старые следственные истории, тысячекратно пересказанные за долгие-долгие годы. Все раны тридцать седьмого и сорок девятого открылись, нестерпимо жгли, требовали исхода. Их нельзя было дальше выносить после того, как в прессе — даже в газете «Советская Колыма» — появились эти три слова «незаконные методы следствия».

Помаленьку из глухого бурления стали выкристаллизовываться эксцессы. Кто-то из ссыльных бросил коменданту в лицо свое удостоверение, закричал: «Не приду больше! Стар стал, чтобы каждые две недели вам кланяться, штамп ваш вымаливать. Хотите, забирайте! А сам больше не приду!» И главное — ничего ему не было. Просто через несколько дней получил по почте свое удостоверениенице. И на нем — штамп за те две недели и еще за две вперед . . .

На мужской магаданской лагерной командировке работяги устроили хай из-за прокисшей баланды. Некоторые даже миски на пол пошвыряли. И опять-таки начальство стерпело. Никого в карцер не взяли. А вместо той кислой баланды по два черпака каши выдали.

А как-то солнечным апрельским утром вдруг обнаружилось, что в течение ночи какой-то неизвестный злоумышленник напялил ржавое поганое ведро на статую товарища Сталина, что стоит в Магаданском парке культуры и отдыха. Прямо на голову . . .

Одновременно пошли слухи о бунтах в лагерях. Не у нас, правда. Где-то на Воркуте, на Игарке . . . И сведения о них были глухими, неопределенными, точно какие-то отдаленные подземные толчки. Но эхо от них все равно раздавалось, раскатывалось по нашим баракам. Невиданные перемены . . . Неслыханные мятежи . . .

Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что это были для нас счастливые дни. Освобождение от страха. Пусть пока еще подсознательное, не основанное ни на фактах, ни на трезвом анализе. Но все равно. Почему-то вдруг напряглись все мускулы тела и все силы души. Точно тебя вдруг окатило каким-то колдовским душем. И вот уже смыта усталость, которая, казалось, вьелась в каждую клеточку. Мы помолодели. Я стала дьявольски энергичной. Как в двадцать лет.

Я предприняла ряд атак на начальство. Прежде всего написала заявление о реабилитации. Впервые. Никогда я не включалась прежде в массовый психоз писания заявлений, которому многие были подвержены. Бывало, в Эльгене, после поверки, при свете коптилок, таясь от надзирателей, строчили и строчили, меня адреса. То верховному прокурору, то министру госбезопасности, то Председателю Совета Министров, то в Центральный Комитет партии. А чаще всего — лично товарищу Сталину. Некоторые написали за лагерный срок несколько сот заявлений. Ответ был всегда один: оснований для пересмотра дела нет.

Никогда я этому не поддавалась. Твердо знала, что пока на троне Лучший друг детей, ни одна колымская мать не вернется к своим детям.

Теперь я писала заявление, считая, что появились шансы на благоприятный ответ. Я писала на имя Ворошилова. Потому что в своей первой юности я сталкивалась с ним. Кратко напоминала ему о себе, сообщала о своей судьбе, просила вмешаться. ТЕПЕРЬ он мог, имел возможность сделать это. Я не сомневалась в том, что смерть тирана раскрепощает не только нас, но и тех, кто стоял за его спиной в роли ближайших соратников.

Конечно, в тогдашних моих чаяниях и надеждах очень мало места уделялось трезвому анализу положения, особенностей системы в целом. В том состоянии всеобщей эйфории, в каком мы тогда находились, верх брали эмоции. Чувство почти физиологического обновления, которое мы испытывали, мешало нам рассуждать, оценивать, взвешивать.

Насколько далеко шли мои надежды на начало новой жизни, видно хотя бы из того, что я начала вдруг настойчиво писать на материк, добываясь, чтобы мне выслали хотя бы копии моих документов об образовании. Ну пусть только университетский диплом. Юлия уверяла меня, что я с таким же успехом могла бы попросить, чтобы мне выслали звезду с неба. Она полагала, что от всей нашей прошлой жизни осталась только та самая розовая папка, на которой написано «Хранить вечно».

Но чудеса продолжались. Сестра Аксенова (моего мужа) сумела получить в архиве копию моего университетского диплома и выслала ее мне. Вот тогда-то я и предприняла еще один шаг,

удививший своей дерзостью не только начальство, но даже и многих товарищей по ссылке. Я написала в политуправление Дальстроя заявление с просьбой указать мне, на какие средства я должна существовать в ссылке, если мне не дают работать. Требовала назначения по специальности. Педагогической работы. И совсем уже вызывающе добавляла: «Так как в Магадане нет вузов, то я согласна преподавать в средней школе».

— Ты с ума сошла! — восклицала Юля. — Привлекать к себе внимание такими претензиями! И это в то время, когда они еще не разобрались в кривошеевских доносах на тебя!

Астахов подшучивал надо мной. Сочинил даже памфлет «От скамейки до кафедры». Там излагалось в стихах, как я, обрадовавшись скамейке в комендатуре, запросилась на кафедру и как Некто в фетровых сапогах тряхнул меня, чтобы раз и навсегда покончить с такими бессмысленными мечтаниями.

— Смейтесь, смейтесь, — упорствовала я, — я ведь знаю, что они ответят. «Мы бы вас с удовольствием взяли, но у вас ведь нет документов об образовании, о праве на преподавание». Тут я им дипломчик и предъявлю. Посмотрим, что они тогда запоют. По-моему, податься им будет некуда.

Антон притворно вздыхал над моей неразумностью, острил: меня, мол, семеро козлят ничему не научили. Проведя идеологическую диверсию среди шестилетних, подбираюсь сейчас к шестнадцатилетним . . .

Но все это были шутки. А всерьез-то я видела, что он вполне одобряет мои энергичные действия и сам находится в таком же состоянии душевного подъема, как и я.

Этого настроения не могла погасить даже бериевская амнистия, объявленная вскорости. Хотя, конечно, она нас очень огорчила, а некоторых даже повергла в полную безнадежность. Это была амнистия только для уголовников. Политических она практически не коснулась, потому что под нее формально подпадали только те, кто имел срок до пяти лет. А таких среди политических не существовало. Даже восьмилетников было ничтожно мало.

Мало того, что эта амнистия обманула ожидания, она еще принесла неисчислимые бытовые бедствия. В ожидании транспорта на материк выпущенные из лагерей блатари терроризировали Магадан. Милиция не справлялась с уличными грабежами. Наглость блатарей наводила на мысль, вернее на тревожное предощущение каких-то разгульных погромов, каких-то «И-эх, и-эх, без креста!» С наступлением сумерек мы были просто блокированы в своем Нагаеве. Идти через больничный пустырь после наступления темноты стало опасно для жизни.

К счастью, пришла наконец весна и на Колыму, открылась навигация. Новых свободных граждан, «друзей народа», облагодетельствованных Лаврентием Берией, стали косяками грузить на пароходы, отплывающие в бухту Находка, а оттуда во Владивосток, где их перегружали в железнодорожные эшелоны. Поезд, отвозивший эту компанию, прозвали «пятьсот веселый». По имени поезда и всех амнистированных уголовников величали «весельчаками». Еще долго до нас доходили разные слухи о подвигах «весельчаков» во Владивостоке, Хабаровске, в сибирских городах, лежащих на пути к столице.

В начале лета Антону предоставили наконец работу. Его взяли в Госстрах в качестве врача, дававшего заключение о здоровье страхующегося. Это была плоская и бездушная работа, с которой он возвращался каждый день расстроенным, поседевшим. Но отказываться нечего было и думать. Все-таки этот несчастный Госстрах выводил нас из затянувшегося постоянного безденежья.

— А как же вы будете оформлять меня? Ведь паспорт отнят, а ссыльного удостоверения у меня тоже пока нет, — допытывался Антон у своих новых хозяев.

— Ничего, все согласовано, где надо, — уклончиво, торопливо и даже несколько смущенно ответили ему.

Потом и мне предложили играть на пианино в марчеканском детском саду. Это было очень далеко, приходилось с большим трудом добираться. Да и вообще при изменившихся обстоятельствах мне казалось невыносимым тянуть все ту же ляжку. Ведь главного мучителя больше нет. Так неужели я не смогу добиться хоть простейшей, элементарной умственной работы? Только теперь, когда отошли немного в сторону страхи за самую жизнь, я с особой остротой ощутила, как я истосковалась по настоящей деятельности. Писать и преподавать. Преподавать и писать. Вот чего я жаждала, вот что я обдумывала днем и ночью, составляя в уме конспекты своих первых лекций. Набросать их на бумаге я не решалась. Чтобы не сглазить, не спугнуть свою упрямую надежду, которую почти никто не разделял.

А между тем неожиданные происшествия продолжались. Кажется, история начинала наконец работать на нас.

... Я была на кухне и варила под руководством дневальной тети Зины страшного уродливого краба в тот момент, когда наше невыключаемое радио вдруг ни с того ни с сего поведало нам новости из биографии Лаврентия Берии. Услыхав, что он агент царской охранки, английский шпион и оголтелый враг народа, мы с тетей Зиной покинули кипящего краба на произвол судьбы и в немом недоумении уставились друг на друга.

— Тетя Зина, — сказала я, — тетя Зина, повторите, пожалуйста, что вы слышали сейчас по радио?

— А вы? Сами-то вы чего слышали? — крикнула она, как-то даже агрессивно надвигаясь на меня.

— Я не разобрала . . . Или, может быть, мне показалось . . .

— Ну а я и подавно ничего в этом не смыслю. Вы-то люди ученые, газеты читаете, по телефону разговариваете . . . Чего же это я стану такое повторять . . . Мы люди простые, в университетах не учились.

Я быстро собралась и бросилась к Антону, на новую его службу.

— Слышал?

— Тш-ш-ш . . . — ответил он. — Пока помолчим. Сейчас я закончу тут дела, и мы с тобой сбегаем на почту, проверим . . .

Я сразу поняла, что он имеет в виду. На почте, над отделом «Заказная корреспонденция» висел портрет Лаврентия Берию. Очень интеллигентное лицо. Пенсне, правильные, даже тонкие, черты, вдумчивый взгляд.

Запахавшись, мы вбежали в просторный почтовый зал. Над головой девицы, ведавшей заказной корреспонденцией, вызывающе, почти цинично зиял пустой темный квадрат. Оказывается, стена здорово выгорела.

Через несколько дней после этого происшествия Антону сообщили в неслыханно вежливой форме, что полковник Шевелев из «красного дома» хотел бы встретиться с доктором Вальтером. Нет, точного времени полковник не назначает. Просто когда у доктора выдаться свободный часок, пусть звякнет по такому-то телефону.

Встреча состоялась. В большом уютном кабинете, сидя рядышком на мягком кожаном диване, собеседники, при полном взаимопонимании, обсудили подробно коварные проявления полковничьей печени, договорились о диете, тут же вызвали фельдъегеря, летящего завтра в Москву, чтобы вручить ему рецепты в московскую гомеопатическую аптеку. И только уже проводив доктора до дверей и с благодарностью пожимая ему руку, полковник вдруг вспомнил:

— Ах да, чуть было не забыл . . . Минуточку, доктор . . . Тут в моем столе залежался ваш паспорт. Возьмите его, пожалуйста!

. . . Летние закаты в Магадане обычно очень ветреные. Даже в голову не приходит снять пальто, когда поднимаешься из центра к нашему больничному пустырю. Да и на спуске тебя все равно пронизывает насквозь колким холодком.

А в этот вечер, когда мы решили отметить прогулкой возвращение Антону его паспорта, все было как-то по-особому. Может, за все лето не больше двух-трех раз и выдаться такое. Даже

на самом ветру стоял неподвижный, прозрачный, слегка прохладный воздух. Мы остановились, глядя в лежащую перед нами бухту.

— Что за чудо нынче! — воскликнул Антон. — Не Нагаево, а просто Неаполь какой-то . . .

Белые корабли, деликатно уступая друг другу место, толпились у причалов. Не багровый, как обычно, а нежно-персиковый закат сеялся сверху на темно-синюю гладь воды.

Мы остановились, неотрывно глядя на открывшуюся перед нами нежданную, негаданную красоту.

— Ты говоришь, Неаполь? — переспросила я. — А что же! Может быть, еще и Неаполь увидим . . . Мне кажется, жизнь начинается сначала . . . Мы еще не старые . . .

Безумное, безумное время! Шальные надежды вернуть украденную жизнь. Какие-то тайные, еле внятные голоса изнутри.

Ну что ж, постоим, постоим еще над этой зыбко-прекрасной водой, красоту которой мы впервые за много лет восприняли. Постоим, чтобы продлить еще немного свои иллюзии, чтобы подальше не проваливаться в действительность. Пусть сами собой, без нас, разоблачатся обманы! Ведь если повержен Змей Горыныч, то, значит, где-то уже ведет свою великодушную армию добрый и храбрый Иван-царевич.

Постоим. Как мы могли не замечать, что она живописна, наша бухта! Мы не умели отделить ее первозданную суровую красоту от грязного налета извергаемых из ее вод потоков серых бушлатов, уродливых чуней, злобных окриков конвоя . . .

Восхищенное погодой, все население нашего барака вылезло на завалинку. Курят, окликают ребят, поглаживают узловатые уморившиеся ноги, расчесывают волосы, грызут кедровые орешки. Как в воронежской или пензенской деревеньке.

А в коридоре — необычная тишина. Только из-за закрытых дверей тридцати комнат (по пятнадцати с каждой стороны) льется из репродуктора музыка.

— Кажется, опять Бах, — говорит, прислушиваясь, Антон.

— Это хорошо. Это доброе предзнаменование. Баха они играют каждый раз, когда смущены, когда предстоит сказать что-то новое . . .

Так мы втянули Иоганна Себастьяна Баха в наши грешные земные дела.

КОМЕНДАНТЫ ИЗУЧАЮТ КЛАССИКОВ

В середине августа я получила по почте официальный пакет. Магаданский отдел народного образования приглашал меня зайти для переговоров о назначении на работу. Пакет пришел в пятницу, а идти надо было в понедельник. Мне предоставлялось, таким образом, целых три дня для колебаний между боязнью «сглазить» и непреодолимым желанием показать эту бумажку всем, кто предрекал неудачу моим дерзким претензиям.

Не выдержала — показала. Неслыханный пакет передавали из рук в руки, перечитывали, обсуждали. Вызывают в горно! Вечную поселенку — в горно! По неудержимой склонности к широкому обобщению на основе единичных фактов, наши бывшие заключенные истолковали эту бумажку как вернейшее знание скорой всеобщей реабилитации. Отдельные закоренелые скептики кривили губы: «Какая-нибудь хитрость! Не может этого быть».

Поверить, действительно, было трудно. Конечно, горно не такое учреждение, как, скажем, главк или политуправление, величественное с виду, окруженное охраной. Но все-таки и горно — один из островков вольного мира. Туда вход для касты неприкасаемых прочно закрыт. Это не то что наше сануправление, где работает масса бывших зэка и поселенцев.

Я первая из наших переступаю этот порог. И пока иду по незнакомым коридорам, меня не оставляет чувство ожидания внезапного удара. В отделе кадров на переднем плане — очень рядная дама с державным бюстом. В глубине комнаты, спиной к двери — мужская фигура, склонившаяся над бумагами. Молча протягиваю даме мою заветную бумажку. Она долго вчитывается в нее с таким напряженным видом, точно это китайские иероглифы.

— Это вы сами и будете? — вопрошает она наконец.

Потом она подходит к сейфу, огромному, храмообразному, вынимает оттуда бумажные листы и кладет их передо мной.

— Заполняйте!

Анкета. Анкета для лиц, вступающих на педагогическое поприще в этом благословенном крае. Уникальная в моей жизни анкета. Потому что в тридцатых годах таких ЕЩЕ не было, а после двадцатого съезда и нашего возвращения на материк их УЖЕ не было. Эта анкета произвела на меня неизгладимое впечатление. До сих пор помню отдельные вопросы. Девичья фамилия матери Вашего первого мужа? В скобках — второго, третьего... Назовите адреса и места работы Ваших братьев, их жен, Ваших сестер и их мужей. Боже мой, Боже мой! Куда я лезу?

Уж не лучше ли было оставаться в мире семерых козлят? Там хоть про такое не выпытывали. Но пути к отступлению были отрезаны.

— Сядьте вон за тот столик и заполняйте четким почерком, без помарок, — распорядилась дама, а сама углубилась в какие-то очень красивые разноцветные полированные папки.

Надо было видеть лицо этой кадровички, когда после долгой работы я выложила наконец перед ней заполненные листы. И как было по-человечески ее не понять! Ей, призванной вылавливать какую-нибудь раскулаченную двоюродную бабушку или жену деверя с нерусской фамилией, ей, натренированной на такие тонкости, вдруг с циничной открытостью вывалили прямо на стол смертные террористические статьи Уголовного кодекса, Военную коллегия, вечное поселение, двух репрессированных мужей и кучу репрессированных родственников со стороны Антона. Не говоря уже о массе немецких фамилий, которых не могли перекрыть православные Аксеновы, поскольку у Павла была всего одна сестра и один брат, а у Антона четыре сестры и четыре брата, двое из которых находились к тому же в Западной Германии.

— Андрей Иванович! — позвала кадровичка смятленным голосом. — Можно вас на минуточку?

Она звала на помощь, хотя ей было известно, что по каким-то неведомым высшим соображениям меня решили допустить к преподаванию, что есть указание «оформить». Но она просто не могла с собой справиться. Годами выработанные условные рефлексы валили ее с ног. Она была сейчас точно борзая, которую почему-то заставляют отпустить пойманную дичь.

Молодой человек, сидевший к нам спиной, встал и подошел к столу дамы. У него была запоминающаяся наружность. Этаким дореволюционный классный наставник с матовым челом. Он был явно умен. По его внимательным глазам и удлиненному сжатому рту было видно, что за время, протекшее с пятого марта, он, в отличие от своей начальницы, кое-что понял и, во всяком случае, научился ничему не удивляться. С непроницаемым видом он прочел список моих преступлений и данные моей генеалогии. Потом сказал:

— Отлично!

Дама вздрогнула.

— Отлично, — продолжал он, — теперь напишите заявление о предоставлении вам вакантной должности преподавателя русского языка и литературы в школе взрослых. Приложите документы об образовании.

Дама оживилась от вспыхнувшей надежды.

— Документов об образовании у вас на руках, конечно, нет? — спросила она.

— Почему же? Вот, пожалуйста. Правда, копии. Но законно заверенные . . .

Неприятно пораженная, она стала внимательно читать мои дипломы. Аккуратно подбранные бровки все ползли и ползли вверх. Бедняге не легко давалась задача — совместить такие дипломы с ТАКОЙ анкетой. Но ее коллега мгновенно сориентировался.

— Вот и хорошо, что будете работать со взрослыми. Вам, как вузовскому работнику, это будет привычнее, чем детская школа.

Привычнее! Господи, да был ли мальчик-то? Где-то далеко-далеко, в непроглядной дали — за горами, за долами, за тюрьмами-лагерями, — маячила в извилинах памяти некая молодая дуруха, самоуверенно вещавшая с кафедры хорошо заученные уроки.

На минуту меня охватывает ужас. Куда я лезу? Чему я буду учить? Может быть, я уже все забыла? Может быть, они не захотят меня слушать?

— Ну вот, резолюция уже есть, — очень лояльно говорит этот самый Андрей Иваныч, возвращаясь с моими бумагами от начальства, — сейчас получите выписку из приказа и можете идти к директору школы.

. . . Накануне первого сентября у меня от волнения пропал голос. Не совсем пропал, но стал хриплым, как у пропойцы.

— Нервный ларингит, — диагностировал Антон и дал мне гомеопатические шарики трилистника, по прозвищу «Джек на кафедре».

Не знаю, помогало ли это Джеку. Мне — нет. Джек-то, наверно, не возвращался на свою кафедру из таких дальних странствий, как я.

— К уникальной ситуации не подходят обычные лекарства, — объявила я Антону, сильно прогневив его этим. — Вылечусь сама!

И я действительно вылечилась сама так же неожиданно, как заболела. От удивления. От непредвиденного удара.

— Вот ваши ученики, — сказала директорша школы, вводя меня в класс.

Что это? Передо мной, сверкая золотыми погонами и отлично вычищенными сапогами, сидели офицеры. Одни сплошные офицеры. Сорок человек. Среди них мелькали знакомые мне лица. Да это наши коменданты! Бывшие и нынешние! Молодые и постарше. Позднее мне объяснили, что в связи с новыми веяниями от офицеров потребовался образовательный ценз, и им срочно пришлось идти в школу взрослых приобретать ставший необходимым аттестат зрелости.

А я-то рисовала себе в качестве моих учеников рабочих с автомобильного завода, из аэропорта, может быть, грузчиков из бухты Нагаево. Я представляла себе мужественных трудолюбивых людей, среди которых будет много товарищей по несчастью. Мечтала о том, как я сдружусь с ними, как они будут благодарны мне за то, что я смогу дать им. И вот . . .

— Преподавательница русского языка и литературы, — представила меня директорша, и я увидела, что в глазах комендантов вспыхнуло острое любопытство, насмешливая ухмылка, даже, пожалуй, враждебность. Тем не менее все они встали и по-военному четко гаркнули:

— Здравствуйте, товарищ преподаватель!

— Здравствуйте, товарищи! — ответила я, с удивлением обнаруживая, что ко мне вернулся мой прежний голос. Меня вылечила, повторяю, неожиданность удара. А нельзя отказать им в остроумии! Уж если им, по каким-то соображениям, пришлось взять на педагогическую работу такую подозрительную личность, то по крайней мере бдительность, при этом составе слушателей, будет обеспечена. И действительно, в их взглядах, устремленных на меня, больше всего сквозила бдительность и меньше всего любознательность, желание получить от меня что-то новое, до сих пор неизвестное им.

— Ну как, ну как я буду строить с ними отношения, когда на первой парте сидит Горохов, мой комендант? Тот самый, что два раза в месяц ставит лиловый штамп на моем удостоверении . . .

— А помнишь, ты рассказывала, что все объявления, которые он вывешивает, пестрят ошибками . . . Вот и научи его русской грамматике, — спокойно утешал меня Антон.

— Но я стою перед ним в очереди . . . Он, да и все они считают меня преступницей . . .

— Наверяд ли. В общем-то большинство из них деревенские Ванятки. Чувство реальности, наверно, есть у них . . . А еще поучатся годик — совсем другими людьми станут . . . Самое главное, абсолютно забудь про их погоны и чины. Обращайся с ними как с обычными учениками . . .

Легко сказать! А каково рвать прочные устоявшиеся условные рефлексy! Эти сапоги, эти гладко выбритые скулы и канты на воротничках вызывали во мне комплекс преследования. Я без конца всматривалась в эти лица и видела в них только надменность или, в лучшем случае, усмешку принужденного внимания. Я входила в класс и, казалось, физически ощущала излучение угрюмого недоверия. Некоторые, наверно, держат ухо востро в ожидании, когда я начну «протаскивать» что-нибудь такое идеологически сомнительное. Другие, видимо, не верили, что я дей-

ствительно постигла бездну премудрости. Эти дотошно переспрашивали даты, названия местностей, заглавия произведений, откровенно заглядывая в учебник для проверки.

Отношения еще больше обострились после первого контрольного диктанта. Он принес колоссальный урожай двоек. Мрачная атмосфера сгустилась над классом. Теперь эти люди, до сих пор настроенные против меня, так сказать, в общем порядке, были еще и персонально оскорблены мной. Те, кто был поумнее, просто затаили недоброжелательное чувство, но те, кто не мог смириться ни со своей непривычной ролью, ни вообще с новыми веяниями, — пошли в дирекцию жаловаться.

В класс после этой жалобы пришел завуч. Он убедительно и многословно разъяснял, что товарищи офицеры не должны думать, будто отметки выставляются по произволу преподавателя. Имеется «шкала», утвержденная министерством, по которой за четыре орфографические и четыре пунктуационные ошибки положено ставить двойку.

Против таких слов, как «шкала», «министерство», «положено», они, разумеется, возражать не могли, но раздражение против меня осталось. Особенно долго не мог смирить себя капитан Епифанов. Это был коротконогий круглый человек, похожий на актера Тюза в гриме Ежа. Орфографию он еще с грехом пополам признавал, но в вопросе о пунктуации был непримирим. Его возмущали даже запятые, не говоря уже о двоеточиях и тире. Он и мысли не допускал, чтобы подобная мелюзга могла действовать на нервы солидным людям.

После второго диктанта, за который я снова недрогнувшей рукой поставила ему двойку, он возглавил целую оппозиционную ко мне группу, прерывал мои объяснения нелепыми вызывающими вопросами. На уроках синтаксиса я всегда ловила на себе колкие вспышки его ежиных глаз.

Тогда я прибегла к древнейшему примеру, описанному Вересаевым в гимназических воспоминаниях. Я написала на доске предложение без знаков препинания. Это была резолюция Николая II на прошении приговоренного к смерти преступника. «Расстрелять нельзя помиловать». Потом обратилась к Епифанову с вопросом: будет ли по такой резолюции казнен осужденный? Мой строптивый ученик долго пыхтел, глядя на доску исподлобья, наконец махнул рукой.

— Николай II был известный идиот! Написал, что и так и этак понять можно.

— Ну а теперь? — спросила я, ставя запятую после слова «расстрелять».

— Гм... Теперь, выходит, расстреляют...

— А если так? — Я стерла эту запятую и поставила новую после слова «нельзя».

— Помилован! — зашумел сразу весь класс.

— Теперь вы видите, товарищ Епифанов, что от одной запятой, поставленной не на месте или не поставленной вовсе, может зависеть жизнь человека!

Этот давнишний грамматический курьез явно понравился моим неискушенным слушателям. На перемене они окружили меня, задавая разные казуистические вопросы о знаках препинания, приводя примеры, споря друг с другом.

Другой случай, когда лед между ними и мной немного тронулся, был связан со старшим лейтенантом Насреддиновым. Я давно внутренне выделила его как любознательного человека, напоминавшего мне к тому же моих казанских давнишних раб-факовцев. Чувствовала я и с его стороны сравнительно доброе отношение к себе. Насреддинов очень плохо говорил, еще хуже писал по-русски, но на двойки нисколько не обижался и учился усердно.

Однажды он отвечал перед всем классом, говорил о Маяковском, о его стихах «Товарищу Нетте». Бедняга лейтенант просто взмок от напряжения, передавая прихотливые строки. И все облегченно вздохнули, когда он объявил, что переходит к характеристике «идейного содержания» этих стихов.

— Минуточку, товарищ преподаватель . . . Отвечать будем . . .

Дальше Насреддинов разъяснил, что «зжатые железной кляпкой» — это значит — живем в капиталистическом окружении, «пулею чешите» — это значит — не подходи, стрелять будем! А вот «за нее на крест» . . .

Насреддинов, наклонив голову, набычился и покраснел в усиллии понять непонятное.

— Минуточку, товарищ преподаватель . . . Отвечать будем . . .

Вдруг — радостная улыбка. Осенило!

— Ага! Понятно! «За нее — на крест . . .» Крест русские на могилы ставят. Значит, не подходи, стрелять будем, крест ставить будем . . .

Веселый смех, пронесшийся по классу, сразу внес человеческую теплоту, разрядил напряженную атмосферу. Что может быть лучше доброго юмора, чтобы в людях раскрылось первичное, детское, свободное от напластований жестокого взрослого опыта!

Летели дни, и постепенно я стала различать среди моих офицеров разные психологические типы. Вот, например, лейтенант Сумочкин — тот совершенно недвусмысленно высказался как-то насчет литературного ремесла и тех, кто им занимается. Оказалось, что тут и хитрости-то никакой особой нет. Каждый грамотный человек может, тем более если не стихами, а прозой.

Описывая, как было дело, да вставляй время от времени картины природы. Его сосед по парте поддержал его, добавив только, что идейность должна соблюдаться. Были бы правильные идеи, а уж написать — это всякий может.

Никакие мои усилия не могли сдвинуть их с позиций этой твердокаменной воинствующей тупости. Она звучала в их речах так же определенно, как звучит порой вятский или одесский акцент.

Были в классе и железные забияки. Они тоже глубоко презирали писак, шелкоперов, интеллигентов, но выражали свои чувства весело-задиристо, напрашиваясь на возражения, на спор. Эти не так обескураживали меня. В самой их наступательности, в желании поспорить уже присутствовало что-то человеческое. Была надежда их понять, прорваться сквозь броню их обросших упитанным мясом сердец к самой сердцевинке, где, возможно, что-то и таилось.

— Позвольте, а зачем вам это нужно, к сердцам-то ихним пробиваться? И что вы можете в глубине этих жандармских сердец обнаружить?

Так резко оборвал в одно из воскресений мои излияния друг Антона Михаил Францевич Гейс, тот самый, что первым принес нам весть о смерти Великого и Мудрого. Гейс был непримирим в своей памяти о пережитых им муках. Он не делал различий между Вдохновителем и Организатором и десятками тысяч Ваняток, ставивших штамп на наши ссыльные удостоверения. С самого начала он советовал мне отказаться от работы в школе, поскольку «вместо учеников вам подсунули палачей».

— Ладно, допустим, вам очень трудно было отказаться от работы по специальности, которой вы так жаждали все время. Ну и учите уж их чему положено. Но душу-то зачем вкладывать? Поберегите ее до лучших времен. А они недалеко . . .

Гейс с необычайным энтузиазмом ловил малейший признак оттепели, ждал далеко идущих последствий, и в его мечтах о наступлении лучших времен немалое место занимали мысли о возмездии палачам. И почти каждое воскресенье он «осаживал» меня в связи с моими рассказами о работе в школе. Эти столкновения оставляли во мне горький осадок, тем более, что его четкой позиции я пока не могла противопоставить окончательно продуманную точку зрения. Только оставаясь наедине с Антоном, я не стеснялась высказывать пока еще не оформившиеся возражения Гейсу.

— Так ведь конца не будет, правда? Они — нас, потом — мы их, потом опять . . . До каких пор будет кругом ненависть? Ну я не говорю, конечно, о главных, пусть о них решается вопрос в меру их преступлений, но вот такие коменданты . . . А сколько

раз в лагере мы выживали благодаря добрым конвоирам! А Тимошкина вспомни! А ты знаешь, что третьего дня было после урока о Пушкине? Лейтенант Погорелко подошел ко мне уже на перемене и попросил меня прочесть еще раз, или, как он выразился, «рассказать» еще раз стихи Пушкина «Безумных лет угасшее веселье». А когда я ему сказала, что ведь уже был звонок и разве он не хочет покурить, то он ответил, что папироска всегда при нем, а вот такие стихи не каждый день услышишь. И я всю большую перемену читала им наизусть Пушкина. А они — Погорелко и еще человек пять — не ходили курить, слушали. И как еще слушали! И хочешь презирай меня — хочешь нет, но я видела в них в это время не комедантов, а своих учеников. И мне ужасно хотелось, чтобы им нравились именно те стихи, которые люблю я . . .

На одном из очередных заседаний педсовета завуч сдержанно сказал, что офицеры моими уроками довольны. А еще через неделю ко мне подошел староста класса капитан Разуваев и высказался в том смысле, что сейчас, поздней осенью, вечера стали очень ветренными и темными. Возвращаться домой после уроков в одиннадцать часов ночи, да еще идти через пустырь в Нагаево, стало небезопасно. И класс постановил ввести дежурство. Каждый день меня будет провожать кто-нибудь из офицеров до самого дома.

Меня обычно встречал Антон, но в те вечера, когда он дежурил по ночам (он снова работал теперь в больнице), мне действительно приходилось трудно. Поэтому я с радостью приняла предложение офицеров. Теперь, когда я спустилась вниз в раздевалку, меня ждал уже там один из моих вооруженных учеников, и под его охраной я спокойно возвращалась в Нагаево.

Немало я походила под конвоем, но такое оригинальное конвоирование было даже мне внове. Мы дружно шагали в ногу, а на рытвинах и ухабах очередной спутник деликатно поддерживал меня под руку. Разговоров во время этих возвращений было то больше, то меньше, в зависимости от характера дежурного провожатого, но одно соблюдалось всегда: мы никогда не говорили о политике, хотя события напряженно нарастали и каждый день приносил с собой новые впечатления, надежды и разочарования.

Мы говорили почти всегда о литературе, о классиках, которых мы изучали в классе. Часто это была с их стороны дань вежливости, заполнение пустого времени. Но порой прорывались вдруг признаки неподдельного интереса к книге. Иногда я использовала это время для дополнительных занятий на ходу. Память у меня тогда была очень хорошая, я помнила индивидуальные ошибки каждого и разъясняла ему их, пробираясь через наш знаменитый пустырь.

Однажды пришла очередь провожать меня моему собствен-

ному коменданту Горохову. Всю дорогу я толковала ему о правописании суффиксов прилагательных, а уже на спуске к Нагаеву вдруг вспомнила вслух:

— Да, завтра ведь пятнадцатое! Завтра мне к вам в комендатуру. Отмечаться . . .

Горохов (это был молодой, довольно красивый блондин ярославского типа) внезапно остановился, пристально глядя на меня, и ни с того ни с сего спросил:

— А вот Молотова вы знаете?

— Конечно. Не лично, но достаточно подробно. По его деятельности.

— А ведь вот его жена в таком же положении, как вы . . . Не в нашей, правда, комендатуре, но тоже отмечается.

Я не очень удивилась, так как уже слышала об этом. Гораздо любопытнее мне было уловить ход мыслей Горохова.

— В таком же . . . В таком же . . . — задумчиво повторил он и вдруг решительно добавил: — Скоро, наверно, все это кончится.

Я дипломатично промолчала. Прощаясь со мной у моего крыльца, он шутя поблагодарил «за дополнительное занятие на ходу» и сказал, чтобы я завтра пришла минут за десять до открытия комендатуры. Он придет пораньше и быстро меня отметит, а то ему каждый раз неловко при мысли, что такая образованная дама стоит — да хоть бы и сидит — у него в коридоре.

— Подумаешь, образованная, — не упускаю я случая навести его на недозволенные мысли, — да у вас там крупных ученых полно. Вот хоть старик Гребенщиков. За мной стоял прошлый раз. Известный геофизик. Член-корреспондент Академии наук.

— Это тот, что сильно кашляет?

— Он самый. Дневальным в бараке строителей работает.

. . . А между тем вопрос о том, возможно ли, допустимо ли доброе отношение к таким оригинальным ученикам, как мои, не сходил с повестки дня за нашим воскресным столом. Мои отношения с Гейсом заметно ухудшались. Меня злило, что я не всегда нахожу достаточно убедительные возражения против его хлестких аргументов, в то время как внутренне убеждена, что я права. Гейс вел себя наступательно. Зло острил.

— Так, значит, они в сущности славные ребята, эти офицеры определенного ведомства? И их довольно приятно обучать классической литературе? Тем более, что вам так хотелось вернуться к своей профессии . . .

— Не касайтесь этой стороны вопроса. Да, я много лет томилась по своей работе. Все время алчно мечтала о том, чтобы писать и преподавать . . . Все годы, пока я пилила, кайлила,

мыла полы, перевязывала язвы и прочая и прочая . . . Вы это считаете моим преступлением? Проявлением беспринципности?

— Да, поскольку вас назначили просвещать тюремщиков . . .

— А вам не приходит в голову, что среди рядовых армии Зла есть люди, много людей, которых можно перетянуть на сторону Добра?

И тут на меня вдруг напало вдохновение. Я стала говорить о том, что в нашу эпоху, с ее невиданными масштабами, с ее стертой линией, отделяющей палачей от жертв (сколько людей, прежде чем самим попасть в сталинскую мясорубку, с азартом перемалывали в ней других!), нет больше той баррикады, которая, скажем, в девятьсот пятом году четко разграничивала: по ту сторону ОНИ, по эту — МЫ. Неслыханная система разложения душ Великой Ложью привела к тому, что тысячи и тысячи простых людей оказались втянутыми в эти соблазны. И что же? Мстить им всем? Подражать тирану в жестокости? Длительное торжество ненависти?

— Да уж, понятно, не «сеять разумное, доброе, вечное» на таком каменистом поле, как комендатура МГБ!

— Позвольте, Михаил Францевич, — вмешался вдруг в разговор профессор Симорин, один из наших постоянных воскресных гостей, — давайте перенесем вопрос в практическую плоскость. Вот сейчас все мы ждем с нетерпением — обоснованно или нет, будет видно дальше — радикальных перемен в нашем обществе. Представьте себе возвращение к тому, что было задумано в идеале. Как же вы в этом случае мыслите судьбу всех этих бесчисленных маленьких комендантов, охранников, конвоиров? Сплошным Нюрнбергским процессом, что ли?

— Да! Десятками, даже сотнями таких процессов! — запальчиво воскликнул Гейс. — Мечь беспощадная, нет, не мечь, а возмездие всем сообщникам Тирана, всем его сатрапам! Пусть получит свое каждый винтик палаческой машины!

Я видела, что Гейс зарвался, что он говорил уже больше того, что думает и чувствует. Я вспомнила, как много он испытал, и мне как-то даже жалко его стало за такое разрывающее душу ожесточение. Мне очень хотелось привести вслух короткое изречение, ставшее эпиграфом к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и аз воздам». Но я стеснялась вымолвить эти слова. В те времена во мне еще крепко сидели если не мысли, то подсознательные движения души, привитые уродливым воспитанием. Те размышления о Вечном и временном, о Целом и маленьких беспомощных его частицах-людях, которые я доверяла тюремным нарам в доме Васькова, я еще не могла выговаривать вслух. И вместо этой короткой исчерпывающей евангельской Истины я наговорила Гейсу кучу куда менее убедительных слов.

— Вы говорите: если оставить злодеев безнаказанными, они в конце концов разорвут мир на части. Вы, наверное, правы, если говорить о главных злодеях, о «вдохновителях и организаторах». Но ведь если встать на путь преследований каждого, кто по недомыслию, по трусости, по слабости, по жадности, по доверчивости, по темноте творил Зло, если снова поощрять звериную жестокость, пусть даже по отношению к вчерашним винтикам в сложной машине злодейства, чем все это кончится? Ведь обрастем клыками и шерстью! На четвереньки встанем!

Антон, давно уже с беспокойством поглядывавший на нас, прислушиваясь к спору, решил шуткой спустить весь разговор на тормоза.

— Признайся, что у тебя с ненавистью и впрямь плоховато обстоят дела. Тренировки нет . . . Не умеешь . . . Обмен веществ не тот . . .

— Почему это? Вот двоих наших современников я остро ненавижу. К счастью, обоих уже нет в живых.

— Кто же второй? — улыбаясь, осведомился Симорин.

— Как кто? Гитлер, конечно!

Но Гейс не шел на шутки, был по-прежнему мрачен. Теперь он обратился к Антону.

— А если без зубоскальства, всерьез? Одобряешь педагогическую деятельность своей жены?

— По-моему, единственное, что надо делать с этими комендантами, это их учить. Ведь темнота несусветная! И мы не знаем, что раскроется в их душах, когда хоть немного света туда проникнет . . .

Потом Антон помолчал немного и совсем тихо добавил:

— Вообще, мне думается, что лечить и учить надо всех . . .

. . . Гости разошлись. Первый час ночи, а я еще не проверила тетради. Зажигаю настольную лампу и раскрываю тетрадь старшего лейтенанта Насреддинова. Сочинение «Образ Ниловны в романе Горького «Мать». «В молодой годы Ниловна, как и все девчата, любила прогулок и гулянок . . .» Замаялся, бедняга, с этим родительным падежом . . . Нет, я слишком взволнована разговором. Откладываю тетради на утро и ложусь. Антон и Тоня ровно дышат. А мне все еще тревожно и знобко, хотя я чувствую, что права я, не Гейс.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Наверно, так было в первые месяцы революции. Тогдашние взрослые, скорее всего, так же жили в постоянном детском ожидании чудес или ужасов. И ожидания их не обманывали. Невиданное и неслыханное приходило, поражало на минуту и тут же превращалось в повседневность. И снова жизнь, всклокоченная, но все равно беспощадная, тащила людей дальше. Несла их, как бумажки в бурном потоке. Знай себе барахтайся сколько хочешь!

Год пятьдесят четвертый уравнил в этом барахтанье вчерашних антиподов. Теперь наши хозяева разворачивали газеты с той же тревогой, как и мы, так же как мы, прислушивались не только к сообщениям по радио, но и к различным слухам, возникавшим то и дело. У них были свои слухи. О сокращении штатов. О реорганизации учреждений. О сокращении колымских льгот и больших денежных надбавок.

Нервозность начальства ощущалась на каждом шагу. Те, кто поумнее, осознали, что новое время — новые песни. Они стали подчеркнуто вежливы и предупредительны с нами, иногда даже позволяли себе еретические шутки. Но многие из них — те, кто был безысходно, величаво глуп — продолжали цепляться за привычное, механическое, злобное. Например, бухгалтер горноупорно рассчитывал мои заработки исходя из самой низкой учительской ставки.

— На ссыльных льготы не распространяются, — буркал он, не поднимая на меня глаз.

— Так это льготы Крайнего Севера. Но почему я не получаю того, что полагается по образованию и по стажу?

— Ссылные во всех правах ограничены, — отрезал он, прозвоня слово «ссылные» с такой интонацией, точно оно означало «зачумленные» или «омерзительные».

Портреты генералиссимуса висели еще везде незыблемо, в обрамлении траурных лент. Докладчики еще неизменно «закруглялись» речитативом «Под водительством партии Ленина — Сталина». Но новь настойчиво прорастала то там, то здесь, как бы ей ни противились. Уже прошел знаменитый пленум по сельскому хозяйству. Уже проявлял себя Никита Хрущев. Пробивались слухи о готовящемся процессе Абакумова.

Возродились некоторые старые материковские связи. Писательница Лидия Сейфуллина прислала Гале Воронской письмо, предлагая помочь в хлопотах о посмертной реабилитации «дорогого Александра Константиновича». Бывший секретарь ЦК ком-

сомола Александр Мильчаков получил уже несколько писем от уцелевших на воле старых друзей, упорно молчавших все эти годы.

Пятого марта, в первую годовщину, появились траурные статьи. В них еще была сакраментальная формула — «Ровно год назад перестало биться сердце того, кто . . .» и так далее. Но общая сдержанность тона бросалась в глаза всем. Тем более, что через три дня, намаявшись от тревог, магаданские вольняшки особенно весело отпраздновали восьмое марта — Женский день.

— Помнишь, как в прошлом году бабенки убивались, что теперь, мол, навсегда будет отравлен Женский день? — спрашивала я Антона. — Боялись, что тень великой смерти сделает всякое веселье восьмого марта неприличным . . .

— Проходит, проходит земная слава, — весело вздыхал Антон.

Мои сановные ученики поздравляли меня с Восьмым марта очень торжественно, и мне показалось, что в их клишированных речах появился оттенок доброго отношения ко мне персонально. По почте пришло индивидуальное поздравление от лейтенанта Насреддинова, от того самого, знатока Маяковского. Он желал мне множества всяких благ, а особенно «скорейшей РЕБЕЛИТАЦИИ».

А на другой день он подошел ко мне в коридоре школы и смущенно сказал:

— Опять ошибка делал. Теперь знаю — не «ребелитация», а «реабилитация».

— И кто вас поправил?

— Сам заметил! Чуть не в каждой служебной бумаге это слово . . .

Да, удивительное, опьяняющее это слово действительно носилось теперь в нашем колымском воздухе, перепархивая из уст в уста.

Истории первых реабилитаций были похожи на английскую детскую повесть о маленькой принцессе Саре Крю, получившей после всех ужасов сиротского детства в наследство крупные алмазные россыпи. Так и тут. Если верить восторженным рассказчикам, то первые реабилитированные въезжали в те самые квартиры, из которых были когда-то уведены в подвалы МГБ. Они якобы получали самые высокие партийные посты и зарплату по предрестной ставке за все годы заключения. Правда, пока еще никто не знал фамилий подобных счастливиц. Но появление этих рассказов само по себе было знаменем времени.

Весной пятьдесят четвертого отменили пропуска для въезда на Колыму. Это принесло мне нечаянную радость. Вася, перешедший уже на четвертый курс мединститута, вдруг приехал

к нам с направлением в магаданскую больницу на производственную практику. На все лето! Этот сюрприз сделал мне Антон. Он договорился в больнице, выслал Ваське денег на дорогу.

Самолет прибыл раньше, чем телеграмма из Хабаровска, и я встретила сына после новой четырехлетней разлуки запросто идущим по направлению к нашему барaku. Он шел (вроде и не уезжал!) с открытой — не по погоде — головой, размахивая небольшим пестрым рюкзаком. На нем был надет какой-то немислимо яркий клетчатый пиджак.

Весь его вид и все поведение как бы подчеркивали, что Большая земля перестала быть для Колымы иным, зазвездным миром. Материк как-то необычайно приблизился. Вот просто взял билет, прихватил рюкзачок и, забыв фуражку, вскочил в самолет. Ведь теперь въезд на Колыму свободный. Как в самый обыкновенный район страны. Древней историей казалось теперь мое хождение по мукам ради Васиного приезда в конце сороковых годов.

Сутки пути — и вот он передо мной, мой мальчик! Я снова вижу его, могу говорить с ним, могу потрепать рукой его красивые волнистые светлые волосы. Но почему они такие длинные?

И тут вдруг вся сила моей любви выливается в странный возглас:

— Что за нелепый пиджак у тебя? И что за прическа?

А это были первые увиденные мной признаки «модерна»! Мне бы обрадоваться, что мой ребенок за эти годы вроде бы вышел из трагической обреченности сына репрессированной семьи, что просыпается в нем молодая жажда жизни, пусть хоть выраженная в попугайской расцветке пиджака. Но во мне сработали запрограммированные с детства комсомольско-квкерские рефлексy, и я сердито сказала:

— Иди в парикмахерскую, постригись покороче. Завтра я куплю тебе н о р м а л ь н ы й пиджак. А из этого переделаем летнее пальтишко для Тони.

— Через мой труп, — мрачно ответил Васька, — это самая модная расцветка.

Он не шутил. И я замолчала, догадавшись вдруг, что все это гораздо серьезней, чем кажется, что в нашем смешном диалоге происходит мое первое соприкосновение со второй половиной века, с новой молодежью, настолько разгневанной на поколение своих отцов, что хочет ни в чем не походить на них: ни в привычках, ни в манерах, ни даже в расцветке и фасоне пиджаков. А уж тем более — во взглядах на жизнь.

. . . Между тем события все развивались. Ни злоба, ни тупость, ни обскурантизм, ни инерция не могли остановить подспудного таяния заматерелых льдов. Толчок был силен, и мы все время

ощущали это подземное кипение, а порой, не веря глазам своим, даже видели вырвавшиеся на свободу ручьи.

В августе 1954 года отменили ссылку на поселение. Конец комендатуры. Тревожное перешептывание среди моих учеников-офицеров, подпадающих под неслыханное сокращение штатов. А для нас — удлинение цепи, на которой мы бродили. Вместо семи километров вокруг Магадана, отводившихся нам ссылкой ссыльным видом на жительство, мы получали теперь головокружительную возможность переплыть Охотское море, странствовать по Большой земле, правда не заезжая в города и веси, предусмотренные пунктом 39 положения о паспортах.

Надо отдать справедливость моему ученику — коменданту Горохову. Хотя ликвидация комендатуры и выбивала его из привычной налаженной жизненной колеи, сулила перемещения и хлопоты, но он, отвлекаясь от личных забот, выдавал нам справки для милиции с искренней доброжелательной улыбкой. А мы выскакивали из комендатуры и еще долго шумели на улице, как шальные воробьи, как школьники на большой перемене. Вперебивку спорили об этой злосчастной тридцать девятой статье, которую — мы уже знали — всем нам вписывают в паспорта. Одни утверждали, что это только «минус столицы», другие уверяли, что также «минус все областные города». Но все сходились на том, что наплевать на минусы. Лишь бы можно было ездить, искать, самим решать, где жить и что делать. Все минусы таяли в наплыве этого вольного ветра.

Маленькие местные перемены тоже шли в русле этих больших новостей. Вдруг, например, распространился слух, что в редакции нашей магаданской газеты ликвидировано бюро по спецпроверке материалов, потому что теперь любой бывший зэка или ссыльный может печататься. Я решила тут же проверить это. За два вечера написала статью на вполне нейтральную тему. О засорении русского языка, о специфическом колымском диалекте. Привела несколько смешных примеров, рассказала о том, как учителя борются с этим на уроках. Подписала собственной фамилией.

В редакцию я отправилась почти с таким же замиранием сердца, как недавно шла первый раз в школу. Моя вторая профессия была не менее дорога мне, чем первая. Писать безумно хотелось. Голова кружилась при мысли о редакционных коридорах, о запахе типографской краски.

Газета называлась теперь уже не «Советская Колыма», а «Магаданская правда». Редакция располагалась на той же центральной площади, где все главные учреждения города. В отделе культуры сидел очень молодой парень в толстом свитере с бегущими оленями. В губах парня висела трубка, и по тому, как

эффектно он ее покусывал, было видно, насколько он молод. Пробежав глазами статью, он обрадованно воскликнул:

— Свежая тема! И написана хорошо. Раньше писали?

— Раньше я писала и печаталась много. Но это было давно, в молодости. А с тридцать седьмого меня все время репрессируют. Вот только отменили вечную ссылку в пределах Колымы.

Трубка выпала из уст парнишки. За год с небольшим он еще не привык к таким явлениям. Светлые глаза наполнились младенческим ужасом. Точно буку ему показали. И он нечленораздельно забормотал в том смысле, что, собственно, он ведь не заводделом и даже не зам. Просто литсотрудник. От него вообще-то ровно ничего не зависит.

Но я продолжала наступление.

— Я слышала, что сейчас отменены все ограничения на сотрудничество в газете бывших репрессированных. Ну что вы так изумляетесь? Обстановка-то ведь изменилась. Вот разрешили же мне преподавать в школе. Будьте добры, покажите статью кому-нибудь ответственному. Ну хоть замредактора. Я подожду.

Он обрадовался возможности выскочить из комнаты. О сенсационном случае он, видимо, сейчас же всем рассказал, потому что стала то и дело взвизгивать дверь, стали появляться разные люди, которые, кося на меня любопытные взоры, все чего-то искали среди бумаг, разложенных на столе. Потом меня пригласили к замредактору. Он встал из-за стола и протянул мне руку! Вот до чего изменились времена! Что бы он запел, если бы я явилась к нему год назад! А сейчас начал лепетать, что слышал о моей интересной работе в школе взрослых. Вопрос о статье будет решен в ближайшие дни. Сейчас он запишет мой адрес. Меня известят по почте.

Но извещения я не получила. Получила номер газеты с напечатанной за моей полной подписью статьей.

Опять переполох среди наших. Какие только прогнозы не строятся! НАС печатают! Какой еще может быть более выразительный знак того, что нас возвращают в мир живых! Расспросы, восторги, счастливый смех... Нагнетание того упоительного чувства благих перемен, постоянного ожидания чудес, того, можно сказать, электричества, которое брызжет теперь яркими искрами вокруг нас. Вот-вот откроются ворота всех зон, вот-вот все самолеты и все корабли бухты Нагаево выстроятся вереницей в ожидании невероятных пассажиров.

Правда, этого-то ослепительного ВДРУГ как раз и не было. Клубок разматывался в обратную сторону с осторожной медлительностью, часто путаясь в петлях и узелках. Но все-таки разматывался.

... Первым нашумевшим в Магадане реабилитированным стал

Александр Иванович Мильчаков, бывший секретарь ЦК комсомола. В этом проявилась как бы законная очередность. Потому что никто не был так твердо уверен в наступлении этого момента, как Саша Мильчаков. На протяжении всех долгих лет он существовал на Колыме так, точно ему вот-вот, сию минуту предстоит вылететь на материк, принять свой старый пост, встретить Марусю и детей. О Марусе он тоже говорил в таком тоне, точно она на минутку выбежала в магазин и сейчас вернется . . . Женщины для него не существовали, и никаких колымских романов он не заводил. Ждал Марусю. Это было трогательно. Но с другой стороны, многих настораживала в нем какая-то подчеркнутая замкнутость, какое-то сознание своей врожденной предназначенности для руководящих должностей. Например, относясь хорошо к Антону, который постоянно лечил его, он все-таки каждый раз шуточно подчеркивал, что доктор — «беспартийный товарищ».

Я навсегда запомнила день отлета Мильчакова в Москву, по вызову, для реабилитации. Нечаянно я стала свидетелем его последних шагов по земле колымской. Потому что тем же самолетом вылетал, после двухмесячного пребывания у нас, мой Вася.

Меня поразило, что Мильчакова никто не провожал. Он стоял на обочине посадочного поля, весь подобранный, поджавшийся, как для прыжка, устремив сощуренные глаза в невидимую для нас далекую точку. Это был настоящий отрезанный ломоть. Вместе с арестантским бушлатом он сбросил с себя всякое родство с нами, всякую память о пайке с довеском, о скотской тесноте нар, о бирках, привязанных к рукам умерших . . . Это уже не был тот Саша Мильчаков, который приходил к нам обменяться новостями, прогнозами, пожаловаться Антону на непорядок с пищеварением, посмеяться над анекдотами. Это был человек, аккуратно связавший разорванную нить своей жизни. Тугим узелком затянул он кончики, соединил тридцать седьмой с пятьдесят четвертым и забросил подальше все, что лежало посередине. Сейчас он ехал, чтобы снова занять соответствующий номенклатурный пост, чтобы снова начать подъем по лестнице Иакова, с которой его ненароком столкнули. По ошибке столкнули, приняли за кого-то другого, совсем иной породы . . .

Александр Иванович вежливо со мной простился. Даже выразил уверенность в том, что скоро и мы полетим по этой же трассе. Но слова были ненастоящие. Он даже не давал себе труда притворяться, что его может интересовать что-нибудь остающееся здесь.

Антон сначала этому не поверил, сказал, что я мастерица «сочинять подтексты». Но тремя годами позднее, уже в пятьдесят седьмом, в Москве, ему вспомнился мой рассказ об отлете

Мильчакова, и он — в который уж раз — признал, что я лишена душевного слуха.

(А было в пятьдесят седьмом так: «Позвони-ка Саше Мильчакову, — сказал Антон, — вот обрадуется, что мы уже в Москве!»)

Я позвонила. «Саша! — восклицала я возбужденно. — Саша, мы уже в Москве! Да ты что, не узнаешь, что ли? Это Женя! Женя и Антон!»

Я ждала радостных путаных междометий, предложений немедленно встретиться . . . И вдруг услышала скрипучий каренинский голос, мерно осведомлявшийся о моем здоровье, о здоровье ДОКТОРА . . . Я растерялась до того, что сунула трубку Антону. «Говори с ним сам!» Антон в течение нескольких минут выслушивал этот малознакомый голос с покровительственными барскими интонациями, и лицо его все больше каменело. Потом он сказал «желаю успехов» и положил трубку. И добавил: «Нет, это ты, оказывается, очень правильно почувствовала тогда, на магаданском аэродроме.»)

Да, именно в тот день, последний день Мильчакова на Колыме, произошло первое мое столкновение с этой поразительной готовностью все забыть, все выполоть с корнем и вернуться на исходные позиции. Без всякой переоценки ценностей в свете полученного жестокого опыта, без всякого сожаления о тех, с кем еще вчера роднили одинаковые раны. Сколько их, разновидностей этой породы, довелось встретить потом, уже на Большой земле!

Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен СТРАХОМ, кто не в силах победить свою нервную память. (Рецидивы страха — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги — я и сама порой еще испытываю при ночных звонках у дверей, при повороте ключа с наружной стороны.)

Но как понять тех, кто ради карьеры, ради ярмарки тщеславия хочет все забыть, заглушить в себе все, что открылось ему страданием, продолжить как ни в чем не бывало свой дотюремный путь, свою славную автобиографию с массовыми казнями хороших знакомых. И все это в погоне за фантомами, за побрякушками, за дьявольской ерундой. А ведь так мало нам всем осталось жить! И в тот момент, когда я пишу это, уже нет и нашего колымского друга Саши Мильчакова.

Нет, не осуществилась его мечта, пронесенная сквозь восемнадцать лет мучений. Не призвали его после реабилитации к кормилу власти. Так же железно, как и к другим реабилитированным, была выдержана и по отношению к нему партийная установка. Законный отдых? — Да. Персональная пенсия? — По-

жалуйста! Жилплощадь? — Получите! Печатание мемуаров о славном революционном прошлом? — Ну, что же, печатайтесь . . . Но не больше. Для ведения практических дел сегодняшнего дня есть уже новая номенклатура. Выпестованная, пока вы сидели на Колыме, на Печоре, в Соловках. Не отягощенная слишком обильным знанием истории.

И Александру Ивановичу Мильчакову, сгоравшему от желания действовать, руководить, направлять, размять застоявшиеся руки, ноги, мозги, была предоставлена — увы! — единственная возможность: делиться на страницах журнала «Юность» воспоминаниями о первых годах комсомола, о славных его руководителях, бойцах и мучениках революции. Но даже и в этих «Житиях святых» Саша не мог рассказать всего, что пережили его первые соратники, руководители комсомола революционных лет. Как раз мученическая кончина этих героев, расстрелянных в тридцать седьмом году, и была запретной темой. И если в начале шестидесятых еще можно было написать: «Стал жертвой нарушений революционной законности», то к середине десятилетия уже приходилось обрывать на оптимистической ноте, оставляя в глубоком мраке вопрос о том, как же эти несравненные герои и рыцари Революции ушли из жизни.

Может быть, именно от крушения надежд и погиб сравнительно рано Саша Мильчаков. Умер, оплаканный преданной семьей, редколлегией журнала «Юность» и нами, своими друзьями тяжких дней, забывшими обиду, забывшими, что он хотел напрочь отмежеваться от нас, чтобы не компрометировать себя «опасными связями». Помним Сашу Мильчакова магаданского, а не московского.

. . . Но так или иначе — оттепель продолжалась. 1954/55 учебный год дал мне возможность, отказавшись от офицерского класса, получить два обычных класса в вечерней школе взрослых. Теперь моими учениками стали летчики, рабочие авторемонтного завода. Среди них было несколько бывших заключенных, принятых, по нынешним либеральным временам, на доучивание. Мне теперь поручались доклады в Институте усовершенствования учителей, а на моих уроках побывали САМ завгороно Трубоченко и — еще самее! — завоблоно Железков. Они предложили мне дать несколько открытых уроков для учителей, желающих «перенять опыт».

После этих посещений на нас вдруг свалилась манна небесная — меня пригласили в горжилотдел «для переговоров об улучшении квартирных условий».

Двухэтажный деревянный дом на улице Коммуны — два шага от школы — показался нам версальским дворцом. Нам дали двадцатиметровую комнату в квартире, где кроме нас жили

всего только две семьи. И это после нагаевского барака, где мы были тридцатые! В квартире была хорошая кухня, ванная комната, теплая уборная. Не веря глазам своим, мы с Антоном открывали краны в ванной, недоверчиво дотрагивались до кафельных плиток на кухонной печке. Шум спускаемой в уборной воды мы воспринимали как сигналы из потустороннего мира, потому что чего-чего, а уж благоустроенной уборной мы за последние два десятилетия категорически не встречали.

Окончательно неправдоподобным чудом-юдом явился возникший на нашем столе телефонный аппарат. Его водрузили после того, как Антон стал обслуживать в больнице отдельную палату для начальства. Я до сих пор помню номер этого первого телефона моей второй жизни, начавшейся пятого марта пятьдесят третьего года. Двадцать два — семьдесят один. Автоматической станции в Магадане тогда еще не было, и вместо бездушных гудков слышался мелодичный голосок, сговорчиво отвечавший «Даю» . . . Мы с Антоном первые дни играли в этот телефон. По несколько раз в день звонили друг другу с работы домой и вели, захлебываясь смехом, глупейшие, но милые нам диалоги. «Это совхоз Эльген?» «Нет, что вы . . .» «Прииск Бурхала?» «Отнюдь нет» «Может быть, это дом Васькова?» «Гражданин, это частная квартира. Здесь живет один популярный у населения доктор, он же шарлатан-гомеопат . . .» «Да? А я думал, что это квартира выдающегося специалиста по обучению комендантов изящной словесности . . .»

Так мы забавлялись. Но в то же время мы вполне серьезно наслаждались своей новой квартирой. Остро, чувственно, можно сказать плотоядно смаковали наконец-то обретенное освобождение от Страха. Смело и спокойно запирали дверь на ночь и засыпали, не ожидая ночных звонков и стуков. Частная квартира . . . Одним словом, мой дом — моя крепость.

К Новому году я получила одну за другой две обнадеживающие бумаги из Москвы. В одной сообщалось, что мое заявление о реабилитации, адресованное Ворошилову, переслано в Прокуратуру СССР, в другом — что из прокуратуры оно ушло в Верховный суд. Понимающие люди утверждали, что это — замечательный признак. Волновало то, что Антон все еще не получал никакого ответа. К празднику Тоня положила ему на ночной столик открытку с картинкой, в которой желала ему «здоровья, счастья и получить скорее чистый паспорт». В свои тогдашние восемь лет она уже отлично понимала, что значит для человека «чистый паспорт».

И вот весна пятьдесят пятого. Мои сослуживцы по школе взрослых оживленно толкуют в учительской о каникулах. Высчитывают, сколько им причитается за долгий колымский отпуск,

спорят о сравнительных преимуществах Крыма и Кавказа, показывают друг другу купленные в дорогу обновки.

Давно ли я умела усилием воли отключаться от той горечи, которую ощущала, присутствуя при подобных разговорах! Теперь больше не могу. Теперь эти прибои житейских волн отдаются у меня в голове гулким шумом.

И вот наступает наконец тот немислимый момент, когда директорша школы задает мне мимоходом совсем простой вопрос:

— А вы чего же не подаете заявление насчет отпуска на материк?

— Я? На материк?

— А почему бы и нет? — скучным голосом говорит директорша. — С отделом кадров согласовано. Ссылка у вас снята. Можете ехать.

Директорша добрая женщина. Во всяком случае, вкуса к злу у нее нет. Только вот похожа она очерком лица и фигуры на крупного зеркального карпа. Да и вялой флегматичной душой тоже. Она таращится на меня с глубоким удивлением, когда я обнимаю ее за плечи и шепотом читаю ей из Пушкина: «Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать?»

Двенадцать ночи. Я иду из школы домой. Теперь не страшно, живу рядом со школой. А воздух с бухты доносится и сюда. И звезды те же, что и там у нас, в Нагаеве. Ощущение праздника не оставляет меня. Какие-то давние чувства, запахи весенней земли, обрывки стихотворных строк, какая-то радостная слитость со всем сущим . . . Как будто бы Пасха . . . И мне как будто четырнадцать лет . . .

Пройдут еще годы и годы, и однажды я вспомню это свое настроение тогдашней весенней «оттепельной» ночи с чувством глубокого стыда. Это произойдет в самом начале семидесятых годов, когда мне в руки попадет книга Артура Лондона «Признание». И из этой потрясающей книги я узнаю, что вот в эту самую благословенную для меня ночь, когда мне казалось, что пришел конец нашим мукам, — именно НАШИМ, а не только моим, — рядом, в Чехословакии, полным ходом шло разбирательство «дела Сланского». И в эти именно числа, когда телячий восторг от предвкушения возврата в жизнь лишил меня разума, умения читать газеты, сопоставлять факты, делать выводы и прогнозы, — в эти именно дни, когда я почти поверила в наступление Золотого века, людей продолжали утонченно терзать, унижать, заставляли разыгрывать по сценариям позорные «судебные заседания» . . . Людей продолжали ВЕШАТЬ ни за что, без всякой вины . . . И пепел их развеивать по ветру . . . И эта ночь, наполненная для меня иллюзией близкой полной свободы, была для многих,

таких же, как я, хотя бы для тех же чехов, налита до краев все тем же давнишним отчаянием.

Но тогда я ничего этого не знала. «Оттепель» лишила меня способности предвидеть хоть что-нибудь. Почти бессознательно нелепая идея компенсации, которую судьба должна же дать мне за испытанные муки, овладела мной, застилая взор. Я должна еще быть счастлива. Я еще не стара. Я успею многое сделать, прочесть, написать.

. . . Долго не вхожу в дом. Стою у крыльца и смотрю на звездное колымское небо, холодное, но все-таки весеннее. Я ни о чем не думаю, только прислушиваюсь к чьему-то страстному и нежному голосу, звучащему внутри. Кажется, это голос Блока. «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное — очеловечить, несбывшееся — воплотить . . .»

А сегодня мне хочется просить у Артура Лондона и его товарищей прощения за ту мою счастливую ночь пятьдесят пятого года. И за то, что я назвала эту главу «Перед рассветом». Но менять заголовка не буду, чтобы не отклоняться от правды тогдашнего моего восприятия событий.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Я сижу в мягком кресле самолета Ил-14, а подо мной клубятся облака, висящие над Охотским морем. Это не сон. Это фантастическая явь середины пятидесятих годов. Меня, привезенную сюда в утробе трюма «Джурмы», везут обратно на Большую землю со всеми удобствами, и бортпроводница говорит мне: «Дама, пристегните вашу девочку ремнями! . . .» Дама! Это я-то?

Девятилетней Тоне куда легче освоиться с необычностью обстановки, чем мне. У нее нет прошлого. Она вся — воплощение будущего, и ее распирает любопытство. Засыпает меня вопросами, на которые я отвечаю механически.

Острое ощущение полета, терпкая радость движения мутится для меня воспоминанием о глазах Антона, оставшегося на взлетной площадке. Антон еще не реабилитирован, поэтому он отказался ехать, вернее, даже возбуждать ходатайство о поездке на материк. Но я ведь тоже еще не реабилитирована. Другое дело . . . «Тебе сами предложили ехать». Он никак не может отделаться от ощущения безнадежной дискриминированности своей по национальному признаку.

Догадываюсь, что он решил отправить меня в первый раз без себя еще и для того, чтобы я без всякого давления смогла решить

вопрос о дальнейшей нашей личной жизни. Ведь мы знаем теперь точно, что Павел — мой первый муж — жив.

Мы с Тоней уже сидели на своих местах, когда в наш самолет, готовый к старту, вошел летчик Баранов, мой ученик из школы взрослых, и сказал, чтобы я подошла на минутку к двери. Антон Яковлич хочет еще что-то сказать мне, забытое, видно, когда прощались. Я подошла к двери, а Антон быстро поднялся по еще необузданному трапу.

— Поступай, как тебе подскажет совесть... Но помни, помни...

Тут его заторопили, пора убирать трап.

Совесть уже давно подсказала мне. Вернусь. Хотя я уже знаю, что еду за реабилитацией (получено несколько бумаг, приближающих меня к ней), но решение твердо: не уеду с Колымы, пока Антон к ней привязан. Обязательно вернемся через полгода, после отпуска. Но пока... Пока я лечу на Большую землю, и вся моя душа не просто раскрыта, а настезь распахнута навстречу ватным облакам, перламутровым струям воздуха, шальным искрам, рвущимся из-под самолетного крыла. Навстречу тому полузабытому, желанному, виденному в далеких снах, к тому, что называется ЖИЗНЬ.

Я все больше невпопад отвечаю Тоне на бесчисленные вопросы, которыми она продолжает засыпать меня. Сосед, сидящий впереди, оборачивается и откровенно фыркает, услышав мои объяснения насчет техники движения самолета. Но мне ничуть не обидно. Хохочу вместе с ним и доверительно объясняю ему, что по физике у меня никогда не было больше тройки.

— А самолет не может упасть в море? — опасно осведомляется Тоня.

— Нет. Не может.

Мой ответ звучит уверенно и категорично. Потому что я дала его не только для успокоения ребенка. Это мое глубокое убеждение. Не может он упасть. Потому что погибнуть в авиационной катастрофе после того, как ты уцелела в Ярославке и на Эльгене, на Известковой и в доме Васькова — это было бы немислимо. Это означало бы, что мир стихийен и бессмыслен. А я именно в середине пятидесятых годов была так глубоко убеждена в разумности мира, в высшем смысле вещей, в том, что Бог правду видит, хоть и не скоро скажет.

(Это было двадцать лет назад. И как же я остыла сердцем за эти годы!)

Целых семь часов летел степенный самолет пятьдесят пятого года над Охотским морем. Порой я начинала дремать, обволакиваемая льющей из окон белизной. Но всякий раз будила сама себя возмущенной мыслью: как я смею спать, когда я лечу...

Страшно вымолвить! В Москву! Все равно, что на Марс. И я с удивлением рассматриваю сидящего сзади знакомого мне человека, тоже бывшего заключенного, впервые после восемнадцати лет летящего на материк. Он спит со всех ног бесчувственным стопроцентным сном, и его приплюснутое, скомканное лицо дышит глубоким физическим удовлетворением.

Вспоминаю, что его зовут Федор Решетников и что он дважды «доходил» и дважды выкарабкался. Его терпеливые кости заново обрастали плотью. Но эта плоть, выращенная на благодеяниях лагерного оздоровительного пункта, была именно тем складчатым, желтоватым, студенистым тестом, из которого вылеплено это лицо, похожее на муляж. Вспоминаю, что и садился он в самолет без всякого радостного волнения, без улыбки, с безразличным тусклым взглядом.

И я отдаю себе снова отчет в том, что я не просто счастливица, а счастливица стократная. Потому что я вывожу сейчас на этом Иле не только относительно целые руки и ноги, глаза и уши, но и целехонькую душу, не потерявшую способности любить и презирать, негодовать и восторгаться. Меня переполняет чувство благодарности. Господи! Это не сон. Ты вывел меня с Колымы . . .

Дар благодарности — редчайший дар. И я не исключение. Все мы неистово взываем «помоги!», когда гибнем, но очень редко вспоминаем об источнике своего спасения, когда опасность отступила. На своем крестном пути я видела десятки, даже сотни наученнейших марксистов, как говорится, «в доску отчаянных» ортодоксов, которые в страшные моменты жизни обращали свои искаженные мукой лица к Тому, чье существование они так авторитетно отвергали в своих многолетних лекциях и докладах. Но те, кому довелось спастись, благодарили за это не Бога, а в лучшем случае Никиту Хрущева. Или совсем никого не благодарили. Такова наша натура.

Именно поэтому я и запомнила как редкостный миг озарения этот свой первый полет над Охотским морем, когда душа моя действительно благословляла в поле каждую былинку и в небе каждую звезду. Даже когда я начинала дремать, укачиваемая воздушными ямами, то и тут, среди сгущавшейся темноты, у последней заставы сознания, меня не оставляло это нездешнее чувство. Больше оно у меня никогда не повторялось. Тонуло в суете.

. . . Хабаровск. Посадка. Суеверно ступаю по выщербленному асфальту. Это первое мое прикосновение к материковской земле.

— Мамочка! Смотри, сколько соловьев! — восклицает Тоня, в восхищении застывая перед стайкой воробьев, вперебивку щечечущих над навозной кучкой.

— Эх ты, отродыице колымской! Воробья не видала, — подает реплику, проходя мимо нас, краснорожий мужик, явно из племени полублатных колымских конкистадоров. Потом он случайно оказывается нашим соседом во время завтрака в ресторане. Он вызывающе швыряет на стол новенькие нарядные сотенные и требует, чтобы официантка принесла ему всю программу разом. Привязался к Тоне, без конца просвещает ее.

— А это чего? Не знаешь? Маслина называется. Видишь, вроде сливы... Да ты и сливы-то поди не видала?

Ну, конечно, мы не видали сливы. Тоня — никогда в жизни, а я видала, да забыла. Но мы с Тоней как заговорщики. Только выразительными взглядами перебрасываемся. Она уже поняла, что вслух удивляться, дремучесть свою показывать не надо. А взгляд у нее зоркий, за все цепляется. Судок для горчицы и перца. Чей-то чемодан на длинной элегантной молнии. Сплошные чудеса.

... Под Иркутском вдруг резко ухудшилась погода. Сначала снежная белизна облаков испестрилась темными бликами, стала похожа на горностаевый мех. Потом за окнами началась какая-то мокрая вьюга, и нас отчаянно заболтало. В уютных креслах обеспокоенно задвигались люди. Молодая толстуха с рыжей челкой до самых бровей стала громко убиваться, что вот, мол, она, дура, полстилась на эту путевку в Сочи. А ведь в Южно-Сахалинске у нее есть муж и комната. Восемнадцать с лишним метров. Только бывший зэка Федор Решетников все так же настойчиво спал. Стопроцентно спал, точно наверстывая за все лагерные ночные смены.

Битых полчаса наш пилот маневрирует, чтобы посадить свою птицу. И вот наконец желанный толчок. Земля! Общий облегченный вздох. Сразу все повеселели, начали шутить, приглаживать волосы, оправлять платье, вспомнили, что давно пора обедать. И все дружно рассмеялись, когда очнувшийся наконец от своего летаргического сна Федор Решетников мрачно буркнул:

— Рожденный ползать летать не может...

— И не полетим теперь скоро-то, — откликнулась наша стюардесса, — погода нелетная. Припухайте в Иркутске в полное свое удовольствие.

Иркутская гостиница Аэрофлота потрясла нас с Тоней еще больше, чем хабаровский ресторан. В таких апартаментах обитали, вероятно, только граф Фридерик и графиня Эльвира из блатных «романов». Многопудовые бархатные портьеры цвета бордо свисали на золотых кольцах прямо на лакированные фосфоресцирующие полы. Хрустальные люстры нежно позвякивали бомбошками. В глубочайшем мягком кресле склонилась над бумагами разнаряженная администраторша. И над всем этим вели-

колепием сияло напечатанное типографским способом лаконичное объявление «Мест нет». Однако после долгих объяснений, просьб и молений человеколюбивая администрация сжалилась над нами, и все население нескольких застрявших самолетов было размещено вповалку прямо на полу нижнего коридора, направо от вестибюля.

К ночи гуманизм местного начальства дошел до того, что нам выдали несколько старых тюфяков, так что дети теперь были уложены хоть и на полу, но с комфортом. Взрослым предстояло провести ночь на табуретках все в том же коридоре, под репродуктором, из которого никак не вылетали желанные слова «Объявляется посадка».

И тут вдруг одна из пассажирок, импульсивная коротышка лет сорока, принесла сенсационное известие. Оказывается, свободных номеров в гостинице сколько угодно.

— Для китайцев . . . Нам не дают, мы черная кость. У нас вроде денежки не те. Целый этаж пустует, а мы тут валяемся. Берегут . . . А для кого?

— То есть как это для кого? — возмутилась администраторша. — Здесь трасса Москва — Пекин, понятно вам? Номера бронированы для китайских товарищей.

— Откуда они свалятся, китайские-то товарищи? Чай, со всех концов погода нелетная, Иркутск не принимает. А к утру, если развиднеется, мы и сами улетим.

Но администраторша продолжала тупо твердить:

— Свои законы тут не устанавливайте! Линия международная . . .

Поднялся бунт. Появился директор гостиницы, очень нежный бледный человек, весь из тонких удлинённых линий. Голос его вызывал воспоминание о переслащенной яблочной пастиле. Призывая пассажиров к спокойствию, он пожелал взглянуть на документы. Администраторша кивнула ему на наши паспорта, кучкой лежавшие на ее столе. Он быстро перелистал их, рассортировал на три стопки и стал вызывать по фамилиям, называя номера комнат.

Привычный комплекс немедленно сработал: я решила, что нам с Тоней или совсем не дадут номера или уж самый заваленький. И вдруг нам достается номер семнадцатый на втором этаже. Сначала я подумала, что это недоразумение. Никак не тянул мой паспорт с «минусами» и тридцать девятым пунктом на такое экспортное великолепие. Неужели это мне говорит «плиз» эта накрахмаленная горничная? И нам же предназначены эти непомерно большие зеркала, атласные одеяла и монументальный шкаф? Все загадки разъяснились появлением директора гостиницы.

— Удобно будет? — осведомился он, как бы отведывая нам еще полкило пастилы. — Мы весь исторический этап понимаем. Вчера репрессированные, завтра — начальство. У нас вот у самих, по нашему как раз ведомству, один новый товарищ в руководстве назначен. Из тех самых, что с тридцать седьмого в бушлатике ходили. Это надо понимать . . . Все ведь по диалектике развивается . . . Пожелаю приятных снов!

Так мы с Тоней, благодаря утонченному диалектическому мышлению директора иркутской гостиницы (впрочем, не оправдавшему себя в дальнейшем, по крайней мере по части предвидений большой карьеры для реабилитированных), выпалились, как богдыханши, под пекинскими атласными одеялами, на кроватях с ножками в виде львиных голов.

А наутро — солнце. И снова мы летим над Сибирью, потом над Уралом. Посадки в Новосибирске, в Свердловске. Именно начиная со Свердловска я ощущаю возвращение на материк. С каждым получасом все осязаемей становится приближение к Москве. Деревья, луга, птицы, цвет неба — все становится похожим на то давнишнее, родное, что столько лет было нереальным в своей невозвратности. Я с такой гордостью сообщаю Тоне все новые названия деревьев, точно я их тут посадила, точно я ввожу ее во владение наследственным имением.

Маленькая колымчанка пускается в спор насчет берез.

— У нас в «Северном Артеке» были березы. Они не такие . . .

— Те были карликовые . . .

Но в целом Тоня ориентируется во всей этой нови быстрее меня. Потому что она не отвлекается во власть ассоциаций, смещающих последовательность времен. А меня застает врасплох даже остановка Казань. Я не сразу отдаю себе отчет в том, что вот я и прибыла на место, откуда все началось. Точно на собственную могилу приехала . . .

Вздрагиваю от звонкого дискантового девичьего голоса. Вернее, не от самого голоса, а от выраженного татарского акцента.

— Аэропорт Казань. Все здоровы, товарищи?

Эта румяная девушка с котиковыми бровями и медицинской сумкой через плечо снова сбивает меня со счета времени. Возникает обманное чувство: неужели и впрямь прошло восемнадцать лет с тех пор, как я обучала ее говорить по-русски? Как вода, как вода, пролилось оно между пальцами, мое время, самые расцветные годы жизни, истраченные на невыносимо однообразные страдания . . .

Не допускать, не допускать этой разъедающей горечи . . . Ведь я возвращаюсь . . . Ведь впереди еще большой кусок жизни. И он будет плодотворным . . .

— Смотри, Тоня, какой замечательный аэропорт в Казани . . .

Меня огорчает, что Тоня не восхищается этим новым зданием. Она не видела прежней кособокой лачуги, которая стояла здесь в тридцатых годах, и она равнодушно заявляет, что аэропорт точно такой же, как в Свердловске.

Еще два часа дремотной качающейся самолетной жизни. И наконец . . . Вот оно, свершилось! Толчок о землю. Толчок где-то внутри самого моего существа. Вот он, мой Марс, моя недостижимая звезда! Вот та земля, очертания которой совсем было уж стерлись для меня, для всех нас . . .

— Москва!

Это голос нашей бортпроводницы. Она инструктирует нас насчет порядка высадки, сообщает, какие виды городского транспорта нам лучше всего использовать.

Я почти ничего не понимаю. Я решила, что мы выйдем из самолета последними, хоть Тоня и дергает меня изо всех сил и тянет за руку к выходу. Ей не терпится. А я выигрываю минуты, чтобы справиться с приливами крови к вискам. Механически, с ощущением фантастичности всего происходящего проделываю все, что надо: несую чемодан, жду автобуса, отвечаю на вопросы Тони.

Этот день нескончаем. Я, привыкшая тянуться этапами, выставлять у лагерных ворот и в комендатурных очередях, никак не могу изжить этих суток, начавшихся в Свердловске и продолжающихся сейчас в Москве, на Таганке. Почему именно на Таганке? Да потому, что я не решилась обратиться ни к кому из старых знакомых с просьбой о пристанище. Мне еще казалось невыслышимым навьючить на чьи-то плечи такую ношу — пришельца из страшных снов с котомкой за плечами. И я взяла записку у магаданского знакомого-вольняшки к таганской хозяйке, промышленяющей специально сдачей комнат и углов приезжим вольным колымчанам-толстосумам.

Квартира оказалась пахнущим сыростью полуподвалом, снабженным, впрочем, телевизором и холодильником. Гладкая и ласковая, как толстый кот, жадная до денег хозяйка в обмен на наши хрустящие новенькие сотенные билеты отвела нам неопрятную двуспальную кровать с лоскутным одеялом и бесформенно растекающимися жидкими подушками. И мы поскорее улеглись еще засветло, чтобы как-то закончить этот день, в который столько вместились.

Сон обволакивает мгновенно, но тут меня будит тоненький захлебывающийся счастьем взвизг:

— Мама, смотри, у бабушки свое маленькое кино!

Я открываю глаза, и мы с Тоней, два колымских дикаря, одновременно видим впервые в жизни телевизионную передачу.

Утром ласковая квартирная хозяйка «Стояла колымчанина»

предлагает нам кофе и сама усаживается с нами за стол. Уже неделю она без квартирантов, намолчалась, рвется к общению, точнее — к монологу. Собеседник для нее лицо подставное, несущественное, ей важно, как говорят французы, «вытряхнуть свой мешок». В жизни она не выезжала с Таганки, но магаданские проблемы освоила со всей дотошностью. Знает, кому какие надбавки и где выгоднее работать — в северном или западном управлении. Слушаю ее в полуха, отделяясь пустыми репликами. Но тут вдруг она пытливо щурит свои мохнатые, в колких ресничках, еще не погасшие глаза и задает мне колдовской вопрос:

— А вы не забыли, как на Кировскую-то проехать?

Кировская, 41 — адрес Прокуратуры СССР, куда я первым делом должна направиться насчет реабилитации. Но откуда эта толстуха, похожая на гладкого кота, знает это? Ни слова об этом не было сказано ни в моих разговорах с ней, ни в записке, по которой я ее разыскала.

— На Букашке поезжайте. До Красных ворот. При вас-то ходила туда Букашка? Не упомяну уж . . .

— Ходила. А вы откуда все знаете?

— Не маленькая! По чемодану, по одежке вижу. Да и по лицу. Девчонку-то оставьте на меня. Присмотрю. И недорого возьму за это.

Но Тоне кажется, что «пуркуратура» (так она произносит) это какое-то из московских чудес, вроде телевизора. Она упирается, плачет, настаивает. И я сдаюсь, беру ее с собой.

В пути я пытаюсь рассматривать в окно трамвая Москву, уловить, в чем она изменилась за восемнадцать лет. Но это мне не удается. Потому что в оконном стекле я вижу свое отражение, всматриваюсь в него и все стараюсь понять, в чем же дело, почему первая же москвичка, хозяйка квартиры, сразу опознала во мне вчерашнюю каторжанку. Отрываясь от стекла, я озиралась вокруг довольно затравленным взором, потому что в каждом пассажира трамвая мне виделся знатный человек, отмеченный гербом московской прописки, недоступной мне.

В мрачном здании серо-гранитного цвета двери открываются туго, несмотря на то, что в них ежеминутно входят. С усилием тяну массивную ручку. Тоня юрко прошмыгивает вперед и тянет меня за собой. Оглядываюсь вокруг себя и останавливаюсь, потрясенная. Что же это? Я — от Колымы, а она — за мной? Вестибюль битком набит нашими. Теми самыми, которых я узнаю из тысяч, у кого изработанные, набрякшие узлами руки, расшатанные цинготные зубы, а в глазах — то самое выражение всеведения и предельной усталости, что не передается словами. Оно — это выражение — не смывается даже радостным возбуждением, которым охвачены здесь люди.

Говорят одновременно почти все. Говорят нескончаемо, хотя и приглушенными голосами, хотя и с привычной оглядкой на снующих среди толпы военных с бумагами в руках. Все повествуют о своих странствиях, все инструктируют друг друга, в каком порядке ходить по кабинетам, столам и окошечкам этого серо-гранитного дома. Вестибюль прокуратуры по улице Кирова, 41, гудит, как . . . Нет, не как улей! Как транзитка! Как владивостокская транзитка. Прикрываю на секунду глаза. Меня шатает и мутит от острого воспоминания, от того, что опять смещается грань времен.

— Мама! А почему в «прокуратуре» все седые? — громко спрашивает Тоня, и вокруг нас всплескиваются дружелюбные смешки.

Еще минуты, и вот уже кто-то окликает меня по имени, потом еще и еще. А вот уже и я сама узнаю многих в лицо. Кругом родственники . . . Сестры по Бутыркам и братья по морскому этапу. Эльгенские дочки . . . И даже отцы и матери, потому что здесь много семидесятилетних. Тогда, в пятьдесят пятом, они еще не все вымерли. Их белоснежные головы, вкрапленные в толпу клиентов серо-гранитного дома, и создают впечатление, что в «прокуратуре все седые».

Наши . . . То самое подземное царство, тот самый Аид, в котором я жила почти два десятилетия. Как страшны их лица в неподкупном свете московского солнечного летнего дня! Но до чего же они родные мне и как быстро от их присутствия испаряется и тает ощущение своей отчужденности, которое не оставляет меня с момента приезда в столицу. Со всех сторон тянутся ко мне дружеские руки. Вот уже Тоня передана на попечение Анастасии Федоровны, моей соседки по Бутырской пересылке. И вот уже к нужному окошечку провожает меня Иван Синицын, лежавший у нас с Антоном в Тасканской больнице заключенных. Тогда он у нас числился смертником, а вот поди же ты, дожил до Кировской, 41, и сейчас ему уже за пятьдесят.

По дороге Иван предупреждает меня, чтобы я подготовилась к волоките.

— Главное, помните: реабилитируют обязательно! В конце концов . . . И не впадайте в отчаяние, когда начнут говорить: «Зайдите на днях . . .» Без этого нельзя же. Надо и им посочувствовать, ведь в каких бумажных морях они плавают! И в каком море лжи!

Но мне невероятно повезло. Всего несколько минут я стояла у окошечка, после того как назвала вежливому военному свою фамилию.

— Все в порядке, — с любезной сдержанностью сказал он, наклоняясь над картотекой. — Ваш приговор опротестован про-

курором. Теперь вы должны ходить не к нам, а в Верховный суд. Улица Воровского. Там и получите окончательное решение по делу.

С часу дня в прокуратуре перерыв на обед, и мы с Иваном, с Анастасией Федоровной и еще двумя знакомыми стариками, отбывшими «всю катушку», отправляемся в кафе «Ландыш», знакомое еще по аспирантским годам. Остро вспоминается вкус пельменей, съеденных в этом кафе лет двадцать с лишним назад.

Занимаем отдельный столик. И никак не можем перестать говорить. Нам кажется, что мы говорим шепотом, но, видимо, мы уже не управляем своими голосами. Замечаю, что за соседним столом нас слушают и прислушиваются. Молодежь. Два парня и девушка. Наверное, студенты. Интеллигентная молодежь. Как давно я не видала, не слыхала ее! А ведь какая кровная связь! С новой остротой всплывает горечь: как мы поруганы, как оклеветаны в их глазах! Сколько десятилетий понадобится, чтобы из их сознания вытравилось наконец недоверие к вчерашним «шпионам, диверсантам, террористам»?

Однако мы их уж очень заинтересовали. Совсем прекратили свою беседу и жадно прислушиваются к нашей. Наконец один из юношей решительно встает, подходит к нам и, очень волнуясь, спрашивает:

— Вы оттуда, да? Из ссылки? Простите, это не пустое любопытство.

— Да, — спокойно отвечает Николай Степаныч Мордвинов, один из наших стариков, бывший геолог, бывший узник Верхнеуральского политизолятора, бывший лагерник Ухты, бывший красивый мужчина. — Да, мы из тех мест. Весьма отдаленных. Жертвы тридцать седьмого года.

Молодые так потрясены этой встречей, что некоторое время просто молчат, глядя на нас как на призраков. Потом девушка восклицает: «Одну минуточку!», и стремглав бросается к дверям. Через несколько минут она возвращается с двумя пучками гладиолусов, обернутых в целлофан. Протягивает цветы Анастасии Федоровне и мне. Замечаю, что глаза девушки полны слез и очки одного из парней тоже поблескивают. И все мы молчим. Потом старик Мордвинов откашливается и хрипловато произносит:

— Повторяю — мы жертвы. Жертвы, а не герои . . .

— Но у вас хватило мужества все перенести, — возражает студент в очках.

— Стало быть, цветы нам за то, что мы двужильные, — грубовато шутит Анастасия Федоровна.

Эта встреча и разговор с незнакомыми молодыми людьми запомнились мне на долгие годы. Первое свидетельство того, что не все, далеко не все поверили великой лжи, что во многих душах,

особенно молодых, потаенно жило сочувствие к невинно замученным.

А дня через три — еще одно красноречивое доказательство того, как прав был Евтушенко, когда писал в прекрасных своих юношеских стихах: «Умирают в России страхи . . .» Они умирали на глазах. А, выходит, именно ими, страхами, держалась наша отверженность. Страхами, а вовсе не доверием к той клевете, которая окружала нас почти два десятилетия.

Еще через несколько дней я получила новое убедительное подтверждение того, что далеко не все оставшиеся на воле принимали на веру рассказы про «шпионов, диверсантов, террористов». Однажды рано утром в наш таганский подвал явилась неожиданно-негаданно моя давнишняя комсомольская подруга Тоня Иванова. Каким чудом она развела, что я в Москве, на Таганке, трудно сказать. «Сердце подсказало», — отшучивалась она.

— И как ты могла заехать в такой подвалище? Точно у тебя друзей нет в Москве! Собирайся!

Через час мы были в уютной двухкомнатной квартире на улице Чкалова, где уже ждал меня брат Тони — Петя Иванов, известный в тридцатых годах журналист, мой друг юности, мой, так называемый, «партийный крестный», рекомендовавший меня когда-то в партию. Великим удовольствием для меня было выслушать историю о том, как ему удалось в тридцать седьмом (он работал тогда в «Правде») спастись от ареста. Проявил оперативность! Взял и в одну прекрасную ночь уехал из Москвы в неизвестном направлении, бросил семью, работу, квартиру. А потом «затерялся в родных просторах» и обнаружился в Москве только ко времени «частичного отлива» после снятия Ежова. Вся Петина терминология, все его шутки и словечки не оставляли ни малейшего сомнения в том, что он отлично разобрался, что к чему. И это было великой радостью для меня — открыть единомышленников среди московских вольняшек, благополучников. Только теперь я, привыкшая к сверхортодоксальности колымских вольных, начала отдавать себе отчет в том, как относительно было благополучие интеллигенции, ускользнувшей от раскинутой большой сети, поняла, что и их, спавших все эти годы в своих собственных чистых мягких постелях, терзали по ночам те же великие страхи, что и нас, грешных.

А к вечеру появилась моя лучшая подруга былых лет, о которой я ничего не слышала за все эти годы. Ксения Крылова! Ее появление протянуло еще одну слабую ниточку между моей первой жизнью и последними восемнадцатью годами. Восстанавливалась связь времен. О нашей встрече с Ксенией очень забавно рассказывала потом моя Тоня (маленькая).

— Они только смотрели друг на друга и плакали. И по очереди говорили

по
одному
слову
каждая.
Тетя
говорила:

«Женька!», а мама говорила: «Ксенька!» И опять плакали . . .

. . . Переход с улицы Кирова на улицу Воровского означал для каждого из нас следующий шаг на пути к реабилитации. И казалось бы, настроение должно было становиться лучше. Но вопреки логике, обстановка в здании Верховного суда на улице Воровского была куда более нервной, чем в прокуратуре на Кировской. Там еще всеми владел подъем духа, связанный с возвращением в Москву, со взрывом надежд, с фантастическими планами новой жизни. А сюда, на улицу Воровского, приходили уже измотанные очередями, окошечками, в которые надо было униженно просовывать голову, чтобы увидеть ровный пробор офицера, склонившегося над бумагами, услышать (в который уж раз!), как он голосом пифии изрекает: «Еще не опротестовано!», или даже: «Ваше дело за Верховным судом!»

И те, кто уже добрался до улицы Воровского, были порядком раздражены всем этим.

— Как быстро они оформили мне в тридцать седьмом десяти лет срока! Без всякой бюрократической волокиты! А сейчас . . . Извольте полюбоваться на этих жрецов Фемиды! Сколько бумаг им требуется для того, чтобы доказать, что я не агент Мадагаскара и не организовывал в городе Пензе разведывательной сети в пользу Цейлона!

Старик, произносивший эту густо наперченную тираду, казалось, был мне знаком. Где-то я его определенно встречала, но где? Лишь когда он произнес, махнув рукой: «А дурак ожидает ответа . . .» — я вспомнила. Этого человека я видела однажды в Магадане, когда приходила в общежитие для бывших зэка, работавших в больнице. Тогда он был подчеркнuto осторожен, молчалив, старался не участвовать в крамольных разговорах, а на все риторические вопросы «за что?», «почему?», «зачем?» — произносил единственную, вот эту самую фразу: «А дурак ожидает ответа . . .»

Куда же девалась теперь его осторожная замкнутость? Почему он так осмелел сейчас, когда до желанной свободы оставались уже считанные дни? Оказывается, это было типично. Простояв несколько дней в очередях на улице Воровского, я сделала наблюдение: именно сейчас, когда так недолго оставалось потер-

петь, у людей вдруг начисто иссякло терпение. Раздраженное обращение с офицерами, дерзкие реплики слышались все чаще и чаще. Запомнилась, например, высокая женщина, истощенная в той степени, когда неопределим становится возраст. Дождавшись, когда один из офицеров подошел к ней вплотную, она очень громко сказала, показывая на поясной портрет Сталина, все еще украшавший приемную Верховного суда.

— А этого зачем тут повесили? Или для того, чтобы люди не забыли, кто все это натворил?

Офицер промолчал. Вообще на улице Воровского офицеры были еще бесстрашнее, чем в прокуратуре. У них у всех точно уши были заткнуты ватой. Проталкиваясь через наши очереди, они произносили механическими машинными голосами «разрешите!», отвечая на вопросы, адресованные непосредственно им, называли в ответ номер комнаты или окошка, куда надлежит обратиться. Этим исчерпывался их лексикон.

В общем, весь дух этого учреждения в те дни как бы наиболее выразительно воплощал собой неопределенность, переходность и выжидательность переживаемого страной момента. Можно было легко себе представить, что эти вежливые немногословные офицеры в один прекрасный день вдруг начнут стучать кулаками по столам и изрыгать то непотребное, что изрыгали их старшие коллеги в тридцать седьмом. Но так же легко можно было вообразить и обратное: что в один воистину прекрасный день они разговаривают и начнут убедительно доказывать, что лично они никакого отношения к преступлениям тридцать седьмого года не имели, они еще были тогда невинными детьми. И что они возмущены тогдашними беззакониями.

... Я протолклась в этом здании больше десяти дней, а получив предложение «зайти как-нибудь на той неделе», решила съездить на эту неделю в Ленинград, чтобы повидать сестру, побывать на могиле мамы и оставить Тоню, замученную толканьем в очередях, у сестры на даче.

Когда я рассказала об этом решении старику из Воркуты, с которым я сдружилась в этих нескончаемых выстаиваниях у окошечек, он великодушно предложил одновременно с выяснением собственных дел ежедневно наводить справки и о продвижении моих. И при необходимости дать мне в Ленинград телеграмму.

Сестра оказалась незнакомкой. При горячей родственной любви ко мне, при полной готовности прийти решительно во всем мне на помощь, она в то же время обнаруживала такое органическое равнодушие ко всему, что жгло и испепеляло меня, что было для меня, для всех НАС самым главным в нашем остатке жизни. И я скоро совершенно бросила попытки заинтересовать

ее этим. Она рассеянно выслушивала меня, явно думая о своем, и завершала все мои рассказы неизменной репликой: «Ах, какой ужас! Лучше не вспоминать об этом!». После чего снова переходила к своему, к бытовому, служебному, повседневному. Это поражало меня тем более, что ее первый муж, Шура Королев, выпускник Института красной профессуры, отец ее единственного сына, был расстрелян в тридцать восьмом году, и я ждала ее расспросов о нашем мире, о том мире, где он погиб. Но факт оставался фактом: наше общение все больше стало ограничиваться воспоминаниями о родительской семье, о старых знакомых. При всем том она была необыкновенно добра, великодушна, охотно взяла на себя все заботы о Тоне, которую я оставляла пока у нее.

И вот наконец . . .

— Вам телеграмма!

Я сразу, по гулко забившемуся сердцу догадалась, о чем сообщает этот благовестный голос из коридора сестриной коммунальной квартиры.

«Срочно выезжайте за справкой о реабилитации . . .» Милый воркутинский старик, полужнакомый товарищ по несчастью, честно выполнил свое обещание.

. . . И вот настал этот день. Сколько раз за нескончаемые годы я мечтала о нем, пыталась представить себе конкретные обстоятельства этого момента, этой минуты полного освобождения, окончательного ухода из-под гнетущей десницы, давящей и раздавливающей меня! Об этом мечталось то так, то этак, но неизменно мечты были связаны с представлением о каком-то катаклизме, о шквале, который сметет уродливые античеловеческие установления, о ком-то Благородном, кто откроет перед нами двери тюрем и лагерей, а мы — мы ХЛЫНЕМ на свободу, на вольный ветер.

Меньше всего я могла себе представить, что эту страстно вымечтанную свободу мы будем получать из рук все того же (выражаясь по-нынешнему) «кистеблишмента», будем стоять за этой свободой в огромных очередях, захлебываться в потоке казенных бумаг, лениво составляемых все теми же бюрократами, в лучшем случае равнодушными, в худшем — еле скрывающими свое недовольство этими непредвиденными эксцентричными формами.

И, однако, все это было именно так. Был знойный летний день. В очереди к полковнику, выдававшему справки о реабилитации, сидело, стояло, переминалось на отекавших ногах свыше двухсот человек. Голова у меня кружилась от спертго воздуха и нетерпения. Минутами я забывала разницу между этой эпохальной бумагой и сине-лиловым штампом магаданской комендатуры,

продлевавшим мне жизнь на две недели. Старалась подбадривать себя мыслями о свободе, но чувство горечи не оставляло меня. Да разве свобода ТАК приходит?

Уже ближе к вечеру мне удалось наконец протиснуться в ближайшую к двери десятку. Входим все десятеро сразу. Усталым жестом полковник предлагает нам рассестся на скамейке вдоль стены и вызывает к себе по фамилиям. Этот пожилой человек — хозяин справок о реабилитации — умаялся не меньше нас. Ему очень жарко. Мы-то в легких тряпках, а он при полном мундире, застегнутом на все пуговицы. Пот струится по его лысеющему лбу, и он то и дело прерывает работу, чтобы вытереть лоб носовым платком. Фамилию он переспрашивает трижды, как глухой.

— Вот, — протягивает он мне бумажку, — прочтите внимательно. Обратите внимание: при утере не возобновляется.

Кроме справки, которую я не успеваю прочесть, он дает мне листок из блокнота с записанным на нем телефонным номером.

— А это что?

— Телефон комиссии партконтроля. Сюда будете звонить по вопросу о восстановлении в партии.

— Что-о?

Я так потрясена этим неожиданным поворотом дела, на лице моем такая растерянность, что полковник несколько оживляется и вглядывается в меня, как в живого человека.

— Вы разве не хотите партийной реабилитации?

— Я... Я...

Я просто не верю своим ушам. Мне, вчерашней парии, предлагают вернуться в ряды правящей партии. Меня охватывает смятение.

— А как будете анкеты заполнять при оформлении на работу? — совсем уже по-свойски говорит полковник.

— А если... Беспартийная!

— А вы не беспартийная. Вы — исключенная из партии. И следующий вопрос в анкете будет: состояли ли в партии, когда и каким образом выбыли? И вы должны будете написать ту формулировку, которая у вас в деле: исключена за контрреволюционную троцкистскую террористическую деятельность... Так что звоните по этому номеру!

Каждого выходящего из полковничьего кабинета сразу окружает толпа ожидающих в вестибюле. Они буквально вырывают из рук только что полученную справку, сравнивают формулировки, делаясь различными глубокомысленными выкладками о том, какая реабилитация ПОЛНАЯ, какая — в чем-то ограниченная. Сразу находятся крючкотворы не хуже самих авторов справок. Они уверяют, что существует большая разница между

формулировками «за отсутствием состава преступления» и «за недоказанностью обвинения» . . .

Моя справка — первый сорт. «За отсутствием состава преступления». Знатоки поздравляют меня. Находятся, правда, и скептики, разглядывающие бумагу на свет, ищущие в ней каких-то тайных водяных знаков, условных номеров и серий . . . А я как-то не очень вслушиваюсь во все это, а больше всего боюсь, не смяли бы они мою бумажку, не изорвали бы, сохрани Бог! Ведь при утере не возобновляется.

Но вот от полковника выходят новые люди, внимание отвлекается от меня, и мой драгоценный документ возвращается в мои руки. Теперь я бреду в полном изнеможении по улице Воровского (ах, да ведь она Поварская, Поварская . . . Только что сообразила, что это она!) Вообще с тех пор, как я оставила Тоню в Ленинграде, я как-то отпустила вожжи, стала легко расслабляться, реже обедать, позволяла себе долго и бесцельно бродить по улицам. Делаю над собой усилие. Надо подтянуться. Надо сейчас же ехать к Тоне Ивановой. Они там все волнуются, ждут меня со справкой. Сейчас я предъявлю им ее.

Где же она кстати? Меня вдруг обливает ледяным ужасом. Останавливаюсь посреди Арбатской площади, открываю сумочку и начинаю судорожно рыться в ней. Нету справки! Перебираю квитанции прошлогодней давности (проклятая манера совать все бумажки в сумку, а вытряхивать ее раз в году!) . . . Нету справки. Я погибла . . . И снова, стоя посреди площади, под стук бешено колотящегося сердца, перебираю бумажки, скопившиеся в сумочке. Что же это такое?

Меня выводит из этого состояния отчаянный скрежет автомобильных тормозов и дикая брань, которой осыпает меня водитель грузовика. Захваченная поисками справки, я не заметила, что чуть не погибла под колесами этой тяжелой грязноватой колесницы, которые в середине пятидесятых годов еще ходили по старой Арбатской площади.

— Так и так и так! — орал вне себя шофер. — Деревенщина чертова! Машка с трудоднями! Наедут в город, а ходить-то не умеют! И от самой бы только мокренько осталось, и меня бы в тюрьму засадила! Чтоб тебе! . .

Но даже и более сильные его выражения, которые я опускаю, я принимаю с полной кротостью и со счастливой улыбкой. Во-первых, он прав: я бесосведно нарушила все правила движения пешеходов, я даже мельком не взглядывала на светофоры. А во-вторых . . . Во-вторых, какое все это может иметь значение, когда нашлась, НАШЛАСЬ моя справка! Оказывается, я положила ее не в сумочку, а туда, куда за восемнадцать лет привыкла прятать все самое для меня ценное, — на грудь, за лифчик . . .

Я еще и еще раз ощупываю себя, слышу божественный хруст моей драгоценной бумаги за лифчиком и бормочу извинения вслед уехавшему шоферу грузовика. Совсем обессиленная добираюсь до фонтана, стоящего перед входом в арбатское метро, и падаю на скамейку рядом со стариками, отдыхающими, опираясь на старорежимные трости, с мамашами детей, играющих у фонтана в мячик. Вынимаю свою справку и впервые с полным вниманием начинаю перечитывать ее. Ага! Вон в чем дело! Здесь сказано: «По вновь открывшимся обстоятельствам . . .» Какие же, интересно, обстоятельства вновь раскрылись перед моими неподкупными судьями? Может быть, они нашли подлинного преступника-террориста и выяснили, что не я, а именно он убит . . . Но кто убит-то? Ведь при миллионах террористов НИКТО, абсолютно никто не был убит . . . Киров только . . . Но имя его убийцы мы все в лагерях знали твердо. Так . . . Почитаем дальше . . . «Дело прекратить за отсутствием состава преступления». В сознании всплывает излюбленная фраза, которой утешали и умиряли нас наиболее «гуманные» тюремщики. «Разберутся! Если не виноваты, разберутся и выпустят». И вот разобрались. И двадцати лет не прошло, как сам Верховный суд авторитетно заявляет: нет состава преступления!

Никак не соберусь с силами — встать со скамейки и войти в метро. Вдруг ко мне подходят двое провинциалов — он и она — с тяжелыми чемоданами в руках и рюкзаками за плечами.

— Не подскажите, девушка, как нам добраться до Казанского вокзала?

Эта вроде бы ничего не значащая мелочь вдруг приводит меня в хорошее настроение. Во-первых, они назвали меня девушкой. Значит, к исходу пятого десятка я еще не выгляжу старухой. Во-вторых, они спросили меня, как добраться до Казанского вокзала. Не до Мылги, не до Эльгена, не до дома Васькова и даже не до Лефортова, а просто до Казанского вокзала. И я со всем старанием и подробностями объясняю им, где пересаживаться и переходить.

Вспоминаю, что когда я рылась в сумочке, разыскивая свою пропавшую грамоту, то видела там на дне обломок шоколадки. С аппетитом съедаю его и решительно встаю со скамейки. Оглядываюсь вокруг. Откормленные московские голуби, тогда еще очень модные, упоенно переговариваются друг с другом. Девочка в красном платье деловито скачет через веревочку. В двери метро непрерывно вливаются люди. Сейчас и я присоединюсь к ним. Вольюсь в общий поток. Возможно ли? Я такая же, как все!

«За отсутствием состава преступления . . .»

В сущности, эта книга жила со мной больше тридцати лет. Сначала как замысел, потом как постоянное писание вариантов, перечеркивание целых больших кусков текста, поиски более точных слов, более зрелых размышлений.

Особенно это относится к той части книги, которая не угодила в опубликованный на Западе в 1967 году томик. Ведь жизнь продолжается, маршрут мой хоть и утратил за последние два десятилетия свою исключительную крутизну, но все же остается достаточно гористым. Да и возраст подошел предельный. Тот самый, когда сознание исчерпанности всего личного, беспощадная ясность по поводу отсутствия для тебя завтрашнего дня дарует тебе неоценимые преимущества: объективность оценок, а главное — постепенное раскрепощение от того великого Страх, который сопутствовал моему поколению в течение всей его сознательной жизни.

И вот когда в свете этих закатных дней перечитаешь все еще лежащую в твоём столе неопубликованную часть книги, возникает непреодолимая потребность снова что-то переделывать. (Не в смысле фактов, понятно, а в смысле их подбора, освещения, а главное — суждений о них.) С одной стороны, это радует, как признак того, что душа еще не окостенела, еще способна к дальнейшему развитию, к пониманию новых явлений жизни. Но с другой стороны, эти бесконечные переделки (печальная участь всех рукописей, залежавшихся в столах!) в чем-то и портят работу, может быть, меняют к худшему ее интонацию.

Поэтому я и решила больше ничего не переделывать. Даже в отношении стилистической правки. Пусть останется все так, как сказало, потому что даже погрешности стиля отражают то особое состояние души, в котором все это писалось.

Меня часто спрашивают читатели: как вы могли удержать в памяти такую массу имен, фактов, названий местностей, стихов?

Очень просто: потому что именно это — запомнить, чтобы потом написать! — было основной целью моей жизни в течение всех восемнадцати лет. Сбор материала для этой книги начался с того самого момента, когда я впервые переступила порог подвала в Казанской внутренней тюрьме НКВД. У меня не было за

все годы возможности записать что-нибудь, сделать какие-нибудь заготовки для будущей книги. Все, что написано, написано только по памяти. Единственными ориентирами в лабиринтах прошлого являлись при работе над книгой мои стихи, сочиненные тоже без бумаги и карандаша, но благодаря тренированности моей памяти именно на поэзию четко отпечатавшиеся в мозгу. Я полностью отдаю себе отчет в «самодельном», кустарном характере моих тюремных и лагерных стихов. Но они заменили мне в какой-то мере отсутствующие блокноты. И в этом их оправдание.

Последовательно писать главу за главой я начала еще в 1959 году, в Закарпатье, где мы жили на даче. Я сидела под большим ореховым деревом на пенке и писала карандашом, держа школьную тетрадь на коленях. Первые главы я еще успела прочесть Антону. Он был уже неизлечимо болен. И я впервые похолодела, осознав близость его смерти, когда он заплакал, прослушав мою главу «Бутырские ночи».

После его смерти — 27 декабря 1959 года — я писала порывами. То забрасывала на долгие месяцы, то иступленно работала чуть ли не целыми ночами. (Днем я в это время писала ради хлеба насущного расхожие статьи и очерки для периодической прессы, главным образом педагогической.)

К 1962 году я стала автором объемистой рукописи примерно в 400 машинописных страниц. Это было совсем не то, что сейчас знают многие читатели первой части «Крутого маршрута». Этот первый вариант, написанный в том состоянии просветленной горечи, которое возникает после утраты близких, был полон самого сокровенного, доверяемого только бумаге. Эпиграфом к тому варианту были блоковские строчки: «Двадцатый век. Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла . . .» Тогда еще не участвовал в моей работе внутренний редактор, поскольку мысль о публикации вроде бы и не возникала. Просто писала, потому что не могла не писать.

Но тут подоспел двадцать второй съезд партии, ожививший во мне самые несбыточные надежды. Затрепанная папка, которая была до тех пор тайным моим собеседником, моим конфидентом, вдруг приобрела в моих собственных глазах новое значение. Мне показалось, что вот оно, настало наконец то желанное, чаемое время, когда я могу высказаться вслух, когда мои правдивые свидетельства поддержат тех, кто искренно хочет, чтобы наш национальный позор и ужас не повторились.

Я еще и еще раз перечитала свой первый вариант, битком набитый стихами и эмоциями, и поняла, что это еще не книга, а только материалы к ней. И я принялась за работу заново, беспощадно вымарывая целые страницы, которые еще вчера были

мне бесконечно дороги. Я перечеркнула блоковский эпиграф, который обязывал к непосильному для меня общепhilософскому раскрытию темы, и взяла новый, из стихотворения Евтушенко, перемещавший центр тяжести в область конкретной борьбы с наследием Сталина.

А когда наступил конец моим многолетним квартирным мытарствам и я получила кооперативную однокомнатную квартиру, я сожгла старую папку, которую столько лет прятала и перепрятывала в коммунальных условиях. Иногда мне делается жаль, что я уничтожила ее, жаль той раскованности и абсолютной исповедальности, которые могли бы привлечь читательские сердца. Но в то же время я знаю, что в том первом варианте была масса лишнего, недостаточно продуманного, рыхлого по композиции.

Теперь я работала регулярно по многу часов, не ленясь сидеть за машинкой после утомительного редакционного дня. Теперь мне светила вполне определенная цель — предложить эту рукопись толстым журналам. Может быть, «Юности», где я уже печатала свои очерки? Или — чем черт не шутит! — даже «Новому миру», где уже появился к тому времени «Иван Денисович»?

Увы, вместе с надеждами на публикацию родился в моей душе и внутренний редактор, зудивший меня на каждом абзаце своим обычным — «этого цензура не пропустит». И я начала искать более обтекаемые формулировки, нередко портила удавшиеся места, утешая себя тем, что, мол, подумаешь, одна фраза — не такая уж большая жертва за право быть напечатанной, дойти наконец до людей.

Все это очень отразилось на первой и начале второй частей «Крутого маршрута».

Как только рукопись попала в редакции двух популярнейших толстых журналов, началось пятилетнее плавание ее по бурным волнам самиздата. Рукопись, с которой снимались десятки, а может, и сотни копий, с фантастической быстротой размножалась и переходила границы Москвы. Когда я начала получать читательские отзывы из Ленинграда и Красноярска, из Саратова и Одессы, я поняла, что совершенно утратила контроль за удивительной жизнью моей ненапечатанной книги.

Нечего и говорить о том, как утешительно было находить в письмах незнакомых людей отклик на то сокровенное, что годами вынашивалось молчком. Эти письма, особенно написанные молодыми, развеивали мой давнишний страх перед гипнотизирующей силой возведенных на нас фантастических обвинений. Теперь я видела, что молодежь снимает шапку перед памятью моих погибших в застенках товарищей и благодарит меня за те кусочки правды, которые дошли до нее через мою книгу.

А вскоре пошли письма от писателей. И не только письма, но и авторские экземпляры книг с трогательными автографами. Я получила письма и книги от Эренбурга, Паустовского, Каверина, Чуковского, Солженицына, Евтушенко, Вознесенского, Вигдоровой, Пановой, Бруштейн и многих, многих других. Передавали мне и хорошие устные отзывы ученых, например академик Тамма. Пришел со мной знакомиться молодой историк Рой Медведев, чей отец погиб у нас на Колыме. Другая группа историков подарила мне свою книгу (сборник) с надписью: «Опередившей историков в понимании исторических событий».

Мне было абсолютно ясно, что всем этим я обязана отнюдь не каким-либо особым литературным качествам книги, а только ее правдивости. Изголодавшиеся по простому нелукавому слову, люди были благодарны всякому, кто взял на себя труд рассказать «де профундис» о том, как все это было НА САМОМ ДЕЛЕ.

Хочу еще раз заверить своих читателей, что я писала только правду. В тексте этой книги возможны, конечно, неточности, ошибки, вызванные смещениями памяти во времени. Но лжи, конъюнктурных ухищрений, сознательных замалчиваний здесь нет. В моем сегодняшнем возрасте, когда смотришь на жизнь уже как бы из некоторого отдаления, нет смысла хитрить. Итак, я написала правду. Не ВСЮ правду (ВСЯ, наверно, была и мне неизвестна), но ТОЛЬКО ПРАВДУ.

Да, чтобы написать ВСЮ правду, у меня не хватило ни информированности, ни умения, ни глубины понимания. Хватило меня только на то, чтобы не подчинять свое изложение софизмам, жонглирующим понятием «целесообразность», чтобы не подчинять свою мысль спекулятивным концепциям «данного момента». Я исходила из той простейшей мысли, что правда не нуждается в оправдании целесообразностью. Она просто ПРАВДА. И пусть целесообразность опирается на нее, а не наоборот.

Чем дальше я писала, тем больше укреплялась в этом взгляде. Пожалуй, с этой точки зрения оказался положительным тот факт, что я потеряла всякую надежду на публикацию книги у себя на родине. И если в первой части, во вступлении к ней, еще видна рука внутреннего редактора, то в дальнейшем тексте уже никакие посторонние соображения не отягощали меня.

Между тем, пока я работала над окончанием книги, первая часть распространялась самиздатом во все возрастающей геометрической прогрессии. Один ленинградский профессор — специалист по истории русской бесцензурной печати — сказал мне, что, по его мнению, по впечатлению его наметанного глаза, моя книга побила рекорд по самиздатовскому тиражу не только нашего времени, но и девятнадцатого века.

Были, однако, и люди, которым моя книга не понравилась.

К моему большому огорчению, одним из них оказался Твардовский. В то время как в отделе прозы «Нового мира» к моей работе отнеслись с сочувствием и пониманием, главный редактор почему-то подошел к ней с явным предубеждением. Мне передавали, что он говорил: «Она заметила, что не все в порядке, только тогда, когда стали сажать коммунистов. А когда истребляли русское крестьянство, она считала это вполне естественным».

Тяжкое и несправедливое обвинение. Конечно, мое понимание событий до тридцати седьмого года было крайне ограниченным, о чем я и пишу со всей искренностью. Но услышав такой отзыв Твардовского о моей работе, я подумала, что вряд ли он прочел ее, а не просто бегло перелистал. Иначе он не мог бы не заметить, что вопрос о личной ответственности каждого из нас — основная моя боль, основное страдание. Об этом я пишу подробно в главе, озаглавленной «Меа кульпа» (моя вина). Но Твардовский не заметил даже этого заголовка.

В редакции «Юности», где меня много обнадеживали, рукопись тоже залежалась. А время между тем работало против меня. Все яснее становилось, что на эту тему наложено табу. И, наконец, в один прекрасный день редактор Полевой в разговоре со мной воскликнул: «Неужели вы всерьез надеялись, что мы это напечатаем?» После чего «Юность» переслала мою рукопись на хранение в Институт Маркса — Энгельса — Ленина, где, как писалось в сопроводительной бумажке, «она может явиться материалом по истории партии».

Таким образом, к концу 1966 года все надежды на какую-то, кроме самиздатовской, жизнь книги были погребены. И то, что произошло дальше, было для меня не просто неожиданностью — фантастикой!

Непредугадываемо переплетаются разные пути в нашем удивительном веке. Вдруг я увидела свою книгу (по крайней мере, первую ее часть и кусок второй) напечатанной в Италии. Меня — долголетнюю обитательницу ледяных каторжных нор с преобладающим звуком Ы в названиях местностей (МЫлга, ХатТЫнах и т. д.) — напечатали в сладкозвучном Милане. А потом и в Париже, и в Лондоне, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме и во многих других местах.

Мне довелось повидать некоторые из этих изданий, подержать их в руках. Часть этих книг привез из заграничной поездки покойный Эренбург.

Это совсем новая тема, рожденная нашим странным временем и его феноменами. Тема о душевном состоянии автора подобных изданий. Противоречивые чувства раздражают его. С одной стороны, он не может сдержать естественного чувства радости

при виде своей рукописи, превратившейся в книгу. Но с другой . . . Без моей правки, без всякого моего участия в издании . . . Без возможности исправить типографский брак (русское издание пестрит ошибками в орфографии и пунктуации) . . . Точно твоего погибавшего ребенка спасли какие-то чужестранцы, но при этом его полностью оторвали от тебя. А тем временем и земляки дают несчастной матери почувствовать: она виновата не только в том, что породила нежеланное для властей дитя, но и в том, что не смогла удержать его дома.

Так или иначе, книга вступила в новую фазу своего бытия: из догутенберговской, самиздатовской, родной отечественной контрабанды она превратилась в нарядное детище разноязычных издательств, перекочевала в мир роскошной глянцевої бумаги, золотых обзоров, ярких суперобложек. Полное отчуждение произведения от его автора! Книга стала чем-то вроде взрослой дочери, безоглядно пустившейся «по заграницам», начисто забыв о брошенной на родине старушке-матери.

Но что же будет с остальной, неопубликованной частью книги? Неужели ей суждено остаться не книгой, а тетрадкой? И на что тогда надеяться? На то, что «рукописи не горят»?

Как бы там ни случилось, а я считала своим долгом дописать все до конца. Главным образом не для того, чтобы изложить фактическую историю дальнейших лет в лагере и ссылке, а для того, чтобы читателю раскрылась внутренняя душевная эволюция героини, путь возвращения наивной коммунистической идеалистки в человека, основательно вкусившего от древа познания добра и зла, человека, к которому через все новые утраты и мучения приходили и новые озарения (пусть минутные!) в поисках правды. И этот внутренний «крутой маршрут» мне важнее донести до читателя, чем простую летопись страданий.

И все-таки . . . Все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей родине . . .

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ В КОНЦЕ КРУТОГО МАРШРУТА

1

Л. Она умерла 25 мая 1977 года в семь часов утра.

Хоронили на следующий день.

Никаких траурных объявлений не было. Известить удалось лишь немногих.

С ночи зарядил дождь — серый, холодный, осенний, то затихавший, то нарастающий. К полудню маленькая ее квартирка была полна. В тесной прихожей в углах и вдоль стен грудами — плащи, пальто, зонты.

Гроб в комнате на столе.

Она неузнаваемая. Шафранно-желтая старушка. А ведь никогда не казалась старухой, даже в самые трудные дни болезни.

Все время входили и выходили друзья, знакомые, читатели. Бывшие колымчане и воркутинцы, жители соседних домов . . . На кухне курили. Толпились на лестнице, в подъезде.

В углу комнаты — проигрыватель. Бах. Негромко.

Ее сын Василий Аксенов, почерневший, осунувшийся, молча здоровался, медленно двигался, менял пластинки.

Гроб выносили под дождем. Автокатафалк, автобус, несколько легковых. До самой могилы провожало не меньше ста человек.

Кузьминское кладбище. Старое. Просторное. Зеленое. Широкая главная аллея. Гроб везут на каталке вроде больничной.

Свернули в боковую узкую аллею. Остановились. Дальше нужно было пробираться по щелям-проходам между оградями.

Потемневший крест на могиле мужа Антона Вальтера. Рядом свежая глинистая яма.

Дождь утих. Гроб опять открыли. Еще явственней неестественная желтизна чужого лица. Я спросил у Васи: «Можно говорить?» Он кивнул.

«Она была рождена для счастья. Чтобы быть счастливой и дарить счастье. Чтобы любить и быть любимой. Растить сыновей. Писать стихи и прозу. Учить студентов. Учить прекрасному. А на нее — на молодую, красивую, жизнерадостную женщину — обрушилось такое несчастье, такие беды и страдания, которые сломили многих крепких мужчин; она испытала все ужасы сталинской каторги, погубившей сотни тысяч людей. Там она узнала и о гибели старшего сына . . . А после десятилетнего заключения, после короткого промежутка надежд — новый арест, новые муки, осуждение на вечную ссылку. И уже на свободе — смерть мужа, Доктора Вальтера, и все новые горести, новые разочарования. Короткие радости и долгие беды. И наконец мучительная, страшная болезнь . . . Но всегда и везде она оставалась сама собой. Всегда и везде была настоящим человеком, настоящей женщиной. Подобно тем деревьям на Севере, где она столько выстрадала, — деревьям, которые растут вопреки морозам и ураганам, растут и приносят плоды. Так и она каждый раз поднималась над своими несчастьями — работала, дарила радость и сама умела радоваться.

Ее книга приобрела всемирную славу. Эта книга была первой в ряду, который еще продолжается и будет продолжаться. Все, кто с тех пор писал и пишет воспоминания, кто старается запечатлеть, осмыслить наше прошлое, трагическую судьбу нашей страны, мы все пошли по ее следам. «Крутой маршрут» — это начало новой главы в истории нашей общественной мысли и нашей словесности . . . Какое счастье, что она успела сама вкусить хоть частичку своей славы. Увидела Париж, побывала у Бёлля в Кельне. И как прекрасно радовалась она этой поездке . . . Горько, что не дожидая до издания второй части.

Она мучительно умирала. Смерть была избавлением от мук . . . И все же это нелепо жестокая смерть, которая принесла всем нам горе, боль . . . Но смерть прошла. А бессмертие будет длиться. Она будет жить, пока живы те, кто ее помнит. Будет жить еще дольше, как тот язык, на котором написана ее книга, и те языки, на которые эти книги перевели и переведут».

Потом говорила Зора Ганглевская, бывшая эсерка — невысокая седая женщина, говорила тихо, глуховатым, ровным голосом:

«. . . Когда к нам на Колыму прибыл тюремный этап, я тогда работала в больнице сестрой, женщины принесли ее очень больную, истощенную. В жару. Принесли и сказали: «Лечите ее. Женя должна жить, обязательно должна. Она самая лучшая, самая талантливая. Она обо всем напишет». Мы ее выходили. И в нашей больнице все ее очень полюбили. С тех пор у нас была дружба. И вот она жила и писала. А сколько могла бы еще написать . . .

Кто ее знал, никогда не забудет, всегда будет любить. Прощай, Женя . . .»

Подошла к гробу еще одна давняя подруга — Вильгельмина Славущкая.

«Я хочу сказать Алеше (Алеша стоял напротив, высокий, красивый, рассеянный, в пестром кепи) — твоя бабушка, Алеша, начала писать свою книгу как письмо внуку. Мы все тебе за это благодарны. Но ты должен быть достоин этой книги. Это высокая честь. Помни бабушку».

. . . Последнее целование. Стук молотка. Отрывистый, надмогильный стук. Он и в крематории — в машинно-стандартном цехе смерти — напоминает о кладбищенских прощаниях.

. . . Поминки были за тем же столом, на котором утром стоял гроб. Обычные поминки, печальные и хмельные, когда к концу уже иногда смеются чаще, чем плачут.

Вася вспоминал, как ездил с матерью в Париж. Дочь Тоня в этот день прилетела из Оренбурга, где гастролировал ее театр, опоздала к выносу, к похоронам и одна сидела вечером у могилы. На поминках она рассказывала, как мать любила праздничать, как веселилась и заражала весельем.

Кто-то сказал:

— Надо писать о ней. Надо, чтобы написали все, кто ее помнит.

2

Р. Я ее увидела впервые в августе 1964 года у Фриды Вигдоровой, которая торжественно сказала:

— Евгения Семеновна Гинзбург-Аксенова, написавшая «Крутой маршрут», приехала из Львова.

Когда я раньше, читая рукопись, пыталась представить себе автора, передо мной вставало страдальческое, трагическое лицо старой женщины.

Моложавая, хорошенькая, веселая. Полная, но движется легко. Волосы на прямой пробор, сзади пучком. Не по моде. На шее — завитки. Никакая не страдальца. Скорее, благополучная дама. Холеная, ухоженная. У таких бывают домработницы, дачи, машины.

Глаза светятся умом.

В ее лице — в ягько, но широко развернутых скулах, в разрезе глаз, — и татарские, и российски-простонародные черты. Этим она по-сестрински походила на Фриду, — отсветы давних событий истории в лицах русско-еврейских интеллигенток.

Однажды я видела, как она разговаривает с татарской крестьянкой. Обе круглолицые, скуластые, пригожие. Выговор у обеих округлый, мягкий. Резко отличный от того среднеинтеллигентского языка, который обычно звучит вокруг нас.

— Если верить в переселение душ, то я в прошлой жизни была деревенской бабой.

Через месяц после первого знакомства мы поехали во Львов в командировку. Идти к ней я боялась. Но она так приветливо встретила нас в городе, который показался чужим, неприязненным, что нигде не хотелось бывать без нее. Расставались, когда мы уходили читать лекции.

В первый же вечер засиделись допоздна, начался ливень, и она оставила нас ночевать.

— У меня никакого угощения, только чай, яйца.

К еде равнодушна.

Маленькая квартирка, скудно обставленная, чистенькая. Репродукция Мадонны Рафаэля — она потом переехала и в Москву, Фотография Пастернака висит так, что входящие ее не видят, — я бы не заметила этого, но она сама показала — только для своих. Стопки нот.

Мы говорим, говорим, перескакиваем с темы на тему — ее и Левины тюрьмы и лагеря, московские новости, политические и литературные, книги Василия Аксенова, львовская газета, в которой она работала внештатным корреспондентом.

Много рассказывала о покойном муже, Антоне Яковлевиче Вальтере. Немец из Крыма. Врач, увлекся фольклором, записывал немецкие песни, сказки. Несколько раз встречался с Жирмунским. И арестован был «по делу» Жирмунского.

Когда Евгению Семеновну и доктора Вальтера реабилитировали, они поселились во Львове. Вальтеру очень понравился город — улицы, костелы, здания, сохранившие дух немецкого зодчества.

Они оба начали там работать. Все шло к лучшему. Однако внезапно вернулась лагерная цинга.

— Авитаминоз, хотя было полно фруктов, но его организм уже не усваивал . . . Антон ведь долго был на общих в шахте. Семь ребер сломано. Лечила его в Москве, похоронила в Кузьминках.

Она читала нам стихи Коржавина. От нее я и услышала впервые:

*... Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь,
В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть . . .*

У меня в дневнике записано: «По мировоззрению — коммунистка, по мироощущению — нет».

Она сама сначала не хотела восстанавливаться в партии. Но партследователь спросил: «А что же вы будете писать в анкетах? КРТД?»*

— Для Антона мое восстановление в партии было ударом. Восстанавливал Комаров. Хвалили за то, что я проявила большевистскую стойкость, ничего не подписывала ни о себе, ни о других.

С Павлом Васильевичем Аксеновым, бывшим мужем, вновь встретилась в тысяча девятьсот пятьдесят шестом в Казани.

— Как был ортодоксом, так и остался.

Для нас тогда именно это различие: ортодоксы и либералы — во многом определяло отношение к людям.

Девятого апреля 1965 года она писала из Львова:

«Раечка, дорогая, спасибо вам большое за пересылку письма Солженицына, которое доставило мне большую радость . . . Пожалуйста, перешлите ему мою записку с благодарностью за внимание и доброе слово. Очень мне хотелось бы с ним встретиться, но это так трудно, поскольку и он и я живем в провинции».

Они встретились в Москве. По телефону назначили свидание неподалеку от того дома, где он обычно останавливался, когда приезжал из Рязани. Взглянули друг на друга и отвернулись. Продолжали ждать. Потом все же сделали несколько шагов, стали неуверенно переглядываться, и оба почти одновременно сказали: «Я вас совсем не так представлял себе!»

* * *

Сохранился снимок — мы у подъезда ее львовского дома, улица Шевченко, 8. Она улыбается, шурится, глаза-щелочки.

Другой снимок — в профиль. Закалывает шпильки. Поправляет волосы. Древнее женственное, кокетливое движение. Высоко поднят локоть. Изящна линия руки. Она знала, что ей идет этот жест. Любуюсь. И больно. Тридцать четыре года ей исполнилось в тюрьме. Освободилась она после пятидесяти.

Глядя на молодых, нарядных женщин, она иногда говорила с горечью:

— Такой я не была, это у меня отняли, украли.

Утрата «женских расцветных годов», как она сама их называет, была, пожалуй, горше, чем утрата работы, чем утрата самой свободы.

Во Львове она познакомила нас со своим другом, Леонидом Васильевичем. Полковник в отставке — высокий, светло-русый, красивый. Он восхищался ею, она радовалась его восхищению.

* КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность.

Осенью она писала нам, что он уехал в Тулу к умирающей матери: «Я лишена постоянного понятливого собеседника именно в то время, когда он особенно нужен».

В 1965 году в Киеве и Львове арестовали несколько молодых поэтов и художников. По обвинению в национализме. Опять началось с Украины — там и тридцать седьмой начался в тридцать четвертом.

На первомайской вечеринке возник спор: правы ли молодые люди, надо ли было затевать рукописный журнал, арестовывают ли теперь без основания и т. д. Одни защищали, другие осторожно осуждали арестованных. Леонид Васильевич хотел что-то сказать, но вырвался лишь хрип, и он упал на руки Евгении Семеновны мертвым.

После смерти Леонида Васильевича ей уже невмочь было оставаться во Львове. Она писала (4.7.1966): «... сколько бы вы ни желали ускорить мне обмен жилья с Москвой, а он, увы, опять сорвался. В этом есть что-то фатальное... Видно, Лычаковское кладбище никак не хочет уступить меня Кузьминскому (видали юмор висельника?)».

Временами сын доставал ей путевки в дома творчества. Ей нравился размеренный режим, прогулки, возможность работать без помех, возможность общения.

Когда она впервые приехала в Малеевку, регистраторша спросила:

— Вы член семьи?

Она ответила привычно:

— Нет, у меня самостоятельное дело.

Перебраться в Москву было трудно. Но помогли друзья, помогли читатели — знакомые и незнакомые, больше тридцати человек. Особенно много сделали Рой Медведев и Григорий Свирский, в ту пору оба члены партии. Ходатайствовал за нее и работник ЦК Игорь Черноуцан.

Одни помогали коммунистке, которая осталась верной знамени и после восемнадцати лет лагерей; другие — жертве режима; третьи — писательнице, поведавшей правду и, значит, вне зависимости от ее намерений, разоблачающей систему; четвертые — заботились о друге.

В 1966 году она въехала в однокомнатную квартиру на Аэропортовской в писательском кооперативном доме.

Давая свой номер телефона, говорила:

— Начало, как у всех в наших домах, — сто пятьдесят один, а дальше все про меня: первое — когда? — тридцать семь, а второе — сколько? — восемнадцать.

После переезда в Москву она иногда спрашивала:

— А может быть, я должна была тихо сидеть во Львове, писать и писать свое?! Но ведь живой же человек?!

Противоречия, раздор, даже раскол между писателем и человеком — один из источников драматизма последних лет жизни Евгении Гинзбург.

Она писала 5 апреля 1965 года из Львова: «Да, Раечка, вы верно почувствовали, что за моим кратким поздравлением к двенадцатому празднику 8 Марта стоит довольно грустное настроение. Да с чего бы, собственно, веселиться? Оставшиеся мне считанные годики, а может быть, и месяцы (это не пессимизм, а просто реальный учет возраста) бегут стремительнее, а то, что надо доделать, все еще не доделано, тонет в торопливости каждого дня...»

Она не была самозабвенно жертвенным служителем Слова. Ее могли отвлечь от работы большие и малые радости, будничные заботы и праздники, порой и просто суета. Но она преодолевала стремление к радостям — такое неутоленное, преодолевала болезни, преодолевала страх.

Память и долг властно возвращали к старой пишущей машинке без футляра, аккуратно прикрытой красной рогожной накидкой.

Переехав в Москву, она не вступила ни в Союз писателей, ни в группом при издательстве. Прикрепилась к партийной группе при домоуправлении как пенсионерка. Платила членские взносы. Выпускала дважды в год стенгазету. Исправно ходила на собрания (она все делала исправно). И продолжала писать «Крутой маршрут».

— В моей партячейке одни отставники, «черные полковники»*, понятий не имеют, кто я, вообще понятия не имеют о самиздате.

Необходимость хоть изредка их видеть, слышать, ходить на собрания тяготила ее все больше, внушала отвращение. Но именно эта парторганизация дала ей в 1976 году характеристику для поездки в Париж.

Рукопись «Крутого маршрута» с начала 60-х годов читали, передавали друг другу, перепечатавали. В ИМЭЛе сделали 400 экземпляров (туда рукопись переслали из журнала «Юность»).

Рой Медведев, который подружился с Евгенией Семеновной (она ласково называла его «племянник», его отец погиб в годы террора), дал «Крутой маршрут» А. Д. Сахарову. В Институте физики рукопись размножили на «Эре».

* Так называли вождей военной диктатуры в Греции.

Одна из читательниц Е. С. продиктовала всю книгу на магнитофонную пленку.

В последние годы Евгения Семеновна часто повторяла:

— Я благодарна Никите не только за то, что всех нас выпустили, — не то лежала бы в вечной мерзлоте с биркой на ноге, — но и за то, что избавил нас от страха. Почти десять лет, пока не арестовали Синявского и Даниэля, — я не боялась.

Если бы можно узнать истинные самиздатовские тиражи, — думаю, что «Крутой маршрут» занял бы одно из первых мест.

Рукопись попала на Запад. В 1967 году итальянский издатель Мандадори выпустил книгу одновременно по-итальянски и по-русски. Многие главы передавали по Би-би-си.

Министр госбезопасности Семичастный на собрании в редакции «Известий» заявил, что «Крутой маршрут» — «клеветническое произведение, помогающее нашим врагам». Это сказал всеильный глава всеильного КГБ.

Еще во Львове мы узнали, что есть другой вариант рукописи, гораздо более резкий. Озаглавленный «Под сенью Люциферова крыла». Она рассказала об этом шепотом в безлюдном парке.

Несколько лет спустя я спросила об этой рукописи. Она ответила:

— Сожгла. Испугалась и сожгла.

Окрик Семичастного вернул былые страхи... Иначе и быть не могло. Не вижу я того героя, который после восемнадцати лет не боялся бы повторения. Да разве только ээки? Боятся сыновья и дочери лагерников. Сыновья и дочери тех, кто тогда боялся лагеря. Боятся подавляющее большинство, и не без оснований.

Она сама пишет в конце книги:

«Можно еще понять, а поняв, простить тех, кто навеки ушиблен страхом, кто не в силах победить свою нервную память. Рецидивы страха, — впрочем, не доводящие до отречения от прошлого, от друзей, от этой книги, — я и сама порой испытываю при новых ночных звонках у двери, при повороте ключа с наружной стороны».

Испугались за нее друзья. Стали придумывать, как защитить. Устроили интервью с корреспондентом газеты «Унита», которому она сказала: «Книга издана за границей без моего ведома и согласия».

Это было правдой. Но тому, что рукопись стала книгой и в Италии и в Германии, во Франции и в США, — она радовалась.

Я переводила ей рецензии из американских и английских газет и журналов. Ее раздражало, что некоторые рецензенты объединяли «Крутой маршрут» с книгой Светланы Сталиной «Двадцать писем к другу», вышедшей почти одновременно. Наши

попытки защищать Светлану были безуспешны — она ненавидела все, что хоть как-то было связано со Сталиным.

Вскоре сняли Семичастного.

Непосредственная опасность для нее миновала . . .

3

Л. В октябре 1970 года в Москву приехал президент Франции Помпиду. В числе сопровождавших его журналистов был Кароль — известный публицист-политолог, автор книг о Китае и Кубе. Он родился в Польше, в семье коммунистов, в 1939 году шестнадцатилетним бежал от гитлеровцев на восток; окончил школу в Ростове, поступил в университет, стал солдатом; был арестован за «антисоветские разговоры». Из лагеря опять попал на фронт в штрафбат. После войны репатриировался в Польшу и оттуда уехал во Францию.

Кароль — «независимый левый». Весной 1963 года он, сотрудник журнала «Экспресс», участвовал в издании «Автобиографии» Евгения Евтушенко, которая вызвала ярость партийных чиновников и некоторых руководителей Союза писателей. Именно Кароль обратился тогда за помощью к Тольятти, и тот вступился за поэта.

Кароль очень обрадовался, когда мы его познакомили с Евгенией Гинзбург.

— Ваша книга — замечательное произведение. И документальное, и художественное. Мало сказать правду, нужно еще, чтобы ей поверили. И поверили не только те, кто ничего не знает, но и предвзятые, обманутые. Ваша книга и убеждает, и переубеждает.

Кароль понравился ей так же, как и нам. Они разговаривали вполдружелюбно, пока он расспрашивал, слушал. Но едва он сочувственно отозвался о Че Геваре, о студенческих бунтах в Париже в мае 1968 года, она рассердилась:

— Да что вы такое говорите! Этот Гевара — обыкновенный бандит, фанатик, а ваши мальчишки и девчонки просто ошалели от дурацких лозунгов, от наркотиков. Молятся на этого Гевару, а еще хуже — на Мао.

Кароль пытался возражать, но она прерывала его все запальчивее, все громче:

— Простите, но вы ничего не понимаете. Мао — новое издание Сталина. Иногда натыкаешься на их радиопередачи — такие противные, визгливые дисканты. Как они славят своего великого кормчего. Все то же самое, что было у нас. Ваш Сартр — идиот или подлец. Да как можно говорить о революции после всего, что было? Все революции преступны. Безнравственны! Бесчеловечны!

Ее голосисто поддерживали еще некоторые участники беседы. Каролу с трудом удавалось прорываться.

— Позвольте, позвольте, я не могу понять. Вы не верите вашим газетам, когда они пишут о Западе или о вашей стране. Почему же вы им верите, когда они врут о Китае? А я там был. Дважды. И подолгу. Ездил по стране. Разговаривал и с Чжоу Эньлаем, и со студентами, и с рабочими. У них там многое плохо, отвратительно. Есть и фальшь и жестокость. Но их система совершенно иная, чем ваша. Культурная революция была сначала именно революцией. Молодежь восстала потому, что не хотела мириться с бюрократией и не хотела таких порядков, как у вас. Мао был достаточно умен и не только не пытался подавлять это движение, но стал направлять его. Конечно же, в Китае много страшного, жестокого. И я об этом писал. Но у них там совсем другие порядки, чем у вас. И политика противоположна вашей. В Китае впервые за сотни лет нет голодающих. Нет голода, нет нищеты. . . Вы воспитаны в сталинской школе нетерпимости. Вы бросаетесь из одной крайности в другую. Я понимаю ваш гнев. Вчера и сегодня был с Помпиду на приемах. Бюрократические спектакли. Пошлые, глупые ритуалы. Я хожу по улицам и вижу, как не похож мир Кремля и министров на мир улиц, магазинов, пивных и на этот ваш мир. Между ними пропасти. Но сейчас я наблюдаю странный парадокс — эти разные миры совпадают в одном: они чрезвычайно консервативны. Можно понять, почему ваше правительство не хочет самостоятельности масс. Но, оказывается, и вы отвергаете все революции, потому что они безнравственны. Что же, вы хотите их запрещать? Не допускать? А вам нравятся землетрясения или тайфуны? Они тоже безнравственны и бесчеловечны!

— Ах, неизбежность революции! Это сказка, придуманная Марксом. У нас в двадцатые годы троцкисты кричали о мировой революции. А теперь и вы о том же. Шведы и англичане обошлись безо всяких революций. У них безработные живут лучше наших рабочих и наших профессоров.

— Вы забываете, что и там были в свое время революции. Да и сегодня не все там согласилось бы с вами, что они живут как в раю. А неизбежность революции — совсем не сказка. Пример — май тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, он застал нас врасплох. Это была настоящая стихийная революция. Никто не знал, что делать. Коммунисты растерялись больше всех. Теперь мы стараемся извлекать уроки. Мы должны быть готовы к неизбежному потрясению, чтобы предотвратить такие разрушения, такие жертвы, которых можно избежать, чтобы революция не вырождалась в террор, в тоталитаризм. Мы не хотим повторять ни вас, ни китайцев.

— Не хотите, не хотите, но умиляетесь китайским палачам, так же как Ромен Роллан и Фейхтвангер умилялись нашим палачам. Вы пресыщенные снобы, вы с жиру беситесь, сами не понимаете, что делаете! Вы и себя погубите в конце концов. Опомнитесь, когда уже поздно будет!

Кароль тоже разгорячился, перестал сдерживаться и кричал уже почти как его оппоненты.

— Это не так, это все не так! Мы стараемся вас изучать и понимать. Поймите же и вы — кроме ваших вчерашних бед сегодня есть и другие страшные беды. На земле миллиард голодающих. Ежедневно от голода умирают сотни тысяч людей. Во Вьетнаме, в Индонезии ежедневно убивают людей. Убивают, и пытаются, и мучают . . . Мы сочувствуем вам. Мы говорим и пишем о Солженицыне, Синявском, Даниэле, Гинзбурге, Галанскове, ходатайствуем, протестуем. Но мы не можем забывать о страданиях других людей в других странах. Вы кричите: «пресыщенные снобы». Но вы же ничего о нас не знаете. Да, у некоторых из нас достаточно денег, чтобы спокойно жить, писать статьи, книги, наслаждаться искусством, путешествовать. Но мы ввязались в политическую борьбу только потому, что так велит нам совесть, велит сострадание . . . А вы это называете снобизмом!

Спор иссякал безысходно. Кароль ушел едва ли не в отчаянии. На следующий день он говорил мне:

— Гинзбург замечательная женщина. Я и раньше знал, что она прекрасная писательница. А вчера любовался ее пылом, ее молодой страстностью. Она была похожа на наших студентов, на самых радикальных, тогда, в мае. Но она их проклинает, не хочет понимать. Это ужасно, что лучшие ваши люди становятся такими убежденными реакционерами. Это одно из самых жестоких последствий сталинизма.

А Евгения Семеновна, вспоминая о Кароле, говорила:

— Он, конечно, умен и многое знает. Но только мозги у него набекрень. Типичный троцкист. Я их встречала в молодости. Один из таких даже ухаживал за мной. Противный был крикун. Я их всегда не любила. И вот извольте — полвека спустя опять то же самое: «мировая революция!», «управлять стихиями»; они там на Западе совсем обезумели.

4

Р. Она привыкла быть первой. В тюремных камерах, в ссылке, да, вероятно, и много раньше — в школе, на рабфаке, в университете. Она везде естественно становилась центром, средоточием любого общества. Потому что она была хороша собой,

общительна, остроумна, чаще всего бывала самой образованной, поражала необычайной памятью, увлекательно и артистично рассказывала.

Она отлично жила с соседками по большой коммунальной квартире. Поэтому к ней тянулись старые и молодые, утонченные интеллигенты и рядовые партийцы, эсеры и сталинисты, светские дамы и колхозницы . . .

Живой ум, энергия, темперамент, а с ними и стремление превзойти, конечно же, природенны, как музыкальный слух или память. Но в юности эти ее свойства развивались и усиливались в среде казанской партийной интеллигенции, а позднее — на тюремных нарах, в этапах.

Она ощущала и сознавала, что привлекательна, сознавала неизбывность своих жизненных сил. И это сознание еще больше укрепляло ее.

Она испытала много несчастий, но не знала ни тоски женского одиночества, ни боли безответной или обманутой любви.

Она вынесла, преодолела, сдюжила ужасы восемнадцатилетней каторги. Так возникло гордое сознание победы.

Сначала, должно быть, радостное удивление. Вот оно, значит, как! Все-таки сумела!

Но была и горечь — сколько жизни упущено безнадежно, утрачено безвозвратно!

Чем больше времени отделяло ее от Колымы, чем громче звучали голоса почитателей, тем чаще, тем злее донимали и горькие мысли:

— Как вы не понимаете, я просто больная старуха! Все слишком поздно! Постучу полчаса на машинке и устаю, будто лес валила. Одышка, аритмия. Ах, бедная, бедная Женя, какая была когда-то неутомимая . . . А теперь даже думать трудно. Теперь я понимаю, что это значит — растекаться мыслью по древу. Раньше всегда считала, что это вычурный образ. А теперь сама ощущаю, как мысли растекаются, расплозаются . . . И никому я не нужна. Противно глядеть на себя и на весь Божий свет.

Но уже через несколько дней или даже через несколько часов она могла с гордостью рассказывать:

— Сегодня я прошла двадцать тысяч шагов. Точно по шагомеру. Вначале была одышка, но я себя заставила. И вот теперь как огурчик. И уже не меньше четырех часов просидела за машинкой. Не знаю, что случилось, но восемь с половиной страничек почти готовы. Значит, есть еще порох в пороховницах!

Окончательно пережив в Москву, она уже не всегда и не везде чувствовала себя первой. Еще реже — единственным средоточием внимания. Новые друзья, новые знакомые были ей интересны, многие приятны, иные становились душевно близки. Она снова и

снова слышала похвалы, ею восхищались известные литераторы, ученые. Но в их обществе, да и среди менее знаменитых, однако не менее самоуверенных и говорливых москвичей, ей приходилось как бы каждый раз заново самоутверждаться.

Ее московская квартира была обставлена без претензий, старосветски уютно: пианино, диван с подушками, старое мягкое кресло, шаткий телефонный столик, овальный стол, накрытый скатертью с бахромой, много книг — на полках, на столе, на стульях. Большая репродукция Мадонны, привезенная из Львова. Много снимков: сыновья, Тоня в разных ролях, Антон Вальтер, Пастернак, Солженицын, Рой Медведев, родители. Она сама в молодости. К ней приходило множество разных людей, иногда и вовсе незнакомых друг с другом. К ней приходили сокамерники, соэтакники, их дети и друзья, «разноязычные» интеллигенты, литераторы, врачи, юристы, работники издательств, редакций, научных институтов, театров. Поэтому день рождения Евгении Семеновны 21 декабря праздновали обычно в два, а то и в три приема. Она относилась к этому очень серьезно, распределяла, тщательно подбирала — кто с кем совместим за одним столом. И это было тоже желанием вернуться назад . . .

Л. Она судила о стихах, о книгах и о некоторых людях, как нам иногда казалось, несправедливо, пристрастно: то чрезмерно сурово, то очень уж снисходительно.

В «Крутом маршруте» она писала: «За весь этот год было, пожалуй, одно радостное событие: в начале весны нам удалось получить из библиотеки большой однотомник Маяковского.

Несколько недель мы живем только Маяковским . . .»

А нам говорила:

— Разлюбила я Маяковского. В молодости очень любила, а теперь нет. Грубый, крикливый. Газетчик, а не поэт. И уж так советскую власть славил. Агитатор! Горлан! Нет, разлюбила. Правда, после него многие еще хуже были . . . Я ни от кого не требовала послания «во глубину сибирских руд». Но подличать зачем? Ведь почти все советские писатели прямо сотрудничали с властями, проклинали врагов народа и, значит, всех нас. А русская литература всегда была за угнетенных, за униженных и оскорбленных.

— . . . Вы читали новые стихи Н.? Ах, вам они не нравятся. Уж это Лидия Корнеевна вас так научила. Вы литературные максималисты и ригористы. А я простая учительница словесности. И еще я рядовая газетчица. И я благодарна за каждую честную книгу, за каждое искреннее стихотворение. Ведь не могут же все писать, как Толстой, Твардовский или Солженицын. И этот роман (повесть, поэму) надо мерить другим аршином. В своих масштабах — это вполне достойное произведение. В нем высказана

правда, пусть не вся, пусть осторожно — но хоть кусочек правды. Есть хорошие мысли . . .

— . . . Почему вы плохо думаете о Д.? Может быть, он и не блещет умом, но он вовсе не дурак. И по характеру очень добрый человек, вполне порядочный. Вы на него опять за что-то сердитесь? А ко мне он очень хорошо относится. Вчера опять звонил, хочет устроить мне одну литературную работенку. Нет, ни за что не поверю, что он способен на дурной поступок. Правда, он иногда боится, перестраховывается. Но это можно понять. Он ведь на службе. Это нам с вами хорошо, вольным казакам. Нет, нет, напрасно вы к нему придираетесь . . .

— . . . Вчера опять проскучала весь вечер с Т. Но с ней я спорить не могу. Она, знаете ли, такая правильная, ортодоксальная. Однажды Вася при ней стал высказываться, и она пришла в ужас: «Женя, как вы допускаете, чтобы ваш сын так думал, так рассуждал? Ведь это хуже, чем ревизионизм! Это уже посягательство на основы основ, на самое святое! Вы должны повлиять на него. Он же член Союза писателей, он ездит за границу!» Я ее успокаиваю, дескать, это просто шутки, у молодых теперь такой *façon de parler*. Но она все кудахтала, ужасалась, чуть не плакала . . . Нет, возражать ей бесполезно. Ведь она восемнадцать лет была в лагере. А теперь даже Сталина пытается защищать: «Ах, он все-таки был большевик, он строил социализм». Но я ее люблю и она меня любит. Ничего не поделаешь, старая дружба. Однако мою книгу ей не давала и не дам. Она хочет все забыть. Если бы прочитала, умерла бы от ужаса, от огорчения. И вас я не зову, когда она приезжает, — а то еще ляпнете что-нибудь похуже, чем Васька.

К близким друзьям и даже просто к хорошо знакомым она обычно была терпима. Спорила. Иногда сердилась. Но многое спускала. Так она уже в последние годы прощала Рою Медведеву его марксистскую идеологию, полемику с Сахаровым и Солженицыным. Бывшему арестанту Льву Матвейчу — его наивно ортодоксальный «старобольшевизм». Тамаре Мотылевой — верность партийным основам, при всех либеральных оговорках.

Личная приязнь или неприязнь ей были важнее любых разногласий.

— Женю Евтушенко я очень люблю. Он такой большой ребенок. Искренний до наивности. Передо мной вдруг упал на колени: «Я хочу, чтобы вы были моей мамой, считайте меня сыном». Ну, совершеннейший мальчишка. А стихи у него прекрасные — «Наследники Сталина», «Бабий Яр», «Станция Зима», по-моему, они по-настоящему поэтичны. Или, например, «Исчезают в России страхи . . .» Ведь прекрасные же стихи и Шостаковича они вдох-

новили. Эти снобы теперь завели моду его ругать. А по-моему, он лучше Вознесенского. Тот очень талантливый, но какой-то искусственный, машинный.

5

Р. Каждый год Евгения Семеновна проводила по две-три недели на теплоходах.

— Открываю и закрываю навигацию.

Она любила эти плавания, радовалась волжским просторам, прогулкам по новым городам и полированному комфорту. И строго соблюдала свой неизменный режим.

Весной 1970 года с ней поехала ее старая казанская подруга. И поставила условие:

— Никаких разговоров о «Крутом маршруте». Ты пенсионерка, а я еще на службе. Так что о себе никому ничего не рассказывай.

К их столику все чаще подсаживался высокий, сухощавый, сутулившийся мужчина. Глаза прозрачно-бледной голубизны. Инженер, бездетный вдовец, Евгений Николаевич.

Теплоход приближался к Казани. Пассажиры сгрудились на палубе.

Кто-то заметил:

— Вот моя alma mater. Я здесь кончил юридический еще до революции.

— А я историко-филологический в двадцать пятом году, — не удержалась Евгения Семеновна.

И сразу же услышала голос Евгения Николаевича:

— Значит, вы учились вместе с Евгенией Гинзбург?

— С какой Гинзбург?

— Неужели вы не слышали? Автор «Крутого маршрута».

— Кажется, встречала.

Она ответила сухо, растерянно, обернувшись к подруге.

Евгений Николаевич посмотрел огорченно. Больше к их столику не подсаживался.

Его каюта была напротив рубки радиста. Порыв сквозняка распахнул двери в коридор и несколько писем вылетело. Он поднял и увидел на конверте: «Евгении Семеновне Гинзбург». Принес ей письмо.

— Оказывается, это вы . . .

Мы рассказывали друзьям и знакомым эту майскую сказку. Значит, все же бывают чудеса.

В сентябре того же семидесятого года у нее оказались лишние билеты на теплоход «Добролюбов» Москва — Пермь — Москва. Мы обрадовались ее предложению плыть вместе и тогда познако-

мились с Евгением Николаевичем. Двенадцать дней мы вместе завтракали, обедали, ужинали. Часто гуляли вчетвером. Сидели на палубе.

В ресторане каждый из них платил за себя. Они называли друг друга по имени-отчеству. Изредка случались обмолвки: «ты», «Женя». Мы делали вид, что не замечаем.

Он старомодно ухаживал. Она кокетничала, молодедела, хороше- ла. А он сиял от гордости.

И я заново влюбилась в нее, как тогда во Львове. Любовалась ее радостью — такой поздней и такой заслуженной.

Он казался прочной опорой — женщина может прислониться. О себе рассказывал мало. Больше о детстве на Волге, о рыбалке. В споры не вступал. Политику откровенно презирал — всегда. От литературы был далек. И не притворялся, будто ему важно все то, что так занимало нас троих.

Главное — он ее любил.

... Вечер. Палуба. Она читает «Русских женщин». Мы отдыхаем. Волга. Свобода. Беспечные люди.

А я пытаюсь представить себе тюремные камеры, где она читала Некрасовскую поэму, дарила стихи своим несчастным товаркам — и тем, кто слушал впервые, и тем, кто вспоминал, слушая ее.

В главе «Седьмой вагон» она писала, что героини поэмы Некрасова «воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто бы не удивился, если бы рядом с Клавой Михайловой и Надей Царевой здесь была бы Маша Волконская и Катя Трубецкая».

При Николае Первом тоже арестовывали, ссылали на каторгу, убивали своих, даже тех, у кого сам царь крестил детей, с чьими женами и сестрами танцевал на балах.

И география неизменная — Шилка, Нерчинск. Многое похоже.

Но как усовершенствовалось мучительство за столетие! Иркутский губернатор уговаривал Екатерину Трубецкую не ехать дальше. В тридцать седьмом году не было, да и теперь вряд ли найдешь таких «губернаторов».

Снова чувствую, как я люблю Некрасова, как мне необходимы его стихи.

Евгений Николаевич восторгался:

— Какая память, а? Кто еще так может?

Мы оба вполне искренне:

— Никто!

И верно: ни один из окружающих меня людей не может прочитать наизусть «Евгения Онегина».

Два вечера подряд мы слушали «Горе от ума». Она не забыла ни одной реплики, ни одной ремарки.

В салоне теплохода несколько человек играют в карты. Люди незнакомые, но она к ним обращается:

— Зачем вы играете в карты, когда кругом такая красота?

Л. пытается ее удержать:

— Женя, у вас большевистские замашки. Им хочется играть в карты, почему вы навязываете им свои вкусы?

— Ну, знаете, так можно далеко зайти. Например, оправдывать гомосексуализм или марихуану. В лагере я больше понимала женщин, которые спали с охранниками, чем лесбиянок или педерастов.

Когда в дождливые дни Л. с Евгением Николаевичем выпивали граммов по сто, по двести, она сердилась:

— Вам только повод нужен. Это просто распущенность.

Евгений Николаевич покуривал, прячась от нее.

Первое время многие друзья, так же как и мы, радовались их союзу.

Она никому не позволяла называть их мужем и женой.

— Просто мы товарищи по старости.

Но вскоре в этом товариществе стали возникать трещинки и трещины.

Он просил ее соединиться, жить вместе. Но она отказывалась, говорила, что не может уехать из этого дома, что рядом Вася, друзья. Что она любит именно эту свою квартиру.

Она не могла без длительных прогулок, без поездок за город. Зимой она снимала комнату в Переделкине. А ему трудно было жить там, где отсутствовал минимальный комфорт.

Главное же — она не любила. Она лишь позволяла любить себя.

Ее приятельница говорила:

— Просто она необыкновенная, а он — обыкновенный.

Может, и так.

Она заболела, он старел, хворал. Они все реже виделись. Он переехал в дом для престарелых и вскоре покончил с собой.

6

Едва ли не при каждой встрече она говорила:

— Скорее бы уж добраться до третьей части. До ссылки.

Добралась.

А в марте 77-го на крыльце переделкинского дома заклинала:

— Дожить бы до осени. До издания второй и третьей части.

Не дожидла.

Однажды она написала хвалебную рецензию на плохую книгу, и мы поспорили. Она соглашалась, что книга плохая, но упрямо

отстаивала свое право — хвалить, потому, что ей нравится автор, он добрый человек. Мы спорили сердито, раздраженно.

А потом она читала начало третьей части, и мне было стыдно за свои злые слова.

. . . Освобождение. Ни на минуту лишнюю ее не удержать за колючкой. Ничем, даже колымским бураном . . . Она бежит с тяжелым чемоданом в руках.

Хочу, чтобы она читала и скорее, и медленнее, — не пропустить бы ничего.

Двое влюбленных после тягостной разлуки бегут навстречу друг другу.

В литературе экзистенциального отчаяния они не могли бы встретиться, они были бы отчуждены, даже если бы жили вполне благополучно в одном доме.

Но «Крутой маршрут» принадлежит к иной литературе.

Евгения Гинзбург и в аду хотела оставаться сама собой. Противилась жестокой стандартизации лагеря: кусочек старого меха, пришитый к телогрейке, красные домашние тапочки, платок няни Фимы . . .

В Магадане она была ссыльной. Туда, в барак, к ней приехал сын Вася. Ее разлучили с малышом — встретила юношу двенадцать лет спустя. И оказалось, они любят одни и те же стихи. Всю ночь читали друг другу.

23 октября 1964 года она писала нам из Львова:

«Две недели был Вася. Мне кажется, что этот его приезд должен положить конец тому нелепому отчуждению, которое создалось между нами за последние два года. Были у нас с ним настоящие разговоры, такие, как десять лет тому назад в Магадане. Читали друг другу свои опусы и угадывали замечания. Даже стихи читали вместе, как когда-то.

Правда, остается все же то, чего мне не понять в нем: страсть к гусарским развлечениям, разболтанность в быту, какая-то странная непритязательность в выборе друзей. Не знаю, может быть, это возрастные барьеры?»

В последние годы и эти барьеры были преодолены. Судьба подарила матери и сыну счастье дружбы.

Новые главы она уже не выпускала из дома.

— Приходите, читайте. У меня на кухне читальня для друзей.

. . . Второй арест. «Дом Васькова» — магаданская тюрьма. Жутко так, будто это происходит сейчас со мной.

Рассказ этот я слышала от нее раньше. Одно время даже казалось — это можно опубликовать в «Юности», вслед за ее очерками о двадцатых годах.

— Я всегда знала, что буду писать. И все мои знали. Делились пайкой. Надо же, наконец, начать. Но первые три года на воле не было ни кола ни двора. Просто негде было поставить стол.

Начала летом пятьдесят девятого в Закарпатье. В лесу, на пне, в школьной тетради. Были там с Антоном и Тоней. Но я еще в тюрьме, в лагере, сочинила отдельные главы. Твердила, как стихи, наизусть.

Вероятно, потому она писала сравнительно легко, быстро.

— Я прочитала главу «Бутырские ночи» первому слушателю Антону, он заплакал. Тогда я внезапно почувствовала, что ему недолго осталось жить.

К семидесятому году она хотела дописать только одну последнюю главу: «За отсутствием состава преступления».

В ту осень у нее часто болело сердце, донимала бессонница, она говорила, что не успеет закончить, что смерть перегонит.

И каждый раз я упорно повторяла:

— Вы обязаны не только закончить «Крутой маршрут». Вы должны написать и еще одну книгу — как у Томаса Манна «Роман романа»; как возникла рукопись, как росла, ее пути самиздатовские и тамиздатовские.

Эту книгу она написать не успела.

Случилось так, что я перечитывала «Крутой маршрут», уже закончив вчерне эти воспоминания. Сквозь первые страницы пробились с некоторым трудом, задевали словесные штампы, сентиментальность, а то и газетные обороты.

Но все это скоро исчезло, наплывало негодование, ужас, страдание, стыд. И я уже не думала, не хотела думать о том, как это написано. Некоторые словосочетания изредка продолжали коробить, но теперь уже неприятно, что я их замечаю.

Не знаю, какими художественными средствами автор передает мне невыносимость напряжения двух предтюремных лет. Вместе с героиней-автором приближаюсь к страшному, знаю, к чему, и тем не менее — скорей бы конец . . . Хоть какой-нибудь . . .

После первой встречи с этой рукописью мы прочитали в самиздате и тамиздате множество разных воспоминаний о лагерях — документальных и беллетризованных, наивнобездарных и высококонтантливых. В «Крутом маршруте» теперь уже не осталось эпизода, мысли, настроения, факта, которые не перекликались бы с фактами, мыслями, эпизодами, настроениями других книг. И об Архипелаге ГУЛАГе я, не побывавшая там, словно бы теперь знаю так много: арест, обыск, допрос, камера, лагпункт, этап,

нары, придурки, вертухаи. Все эти и многие иные слова того мира прочно вошли в наш быт, в сознание, в подсознание.

. . . Перечитывая «Крутой маршрут», не могла оторваться. Нет, я ничего не знаю. И совершенно безразлично, есть ли на свете другие книги об ЭТОМ.

Она как-то сказала: «И всех-то нас история запишет под рубрику «и др.». Ну, «Бухарин, Рыков и др.». Нет, неправда. Она, Евгения Гинзбург, написавшая «Крутой маршрут», она — единственная.

Живу ее жизнью. Теряю. Обретаю. Познаю безмерность горя и унижений.

Если все это так мне передается, так сохранилось, значит, это не просто документ, не просто «Хроника времен культа личности». Такое под силу только искусству. И непритязательность, общедоступность, наивность — это не слабости книги, это ее особенности.

. . . В начале 60-х годов мы надеялись, что вслед за «Иваном Денисовичем» выйдет и «Крутой маршрут». В том экземпляре «Крутого маршрута», который я перечитывала в 1977 году, вскоре после смерти автора, в главе «Седьмой вагон» — одной из сильнейших — меня что-то задевает. Не сразу соображаю, почему «Евгения Онегина» в этапе декламирует не Женя, а некая Шура (она же «Васькина мама»). И вдруг словно озарение: глава готовилась к печати в СССР. Поэтому имена вымышленные . . .

. . . Увяли от теплые надежды. Перестали писать в справочниках, в юбилейных изданиях «погиб в годы культа личности». Не воплотилась мечта Евгении Семеновны, что ее внук в 1980 году прочитает советское издание «Крутого маршрута».

Но книга существует. Слово сильнее череды наших бессловесных вождей. Победила она!

7

Во Львове она читала нам свои стихи — они казались посредственными.

В Москве, в пору ее большой славы, работники издательства «Молодая гвардия» предложили ей найти себе тему для книги в серии «Жизнь замечательных людей». Она назвала несколько имен, в том числе забытую поэтессу Мирру Лохвицкую. Быть может, и стихи Лохвицкой вместе с Надсоном — тоже в истоках ее собственных поэтических опытов.

В начале семидесятых годов в Израиле вышла антология «Русские поэты на еврейские темы». Составители включили стихи на библейские темы, в книге представлены стихи едва ли не всех русских поэтов за три века — от Державина до Слуцкого.

Есть там и одно стихотворение Евгении Гинзбург:

*... И вновь, как седые евреи,
Воскликнем, надеждой палимы.
И голос сорвется, слабея:
— На будущий в Ерусалиме!
... Такая уж, видно, порода!
Замучены, нищи, гонимы,
Все ж скажем в ночь Нового года:
— На будущий — в Ерусалиме!*

Она сочинила это стихотворение накануне Нового, 1938 года в Ярославской тюрьме. Прочла сокамернице. Ерусалим был условным — символом свободы.

Она обрадовалась публикации, показывала антологию друзьям и знакомым. И удивлялась — издатели сборника, видно, восприняли буквально то, что для нее было поэтической метафорой.

Она не только не чувствовала, не сознавала себя еврейкой, но даже и говорила:

— У меня никогда не было и не могло быть романа с евреем. Потому и в вас, Левочка, я влюбиться не могла бы . . .

— Женечка, вы просто антисемитка, расистка.

(Ни когда она сочиняла эти стихи, ни когда читала нам их во Львове, ни когда увидела напечатанными в Израиле, — ни она — да и никто другой? . . не могли себе представить, что метафора реализуется. Начиная с 1973 года и ей пришлось попрощаться с друзьями, со знакомыми, уезжающими в Израиль.)

8

Л. Ее сердили неодобрительные отзывы о зарубежных выступлениях Солженицына, Максимова, Коржавина.

— Ну и пусть они иногда преувеличивают. Это естественно. У них праведный гнев. Они пытаются объяснить этим западным идиотам, что те предают нас и губят себя. Ну и пускай Генрих Бёлль недоволен. Он ведь тоже ничего не понимает. Добрый, наивный немец. Я его очень люблю. Но он не способен понять ни Володю, ни Александра Исаевича, — он не испытал того, что испытали они и мы. Он только читал про тюрьмы, этапы, Колыму, Воркуту. Он добрый, всем сочувствует — и чилийцам, и вьетнамцам, и разным неграм. А для нас это несравнимо . . .

— . . . Володя Максимов — добрый, душевный человек. Он так хорошо говорил со мной. Он по-настоящему любит Васю. И «Континент» — хороший журнал. Отличный. Володя столько рассказывал о новых планах. Нет, нет, вы несправедливы к нему. И Генрих несправедлив. Далась ему эти Шпрингер и Штраус. Никакие они вовсе не фашисты. Это леваки их так обзывают.

И вдруг — Шпрингер издает книги и журналы всех направлений. И он помог нашим издавать «Континент». Почему же ваш Брандт этого не сделал? Потому что он боится рассердить наших правителей. Как же, им важнее всего разрядка, торговля. Шпрингер молодец, не побоялся . . .

Володя Максимов называет братьев Медведевых агентами КГБ. Этому я, разумеется, не верю. Ройчик — наивный, хороший человек. Я его люблю, но с ним совершенно не согласна. Он все еще живет в мире марксистских иллюзий и догм. Конечно, нашему правительству его точка зрения ближе, чем сахаровская. Поэтому его меньше преследуют. Это плохо, когда Рой нападает на Солженицына. Тот делает великое дело. И он так одинок. Я сама знаю, что в «Архипелаге» есть и неточности, и ошибки. Ни о ком нельзя говорить: «комически погиб». Но ведь, в общем-то, «Архипелаг» — великая книга, грандиозная. Он там и на меня несколько раз ссылается. И вас упомянул. И в «Теленке» он очень дружелюбно о вас писал. А вы к нему несправедливы и огорчаете меня больше, чем Рой. Тот ведь с ним никогда не дружил. Нет, я не могу с этим согласиться. У нас у всех один противник, страшный противник. Он весь мир давит. И нас готов придушить. Зачем же еще между собой враждовать?

— Вашу книгу о Джоне Брауне*, Раечка, я прочла с интересом. Многое узнала. Но герой мне отвратителен. Он — настоящий революционер. Ни себя, ни других не жалеет. Вы слишком снисходительны к нему. Нет, таким людям нельзя прощать. От них все несчастья. Ведь негров все равно в конце концов освободили бы безо всяких кровопролитий, и уж, конечно, без этого изувера Джона Брауна. А впрочем, мне ни до каких негров дела нет. Я была в рабстве похуже, чем дядя Том.

9

Она была доверчива. Она доверяла и малознакомым, и часто просто случайным собеседникам, если они ей нравились. Она часто повторяла, что ложь считает одним из самых непростительных смертных грехов.

Но сама она могла настолько увлечься вольным полетом воображения, что иногда беглое наблюдение, недослышанные или недочитанные слова преображались в ее сознании весьма причудливо.

* «Поднявший меч», 1975.

Один из наших общих друзей сказал мне:

— Оказывается, ты скрываешь, что крестился. Евгения Семеновна говорит, что ты уже давно принял православие. И только не хочешь этого афишировать.

Вскоре я услышал, что еще несколько человек говорили о том же, ссылаясь на нее. Обойтись без выяснения стало невозможно:

— А знаете, Женечка, обо мне опять диковинные слухи пускают. В прошлом году один деятель из Инокомиссии доверительно рассказывал везде, что я — стукач и, мол, только потому мне спускают все грехи, даже не исключают из Союза писателей; однако Солженицын и Бёлль узнали и поэтому якобы порвали со мной отношения. Потом кто-то в Союзе и, кажется, в Гослите уверял, что я подал заявление на отъезд за границу. А теперь говорят, будто я принял православие и тайно хожу к исповеди.

— Но вы же сами говорили, что вы крестились!

— Что за бред?! Где? Когда? Кому?

— Да вы что, забыли? Вы же мне говорили. У нас дома. Я заметила над вашей постелью крест. Вы сказали, что это подарок Игоря Хохлушкина. И потом мы очень хорошо поговорили о Боге, о религии. Ведь вы уже с детства предрасположены к православию, я читала ваши воспоминания. И не пойму, чего вы боитесь — вы беспартийный. Это мне приходится скрывать, что я — верующая католичка. Ведь я состою в рядах. Мои черные полковники разорвали бы меня на части. Но католическая церковь разрешает тайное исповедание.

— Женечка, опомнитесь! Да если бы я стал верующим, я бы уже и вовсе ничего не боялся. И, конечно, ни от кого не стал этого скрывать. И менее всего от друзей, от близких.

— Я никогда не врала. Может быть, вы тогда хотели пошутить. Но такие шутки . . .

— . . . недопустимы. Согласен. И никогда так не шучу. Кажется, я догадываюсь, как у вас могло возникнуть такое представление. Вероятно, я сказал вам, — я это уже не раз говорил многим, — что больше не считаю себя атеистом. Я убедился, что наш атеизм, наше воинствующее безбожие — самая вредная, самая изуверская из всех религий. Но я не стал верующим. Я агностик. Не верю в бытие Бога и не могу, да, впрочем, и не хочу доказывать его небытие. Но я убежден, что если существует некая высшая сверхреальная сила, то эта сила настолько превосходит всех смертных людей, что никто не вправе считать себя ее представителем, ее единственно справедливым толкователем. И уж, конечно, не вправе именем Бога устанавливать законы, преследовать иноверцев и отступников . . . Христианство мне ближе других вероучений. Никогда не стану утверждать, будто оно лучше, справедливее всех. Если б я вырос в Индии или Китае, вероятно,

я предпочитал бы буддизм или даосизм. Но уж так я воспитан, что и нравственно и культурно-исторически мне ближе всего христианство. И я думаю, что христианские нравственные принципы насущно необходимы сегодня для того, чтобы не погибло человечество . . . А православие мне действительно близко с детства. Няня учила меня молиться на ее иконы, водила в церковь. Мы вместе пели «Отче наш» и «Богородицу», благоговейно слушали колокола Софийского собора, Печерской лавры. Не меньше радуют меня творения католического искусства — Сикстинская Мадонна, мессы, реквием . . . В Штетинской тюрьме я случайно нашел в мусоре возле котельной католический молитвенник; выучил наизусть «Патер Ностер», «Аве Мариа», «Кредо», повторял в темной одиночке. И когда во Львове в костеле «Катедра» пел мощный хор с органом, я был так потрясен, что и сейчас не найду слов, чтобы это описать. Но все же русские церкви, русские молитвы, русские иконы и самые наивные народные обычаи — словом, эстетика русского православия мне сердечно ближе. Они и сейчас волнуют меня сильнее, чем Бетховен и Чайковский . . . Вот это я и говорил вам и не только вам. Но вы услышали несколько произвольно, и ваша творческая фантазия экстраполировала недослышанное в том направлении, по которому пошли вы сами . . .

— Не знаю, не знаю. Должно быть, я и впрямь на старости лет дуреть стала; маразм начался.

Больше об этом не говорили. Только несколько раз, по другим поводам, она замечала с иронической интонацией:

— Да, да, вы же агностик . . . Ну, конечно, этого вы, как агностик, не можете признать . . .

10

Дважды мне довелось работать с ней вдвоем.

Мы переводили письма Шумана. Переводили каждый отдельно свою часть, а потом сопоставляли, проверяли, правили друг друга.

Она работала так дотошно, так скрупулезно добросовестно, как мало кто из профессиональных переводчиков. Договор с издательством был на мое имя; ей не приходилось тревожиться за свою репутацию . . . Тем не менее она упрямо возилась с каждой сомнительной строчкой, разыскивала справочники, мемуары современников, музыкаведческие и исторические работы.

— Нельзя переводить, если не знаешь, о чем идет речь. Вот в нескольких письмах назван господин Н. Как же я могу идти дальше, не зная, кто этот человек? В каких отношениях он с автором, с адресатом? Без этого я не могу правильно передать интона-

цию письма. Нужно знать побольше обо всех людях, которые здесь упомянуты. И тем более необходимо представлять себе музыкальные произведения, о которых идет речь. Иные он характеризует подробно, иные только называет или на что-то намекает. Сегодняшний читатель должен понимать, что значила для автора эта соната, эта песня, кто писал стихи, которые он кладет на музыку . . .

Она проверяла и перепроверяла себя и меня. Иногда я раздражался, когда она подолгу топталась на каком-нибудь идиоматическом обороте, разговорном речении, старомодно-изысканной фразе или намеке музыкального критика. Но она была неумолима.

— Ну и пускай комментариями занимается составитель, пускай, это его дело. Но мы с вами должны сами все понимать.

Она привязалась к автору писем как-то непосредственно, поженски. Сначала она просто жалела его, беднягу. Явный психопат. И характер, как у сварливой старой девы: тот его обидел, этого он ругает и сам признает, что за пустяки. Иногда непонятно, почему расстроен. А постепенно привыкла к нему, даже полюбила.

— Ведь какая несчастная жизнь. Унизительная бедность. Жена все время болеет. Каждый грош должен высчитывать, вымаливать прибавку. И сочиняет гениальную музыку! Вы видите, я достала ноты его фортепианных пьес, вчера пробовала играть. Нет, нет, при вас играть не буду. Я уже совершенно разучилась, отвыкла. Пальцы как деревянные. И устаю быстро. Для себя еще могу. Потому что вижу ноты и, как бы вам это объяснить, — слышу не то, что бренчу, а то — как это должно звучать. Слышу внутреннюю музыку. При вас я буду играть хуже и уже сама ничего не услышу . . . Но теперь мне стало интересно переводить. Иногда так обидно, даже больно за него, когда он делает глупости, доверяется негодяям. Так жаль его несчастную жену, его самого . . .

Потом мы переводили тексты Брехта к балету «Семь смертных грехов». Это был своеобразный «частный» заказ. Одна московская артистка хотела поставить этот балет с песнями и собиралась исполнять главную роль. Мы с ней были знакомы, и она упростила меня перевести срочно, сверхсрочно, уверив, что уже обо всем договорилась в реперткоме, в Министерстве культуры, в Главконцерте; переводчикам гарантированы самые выгодные условия, важно только скорее, скорее, а тем временем оформят договор, остались какие-то незначительные канцелярские детали . . .

Текст песен должен был точно соответствовать музыке. Мы переводили каждую песню сперва на глаз, то вдвоем, то порознь, а потом Евгения Семеновна садилась к пианино и строчку за строчкой мы испытывали, напевая, переделывали, перемонтировали. Без нее я просто не смог бы сделать эту работу.

Иногда спорили, то шутя, то сердито, из-за отдельных строк или строчек. Она не позволяла ни мне, ни себе никаких попущений, никаких поблажек.

Работали мы в точно определенные часы, я не смел опаздывать ни на минуту; приходя, уже заставлял ее за пианино.

Иногда я упрекал ее в крохоборстве: уж слишком придирчиво она оспаривала какую-нибудь мелочь. Позднее я стал понимать, что и это «крохоборство» было одной из основ ее душевной устойчивости.

(Перевод мы сделали в срок. Но заказчица, раньше звонившая по два-три раза в день, прибегавшая к Евгении Семеновне и осыпавшая ее комплиментами, словно забыла про нас. А когда я наконец дозвонился до нее, она сухо ответила, что неожиданно все расстроилось, репертком не утвердил постановку, конечно, она может оплатить наш труд из своих денег, «назовите сумму». На этом месте я не слишком любезно попрощался.)

Но Евгения Семеновна не пожалела, что мы работали впустую.

— Интересно было, я и не подозревала, что Брехт такой хороший поэт . . . Я впервые переводила песни.

11

Жаркий майский день. Мы втроем в Тимирязевском парке. Нашли тихой уголок, несколько пней. Я прочитал последний отрывок из своих воспоминаний*, — как везли из тюрьмы в тюрьму.

Евгения Семеновна слушала внимательно, участливо.

— А нас, четверых, везли из Казани в Москву в четырехместном купе. Даже малину разрешили купить на остановке. Зато уж в трюмах «Джурмы» было страшнее всех ваших столыпинских вагонов.

— . . . Мне, в общем, нравится, но зачем вы позволяете себе грязную брань? Нет, не согласна, что о блатных нужно писать их же языком. Ведь этим вы унижаете себя. И зачем вы рассказываете обо всех ваших женщинах? Ну, вот спасибо, «не обо всех». Значит, все-таки считаете нужным о чем-то умалчивать?! Нет, такая откровенность мне не по душе. Я воспитана в духе девятнадцатого века. Местный колорит, характерное своеобразие воровской речи можно передать и без похабщины, без мата. Я себе этого не позволяю. Ну, вот написала я, как у нас запрещали на лагпункте «связи ээка с ээкою». Пишу же об арестантской любви, о ворах, воровках, проститутках, но пишу не на их языке . . .

* Глава «В этапе» из книги «Хранить вечно». — Ардис, 1975.

Можете называть меня моралисткой, пуританкой. Нет, никакое это не ханжество. Это у вас неразборчивость, всеядность. Вы слишком снисходительны к тем интеллигентам, которые стараются подделываться под блатных... Пускай даже Пушкин и Лермонтов позволяли себе вольности, по тем временам совсем непристойные. И Некрасов, и Лев Толстой. Таким великим прощается то, чего нельзя прощать нам, рядовым.

Ее стремление к целомудренной чистоте языка было сродни ее безукоризненной чистоплотности и дотошной аккуратности. Утренний душ был ей жизненно и, можно сказать, ритуально необходим: никакие хвори, ни жар, ни сердечные слабости не могли помешать.

— Да, да, я педантка. Потому что не могу жить без строжайшего порядка, без ордунга. И не думайте, что это с тех пор, как была замужем за немцем. Когда мы познакомились с Антоном, то ему, кажется, прежде всего нравилось, что я, медсестра, так неукоснительно точно выполняла все назначения и придирчиво следила за чистотой. И чтоб все было на своих местах. А вы ведь знаете, что такое лагерная больничка. И вообще, каково соблюдать чистоту в тюрьме, в этапе. Но я с детства ненавижу расхлябанность, грязь, разгильдяйство. А сейчас я просто не могла бы существовать, если бы не строжайший режим во всем, безо всяких исключений. Вот я люблю гулять с Тamarой Мотылевой еще и потому, что она всегда точна. Она тоже любит порядок. И меня понимает.

Если гость, приглашенный к определенному часу, опаздывал, его встречали строгие укоры.

— Вы обманули меня на целых двадцать минут. Есть старая пословица: «Точность — это вежливость королей». После свержения монархии кое-кто позволяет себе плевать на всякую точность.

Когда она брала у нас книгу, журнал или рукопись, то возвращала неукоснительно в условленный день. И того же требовала от своих «должников». Точнейшая точность была для нее одной из основ независимости. И свою независимость, самостоятельность она ревниво отстаивала в любых мельчайших мелочах.

Она не позволяла платить за себя даже в метро.

— Оставьте светские ухватки. Мой пятак не хуже вашего. Нет, в такси я не поеду: у меня нет лишних денег, а на ваши я кататься не буду.

Последние годы она зимовала в Переделкине, снимала маленькую теплую комнату в большом бревенчатом доме в глубине сада. В комнате рядом жила писательница-немка со взрослой дочерью.

Евгения Семеновна жаловалась:

— Они обе такие рассеянные, что мать, что дочь. Еще говорят,

что немцы аккуратны. Я все время убираю за ними. То на кухне, то в ванной, то в прихожей. И в нашей общей большой столовой обязательно что-нибудь забудут. И никогда не закрывают двери.

Соседка ее почтительно боялась и жалела. Знала о ее болезни. И только самым близким друзьям поверяла свое смятение:

— Это просто нефосомшно. Она сердится на каждая мелочь. И начинает говорить, говорить. Или сама убирает, но так демонстративно, такая сердитая. Вчера говорила — в ванная не так лежит мыло. Сегодня — на кухне не так стоит чайник. Я не хочу дискуссий, не хочу ссор. Она такая больная. Я вижу, как она мучается. И значит, всегда я виновата или моя Нинка.

Когда мы жили в Переделкине у Сары Бабенышевой, мы по вечерам гуляли с Евгенией Семеновной. Однажды Р. спохватилась, что, уходя, мы оставили на плите кастрюлю с супом, забыли выключить газ. Р. побежала стремглав. К счастью, все обошлось испорченной кастрюлей — прогорело дно.

Евгения Семеновна негодовала:

— Этого я бы вам никогда не спустила. Сарочка воистину святая. Я бы после такой истории просто не пускала бы вас на кухню.

Она говорила об этом долго, серьезно и через несколько дней вспоминала опять. И совершенно не могла понять Сару, которая каждый раз, смеясь, отмахивалась.

Опрятность и упорядоченность были ей неотъемлемо присущи и как писательнице.

В ее прозе глубоко трагедийное художественное повествование брезгливо обтекает грязные пороги, зато иногда оно вспенивается такой старосветской патетикой и сентиментальностью, которые напоминают не только о стиле великих авторов прошлого — русских и зарубежных, но родственны и вторичной беллетристике начала века.

12

Р. В моих отношениях с Е. С. настало время отчужденности. Моя влюбленность в нее не перешла в прочную дружбу.

В октябре 1974 года я пришла к ней после того, как мы долго не виделись. Пришла, уже зная, что у нее рак.

Она сидела на диване, совершенно на себя не похожая, растерянная. Волосы распущены, халат не запахнут, глаза в слезах.

Она рассказала, что, обнаружив опухоль в груди, решила скрыть это ото всех.

— Пусть рак. Не пойду к врачу. Не дам резать.

Тогда она уверенно говорила о раке.

А потом, почти три года, в больнице и дома, она доказывала, убеждала, что это была доброкачественная опухоль, а теперь лучевое отравление. Возникла та защитная пленка, непостижимая рассудком, которую тклет сама болезнь.

И она уже до конца была как всегда причесанной, подтянутой, прибранной.

Но кто знает, что у нее было на душе?

Из дневников Р.

«2 октября 1975 г. Днем у Е. С. в Боткинской больнице. Идти боялась. В раздевалке столкнулась с Е. Евтушенко. Он тоже к ней. Я обрадовалась: он заслонит мой страх от нее, а от меня ТО СТРАШНОЕ.

Он умолкал, только когда заговаривала она, а она говорила много, возбужденно.

— Моя жизнь складывается так, что я, можно сказать, прорабатываю Солженицына в обратном порядке: сначала был Архипелаг ГУЛАГ, а теперь вот — Раковый корпус. Но диагноз так и не известен.

— ... Вы читали его поэму «Прусские ночи»? Потрясающая мера саморазоблачения. А стихи плохие — альбомные. Я такие писала в лагере. Чтобы запомнить... Но теперь Александру Исаевичу все дозволено. Хоть голым по улице ходить. За то, что он сделал, ему все обязаны низко поклониться...

— ... Здесь многое похоже на лагерь, только в лагере санчасть почти всегда заодно с тюремщиками. Мне после любых осмотров там писали «на общице»...

Я вчера попросила нянечку поправить постель, слишком жесткая. А она мне говорит: «Вы привыкли на пуховиках».

Тут уж пришлось ответить: «Я привыкла на деревянных нарах».

... У Быкова нет своего слога, только сюжет. А вот Искандер написал книгу «Удавы и кролики» — гениальную. Ее будут читать, как «Маугли».

Я все болею, болею, но пока не замечаю упадка умственной деятельности. Память не слабеет.

Мы с Евтушенко наперебой громко подтверждаем. Тем более, что оба вполне искренни.

Она ему говорит:

— Я хочу, чтобы вы с Васей помирились.

— Вася передо мной виноват, поэтому трудно.

Мы с ней пытаемся убедить его: в ссорах друзей трудно определить вину каждого.

Она добавляет:

— А вы не считайтесь, в чем он виноват, простите ему...

Евтушенко не возражает, заговаривает о другом.

— *А я вашу книгу помню наизусть: «Коммуниста Италиана».*

И я начинаю вспоминать эпизоды.

Слушает нас с удовольствием. Это ей никогда не надоедает. Пришел Вася. Они с Евтушенко вежливо здороваются, вежливо обмениваются информацией».

... А ко мне все более властно возвращается ощущение того, как много значила для меня она сама и ее книга.

13

Из-за границы в 1976 году она вернулась помолодевшей. Словно выздоровела. Весь вечер рассказывала о Париже, о Кельне, о Ницце. Мы уже не первые слушатели, рассказ «обка-тан». Но ни восторг, ни изумление еще не растрчены.

— Пен-клуб устроил прием в мою честь. Был цвет французской литературы — Клод Руа, Эжен Ионеско, Пьер Эммануэль. Я давала автографы. На столе — большая стопка книг, новое издание «Крутого маршрута». Когда нас фотографировали, я попросила, чтобы Васю не снимали на фоне этих книг.

Пьер Эммануэль такую речь про меня произнес, — повторять неловко. Вообще по-французски все получается тоньше, изящнее. И такой умница — ничего о политике, только о художественных достоинствах, о языке.

В Пен-клубе принимали писательницу Евгению Гинзбург с сыном. А на празднике в «Юманите» почетным гостем был советский писатель Василий Аксенов с престарелой матерью (кокетливо отмахивается от наших возмущенных возражений).

Там на празднике ко мне тоже подходили разные люди и шептали на ухо: «Мы читали... Мы восхищались... Так прекрасно... Так ужасно...» И я поняла, что у них то же самое, что у нас, своя цензура, свое начальство. И они тоже боятся начальства, боятся наших.

Эту часть рассказа заключает гневно: «Ненавижу левых. Всех левых ненавижу...»

На столе книги с автографами. Французские и русские. Тоненький сборник стихов Ирины Одоевцевой.

— ... Старые русские эмигранты все читали мою книгу. Такие наивные. Трогательные. Хорошая старая речь. Только французские слова вставляют.

— ... Опасалась, как стану объясняться. Но французский вспомнила почти сразу. Откуда-то из глубин поднялись слова. Болтала легко, сама удивлялась.

В комнате — на полу, на диване, на стульях — распакованные и нераспакованные чемоданы, коробки, свертки. Еще не все по-

дарки розданы. Привезла родным, друзьям, знакомым. Больше всего дочери.

Тоня приходит при нас. Рассказы прерываются, начинается праздничная суматоха примерок. Рады и мать, и дочь, и мы, зрители.

Осторожно спрашиваем про врачей — ведь эта поездка официально называлась «для лечения». И Вася сопровождал мать, ехавшую лечиться.

Чаковский, давая ему командировку «Литгазеты», патетически заметил: «Подписываю только потому, что помню о твоей матери».

На наш вопрос о врачах отвечает раздраженно:

— Не ходила и не собираюсь. Я еще здесь заранее предупредила Ваську: никакого лечения. Еду смотреть. Видеть людей. Радоваться.

После краткой вспышки раздражения вновь улыбается:

— Вася взял машину напрокат. Правда, в Париже пришлось много ходить пешком. Там ведь трудно парковаться (мы смеемся — поборница чистоты речи снисходит к американизму).

— . . . Едем в театр или в кино, машину приходится ставить так далеко, что идем два или три квартала.

— . . . Ездили по Франции. На юг. В Ниццу. Были на могиле Герцена. В гостях у Шагала.

— . . . В гостиницу приносили букеты цветов. От издателей — итальянских и французских. За меня там ведь шла борьба — кто получит авторские права на вторую часть. Я и не думала, что придется работать. Хорошего экземпляра второй и третьей части не оказалось, пришлось править какую-то слепую копию. Но я старалась, чтобы хоть опечаток не было.

Вспоминаем, как она огорчалась изданию шестьдесят седьмого года, где полным-полно опечаток.

Спрашиваем, будет ли она писать об этой поездке?

— Ну что нового можно написать о Франции? Сколько уж русских писателей побывало в Париже, и какие . . . Но я вот что надумала: «Колымчанка в Париже». Назвать можно и так: «От Колымы до Сены».

Василий Аксенов рассказывал: «Мама сначала обрадовалась, что можно заказывать завтрак в номер. «Давай попроси завтрак в камеру!» Но потом решительно отказалась: «Нет, нет, я видела, как они подносы ставят на пол».

У всех, у всех побывала (чуть понижая голос) — виделась и с Некрасовым, и с Синявским, и с Максимовым, и с Эткингом. И все были к ней так приветливы.

Гриша Сви́рский звонил по телефону, приехать не мог — дорого.

— Обратный билет у нас был на поезд Париж — Москва. Но Вася сказал: «Поедем машиной до Кельна. Повидаем Бёлля».

Они познакомились еще весной 70 года, когда Бёлль с женой были в Москве. Он обращался сперва к ней «фрау Гинзбург», потом «фрау Евгения», наконец просто «Эугения» или даже «Шенья». Она уверяла, что забыла немецкий, но достаточно свободно рассказывала о лагере, о немецких книгах, которые любила в детстве.

Тогда в 1970 г. Евтушенко пригласил на ужин с Бёллем Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Таню Слуцкую, Окуджаву, а также Евгению Семеновну и нас.

Потом на улице, пока Вася искал такси, Бёлль сказал:

— Это была встреча с молодыми . . . А ведь молодыми по-настоящему, *wirglich jung* я могу назвать только вас. И всех моложе вы, Женя.

— Вот уж не ожидала, что Генрих Бёлль говорит комплименты старым женщинам.

— Я совершенно не умею говорить комплименты. Это правда. Я слушал, смотрел и думал: если бы я никого не знал из этих людей за столом и мне сказали бы, что двое из них долго пробыли в тюрьме, в лагере, угадай — кто? — ни на миг не подумал бы, что это вы, Женя, или этот бородатый пьянчуга . . .

Каждый раз, когда он бывал в Москве, они встречались уже как старые друзья. И в письмах к нам он неизменно передавал ей самые нежные приветы.

— . . . Я сначала испугалась: как это так, билет на поезд от Парижа, а мы будем садиться в Кельне. Но там быстро привыкаешь, распускаешься. И страхи быстро проходят. Я согласилась. Только очень тревожилась, как мы успеем: поезд в Кельне всего шесть минут, а у нас столько чемоданов . . . Генрих успокаивал: «Шенья, все будет ин орднунг . . .»

В Лефортове в 1937 году она считала себя смертницей, ждала расстрела: «Тогда мне представлялась вся остальная земля. Я ее никогда не видела и не увижу».

Увидела. Так они встретились — Париж и колымчанка. И это один из нежданно счастливых поворотов, присущих ее жизни и ее прозе.

Что в ней изменилось? Ощутила реальность славы.

В 67 году слава была заочной. И та ей несколько вскружила голову. А эта, воспринятая непосредственно, все, что она увидела, услышала, осезала, — действовала совсем иначе.

Она стала мягче. Щедрее. Подобрела к людям.

Как это возникло? На пути из Парижа? Или в предчувствии иного, неотвратимого пути?

Л. После возвращения из Франции она почти до середины зимы была бодрой, реже жаловалась на усталость, на боли в сердце. Хотелось верить в чудо, так же как весной 65 года мы верили в то, что чудом излечится Фрида Вигдорова.

В феврале начались боли в ногах. Такое уже бывало и в 75 году. И тогда врачи говорили, что это метастазы в костях, в суставах. А потом наступило облегчение.

Она продолжала жить в Переделкине. И дважды в день выходила на крылечко.

Одевалась медленно, постанывала. С трудом натягивала валенки. Но помощи не принимала.

— Не надо, не надо! Мне легче, когда я сама. Я чувствую, когда больнее. Ох, совсем обезножела! Господи, что это за проклятая болезнь . . .

Ох, где мои резвые ноженьки?! Вы слышали сегодня «Голос»? Картер опять что-то говорил о правах человека. По-моему, это одна только болтовня. Они говорят свое, а здесь делают свое. Сажают, сажают . . . А про Орлова, про Алика уже ничего не говорили. Нет, нет никто не помогает. Вот так же и мне никакие врачи не помогут. И пожалуйста, не спорьте. Все это ваш неисправимый оптимизм . . .

Но ей нужно было, чтобы с ней спорили. Она отмахивалась, когда я повторял, что она опять поедет в Париж, и на этот раз полечиться, и что Картер всерьез решил сочетать нравственность с политикой.

С начала апреля она едва могла двигаться. Однако в часы, установленные для прогулок, одевалась и сидела на крыльце, закутанная шубами, пледами. Сара каждый день приходила к ней, готовила, убирала, выводила на «сидячую» прогулку.

Врачи предписали снова облучение, обещали, что это снимет боль. Она согласилась, но лишь с тем, чтобы оставаться в Переделкине, чтобы сын каждый день возил ее на сеанс и привозил обратно.

— Без воздуха я пропаду. Воздух — мое главное лекарство.

После первых сеансов ей стало легче. Мы в апреле уехали на юг. Когда вернулись через месяц, она уже не выходила из московской квартиры.

Пришли к ней. Показалось, что не виделись годы. И в сумраке зашторенной комнаты было заметно, как она похудела. Нос и подбородок заострились, резко проступали скулы.

— Видите, что со мной сделали? Наверное, узнать нельзя. Я уже и в зеркало боюсь смотреть. Залечили эти негодяи врачи. Они меня отравили рентгеном. Облучали, будто у меня рак.

И теперь уже ясно — вызвали лучевую болезнь. Я едва могу встать. Не выхожу из дому. Ничего не ем . . . Расскажите, как ездили, что в мире делается.

Наши рассказы она едва слушала. Снова и снова говорила о болях.

Потом за три дня она изменилась еще резче, чем за месяц. Узнавались только глаза и голос. Поцеловал ей руку: сухая, тоненькая кожа на тонких косточках. И Рая тоже поцеловала ей руку. Впервые.

Почти каждый вечер приходила кроткая, маленькая седая женщина, ее приятельница, юристка. Она стала неутомимой сиделкой. Евгения Семеновна была к ней очень привязана. Но иногда раздражалась, когда та сменяла Васю. Она не хотела расставаться с сыном. Ни на час. И никому не позволяла оставаться на ночь.

— Я не могу спать, если еще кто-то есть в квартире.

Лишь после того, как утром, пытаясь дойти до уборной, она упала в коридоре, потеряв сознание, она уже не сопротивлялась круглосуточным дежурствам.

— Я умираю, Боже, почему так мучительно? Неужели я мало настрадаюсь? Вот считалось, что у меня сердце плохое. Но почему же это сердце еще выносит такие муки? . . . У Антона всегда был при себе яд. Какая я дура, что забыла об этом. Если вы настоящие друзья, достаньте мне яду.

Узнав, что накануне она говорила о священнике, и слушая эти жалобы, я сказал:

— Женечка, а может быть, вам помогла бы молитва? Хотите, я пригласу священника?

— Священника? . . . Но ведь я католичка. А попа-иностранца не хочу. Хочу по-русски молиться, а русских католиков нет.

— Что вы, друг мой? И у католиков, и у православных один Бог, один Христос. Что могут значить церковные различия для настоящего христианина? Православный священник охотно помолится с вами.

Она отвернулась к стене. Долго молчала. И внезапно своим прежним голосом, только чуть глуховато-напряженным:

— А может быть, еще подождем?

— Женечка, вы меня неправильно поняли. Я говорю о молитве за здоровье. Вы ведь знаете нашего друга Игоря. Этой зимой он очень тяжело болел. Некоторые врачи уже объявили положение безнадежным. Его навещал священник. Они молились вместе. И вот как раз Игорь вчера был у нас, и он хочет привести к вам священника.

— Хорошо, хорошо. Только не сейчас. Потом, когда чуть легче станет. Сейчас в меня злой дух вселился. Я всех ненавижу.

— Вот молитва и поможет вам изгнать злого духа и выздороветь.

— Какое выздоровление? Вы что, не видите — я умираю.

Священник Глеб Якунин пришел через два дня. Она стала спокойнее. То ли от молитвы, то ли от того, что начали впрыскивать пантапон. Мне больше не пришлось говорить с ней. Когда мы заходили, она была в забыты.

Вечером 24 мая, казалось, наступило облегчение. Она сказала:

— Вася, ты не забудь, нужно заплатить за дачу. Может быть, хоть в августе я перееду. Майя, почему вы не ужинаете? Возьмите в холодильнике икру. Не начинайте новую банку, там есть открытая.

25 мая она умерла.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 15. И свет во тьме	3
Глава 16. Молочные реки, кисельные берега	7
Глава 17. Бледные гребешки	15
Глава 18. В чьих руках топор	24
Глава 19. Добродетель торжествует	31
Глава 20. Порок наказан	40
Глава 21. Известковая	47
Глава 22. Веселый святой	53
Глава 23. Рай под микроскопом	61
Глава 24. Разлука	69
Глава 25. Зэка, эска и бэка	75
Глава 26. Mea culpa	84
Глава 27. Снова преступление и наказание	92
Глава 28. От звонка до звонка	97

Часть III

Глава 1. Хвост Жар-птицы	105
Глава 2. Снова аукцион	114
Глава 3. Золотая моя столица	124
Глава 4. Труды праведные	135
Глава 5. Временно расконвоированные	150
Глава 6. И барский гнев и барская любовь	160
Глава 7. «Не плачь при них . . .»	172
Глава 8. Карточный домик	183
Глава 9. По алфавиту	193
Глава 10. Дом Васькова	202
Глава 11. После землетрясения	213
Глава 12. Семеро козлят на идеологическом фронте	224
Глава 13. Тараканище	234
Глава 14. Двенадцатый час	246
Глава 15. По радио — музыка Баха	255

Глава 16. Коменданты изучают классиков	267
Глава 17. Перед рассветом	278
Глава 18. За отсутствием состава преступления	288
Эпилог	305
Лев КОПЕЛЕВ, Раиса ОРЛОВА. Евгения Гинзбург в конце крутого маршрута	311

Евгения Семеновна Гинзбург
КРУТОЙ МАРШРУТ
Хроника времен культа личности

Том II

Редактор В. Дозорцев. Техн. редактор В. Ирбе.
Корректор Л. Соколовская.

Подп. к печ. 24.04.89. ЯТ 00124. Форм. бум. 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура
шрифта Таймс. Печать офсетная. Печ. л. 22,0. Усл. печ. л. 22,0. Усл. кр.-отт. 22,25.
Уч.-изд. л. 23,87. Тираж 50 000 экз. Изд. № 9329. Зак. 852. Цена 3 р. 50 к.

Издательство ЦК КП Латвии, кооператив „Курсив”
226081, Рига, Баласта дамбис, 3
Творческая фотостудия Союза журналистов Латвийской ССР
226050, Рига, Марстало, 2

Отпечатано в Московской типографии № 6 Госкомпечати СССР
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.

Отпечатано по заказу издательства „Советский композитор”

Гинзбург Е.

Г 492 Крутой маршрут: хроника времен культа личности: том 2. — Р.: Издательство ЦК КП Латвии, «Курсив» — Творческая фотостудия Союза журналистов ЛССР, 1989. — 348 с.

Широко известная во всем мире, эта книга начинает свой путь к читателям нашей страны. Драматическое повествование о семнадцати годах тюрем, лагерей и ссылок потрясает своей беспощадной правдивостью, вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломали эти страшные испытания. «Крутой маршрут» — документ эпохи, которой больше не должно быть места в истории человечества.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

Г 0503020000—972
М 801(02)—89 89

63.3(2)72

3 р. 50 к.